

и  
о  
с  
к  
в  
а

Москва

8  
1964

1964 8

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ  
ВОСЬМОЙ

# Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

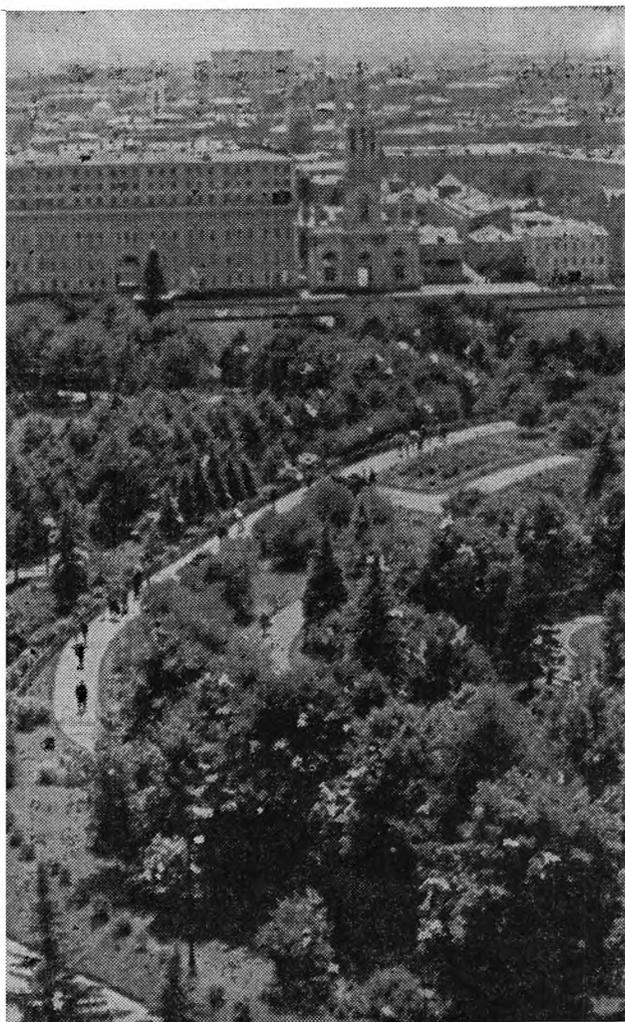
Е. Е. ПОПОВКИН (*главный редактор*), В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ, Ю. В. МАЛАШЕВ (*заместитель главного редактора*), Л. В. НИКУЛИН, В. И. ПАХОМОВ, С. А. САВЕЛЬЕВ (*ответственный секретарь*), Ю. С. СЕМЕНОВ, С. В. СМИРНОВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ (*заместитель главного редактора*), В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор  
Н. И. БОБКОВА

Адрес редакции:  
Москва, Г-2, Арбат, 20  
Телефоны: Г 1-78-01,  
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается.



1964 8

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Шараф Рашидов. МОГУЧАЯ ВОЛНА. Роман. Авторизованный перевод с узбекского Юрия Карасева. (Окончание) . . . . .	5
Уильям Фолкнер. МЕДВЕДЬ. Повесть. Перевод с английского О. Сороки	98
Олег Шестинский. КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ . . . . .	135

### СТИХИ

Иван Смирнов. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА.— ПОЧИНКИ.— ВДОВА . . . . .	3
Эдуард Бабаев. ДОРОГА.— ПОЛУСТАНОК.— ДОМА . . . . .	4
Расул Гамзатов. ПИСЬМО.— ПРЕКРАСНЕЙШИЕ НА ЗЕМЛЕ ГЛАЗА.— Я ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ ПИЛ...— О ЛЮБВИ. Перевод с аварского Елены Николаевской и Ирины Снеговой . . . . .	96
Николай Тряпкин. МАСЛЕНИЦА.— У РЕКИ, У ЛЕСКА...— ДЕВОЧКА С КНИЖКОЙ . . . . .	133

---

Николай Чуковский. ВСТРЕЧИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ . . . . .	143
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ, О. Мандельштам. ВОСЕМЬ НЕИЗДАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ . . . . .	153

### ШАГИ БОЛЬШОЙ ХИМИИ

Семен Новиков. ТАЙНА ПРИОКСКОЙ ПОЙМЫ . . . . .	156
--	-----

### СУДЬБЫ, ПИСЬМА, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Григорий Медынский. ЧЕМУ РАВНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК? (Продолжение) . . . . .	167
---	-----

### ИСКУССТВО

Михаил Долинский, Семен Черток. ИСКАТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ! (К вклейке этого номера) . . . . .	198
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Мотяшов. «МОЛОДОСТЬ В СПЕЦОВКЕ» . . . . .	200
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ. Анатолий Софронов. СЕЛЬСКАЯ ХРОНИКА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА (209).— Д. Тевекелян. «...ОДИНОКИЙ ПУТЬ ПОДОБЕН СМЕРТИ» (210).— А. Обертынский. СКОЛЬКО СЧАСТЬЯ В ДЕРЕВЬЯХ!.. (212).— Игорь Золотусский. КНИГА О СЕНТ-ЭКСЕ (213).— П. Николаев. ВОЗМОЖНОСТИ РОМАНА (216).— ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ? (202, 206)	

### МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

В. Апатов, Н. Ушатиков. В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД.— Надежда Вентова. В ДАР НАРОДУ.— Герман Малиничев. ТРИ КОЛОСА ВМЕСТО ОДНОГО.— Евгений Лидин, С. Разгонов. КОЖАНАЯ КУРТКА . . . . .	217
---	-----

### УС (УЛЫБКА СТОЛИЦЫ)

Геннадий Семенихин. КОСМИЧЕСКИЕ УЛЫБКИ. Николай Журавлев. ПАРОДИИ.— БАЛКАРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ. Перевод Н. Гребнева.— МЕЖДУ ПРОЧИМ . . . . .	221
--	-----

На нашей вклейке:

С фотовыставки «СЕМИЛЕТКА В ДЕЙСТВИИ»

Н. Прозоровский. ИЗ ОДНОГО ОКНА. Фотографии

---

На 1-й стр.— МОСКВА. НАБЕРЕЖНАЯ МОРИСА ТОРЕЗА. Фото Д.м. Бальтерманца.

## Мемориальная доска

В окаменевший берег хата  
Вросла на четверть этажа.  
Она в реку подслеповато  
Глядится, окнами дрожа.

Мастеровой народ привычно,  
Как весь окраинный квартал,  
Отсюда шел на зов фабричный,  
Здесь трудный век свой коротал.

Но лабиринт хибарок тесный  
С землей сравняла жизнь сама  
И устремила в поднебесье  
Многооконные дома.

А ту хибару сохранила  
И увенчала на века  
Сплетением кварцевых прожилок  
Мемориальная доска.

Она рассказывает миру  
Горящим золотом строки:  
Конспиративную квартиру  
Держали тут большевики.

И здесь, за стенами глухими,  
Октябрь готовили борцы.  
Перед хибарами такими  
Дрожали троны и дворцы

## Починки

Не вспомнит и набольший старожил:  
Кто первый бревенчатый сруб заложил;  
Не скажет согбенная бабка тебе:  
Кто первый в курной родился избе.  
Но каждому встречному ясно как день:  
Починки — исконная мать деревень.  
Отсель расселял работяга-топор  
Кладово, Залесье, Кобылино, Бор.  
Оратай и плотник, когда он почил?  
Бог весть...  
Но его подхватили почин

Потомки, чья хватка острее топора,  
Горжусь зачинателями добра!  
Их многожды-много...  
Но трижды горжусь  
Октябрьским почином,  
Возвысившим Русь!  
...Считаю ступенькой  
В победном строю  
Починки —  
Лесную деревню свою.

## Вдова

Неторопливо рюмку допила,  
Отставила на краешек стола  
И как бы ненароком нас, женатых,  
Чуть захмелевшим взглядом обожгла.

И в целом свете нет ничьей вины,  
Что все в нее мы были влюблены.  
Но дождалась она не наших сватов.  
А их пославший не пришел с войны.

Запели песню, и она поет.  
Ее смешит соленый анекдот.  
Я заглянуть в глаза ей попытался,  
А в них тоска, как многолетний лед.

Тоску не плавит праздничная речь.  
Пусть дома ждет натопленная печь,  
Ах, как же знобка будет после вальса  
Подушку одиночества стеречь!

Зайди к ней в дом,—  
И по селу молва:  
На семьи покушается вдова!  
Косятся жены взглядом налитым,  
Ей cedят, встретаясь,  
Тусклые слова.

Чтоб ни ее, ни жен не обижать,  
Никто вдову не вышел провожать.  
Молчим.  
И друг на друга не глядим,  
Друг друга стали меньше уважать.

Она идет в завьюженную ночь  
От песен прочь.  
От нашей дружбы прочь.  
Идет одна,  
укутавшись платком.  
А мне ни пить,  
Ни песен петь не в мочь...

## Дорога

Дорога выведет к подножью,  
А на горах, как ни крути,  
И до сих пор по бездорожью  
Ведут кратчайшие пути.

Пускай потом по ватерпасу  
Бетон ложится под столу:  
Где землемеры тянут трассу,  
Народ давно пробил тропу.

## Полустанок

Мне говорили: лик пустыни,  
Едва сей грозный мир возник,  
Был полон гнева и гордыни,  
Еще досель он прям и дик.

И на последнем полустанке  
Я и не думал, не гадал,  
Что всюду встречу след стоянки,  
Жилье, дорогу и канал,

Что, испокон веков хранима,  
Не исчезает никогда  
Примета быта — запах дыма,  
Знак изначального труда.

## Дома

Здесь все светло, пространственно  
и звонко,  
Как утварь из фаянса и стекла.  
Один ледник, как круглая солонка,  
Другой ледник, как чашка молока.





Шараф Рашидов

# МОГУЧАЯ ВОЛНА

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## I

Пулат прибыл на стройку ранним утром и первым делом постарался разыскать Халила-ата. Это не составило особого труда — старика здесь все знали, и первый же встречный показал, как пройти к кузнице.

Кузница находилась в большом, полутемном сарае, обнесенном закопченным дувалом, близ Каттасая, горной быстрой речки, впадавшей в Сыр-Дарью.

Пулат заявился в кузницу прямо с вещами: перетянутой ремнями скаткой с одеялом и ватником и фанерным вместительным чемоданом, в который Хайри уложила кое-какую одежду и всякую мелочь.

Его оглушил гулкий звон большого молота, отдающийся во всем теле. На стенах качались багровые отсветы огня, над наковальней при каждом ударе взлетали веселым фейерверком искры. Халил-ата и его товарищи, занятые работой, не обратили внимания на Пулата. Их лица, озаренные мерцанием искр и пламенем горна, казавшиеся отлитыми из красной меди, то вспыхивали, то гасли...

Немного освоившись, Пулат опустил вещи на земляной пол и позвал:

— Амаки!

Халил-ата обернулся, лицо его просияло. Он отложил молот, вытер руки о кожаный фартук и резво засеменил к Пулату.

— Сынок! Приехал...

Они крепко обнялись, расцеловались. Кузнецы и подручные, продолжая работать, с благожелательным любопытством поглядывали на Пулата.

— Как Бахор-то обрадуется! — сказал Халил-ата.

---

Окончание. Начало — в № 7

— А... где она? — несмело спросил Пулат.

— Да небось с девчатами. На Каттасае.

— А не в библиотеке?

— Что там днем-то делать? Весь народ на работе,— старик досадливо поморщился.— Сынок, разговор в кузнице подобен беседе глухих. Наша работа громкая. Пойдем-ка на волю! — И крикнул остальным: — Я скоро вернусь — только гостя устрою!

Они вышли во двор, заваленный кетменями, лопатами, какими-то колесами и металлоломом. Халил-ата пожаловался:

— Ох, сынок, голову некогда почесать! Народ-то неопытный, навезли с собой всякого старья. Что ни день — то кетмень сломается, то лопата. Вот чиним, латаем, а инструмента все одно не хватает.

— Вы, значит, решили остаться на стройке?

— Остаемся, сынок, остаемся! — оживился старик. Они шагали к трассе канала через свежую вырубку, на месте которой еще недавно рос редкий лесок.— Хотим дожидаться, когда в этой пустыне зажгутся огни Галабагэса. Иначе какой же интерес... А вот и наш дворец!

Они остановились перед одной из землянок, вытянувшихся вдоль дороги, которая вела к будущей плотине Галабагэса. Землянку не сразу можно было приметить — виднелся только ее глинобитный купол с дымовым отверстием и подслеповатым окошком. Халил-ата и Пулат спустились по земляным ступенькам вниз. В жилье старика было еще темней, чем в кузнице. Лишь немного привыкнув к полумраку, Пулат разглядел посредине землянки старый ковер, на нем — керосиновую лампу с черным от копоти стеклом, у стены — тощий тюфяк, брошенный на солому, немудреное ложе Халил-ата. Угол, где спала Бахор, был отгорожен от остальной части землянки плотной мешковиной — там стояла кровать из трех досок, больше похожая на скамейку.

— Это нам Тураханов устроил,— сказал Халил-ата.— Ты погоди, я сейчас приду.

Он ушел куда-то — наверно в столовую, потому что вскоре появился, неся в руках миски, наполненные дымящимся, жирно лоснящимся пловом. Пулат проголодался с дороги. Они ели быстро, молча, и только когда опустошили свои миски, Халил-ата, обмакивая лепешку в жир, оставшийся на дне, сказал:

— От нашего воздуха, знаешь, как аппетит разгорается! Едим, едим, а брюхо все бурчит, будто ни росинки в него не попало!

Пулат засмеялся:

— Я еще не надышался вашим воздухом, а уже целую миску умял!

— Поработаешь на свежем воздухе — и блюдо запросто сможешь осилить!

Старик сходил за чаем. Прихлебывая кок-чай из фарфоровой пиалы, Пулат поинтересовался:

— Всегда тут такой вкусный плов?

— Когда как... Сейчас подвезли продукты. Завхоз у нас... ледящий такой, а хитер как лиса. Как только Акрамхан его держит!

— Может, потому и держит.

— Сынок, сынок!.. — Халил-ата сокрушенно покачал головой.— Не суди о человеке, пока пуд соли с ним не съешь!..

— Атаджан! Когда же мне на работу? — перевел Пулат разговор на другое.— Я готов хоть сейчас. Не думайте, я не устал. Вот лопаты и кетменя у меня нет...

— Снабжу по знакомству! — добродушно улыбнулся Халил-ата.— Да ты не торопись. Сперва стройку посмотри. Такие у нас чудеса творятся — во сне не увидишь. Народу-то съехалось — не сосчитать, и кого только нет! А как работают — богатыри! Ты походи, посмотри — от

этого только сила в руках прибавится. Э, что ж это ты чай-то не допил? Вот и Бахор так — выпьет полпиалушки, и бежать!

У Пулата прервалось дыхание, когда он снова услышал имя Бахор. Увидеть бы ее поскорей, поговорить с ней!

Халил-ата словно угадал его мысли.

— Давай, сынок, сделаем так... Мне на работу пора, мы еще вечером увидимся. А ты пока пойди к девчатам — Бахор наверняка там, она тебе все и покажет. Пошли, сынок, это недалеко, рукой подать.

Девушки-электросварщицы, подруги Бахор, работали на «турахановском» участке, там, где сооружалось бетонное русло деривационного канала — оно должно было пройти над Каттасаем.

Халил-ата довел Пулата до этой речушки, распрощался с ним и зашагал к кузнице.

У Пулата, когда он представил себе, что вот сейчас, через минуту, увидит Бахор, ноги словно приросли к земле. Он сам удивился неожиданной своей робости — прежде никогда такого с ним не случалось, — но тут же разозлился на себя и решительно двинулся вперед, к бледно-голубому свету электросварки.

Бахор сидела на корточках возле девушек, сваривавших железную арматуру, и сквозь закопченное стекло внимательно, увлеченно наблюдала за их работой. На ней было простенькое ситцевое платье, из-под него выглядывали старенькие сапожки, на косах, венцом уложенных вокруг головы, пламенела красная косынка. Пулат замедлил шаги и все смотрел, смотрел на Бахор, словно видел ее впервые... Ее черные волосы блестели под утренним солнцем, и ему чудилось, будто вся она окружена нестерпимым сиянием. И в то же время ее маленькая согнутая фигурка была такой трогательной, что у Пулата защемило сердце... Но наваждение тут же исчезло: перед ним была Бахор, какой он знал ее много лет, — его школьный друг, соседка, и Пулат испытывал теперь лишь радость от встречи с ней, хотя несколько дней назад совсем по-иному рисовал себе эту встречу...

— Бахор! — крикнул он.

Девушка обернулась, вскочила на ноги, замерла, вглядываясь в Пулата, — казалось, она так же, как недавно Пулат, не в силах сдвинуться с места. Но вот ее лицо озарила улыбка, и Бахор кинулась навстречу юноше:

— Пулат!.. Приехал!..

Вот-вот они бросятся сейчас в объятия друг к другу, но они только сильно трянули друг другу руки. Не выпуская пальцев Пулата, Бахор потянула его за собой.

— Знакомься, это мои подруги, я тебе о них писала!

Девушки, прервав работу, с любопытством поглядывали на Пулата. Они были одеты в грубые брезентовые штаны и куртки, что, конечно, не красило их, и сначала они показались Пулату похожими одна на другую.

Бахор подвела Пулата к первой из девушек:

— Зульфия!

И та с достоинством, сохраняя серьезный, даже строгий вид, протянула Пулату сложенную лодочкой ладонь.

— Надя, — сказала Бахор. — Из Брянска.

Надя, круглая, румяная, как пышка, фыркнула в кулак, здороваясь с Пулатом. Пожатые ее маленькой руки было таким неожиданно сильным, что Пулат, тоже засмеявшись, потряс онемевшей кистью. Это еще больше развеселило Надю. Бахор с притворной укоризной покачала головой и представила Пулату третью девушку, татарку, тоненькую и совсем молоденькую, — на вид ей можно было дать от силы лет пятнадцать.

— А это Амина. Наша младшая сестренка, ей всего семнадцать!

Амина покраснела; потупив взгляд, неловко сунула Пулату ладонь и тут же отдернула ее, словно обжегшись.

И эту бригаду, как рустамовскую, по праву можно было назвать «интернациональной». Оно и неудивительно: в Узбекистане живут представители шестидесяти национальностей. В целинных совхозах, на заводах и фабриках, в школах и институтах бок о бок работают и учатся дети многих советских народов. А на Галабастрое трудились, как одна дружная семья, узбеки, таджики, русские, украинцы, казахи, киргизы, татары, армяне. И семье этой щедро помогли Москва и Ленинград, Баку и Алма-Ата. Ведь все, что у нас строится,— строится общими силами. И каждая наша победа — чудесный плод великой дружбы.

Пулата Бахор почему-то не назвала девушкам — они, видно, и так были о нем наслышаны.

— Надеюсь, Пулат, и ты с ними подружишься,— сказала Бахор.

Девушки принялись за работу — они не хотели мешать подруге и ее гостю. Бахор и Пулат отошли на сторонку. Пулат сказал:

— Ты в письме обещала показать мне стройку. Показывай! Халил-ата вручил мою судьбу в твои руки.

— И правильно сделал,— одобрила Бахор.— Лучшего экскурсовода тебе не найти — я тут каждую травинку знаю! За эти месяцы исходила стройку вдоль и поперек.— Она повернулась к подругам: — Встретимся на концерте! — и сияющими глазами взглянула на Пулата.— Как хорошо, что ты приехал! Пошли!..

Она, и правда, чувствовала себя на стройке как дома. И ее многие знали — с ней приветливо здоровались и юноши, и старики, и дети. Она рассказывала Пулату обо всем, что попадалось ей на глаза, со знанием дела и с искренним восторгом — это была ее стройка, и она гордилась успехами строителей как своими.

На попутных машинах они добрались вдоль деривационного канала до котлована, где должна была вырасти будущая гидростанция. Строительство ГЭС только еще начиналось, но уже закладывался поселок галабастроевцев и будущих эксплуатационников. Чья-то заботливая рука посадила деревья на будущих улицах и в садах будущего поселка.

— Смотри! — удивился Пулат.— Уже и сады.

— Тут людям жить,— пояснила Бахор.

Пулат задумчивым взглядом окинул котлован, пытаясь представить, как будет выглядеть гидростанция.

— Вот бы где работать! После войны,— сказал он.— Помнишь, Бахор, мы смотрели фильм о Днепрогэсе? Красота какая! По-моему, при коммунизме везде так будет. Такая культура труда!

Бахор краешком глаза глянула на Пулата — совсем как взрослый рассуждает! Да, он повзрослел за последние месяцы. Похудел еще больше, но возмужал, окреп. Молодчина, Пулат!

Она потянула его за рукав:

— Поехали, тут смотреть пока не на что!

Пересаживаясь с машины на машину, они продвигались вдоль трассы канала по направлению к головному сооружению.

Рабочий день был в разгаре. На дне канала полно народу. Сверкая под лучами осеннего солнца, взлетали и опускались кетмени и лопаты, будто всплески серебристой воды. Большинство колхозников убирало из русла вынутый грунт: одни насыпали его на носилки, в тачки, мешки и хурджуны, другие таскали, возили на берег, нагромождая на всем протяжении русла высокие отвалы, которые тянулись зубчатой грядой.

Пулату предстояло трудиться рука об руку с этими людьми, и он с жадным интересом следил, как споро, быстро они работают. Ему словно передан их энтузиазм, даже руки чесались — так хотелось, не меш-

кая, взяты за лопату и бросать, бросать землю, чтобы все глубже становилось русло, все выше неровная гряда на берегу.

Но Бахор увлекла его за собой. На одном из участков они увидели небольшой экскаватор. В то время техники на стройке было мало — она была нужней фронту и районам, пострадавшим от оккупации. Пулат, остановившись неподалеку от экскаватора, смотрел на него во все глаза. Машиной управлял молодой парень, судя по старому кителю с голубыми выцветшими петлицами — бывший летчик. Повинуясь его воле, стальной ковш экскаватора яростно вгрызался в землю, рвал острыми зубьями твердый грунт, медленно, как бы с натугой, поднимался, поворачивался и, будто со вздохом облегчения, высыпал грунт в поджидающие возле грузовики. Пулат не удержался от завистливого восклицания:

— Здорово! Вот бы на такой штуке поработать!

— Пулат, Пулат! — рассмеялась Бахор. — Ты так разорвешься! Всюду хочешь успеть.

— Ну и что? Представляешь, если бы весь канал рыть такими машинами! Мы бы тогда быстро управились.

Вскоре они приблизились к месту, где начинался канал. Здесь полным ходом шла подготовка к строительству головного сооружения, предназначенного для управления потоком воды, который устремится по каналу. Рядом возводилась малая ГЭС для нужд Галабастроа, а на Сыр-Дарье — перемычка, освобождавшая от воды правобережную часть реки. Поперек Сыр-Дарьи предстояло в будущем поставить мощную плотину для регулирования уровня воды в реке и равномерного обеспечения деривационного канала. Бахор объяснила, что когда плотина будет построена, перемычку разрушат, открыв путь воде.

Пулата особенно заинтересовала малая ГЭС — тут велись бетонные работы, и он уж хотел было поделиться с Бахор новой своей мечтой: трудиться именно здесь, на строительстве малой ГЭС. Но вспомнил, как смеялась Бахор над быстрой сменой его желаний, и промолчал. Бахор между тем рассказывала:

— Знаешь, кто тут работает? Знаменитая бригада Никитина — вот уж мастер, всем мастерам мастер! А еще есть у них Бохадыр-ата, старик, лучший бетонщик на стройке. Ты еще о них не раз услышишь, Пулат! Ты ведь тоже бетонщик? Может, хочешь поработать в бригаде Никитина?

Пулату показалось, что в глазах Бахор мелькнули лукавые огоньки, и он нахмурился:

— Скажи по-честному, где у вас трудней всего?

— Рыть канал — трудней всего.

— С этого и начну. Зачем мне от земляков отбиваться? Поработаю, как все. А там видно будет...

Обратно они шли берегом Сыр-Дарьи. Бахор показала на противоположную сторону реки:

— Видишь, дома строят? Там будет металлургический завод. Через десять лет мы эти места и не узнаем!.. — И вдруг озабоченно спросила: — Ты не проголодался?

Пулат отрицательно мотнул головой.

— Как же, ты скажешь! Давай, знаешь, где пообедаем? На берегу речки. Я там одно место знаю. Как на нашем Бахмале! Даже вяз растет, — и тихо, смущенно призналась: — Я часто туда хожу... Пойдем? Только захвачу кое-что из дома.

Когда они подходили к землянкам, Пулат обратил внимание на красавшийся близ дороги аккуратный домик.

— А там кто живет?

— Акрамхан-ака... — Она обернулась к Пулату: — Вот чего я не по-

нимаю, Пулат. Он пользуется таким уважением. Его участок всегда выполняет план, держит переходящее знамя. Тураханова всем в пример ставят, честное слово! А тут... этот штаб...

— Штаб?

— Да, так у нас называют этот дом. Смешная история! Когда-то в нем геологи жили. Акрамхан-ака приехал и стал требовать, чтобы дом ему отдали. В управлении согласились. И как только он там поселился, его помощник, наш завхоз Махсумча, водрузил над входом вывеску: «Штаб уполномоченного райкома товарища Тураханова». Смеху было! Акрамхан-ака понял, что глупо все это выглядит, и распорядился снять вывеску. Но до сих пор, по старой памяти, мы этот дом называем штабом. Видел бы, какие там дорогие ковры... Две комнаты...

— Ты... и внутри успела побывать?

— Опять ты за свое! — гневно воскликнула Бахор. — Как тебе не стыдно? Он ко мне — как к дочери, а ты... Как ты плохо обо всех думаешь! Он добрый, скромный.

— Скромный! — усмехнулся Пулат. Он взглянул на Бахор. В ее наивных родных-родных глазах были обида, недоумение. И Пулату стало не по себе: как посмел он причинить ей хоть крошечную боль! Он дотронулся до ее руки: — Ладно, Бахор. Не будем об этом... Вот и ваша землянка! Я ее сразу узнал.

Взявшись за руки, они побежали к землянке.

Бахор на несколько минут спустилась в нее и вскоре появилась с узелком, в который завернула лепешку, немного вареного мяса, лук, помидоры, соль. Она повела Пулата к своему излюбленному местечку под раскидистым вязом, неподалеку от впадения Каттасая в Сыр-Дарью. Берег там мягко выгибался и образовывал как бы естественную супу, покрытую зеленым травяным ковром, — трава была густая и сочная, как на берегах Бахмала.

— Смотри, Пулат! — сказала вдруг Бахор.

Она стояла перед большим камнем, придавившим в траве скромные голубые цветы. Они выглядывали из-под камня, словно взывая о помощи. Пулат взглянул на Бахор, нахмурился, шагнул к камню, нагнулся, приноравливаясь, как ухватиться за него. Юноша напряг мускулы, на шее вздулись жилы, он оторвал камень от земли, толкнул его — и тот скатился в воду. Раздался сильный всплеск. Пулат тыльной стороной ладони вытер пот со лба, смущенно улыбнулся. Бахор бережно выпрямила цветы, засыпала корни рыхлой землей. Вскочив на ноги, захлопала в ладоши:

— Какой ты сильный, Пулат! Я пыталась сдвинуть его с места — куда там! Ты настоящий богатырь!

— Если б не ты... — тихо сказал Пулат.

— При чем тут я? Разве я опрокинула камень? Не скромничай, Пулат. Ты... сильнее всех!

Щеки юноши зарозовели, он низко наклонил голову. В груди его пела радость: Бахор похвалила его, она не умеет кривить душой, она вправду считает его сильным! Он и сам ощущал сейчас в себе богатырскую силу — лежи тут сотня таких камней, он все скинул бы в воду, только бы услышать похвалу Бахор!..

Они уселись на берегу. Девушка развернула узелок, расстелила на траве прихваченную из дома скатерку. Но только они приступили к скромной трапезе, как за спиной послышались шаги и чья-то рука легла на плечо Бахор:

— Приятного аппетита, молодые люди!

Бахор и Пулат обернулись и поспешили подняться. Перед ними, улыбаясь, стояли двое мужчин. Одному, русскому, было лет пятьдесят.

Он уже начал сесть, лицо его в резких морщинах, коричневое от загара, прокаленное ветрами и солнцем, было молодежливое — его молодили синие глаза. Такой чистой, пронзительной синевой светятся глаза детей да наше небо, и как-то чуждо выглядели на этом лице очки в металлической оправе. Спутник этого человека был чуть повыше ростом: благородной осанки старик с белой, пышной, завивающейся в кольца бородой, как у древних мудрецов или у поэтов на потемневших от времени портретах, с черными глазами, крепкими белыми зубами и бронзовой, почти без морщин, кожей. А те морщины, что были, свидетельствовали не столько о тяготах прожитой жизни, сколько об испытанных стариком радостях, — это были следы многих улыбок; улыбка и сейчас лучилась в уголках его глаз и губ.

— Салам, товарищ Никитин! Салам, Бохадыр-ата! — звонко и радостно сказала Бахор.

— Салам, кизым<sup>1</sup>! — по-узбекски ответил Никитин и пытливо посмотрел на Пулата. — Салам, углым<sup>2</sup>. Ты, видать, недавно приехал?

— Сегодня утром.

— Он приехал добровольцем, товарищ Никитин! — с гордостью сообщила Бахор.

Бохадыр-ата улыбнулся в белую бороду:

— А я гляжу — что-то тебя нет с нашими мастерами электро-сварки... Мы как раз от них — просили, чтобы они у нас немного поработали. Мало еще у нас таких чудесниц...

— Я тоже выучусь на электросварщицу! — взволнованно проговорила Бахор. — Увидите, выучусь! Меня девушки обучают. — Только теперь она заметила улыбку старика и торопливо принялась объяснять: — Это — Пулат. Мы с ним из одного кишлака, вместе учились в школе. Мы давно дружим.

— Вижу, что дружите. — Никитин кивнул на скатерку: — Уж, наверно, пуд соли-то съели вместе?

— Садитесь с нами! — гостеприимно предложила Бахор.

— Спасибо, дочка, некогда! — Никитин протянул им руку. — Свидимся еще... На концерт-то собираетесь?

— А как же!

Когда Никитин и Бохадыр-ата ушли, Пулат спросил:

— О каком концерте вы говорили?

— О, тебе повезло, Пулат! К нам из Ташкента приехала Халимахон! Сегодня вечером ее выступление.

— Халимахон?

Пулат не раз слышал по радио песни прославленной певицы, но видеть ее ему еще не доводилось.

— Да, Халимахон! К нам сюда и артисты приезжают, и ученые, и писатели, и художники. Это же народная стройка!

...Вечером Пулат вместе с Бахор и Халилом-ата пошел на концерт.

Сцена — простой деревянный помост — была установлена на дне будущего канала. По бокам, освещая ее, ярко горели костры. Тысячи зрителей — строителей Галабагэс — разместились на берегу и на земляных отвалах. Они пришли в рабочей одежде, но вид у всех был праздничный. Один за другим выступали известные артисты, гордость республики. Зрители выражали свое одобрение шумными аплодисментами. И Пулат смотрел больше на них, чем на сцену, — ведь это им дарили артисты свой талант, для них танцевали и пели. Он пока еще чувствовал себя на этом концерте гостем — не хозяином. Но скоро и он завоеует

<sup>1</sup> Кизым — дочка.

<sup>2</sup> Углым — сынок.

почетное право называться строителем Галабагэс и, придя на концерт, как должное примет предназначенные для славных тружеников чудесные, бесценные подарки: песню, танец, музыку, стихи...

Последней вышла на сцену Халимахон. Аплодисменты вспыхнули с такой силой, что Пулату почудилось, будто на чистом небе испуганно вздрогнули звезды.

Просторное атласное платье певицы переливалось всеми цветами радуги, на шее, на запястьях рук сверкали мониста и браслеты. Она спела несколько старых народных песен, а потом сошла со сцены, приблизилась к строителям, сидевшим в первых рядах, и запела о героях стройки — знатных бетонщиках Никитине и Бохадыре-ата. Это был гимн труду. Пулат слушал как замороженный, каждая жилка в нем напряглась, а сердце преисполнилось чувством гордости: он ведь знаком с героями песни — они сегодня разговаривали с ним как равные с равным, и только от него зависит быть достойным их уважения!..

После концерта Халил-ата и Бахор проводили Пулата в находившееся неподалеку от их землянки общежитие, где ему теперь предстояло жить, — старый кузнец еще днем позаботился о крове для своего юного гостя. Это тоже была землянка, слабо освещенная тусклой керосиновой лампой.

Пулат, уставший от впечатлений дня, растянулся на тюфяке, принесенном Халилом-ата, но долго еще лежал с открытыми глазами. В ушах у него все звенела песня Халимахон, прославлявшая труд, звавшая на подвиг.

## 2

Утром Пулат вышел на трассу канала.

Тураханов, уехавший в район с группой колхозников, выполнивших свою норму, еще не вернулся. Людей на участке оставалось мало, и прораб встретил Пулата с распростертыми объятиями. Он вызвал завхоза, которого все называли Махсумча, и велел ему включить добровольца-строителя в продовольственный список.

Пулат так и не понял: Махсумча — имя или прозвище? Звали бы его просто Махсумом — Пулат не удивился бы. Но это неуважительное — Махсумча... Он вспомнил, что такое имя было у героя одной пьесы, и оно полностью соответствовало всему его неприглядному облику. Каков-то этот Махсумча? Маленький, тщедушный человечек со сморщенным, как моченое яблоко, лицом, усеянным веснушками, с подострастным, заискивающим взглядом бегающих глаз. Впрочем, вид у него был деловитый: на боку болталась потрепанная полевая сумка, за ухом торчал карандаш. Выслушав наказ прораба, он оценивающе взглянул на Пулата, кивнул и ушел быстрой семенящей походкой.

Пулату не терпелось приступить к работе, и, когда Халил-ата торжественно вручил ему новехонькую, изготовленную в кузнице лопату, глаза юноши вспыхнули.

— Хорманг, сынок! — пожелал ему Халил-ата.

Пулат бросил на него благодарный взгляд. Он долго, любовно разглядывал лопату, потом вскинул ее на плечо и заторопился к каналу. «Огонь-парень! — одобрительно подумал Халил-ата. — Весь в отца. Доброго здоровья тебе, сынок!»

Пулат ринулся в работу, как в битву. Ему не привыкать было рыть землю, таскать носилки, возить тяжелые тачки. В совхозе он успел освоиться с этой работой, а сознание, что он, наконец, добился своего и его труд слился с трудом героев-галабастроевцев, придавало ему сил и бодрости. Перед его мысленным взором стояла величественная картина стройки. Недаром же говорят в народе, что светлая цель и доброе

намерение служат человеку путеводной звездой, а надежда — это родник, освежающий душу.

Конечно, так думал и Пулат, было бы куда лучше, если бы на помощь строителям пришли машины. Труд вручную — тяжкий, изнурительный. Но это был труд во имя победы и жизни, во имя расцвета и счастья Родины, и каждый взмах лопаты и утомлял, и бодрил. А если еще утром радио приносило хорошие вести с фронта, то строители принимались за работу с каким-то особым вдохновением и удалью. Дружная песня победным стягом взвивалась над каналом.

К вечеру Пулат, как и все колхозники, выбивался из сил. В общежитие он возвращался усталый и счастливый.

С Бахор он почти не виделся. Она работала вечерами, он — днем. Придя домой, он заваливался спать. По ночам иногда просыпался и долго не мог уснуть — ведь совсем рядом, в соседней землянке, спала Бахор. Казалось, он слышал ее легкое дыхание, и сердце до краев наполнялось сладким волнением, тревогой и нежностью — какие сны ты видишь, Бахор?.. Спи спокойно, Бахор!..

Он и на работе ощущал ее присутствие — ему чудилось, что она наблюдает за ним, и он старался не ударить перед ней лицом в грязь. О, сколько же строгих, дружеских глаз смотрело на него, когда он работал! Глаза Бахор и ее подруг, отца, матери, Рустама, Никитина, Бохадыра-ата... Глаза Родины. И под этими взглядами он забывал об усталости. Он радовался, когда работа спорилась, радовался, ловя одобрение в глазах тех, кто смотрел на него, и тяжело переживал каждую заминку. Он был требователен к себе — ведь это он сам смотрел на себя глазами близких или глубоко уважаемых людей.

Вскоре на строительство прибыла новая партия бахмальцев. Тураханов задержался в районе.

На участок пришел агитатор — побеседовать с вновь прибывшими. Беседа проходила на берегу канала в конце обеденного перерыва. Агитатор примостился на отвале, чтобы всем его было видно; колхозники расселись перед ним прямо на земле.

В агитаторе Пулат узнал Анвара и обрадовался, увидев его. Но тут же он вспомнил о «предательстве» Анвара и насупился.

Обида, впрочем, не помешала ему слушать с жадным вниманием. Анвар и на этот раз говорил просто, сдержанно. Но именно потому, что он избегал громких фраз, слова его проникали глубоко в душу, задевали самые заветные ее струны. Он делился со строителями своими воспоминаниями о битве на Волге.

— Там мы за каждую высоту зубами цеплялись, — говорил он, — лишь бы не отдать ее фашистам. На одной из таких высот, попросту говоря, на холме, окопался взвод младшего лейтенанта Егорова. Захвати эту высоту фашисты — все наши части оказались бы у них на виду. Ее надо было удержать во что бы то ни стало. А как удержишь? Защитников раз, два — и обчелся, подкреплений ждать неоткуда — войска, дравшиеся за город, были сильно потрепаны...

Анвар рассказывал, что бой за высоту шел больше трех недель. Фашисты не раз кидались на холм, но взвод Егорова отбивал все атаки. Понесла большая потеря, фашисты однажды утром обрушили на холм ураганный огонь пушек и пулеметов. Наши поняли: фашисты готовятся к решительному штурму. Зарылись с головой в землю. Мины, снаряды градом сыплются на холм, а из наших окопов ни единого выстрела. Гитлеровцы решили, что всех перебили, и ринулись в атаку. Они уже торжествовали победу, но у самого подножья холма попали под яростный обстрел. Из надежных укрытий их поливали свинцом пулеметы, косили меткие пули снайперов, затаившихся в искусно замаскированных засадах, и фашисты откатились назад. Наступил вечер. Пользуясь

темнотой, они бросили к холму танки. Но только начали танки взбираться по склону холма, как в них полетели противотанковые гранаты, бутылки с горючей смесью. Егоров переходил от бойца к бойцу, подбадривал их, отдавал короткие распоряжения. Ему и самому удалось поджечь один из танков. Ночь упала на землю, тревожная, полная огня и грозного гула.

Но вот сквозь грохот боя до наших солдат донеслись пьяные крики. Снова к холму поползли танки — каждый облеплен фашистами, как банка варенья мухами. За танками двигалась пьяная пехота. Егоров позвонил в штаб, доложил обстановку. Штаб обещал прислать подкрепление. Егоров от имени всех своих солдат поклялся отстаивать высоту до последней капли крови, пока не подойдет помощь... Танки подходили все ближе, ближе... Целая туча! Один из них пулеметной очередью сразил нашего пулеметчика, но на его место тотчас встал другой. Вскоре был убит и он. Один за другим падали бойцы, и вот наступил момент, когда взвода больше не существовало. Погиб взвод. Уцелел один командир. Лицо у него почернело и словно бы сохлось. Он перебежал от пулемета к пулемету, перешагивая через трупы товарищей, не давал фашистам приблизиться к окопам. Начало светать. Егоров слышал стоны раненых, да и сам был весь изранен, но он жил и сражался — ему просто нельзя было умирать до подхода наших частей. Вот упал и он, — будто сквозь сон услышав громкое «ура!» Это пришло подкрепление. Последнее, что он увидел в дымном воздухе над собой, — развевающееся алое знамя. Оно было густо-красного цвета, словно впитало в себя всю кровь, пролитую за то, чтобы победно и гордо реять на этом холме.

— Егоров навеки закрыл глаза, — говорил Анвар, — но он навеки остался жить в сердцах солдат, бывших свидетелями его героической смерти. У солдат, прибывших на подмогу, потемнели лица, и руки сжались в кулаки, когда они увидели, что повсюду лежат убитые да тяжелораненые. Взвод стоял насмерть и погиб, ценой крови своей удержав высоту!

— Слушай, агитатор, — крикнул кто-то из строителей, — должно быть, среди раненых-то и ты был?

— Ну; это... неважно! — досадливо отмахнулся Анвар и продолжал: — Ох, и страшна была месть наших воинов! Они выбили фашистов из окопов, погнали их дальше. А отважных защитников высоты похоронили тут же, на холме. Прогремел прощальный салют. Солдаты стояли у братской могилы, низко склонив головы. По щекам генерала, командующего дивизией, текли слезы, и он не стыдился их. Плакал комиссар — партия потеряла верных своих сыновей. Да, это были сыновья партии, хотя у многих не было партийных билетов...

Голос Анвара звучал приглушенно, но каждое его слово западало в душу колхозников. Он взглянул на притихших слушателей, встал, шагнул вперед:

— Мы, друзья, в неоплатном долгу перед тысячами наших братьев, спящих вечным сном в отвоеванной у врага земле. Могилы их порой безыменны, но мы поставим им прекрасные памятники: новые города, заводы, электростанции! Мы должны так трудиться, чтобы наши братья на фронте знали: не зря проливают они свою кровь — они защищают светлое будущее Родины, будущее, которое строит героический советский народ!

В эту минуту мощный гром, словно салют в память павших, прокатился над стройкой: это стали взрывать скалы.

Взрыв послужил как бы сигналом к началу работы. Колхозники двинулись к каналу. Анвар некоторое время смотрел в ту сторону, от-

куда доносились раскаты взрывов,— они отдавались в его сердце грозным гулом былых сражений...

Потом он сбежал на дно канала, попросил у сухопарого, белобородого старика лопату — «вы пока отдохните, ата!» — и с размаху вонзил ее в землю...

Молодец, Анвар!.. Я знал, что ты не утратишь — придешь к людям, чтобы поработать наравне со всеми. Помнишь, ты как-то сказал: «На фронте, кто агитирует — первым поднимается в атаку». Ты и сам всегда следуешь золотому этому правилу.

Ты прост и скромн — в своем сегодняшнем рассказе ты ни словом не обмолвился о себе, хотя откуда бы тебе знать все, о чем ты рассказывал, если бы ты сам не сражался в рядах защитников непокоренной высоты?..

Все, что ты делаешь, ты не считаешь подвигом, не ждешь ни похвал, ни наград. Лучшая награда для тебя — сознание, что ты живешь, как надо, и воевал, как положено, что есть от тебя польза и стране твоей, и твоим друзьям. Грудь твою не украшают боевые ордена, о тебе не писали в газетах, и поэты не сложили о тебе вдохновенных песен. Но сама твоя жизнь — это песня; твои будни, каждый твой день — это подвиг, подвиг скромности, чуткости и отваги, и пусть он не всем бросается в глаза — пламя ведь тоже бывает ровным, но это все-таки пламя, жаркое, согревающее людей...

Напевая что-то себе под нос, Анвар копал землю до тех пор, пока старик не отобрал у него лопату. Анвар отдал ее с неохотой, но нельзя было обижать старика — взволнованный недавним рассказом, он тоже рвался к работе.

Анвар оглянулся по сторонам, и радостный огонек вспыхнул в его глазах: неподалеку от себя он увидел Пулата.

Пулат не смотрел на Анвара, он, казалось, целиком поглощен был работой. Анвар подивился: почему Пулат не подошел к нему? Или его не было на беседе?

Он не знал, как хотелось Пулату подойти к нему и каким усилием воли подавил тот в себе это желание. Безыскусное повествование Анвара задело его за живое, растравило незатухающую мечту о фронте. Он видел, что и всех захватил рассказ Анвара, видел, с какой самоотверженностью взялись колхозники за работу, и в душе даже гордился былой своей дружбой с Анваром. Он восхищался им, но это был всего лишь бывший друг, а бывшие друзья еще более далеки и чужды, чем даже те, с кем ты еще не успел подружиться... Так думал Пулат и, зажав сердце в кулак, налег на работу. Он вонзил лопату в землю с каким-то яростным остервенением, а когда увидел рядом с собой Анвара, то стал копать еще усердней, стараясь не смотреть на него. Пулата охватил самолюбивый азарт: ты был против того, чтобы я ехал на Галабастрой, ты не верил в меня — так я покажу, на что я способен!

Вдруг над самым своим ухом он услышал обрадованный возглас Анвара:

— Пулат! Дружище! Ты здесь? Вот молодчина!

Не прекращая работать, юноша повернул голову на этот оклик. На минуту его обезоружила открытая улыбка Анвара; однако он тут же принял непрístupный вид: нет, он не позволит себе размякнуть от улыбки бывшего друга!

Не подозревая, какие чувства обуревают Пулата, Анвар хлопнул его по плечу:

— Вот увлекся! Друзей не замечает. Кончай, друг! Перекур!

Пулат глянул на него отчужденно, но копать перестал. Он стоял против Анвара, опираясь ладонями о черенок лопаты, упрямо уставясь в землю.

Анвар почувал неладное.

— Ты что, друг? Даже здороваться не хочешь?

— Здравствуй,— буркнул Пулат, не протягивая руки.

— Лапу, лапу давай! Вот так!— Анвар крепко стиснул вялую ладонь Пулата и, не обращая внимания на его неприветливость, возбужденно заговорил:— А я тебя, сказать по совести, по всей стройке разыскивал! Не мог он, думаю, не приехать— не из таких, чтоб от своей мечты отказаться! А тебя нет и нет. Я уж в догадках потерялся: не струсил ли что с тобой? Был как-то в районе, в твой кишлак заглянул, и там тебя нет. Сказали, в какой-то совхоз уехал.

Пулат исподлобья взглянул на Анвара.

— Погоди,— проговорил он.— Ты же сам...

— Что сам?.. Продолжай, что язык-то прикусил?

— Ты же согласился с Турахановым, что мне не место на стройке!

— Я согласился?— лицо Анвара выражало неподдельное удивление.— Когда это? Ты что-то путаешь, друг. Я как раз старался, чтобы тебя включили в список. И, честное слово, диву дался, не увидев тебя на стройке!

— А как же... Пстой-ка... Он же звонил тебе. Я сам был при этом!

— Ну, звонил... Верно, звонил! Взывал к моей чуткости: мол, Пулат серьезно болен, куда ему на стройку! Я тогда еще с ним сцепился, но он и слушать меня не стал, бросил трубку.

— А мне он сказал... что ты согласен с ним!

Анвар присвистнул:

— Ну, артист! Разыграл как по нотам!— Он дружески обнял Пулата.— Чудило! Выходит, за изменника меня посчитал? Нечего сказать, хорош друг! То-то смотрю,— я к тебе с открытой душой, а ты туча тучей...

— Ты бы и сам на моем месте...

— Ладно, не обижаюсь!.. А с Турахановым будет у меня еще разговор. Мы уж тут не раз лбами стукались...

Пулат уже на чем свет стоит бранил себя за то, что так легко заподозрил друга в предательстве. Он чувствовал себя виноватым перед Анваром, но еще сильнее, чем это чувство вины, было чувство радости: есть, есть на свете настоящая дружба! Она— как солнце: облака могут закрыть его на время, но не погасить.

— Вот что, друг,— озабоченно произнес Анвар.— Мне еще надо к вашим соседям наведаться. Давай встретимся после работы. В вашей столовке. Поужинаем вместе. Идет?

— Спрашиваешь!— Пулат не мог удержать смеха.— Ох, какой я дурак, Анвар! Мама сказала бы: не умеешь разбираться в людях.

— Научись!— Анвар покачал головой, словно удивляясь какой-то своей мысли.— Знаешь, что мне в голову пришло? По совести сказать, хорошие, искренние люди не так проницательны, как подлецы. Уж те-то— настоящие сердцеведы! А?.. Умеют найти слабинку в человеке, чтобы играть на ней. Без этого им не жить. И чтобы бороться с ними, надо быть зорче них. Понял меня?

— Вроде понял...

— Ну, до вечера, друг!

После ухода Анвара Пулат ощутил прилив новых сил, он работал весело, словно играючи.

По окончании рабочего дня Пулат и Анвар встретились в столовой— она размещалась в просторной брезентовой палатке, служившей в ненастную погоду также и клубом.

Внутри было неприятно, сумрачно, от длинных дощатых столов шел какой-то несвежий, кислый запах, смешанный с запахом стирального

мыла, скамейки были неудобные, узкие. Анвар, усаживаясь, потрогал скамью, покачал головой:

— На скорую руку сработано!

— До комфорта ли! — беззаботно отозвался Пулат.

— О комфорте никто и не говорит. Только не следует прощать, а тем более оправдывать трудностями военного времени чью-то безрукость, халатность: от этого они разрастаются, как чертополох!

Пулат принес две миски плохо проваренного плова. Порции были невелики, но друзья долго сидели за столом, занятые разговором. Пулат рассказал о своей жизни в совхозе.

— Ты, значит, бетонщик? — спросил Анвар. — Что ж землю-то роешь?

— Землекопные работы сейчас — самое главное... И самое трудное!

— У бетонщиков, полагаешь, легкая работа?

— Не сравнить же с работой на канале! За день так вымотаешься...

— Подожди! Что же для тебя важнее — больше вымотаться или принести больше пользы?

— Там, где труднее, там от меня и пользы больше!

Анвар рассердился:

— Ты пораскинь-ка мозгами! Ты умеешь делать то, чего не умеют другие. Зачем же ты свое умение, свой опыт бетонщика в землю зарываешь? Тебя обучили специальности, сколько сил, времени на тебя потратили, — так и работай по специальности! Тут только одна мерка годится: не где тебе труднее, а где ты полезней. Или хочешь, чтоб все видели, как тебе трудно? Глядите, мол, какой я герой! Сказать по совести — о себе думаешь, а не о пользе дела!

Пулат не ожидал такого оборота. У него даже глаза округлились от изумления:

— Я?.. О себе?.. Ты что?

— По-твоему выходит, и мне надо взяться за лопату? Это ж, по совести говоря, трудней, чем разговоры разговаривать.

Пулат улыбнулся:

— Ты сегодня и взялся! Сам видел.

— Мало что!.. Не удержался. Но назначен я агитатором и обязан выполнять поручение партии. Так, значит, нужно. А бетонщики-то на стройке еще нужней. Редкая профессия! Объем бетонных работ все увеличивается. Так что ты подумай над моими словами.

— Подумаю. Может, ты и прав...

Анвар поскреб ложкой по дну миски:

— Добавка у вас полагается? Проголодался как собака.

— С едой сейчас туго.

— Верно. Кормят вас неважно. Скучная еда!

— Кормят — и ладно. Не жалуемся...

— Какой неприхотливый! — сердито воскликнул Анвар. — На других участках народ кормят досыта. Колхозы из сил выбиваются, чтоб обеспечить продуктами своих людей на стройке, а вам подсовывают черт знает что. Ты, комсомолец, что сквозь пальцы смотришь на такое безобразие? Ишь, гордую позу принял: не жалуемся!

— А что делать?

— Быть нетерпимым к недостаткам! Я, друг, на фронте все, кроме трусости, готов был простить. Так то — фронт. И то, сказать по совести, не уверен, что так уж я прав был... Самое, друг, последнее дело — в скорлупу свою укрыться, не вмешиваясь в то, что лично тебя не задевает: мол, нас не трогай — и мы не тронем. Но и другое не лучше — когда лично тебе какой-нибудь мерзавец нагадит, а ты помалкиваешь: мол, черт с ним, это ж только меня касается, неудобно — подумают еще, что сводишь личные счёты. А ведь мерзавец — он для всех мерзавец.

И ты запомни: всегда, во все надо вмешиваться, с любой несправедливостью надо бороться, по тебе ли она только бьет, или по другим. Чую: продукты должны быть, присылают их, сколько надо, это точно. Куда ж они испаряются? Ладно, я с этим еще разберусь. По-моему, кто-то тут руки греет. Может, ваш завхоз?

Пулат пожал плечами:

— Кто его знает! Я за ним не подглядываю.

Анвар поднялся, за ним — Пулат. Они вышли из столовой в прохладный звездный вечер. Пулат зябко поежился. Анвар заметил это.

— Давай по домам, друг! Ночи-то все холодной. Гляди простынешь.

— Не простыну, я закаленный!

— Героя из себя не строй. Ну, топай! — И Анвар с грубоватым дружелюбием толкнул Пулата в плечо.

### 3

Близился декабрь, но дни стояли все еще теплые. К полудню солнце так припекало, что строители сбрасывали рубашки. Их почерневшие за лето плечи и спины влажно блестели от пота.

Но однажды сухопарый старик, работавший по соседству с Пулатом, прикрыв ладонью выцветшие глаза, взглянул на небо и озабоченно цокнул языком:

— Ай, шайтан! Молоко... Быть непогоде.

Небо подернулось редкой прядей облачков — оно было белесое, мутное.

Вечером резко похолодало, пошел дождь. Он был вроде и не сильный, — сеялся как пыль, но стоило хоть минуту постоять под ним — можно было промокнуть до нитки. Горы грунта, поднятого со дна канала, размякли.

Утром, несмотря на ненастье, колхозники вышли на работу — не прекращать же из-за дождя строительство! Вышел и Пулат, не сдавшись на уговоры Халила-ата.

Серые тучи заволокли небо и сыпали, сыпали на землю водяную пыль. Воздух был пропитан влагой и знобкой промозглостью. А тут еще подул ветер. Он налетал порывами, метался из стороны в сторону, словно затеяв какой-то бешеный танец, то рассеивал, то сгущал висевший в воздухе дождь. От неба к земле тянулись светлые и темные полосы, дождь то больно сек лицо, то его совсем не чувствовалось. В минуты такого затишья становилось даже жарко — разогревала работа. Грунт сделался скользким, словно мыло, лопаты скользили по нему, как по льду. Спины колхозников взмокли, многие скинули рубахи. Пулат тоже разделся. Спина у него то горела, то вдруг стыла, когда дождь больно шлепал по коже холодной, колючей рукавицей. Это не могло кончиться добром для Пулата. В землянку он вернулся разгоряченный. Пришедший с ним Халил-ата напоил его горячим чаем, и Пулату стало совсем жарко. Но только он залез под одеяло, как его охватил озноб, ломило каждую косточку. Он со стоном вытянул ноги и тут же подогнул их, съежился в комок под одеялом. Накрылся с головой — появилось такое ощущение, будто его сунули в печь. Сбил одеяло к ногам — снова затрясся от холода.

Спал он в эту ночь плохо, а утром с трудом разлепил веки и почувствовал себя таким обессиленным, что захотелось плакать. Он попробовал встать и встретился глазами с встревоженным взглядом Халила-ата, который сидел перед ним на корточках, — он всю ночь продежурил возле Пулата.

— Иё! Что с тобой, сынок? Весь так и пылаешь. Неужто захворал?

— Я... сейчас...— слабым голосом произнес Пулат и откинулся на измятую подушку.

— Ты лежи, лежи! — Старик положил ладонь ему на лоб.— Вот беда-то! Как горн!.. Ты лежи, я позову врача.

— Амаки,— попросил Пулат.— Вы не говорите... что у меня туберкулез. Пожалуйста, ата...

— Как можно, сынок? Надо сказать!..

Но врач, вызванный Халилом-ата с соседнего участка, пропустил мимо ушей невнятные объяснения старика, толковавшего что-то о туберкулезе. Он и сам был стар, глаза у него слезились после бессонной ночи — вчерашний дождь свалил не одного Пулата. Он торопливо осмотрел больного, сказал, что тот простыл на дожде, дал ему какие-то порошки, велел хорошенько укрыться, лежать и пить как можно больше горячего чая.

После его ухода Халил-ата принес откуда-то еще одно одеяло, плотно закутал юношу и ушел. А немного погодя прибежала встревоженная Бахор и до вечера просидела возле Пулата. Пулат и видел ее и не видел, но от одной только мысли, что она здесь, рядом, ему стало покойней, и он уснул.

Вечером Халил-ата напоил больного чаем с медом — откуда он только раздобыл этот мед? — и Пулат снова погрузился в забытие. Старик отослал Бахор и всю ночь, не смыкая глаз, пробыл у постели Пулата, следя, чтобы тот, вспотев, не сбросил ненароком одеяло, отирая ему пот со лба...

Больше всего старик страшился, как бы у юноши из-за простуды не обострился туберкулез. Но молодость восторжествовала над болезнью, а может, помогли неусыпные заботы Бахор и Халила-ата. Так или иначе, но на третий день Пулат почувствовал себя лучше. Вот только ослабел он — не мог даже приподняться. Но у него появился аппетит, и обрадованный Халил-ата щедро кормил его пловом, будто хотел накормить на несколько лет вперед. Плов был не такой, какой ели Пулат с Анваром в столовой, но у Пулата не было сил раздумывать над тем, откуда эти вкусные обеды, приносимые стариком.

Когда Пулат начал выздоравливать и ему разрешили выходить на воздух, юноше впервые открылось то, на что прежде, занятый работой, он как-то не обращал внимания. Он увидел, в каких невыносимо тяжелых условиях живут его земляки. Им не удавалось ни отдохнуть, ни обогреться, ни выспаться как следует. Тем, кто не прихватил из дома постелей, приходилось спать на подстилках из камыша и мелкого хвороста, а то и прямо на соломе. Темные, сырые землянки были битком набиты людьми. В спертom воздухе трудно было дышать, а двери приходилось держать закрытыми, чтобы, не дай бог, не ушло драгоценное тепло.

Топить печки было нечем — завхоз Махсумча на осень не припас дров и хвороста. Когда у него просили дров, он пренебрежительно отвечал: «Обойдетесь! На фронте, вон, солдаты спят под открытым небом».

Уже перед самым выздоровлением Пулата на участке случилась беда: умер один из строителей, Сафарали, схвативший в один из дождливых дней воспаление легких.

На похороны Сафарали собрались дехкане со всего участка. Пришел и Пулат. В толпе он увидел Махсумчу: на боку — неизменная полевая сумка, за ухом — карандаш. Завхоз с озабоченным видом метался от землянки к землянке, а когда стали выносить гроб, подскочил к дехканам, провожавшим своего товарища в последний путь, и распорядился:

— На кладбище пойдут шесть человек. Этого достаточно. Остальные — на работу!

К Махсумче подошел высокий, могучий старик и строго сказал:

— Помолчи, завхоз! Вот отдашь богу душу, тогда за твоим гробом и пойдут шесть человек...

У Махсумчи от злости перехватило дыхание.

— Саботаж?.. Забыл, что хозяин наказал? Первым делом — план!

— Какой еще хозяин?

— Как какой? Ясно, Акрамхан-ака!

Старик посмотрел на него сверху вниз:

— Слушай, Махсумча. Ступай-ка отсюда подобру-поздорову, — и повернулся к декханам: — Поднимайте гроб, пошли.

На Махсумчу никто больше не обращал внимания — словно его и не было. Траурная процессия медленно двинулась к кладбищу...

Все чаще задумывался Пулат над житьем-бытьем своих земляков, и его грызла совесть: он-то спит под двумя одеялами, и Бахор с отцом хлопчут над ним, подкармливая медом и яблоками, в то время как остальные мерзнут и голодают. Запали ему в душу слова Анвара: будь нетерпим к недостаткам! Люди сил не жалеют, трудясь на благо Родины, — уж право-то на заботу они заслужили. Верно, идет война, времена трудные. Все это понимают, молча переносят нужду и лишения. После скудного ужина, придя в землянку, строители валяются как убитые на солому и, скорчившись, сунув кулаки в рукава ватников, засыпают... И не жалуются, не ворчат: ведь у каждого на фронте кто-нибудь из родных, близких. Вот там и вправду несладко, а тут, в тылу, как ни туго, но хоть пули не свистят, и надежный кров над головой...

Да, идет война, жестокая, кровавая, — тем более надо дорожить каждым человеком! Вот Сафарали, — он мог бы жить, будь на участке другие условия. И те, от кого это зависит, обязаны облегчать людям жизнь насколько это возможно. На других, соседних участках так и делается. Пулат, когда только начало холодать по ночам, приметил дымки, поднимающиеся над землянками соседей: там-то, выходит, хватает хвороста! Завхоз соседей заранее позаботился о топливе. И в столовой у них, говорят, кормят сытней. Вот вернется Тураханов — и Пулат обязательно поговорит с ним обо всем. Потребуется, чтобы Тураханов обеспечил людей и едой, и топливом — это же преступление так относиться к нуждам строителей!.. Какую бы неприязнь ни испытывал Пулат к этому человеку, но ведь все считают Тураханова толковым руководителем. Он войдет в положение колхозников и задаст взычку завхозу! Завхоз давно был не по душе Пулату, да еще Анвар отозвался о нем с подозрением. И Пулат во всех бедах винил одного Махсумчу. Ничего, Тураханов поправит дело!..

Но когда Пулат мысленно представил себе этот разговор с Турахановым, сердце у него сжалось: тот, может, и прислушается к его словам, но самого-то Пулата выгонит со стройки — как пить дать, выгонит! Ведь Пулат явился на стройку против его воли, и Тураханов не простит этого. Уж лучше не попадаться ему на глаза...

Что же — он будет прятаться от Тураханова, а на участке все останется по-прежнему? Тураханов, может, и не знает, как бедствуют его колхозники. Сам-то вон в каком доме поселился!.. Нет, Тураханов, пожалуй, и слушать его не станет! Но все равно надо с ним поговорить. Выложить все, что накипело на душе. Добиться правды!

И, услышав о приезде Тураханова, Пулат не стал медлить.

Выйдя из землянки, он жадно вдохнул свежий, пахнущий горным снегом воздух. У него закружилась голова, как от затяжки чилимом. Он усмехнулся — и правда, дохляк!.. Было прозрачное утро, землю при-

хватило морозцем, она казалась твердой, как алмаз. «Копать-то, верно, трудней, чем в дождь,— подумал Пулат.— Но все на канале. Дождь их не испугал, не устроят и морозы. Какие люди!.. Неужели нельзя сделать так, чтобы они хоть отдохнуть могли в тепле?»

Пулат осмотрелся по сторонам. Где ему искать Тураханова? Возле его дома он увидел привязанного к колышку коня. И решительно направился туда.

Тураханов был у себя, о чем-то разговаривал с завхозом Махсумчой, меряя энергичными шагами пол, застеленный дорогими узорчатыми коврами, поигрывая неизменной плеткой с рукоятью, украшенной перламутром. На нем был новенький, с иголки, светло-серый китель, ладно сидевший на его крепкой фигуре, такого же цвета галифе, до блеска начищенные хромовые сапоги. Две верхние пуговицы кителя, как всегда, расстегнуты — видны шелковая белоснежная рубашка и красноватого оттенка галстук. Наряд Тураханова был одновременно и строгим и щегольским — хоть к начальству являйся, хоть на работу, хоть в ложу театра.

Даже рядом с низкорослым Турахановым Махсумча выглядел карликом. Он бегал за своим начальником, заглядывая ему в глаза с собачьей преданностью. Руки он держал за спиной, они жили своей самостоятельной жизнью, пальцы сплетались, расплетались, ладони то потирали, то тискали одна другую. Взглянув на эти непокойные руки, Пулат с невольной брезгливостью передернул плечами.

Тураханов круто повернулся и встретился взглядом с Пулатом, стоявшим возле двери. Сперва он словно и не узнал юношу, но вот морщины на его лбу грозно сдвинулись, сблизясь с удивленно поднятыми бровями. Тураханов резко остановился перед Пулатом:

— Ты?! Как ты тут оказался?

— Мне надо поговорить с вами, Акрамхан-ака,— срывающимся от волнения голосом сказал Пулат.

— Не о чем нам разговаривать — по-моему, все ясно!

— Я не о себе, Акрамхан-ака...

Восстанавливать против себя этого горячего паренька не входило в расчеты Тураханова, и он благосклонно кивнул:

— Говори, что там у тебя!

Пулат показал глазами на Махсумчу, который давно уж вывернулся из-за спины начальника и смотрел ему в рот, ловя каждое слово. Тураханов опустил руку на плечо завхоза, подтолкнул к двери.

— Убирайся пока! Надо будет, кликну...

Махсумча попятился к выходу, не сводя глаз с Тураханова.

Тураханов гостеприимным жестом обвел широкую, покрытую ковром тахту, приглашая юношу сесть, и сам сел рядом с ним.

— Выкладывай, слушаю.

Пулат рассказал, как живут люди в землянках. Он говорил горячо, сбивчиво. Тураханов слушал его вроде бы внимательно, а когда юноша замолчал, спокойно спросил:

— Ну и что? Открыл, понимаешь, Америку!

— Как — ну и что?.. — У Пулата вспыхнули щеки. — Так же нельзя! Этот ваш завхоз...

Тураханов поморщился, как от зубной боли.

— Привыкли все валить на завхозов! Самая неблагодарная должность. Достань, отвой, обеспечи! А где доставать? Время военное. Или ты забыл об этом? Война! Во всем нехватка. У всех.

— Нет, не у всех! — возразил Пулат. — На других участках...

— Лично мне другие не указ. Переходящее знамя-то у кого — у нас или у других?

— Потому что у нас о людях не думают — только о плане. Вон, в

поселке галабагэсовцев... уж и сады заложили,— у Пулата дрогнул голос.— Было бы у нас, как у других... мы не потеряли бы Сафарали-ака.

Тураханов покачал головой:

— Подумай, что плетешь! Уж если пробил смертный час — ничто не спасет человека. И нечего искать виноватых.

— А почему... не давали его похоронить как должно?

Тураханов с удовольствием выставил бы дерзкого мальчишку за дверь, но что поделаешь — приходилось еще и оправдываться перед ним.

— Кто не давал?

— Завхоз. И на вас ссылался...

— Гм... Махсумча? Не может быть! Видно, ты не так его понял. Я лично звонил ему, просил прийти на похороны, выразить соболезнование. Жалко беднягу... Да что тут напишешь — все мы смертны. К Сафарали и врача посылали, но, как говорится, порой медицина бессильна. Ничего не помогло. М-да...— Тураханов снисходительно потрепал Пулата по плечу.— Эх, молодо-зелено! Многого еще не понимаешь. Вот ты о топливе говорил. Ну, предположим, кинулись бы мы его раздобывать... Так на это ж люди нужны! А где их взять? Все на канале, на план работают. Тебе, видно, и невдомек, что такое план. А он — главный наш хозяин, все мы ему, и только ему подчиняемся. План — это... это...— Тураханов не нашел подходящего слова и только благоговейно пощелкал пальцами.— Что Родина лично от меня требует? Чтобы мой участок канала был вырыт в срок, а еще лучше — раньше срока. А что такое Родина? Да вот эти же люди, которые канал роют! Они же с меня и спросят, если я, вместо того чтобы давать кубометры, начну ублажать привередников, заботиться об их комфорте...— Заметив, что Пулат невольно обежал взглядом убранство его комнаты, стены в красных, как огонь, коврах, массивный письменный стол, Тураханов нахмурился.— Осуждаешь? Так я ведь тут работаю днем и ночью! Это, по сути дела, не столько мое личное жилье, сколько резиденция уполномоченного. Улавливаешь разницу? А строителю что надо? Зачем ему землянка? Только чтоб выспаться. И уж холод он как-нибудь перетерпит. Ради победы народ наш готов на любые жертвы и лишения!

Пулат чувствовал фальшь в словах Тураханова, но ему было трудно распутать эту паутину, обволакивавшую собственные его мысли. Однако и молчать он не мог. Он вскочил с тахты.

— Вы говорите: Родина — это люди... Ведь и Галабагэс — для людей. У нас все для людей, люди — самое дорогое... Вот и надо о них заботиться!

— Но переходящие знамена, юноша, даются все-таки за выполнение плана, за «кубики», а не за строительство хором для рабочих, которые, кстати, в хорамах и не нуждаются.

— Какие хоромы? — возмутился Пулат.— Хоть бы хворосту дали в землянки.

— Дашь людям одно — потребуют большего. Только начни баловать...

За этими словами Пулат увидел настоящего, не притворяющегося Тураханова и, еще сильнее покраснев, неожиданно для себя выпалил:

— Неправду вы говорите! Себе-то вон какие хоромы отгрохали!.. И насчет плана — неправда! Кто его будет выполнять, если все заболеют? Сколько у нас больных — не считали? Я сам проболел неделю...

Напрасно Пулат упомянул о своей болезни!.. Тураханов медленно поднялся с тахты. Он понимал, что с этим желторотым птенцом надо держать ухо востро — как никак, сын Садыкова. Того и гляди отец вернется с войны целым, невредимым, займет большой пост, а этот сопляк наговорит ему бог знает что. И он такой — он поверит... Но у Ту-

раханова не было сил больше сдерживаться, да и Пулат дал ему козырь в руки. Он угрожающе протянул:

— Вот оно что!.. Болел, говоришь? Этого и надо было ожидать! Ты вообще-то почему здесь, а не дома?

— Как я мог сидеть дома? На стройке люди нужны!

— Мальчишки мне не нужны. Больные — тем более. Тут не туберкулезный санаторий! Какой из тебя работник? Протянешь ноги, еще влетит за тебя, беды не оберешься. Болен, так сиди дома, а не разноси заразу по всей стройке!

— Это из-за вас... из-за вас люди болеют!

Тураханов взорвался:

— Вон отсюда, щенок! Чтоб ноги твоей не было на стройке!

— Не имеете права!

— Имею! Скажи спасибо, что на порог-то пустил. Еще разговаривал, как с человеком...

— Не имели права не пустить!

— О нем печешься, а он... Вот уж верно говорится: сделаешь добро человеку — не дойдешь до дома. Что глаза вытарачил, как мертвая овца? Вон!.. Если хоть тень твою на стройке увижу — пеняй на себя.

— Стройка не ваша — народная!

Пулат стоял перед Турахановым, сжав кулаки. Он был полон сознания своей правоты и своей силы. Он ощущал в эту минуту за собой силу народа, поддержку своих друзей — Рустама, всей его бригады, которая когда-то стеной встала за Пулата, отца, Анвара, Халила-ата. Он знал: никогда кривде не победить правду! И Тураханов, видно, понял, что на крик юношу не возьмешь. Он решил переменить тон и сказал, усмехнувшись:

— Народная стройка!.. Знаю, из-за кого ты тут торчишь... Другой, что ли, не можешь найти? Вон сколько девок, только помани!

Но увидев, как тяжело дышит Пулат, как пылает его лицо, Тураханов понял, что переборщил, и поспешил дать задний ход:

— Уж и пошутить нельзя!..

Он прошел мимо Пулата к двери, выглянул из дома, и тотчас возле него очутился Махсумча.

— Снять его с довольствия! И проследи, чтобы он не остался на стройке. У него туберкулез,— понимаешь, что это такое? Ему же добра хочу!

Махсумча закивал головой:

— Майли, Акрамхан-ака, будет сделано! — Он метнул в сторону Пулата осуждающий взгляд и зачем-то потрогал торчащий за ухом карандаш.

Тураханов усмехнулся:

— Счастливого пути, сосед!.. Увидишь еще, кто здесь хозяин!

Пулат стиснул зубы и с высоко поднятой головой вышел на улицу.

Но душа его была в смятении. Тураханов все-таки одолел его. Конечно, он мог бы остаться на стройке: не вытолкает же его Тураханов в шею, а Халил-ата поделится с ним последней лепешкой. Но Пулат не хотел быть в тягость старику. Может, пожаловаться на Тураханова более высокому начальству? Слово-то какое унижительное — «жаловаться»!.. Да и поможет ли жалоба? Тураханов, по всему видно, крепко сидит в седле. Еще бы — участок-то его, и правда, передовой. С ним считаются. Нет, не Пулату тягаться с Турахановым. Ох, если бы не эта проклятая болезнь! Тураханов всем расскажет о ней, и с Пулатом никто и разговаривать не станет. Пойти к Анвару?.. А что может сделать Анвар? С Турахановым и ему не справиться. У Тураханова — авторитет...

Пулат вдруг почувствовал себя усталым, больше ни о чем не хотелось думать... Видно, давала себя знать недавняя болезнь.

Он добрел до землянки и принялся собирать свои пожитки. Только взялся за подушку, как с нее соскользнул на пол серый треугольник. Письмо от отца!.. Пулат схватил его, прижал к сердцу. Ему так хотелось тут же развернуть и прочесть письмо! Но он сдержал себя. Надо уходить, пока кто-нибудь не заглянет в землянку.

Пулат наспех нацарапал короткую записку Халилу-ата: «Ухожу домой. Спасибо вам за все»,— и положил ее на постель. Взяв вещи, он вышел из землянки.

Путь предстоял долгий. Вряд ли на этом пути могла попасться машина, идущая в сторону Бахмала. Пулат решил добраться через степь до железной дороги, проехать несколько остановок на поезде, а там снова пешком идти в свой кишлак.

Он оглянулся по сторонам: вокруг — ни души. Перекинув чемодан и скатку через плечо, Пулат зашагал к участку, находящемуся ближе к будущей ГЭС: там его никто не знал. Он перебрался через канал, обернулся. Высокие отвалы загораживали от него трассу канала. И как тогда, когда он покидал совхоз, сердце его пронзила острая боль. До чего же родными становятся места, где ты трудишься, познаешь жизнь, мужаешь!..

Пулат прикусил губу и, упрямо наклонив голову, зашагал по дороге, ведущей к железнодорожной станции.

А небо, утром такое чистое, обложили холодные тучи — оно, казалось, нахмурилось, угрожающе сдвинуло седые брови. По степи закружил ветер — недаром город, возле которого строилась ГЭС, называли городом ветров... Ветер с разбегу налетел на Пулата, словно задумав сбить его с ног, швырнул ему в лицо первую пригоршню сухого колючего снега.

Вокруг сразу стало сумрачно, но ненадолго, — когда вьюга разыгралась, земля и воздух посветлели от снега. Пулат смотрел, как ветер гонит по степи вихрящуюся поземку, поднимает маленькие белые смерчи, слышал, как снег шуршит в воздухе и хрустит под ногами. В такую метель немудрено и заблудиться — заметенная снегом дорога слилась с заметенной снегом степью... Но мозг Пулата был затуманен обидой, тоской и гневом. Юноша шел и шел вперед, не разбирая дороги...

Шел он не слишком-то споро — слаб был после болезни, и наступил вечер, когда он добрел до линии железной дороги. Он споткнулся о рельсы и остановился, не зная, куда идти дальше. Взглянул на часы — ему подарил их отец, уходя на фронт, — но в темноте не различил цифр. Куда же теперь — направо, налево? Где станция?..

Пулат стоял один среди вьюги, проклиная в душе и Тураханова, и собственную свою опрометчивую поспешность. Наконец в сердцах махнув рукой и загородив рукавом лицо от ветра и снега, двинулся по скользким шпалам куда глаза глядят, полагая, что должен же он дойти хоть до какой-нибудь станции!

Он шел в непроглядной тьме, шел все медленней — силы были на исходе, он то и дело спотыкался, с трудом удерживаясь на ногах. Конца не было этому пути, этой вьюге, этой ночи!..

Он поскользнулся и упал, ударившись лицом о рельсы. Чемодан стукнул его по спине. Упершись руками о промерзшую землю, Пулат приподнялся, сел. Провел ладонью по лицу — слава богу, крови не было, он только набил на лбу шишку. Это его почему-то развеселило, и он подумал: стройка не хочет меня отпускать! Она возвела на моем пути домой могучий заслон из ветра, льда, снега и ночной мглы. Ну нет, не поворачивать же обратно. Пробьюсь!

Он вскочил на ноги, спустился с насыпи и зашагал вдоль железнодорожного полотна. Вперед, вперед!..

Он еле передвигал ноги, плечо, оттянутое чемоданом и скаткой, за-

текло, тело под ватником было в липком поту. Пулат замедлил шаг. И тотчас вспомнил, как, работая на канале, вот так же разгорячившись, вспотев, простыл в минуту отдыха и слег. Надо идти!.. Наперекор усталости! Наперекор непогоде!.. В темноте он наткнулся на камень и опять упал. Какие-то колючки царапнули его по лицу. Вещи отлетели в сторону.

И в тот же миг на него обрушился нарастающий грохот, — казалось, обледеневшее небо, словно железная кровля, со скрежещущим лязгом падало на Пулата, грозя вот-вот раздавить... Он стиснул зубы, поднял голову. Над ним по насыпи мчался поезд, мелькали колеса, высекая искры, от их стука равномерно вздрагивала земля. Пулат с облегчением вздохнул. И только теперь почувствовал, как горит колено: наверно, падая, разбил его. Сил у него хватило лишь на то, чтобы доползти до вещей. Он сел на чемодан, все тело ныло, во рту пересохло, желудок сводило от голода, а веки слипались... Он уронил голову на грудь, глаза сами собой закрылись, он задремал под завыванье метели и убаюкивающий шелест падающего снега...

Очнувшись он на рассвете. Вьюга утихла. Снега, оказалось, выпало не так уж много — он даже не закрыл полностью землю. Впереди темнели стальные фермы железнодорожного моста — вот отчего так оглушительно громыхал поезд — он шел по мосту!.. Слева простирались припорошенные снежком хлопковые поля.

Колено у Пулата побаливало, болели локти. Он поднялся, прихрамывая, направился к реке: если есть мост, есть и речка!

Река чуть подмерзла у берегов. Пулат опустился на корточки, сломал тонкий стеклянный ледок, напил из пригоршни, вытер рукой рот, потянулся, сделал несколько движений из своей обычной физзарядки. На душе у него было радостно — он победил ночь, вьюгу, холод!.. И вот каким утром одарен — тихим, безоблачным! Оно тоже словно потягивается, медленно расправляет плечи, а вот уж и скинуло с себя дремоту, прихорашивается, глядится, как в осколок зеркала, в краешек солнца, показавшийся над горизонтом, наливается светом и свежестью. Славное какое утро!..

Но радуясь утру, своей победе над вьюгой, Пулат вместе с тем испытывала какую-то смутную неудовлетворенность — на его радости будто лежала тень облака. Может, оттого, что он до сих пор не прочитал отцовского письма? Нет, он все время помнил о нем, оно согревало ему сердце, у него просто не было возможности прочесть его. Он снова нагнулся к воде, ополоснул лицо, вытер его носовым платком и вернулся к вещам. Примостившись на чемодане, достал из бокового кармана пиджака заветный треугольник, развернул его, и все вокруг перестало для него существовать. Он видел перед собой только отца, слышал его глуховатый, проникновенный, согретый улыбкой голос...

...«Вот я и опять воюю, сынок,— писал отец.— Наша часть с боями продвигается на запад. Писать приходится урывками, то и дело отрывают; но не огорчаюсь: мы — в наступлении. До чего же это, родной, славно! И в то же время — как горько видеть, что натворили на нашей земле фашисты. Каждый наш шаг вперед раскрывает перед нами преступления фашистских варваров. Виселицы, пепелища, рвы с расстрелянными... Гнев и слезы жгут нам глаза! Ох, и поплатятся же враги за все свои злодеяния!

Я часто вот о чем думаю: а справедливо ли, что наших партизан, да и нас, солдат, называют «народными мстителями»? Мстителями! Да разве мы мстим? Око за око, кровь за кровь — вот самая четкая формула мести. Фашисты убивают наших детей, но разве поднимется у нас рука на их детей? Разве, вступив в Германию, мы будем жечь их жи-

лица, как они наши? Разве мы измываемся над их пленными, как они над нашими? Врагу не избежать жестокой кары, но это будет не месть, а возмездие! Это разные вещи. Ведь мы сражаемся не с немецким народом, а с немецким фашизмом. Наша святая цель — уничтожить фашизм, чтоб и духу его не было на земле! Правда, мне думается, что долю ответственности за зверства фашистов несут и многие простые немцы, обманутые Гитлером. Мстить им мы не собираемся, но нельзя и прощать их слепоты. От простых людей, сынок, зависит многое: в конечном счете, именно они решают судьбы мира. И я, воюя с немцами, все думаю: как-то они поведут себя после войны? В их воле, в воле всех простых людей земли сделать так, чтобы эта война была последней...

Что-то я расфилософовался... Лучше расскажу тебе, сынок, об одном маленьком герое, ставшем большим моим другом.

Мы должны были взять одно село. Подойти-то к нему подошли, и — ни с места! Перед селом открытое поле, противник его насквозь простреливает: установили, понимаешь, пулемет на колокольне полуразрушенной церковушки и шпарят, и шпарят! Ясно: пока не ликвидирuem эту огневую точку, дальше хода нет. Ночью наши разведчики совершили несколько вылазок — хотели взорвать церковь. И почти все погибли от вражеского огня.

У нас, сынок, уже зима — лежим на снегу, окоченели от холода и все соображаем, как же прорваться к этой проклятой церквушке... Вдруг впереди полыхнуло, грохнуло — это церковь взлетела на воздух. Мы и обрадовались и в то же время удивились: кто же мог ее взорвать? Разведчики наши — одни полегли, другие вернулись ни с чем. Партизан, по нашим сведениям, в этом районе не было.

На рассвете мы пошли в атаку, а немцы уже оставили село: поняли, что сопротивляться бессмысленно. Мы оседлали также важный участок дороги, связывавший их южные позиции с северными. В общем, это был крупный успех. Только кто же это, думаем, так здорово помог нам?

Село справа огибала речушка, закованная льдом. Нам надо было перейти ее. Приблизились к ней — слышим чей-то голос, слабый-слабый. Мы двинулись по льду на голос, глядим — возле неглубокой проруби лежит мальчонка, лед вокруг — алый от крови. На мальчонке буденовка с выцветшей звездой. Еле жив парнишка... Мы его немедля в полевой лазарет. Вечером я зашел его проведать. Он много крови потерял, обморозился, но так и рвется поговорить с кем-нибудь из наших. Оказывается, это он взорвал церковь! У меня, сынок, сердце сжималось от гордости и жалости, когда я его слушал. Мальчонка лет двенадцати — тринадцати, зовут — Ваня, Ваня Николаев. Отец работал в здешней МТС трактористом, в первые же дни войны ушел в армию. Семья осталась в селе, а тут как раз фашисты нагрянули. Мать Вани убили. Школу, в которой Ваня Николаев учился, сожгли. Он и поклялся отомстить фашистам. Стал он потихоньку таскать у них гранаты, взрывчатку, припрятывал в погреб, где и сам отсиживался. Терпеливо ждал наших. Он верил, что мы вернемся. Верил, ждал — и дождался. Выдержка его и терпение окупилась сторицей: уж теперь-то он мог крепко ударить по врагу! Он сказал, что хотел взорвать немецкий склад боеприпасов, а потом увидел, что фашисты на колокольне засели. Вот он и прокрался ночью в церковь, — он там все ходы и выходы знал, приволок туда все свое богатство и устроил фашистам иллюминацию! Взрывом его самого чуть не убило. По счастью, уцелел, кинулся к реке, фашисты начали стрелять по нему, ранили в плечо. Он — в прорубь. А тут гитлеровские вояки пятки показали...

Вот что я от него услышал. Врач все время пытался прервать его —

молчи, мол, нельзя тебе разговаривать. Он только легонько головой шевелил из стороны в сторону: «Вот еще... молчать... Помираю я!» А сам улыбался — то ли радовался, что удалось пощипаться с фашистами, то ли уже видел скорую нашу победу, для которой и он сделал, что мог...

Ты, сынок, не печалься, выжил наш Ваня! Выходила его армейская медицина. Теперь он всем нам как сын. Приодели мы его, только со своей буденовкой он не захотел расставаться — она ему от деда досталась: дед еще в гражданскую воевал.

Верю, сынок, что и ты настоящий патриот Родины и, значит, и верный сын партии: ведь Советская Родина и Коммунистическая партия — понятия неразделимые. Сердца и мысли всех советских людей всегда с партией. Тем она и сильна, сынок.

Ты начал работать на важном строительстве — гляди не подкачай. И подробно пиши обо всем: солдаты горячо интересуются, как там у вас идут дела.

Верю — скоро свидимся. Привет тебе от Вани... Я часто рассказываю ему о тебе...»

#### 4

Солнце уже давно выкатилось из-за горизонта. Вокруг было светло, тихо. Но когда тишину вдруг разбил грохот поезда, Пулат даже не поднял головы. Он все перечитывал последнюю фразу отцовского письма: «Я часто рассказываю ему о тебе».

Что ты можешь рассказать обо мне, отец? Какие подвиги я совершил, чтобы сравняться с этим Ваней? Еще полчаса назад я ликовал, как мальчишка: одолел ветру! А куда я шел сквозь непогоду? Со стройки — домой. Испугался Тураханова! Собрал втихомолку пожитки — и задал стрекача. Тураханов не хочет, чтобы я работал на стройке, и он добился своего, а я...

Пулат до боли закусил губу. Тоже — герой! Оттого-то он и испытывал смутное недовольство собой, то-то все время и набегало на его мысли и чувства какое-то темное облако. Он сдался, выкинул белый флаг. Какой же он трус и тряпка рядом с малолеткой Ваней! Хотя он, Пулат, пока комсомолец, а не коммунист, — разве он не сын партии? Партии, которая учит не отступать ни перед какими преградами! Не отступать! А ему не хватило веры в свои силы, в поддержку друзей, и он отступил. Отступил перед Турахановым.

Да разве стройка — вотчина Тураханова? Ишь, пригрозил: я тебе покажу, кто здесь хозяин! Народ — хозяин. Народ, простые, честные труженики, а не Тураханов. Отец прав: от простых людей зависит многое. К ним Пулат и пойдет!..

Анвар советовал Пулату подумать: не вернуться ли ему к профессии бетонщика? Верно, бетонщики не подвластны Тураханову. Возможно, Тураханов попытается выжить Пулата и из бригады бетонщиков, использует все свое влияние, напугает их его болезнью. Но Рустам-то не испугался! И дядя Шермат не испугался. Почему же Никитин должен испугаться? Пулат все ему расскажет, Никитин поймет и примет его к себе. О Никитине вся стройка говорит, он во главе передовой бригады, а значит, душевный человек. Иначе как бы он мог сплотить людей и повести их за собой? Тураханов, правда, тоже руководитель передового участка... Но тут что-то не так! Работая без души, не думая о людях, в передовики не выйдешь. А он не думает, душа у него черствая, как пригоревшая корка хлеба.

Погоди, Акрахман-ака, я тебя еще выведу на чистую воду!  
Пулат сжал кулаки, нахмурился.

Но тотчас лицо его просветлело — ведь он теперь знал, что ему делать: идти к Никитину! Да, да, не в Бахмал, а снова на стройку!

Солнце светило изо всех своих идущих на убыль сил. Выпавший за ночь снег растаял. Пулату стало жарко в ватнике, он снял его, приторочил к скатке, перекинул вещи через плечо и двинулся вдоль железной дороги в обратный путь. Ему уже ясно было, где находился: дорога, соединявшая стройку со станцией, проходила недалеко от моста. Пулат был голоден, но на пустой желудок идти было легче, а может, его подгоняло радостное сознание, что скоро он снова очутится на Галабастрое. Он был одержим одной мыслью: побыстрее приступить к работе и так работать, чтобы отцу было что рассказать о нем маленькому герою Ване Николаеву...

...Пулат нашел Никитина в тесной брезентовой палатке, примостившейся на самом краю котлована, который бетонщики готовили под фундамент для малой ГЭС. Никитин сидел за грубо сколоченным, врытым в землю столом — кроме этого стола да двух табуреток в палатке ничего и не могло уместиться — и что-то писал в толстой клеенчатой тетради, держась левой рукой за щеку. Во рту у него торчала трубка, в палатке было полно дыма. Пулат закашлялся. Услышав, что кто-то вошел, Никитин, не отнимая от щеки ладонь, обернулся. Очки у него были подняты на лоб, синие глаза смотрели страдальчески. Пулат догадался, что бригадира мучает зубная боль, и хотя у него самого ни разу еще не болели зубы, он от души посочувствовал Никитину. В то же время подумал: вот не вовремя заявился!.. Никитину сейчас не до него, ему, верно, и на белый-то свет глядеть тошно... Но бригадир, вынув изо рта трубку, приветливо улыбнулся.

— А, доброволец!.. Каким тебя ветром занесло? Хотя чего-чего, а ветров тут хватает! — Он показал на свободный табурет. — Садись, в ногах правды нет.

Пулат, обрадованный тем, что Никитин узнал его, сел и с участием спросил:

— Зубы болят?

Никитин махнул рукой:

— Не говори! Замучили... Ты еще не испытывал такого удовольствия? — Он сморщился, словно откусил кислое яблоко, но тут же рассмеялся. — Вот ведь оказия! Чудится, будто он, проклятый, пухнет и пухнет. Сдавить бы его — лопнет, как мыльный пузырь. Не лопается, гадюка! Наверно, уж со скалу вырос, не заметно, а?

Пулат улыбнулся, он чувствовал себя с этим человеком просто и свободно, как с давним знакомым.

— Нет, не заметно...

— Выходит, субъективное ощущение!.. Так зачем пожаловал, дружок? Как звать-то тебя?

— Пулат.

— Пулат... Ты ведь с турахановского участка?

— Тураханов меня выгнал...

— Как выгнал? Что ж ты там натворил?

— Ничего.

— Ой ли?.. Тураханов, я слышал, мужик толковый, зазря не выгонит!

Тогда Пулат, с неожиданной для самого себя откровенностью, рассказал Никитину и про свою болезнь, и про работу в совхозе, и про последнюю стычку с Турахановым.

Никитин, потирая щеку, задумчиво произнес:

— Может, обида в тебе говорит? Он-то вроде и вправду добра тебе хочет. С туберкулезом, брат, шутки плохи.

Пулат сорвался с места:

— Но ведь в больницу-то меня не положили! В совхозе никто меня и не считал за больного — работал как все!

— Ты сядь, не кипятись! — Никитин замахал рукой, отгоняя дым своей трубки от Пулата. — На всех так накидываешься? Тогда Тураханова можно понять...

— А почему меня гонят со стройки? Я работать хочу! В вашей бригаде. Я бетонщик. Я буду стараться, товарищ Никитин, вот увидите!

— Да ведь я-то тебя пока не гоню!.. Пожалел бы больного человека. — Он закрыл глаза и продолжал: — Похвально, дружок, что ты с такой страстью бьешься за свое место в общем строю. Одобряю. Но ты мне ответь: почему тебе так хочется строить Галабагэс?

— Я же говорил... На фронт меня пока не берут. А я хочу помогать разгрому врага! Ведь война, товарищ Никитин...

— Война, говоришь... Наша стройка, дружок, вызвана не только войной. Она — для мира, для будущего! Да, война идет, а мы строим будущее! — Никитин словно и забыл о своем больном зубе. — Я сызмала в Узбекистане. Это родной мой край. Чудесный, брат, край! Тут такого можно понаделать!.. Ты географию-то своей республики знаешь? — Он достал из папки, лежавшей на столе, старую, протершуюся на сгибах карту, развернул ее перед Пулатом. — Гляди, какие просторы у нас пустуют... Центральная Фергана, Голодная степь, Каршинская степь... Всего и не перечесать. Какая земля даром пропадает! Сколько хлопка можно вырастить! Ты, верно, удивляешься: мне-то, бетонщику, какая забота? А мы все, дружок, должны о будущем думать! Вот кончится война — двинем в пустыни. Там и для бетонщиков непочатый край работы!.. Соорудим водохранилища — новые моря. Пророем каналы. Понастроим новых поселков, заводов, электростанций — все кишлаки зальем светом! И в каждый дом постучится счастье: принимайте, хозяева, дорогого друга, коммунизм к вам пришел! Вот какое, брат, дело. С этой мечтой в сердце мы все и работаем. Наша ГЭС — это шаг к светлому будущему! — Он помолчал. — Значит, хочешь ко мне в бригаду?

— Да, уста!.. Теперь еще больше хочу!

— Может, нельзя тебе — на наших сквознях?

— Мне врач даже велел... на свежем воздухе!..

Полы палатки распахнулись. Низко пригнувшись, вошел рослый, богатый стати мужчина и еще от входа забасил:

— Бери, бери его, Сергей-ака! Не прогадаешь. Крепкий, настырный парнишка. А болезни — их по-разному можно лечить!..

Пулат, просяя, кинулся навстречу вошедшему:

— Рустам-ака!

Рустам стиснул юношу в могучих объятьях.

— Видишь, сдержал слово, прибыл! — сказал он. — Со всем семейством! Вчера к работе приступил, а нынче как раз собирался тебя разыскивать.

— Отпустил дядя Шермат?

— Со скрипом... И не одного меня: стройка-то все-таки республиканского значения!

Никитин усмехнулся, хлопнул по плечу Рустама.

— Мой ученик, до войны вместе работали! Я его и сманил сюда, на стройку. Ладно, Пулат, беру тебя в бригаду. Сегодня отдохни, а с завтрашнего дня — за работу... Не забыл, о чем мы толковали? С мечтой в сердце!

— Я не устал, — сказал Пулат. — Можно — я сейчас?

Никитин, снова схватившись за щеку, кивнул:

— Ладно... Ступай в отдел кадров. Получишь карточку, подзапра-  
вишься. И — ни пуха, ни пера!

## 5

Не только в палатке Никитина обсуждалась в этот день судьба Пулата. Записка, оставленная им, и встревожила, и ошеломила Бахор и Халила-ата. Они не знали, что и думать.

Обычно Халил-ата обедал у себя в кузнице, Бахор — с девушками-электросварщицами или в столовой, когда там никого не было. Но в этот день они решили пообедать вместе, по-семейному, с глазу на глаз потолковать о Пулате, о его неожиданном, непонятно поспешном уходе со стройки.

День был ясный, теплый. Прихватив в обеденный перерыв из столовой миски с пловом, отец и дочь расположились на берегу реки, неподалеку от кузницы. Бахор нарезала в касу редьку — старик любил плов со сладкой редькой, — ополоснула ее в реке. От еще не остывшего плова шел дразнящий запах.

Халил-ата, взяв плов руками, бросил его в рот, зажмурился от удовольствия.

— Бой-бой!.. Объеденье! — И обратился к дочери: — Я, дочка, примечаю: как один за пловом прихожу, так мне его с верхом наваливают, и уж такой жирный — пальчики оближешь. Не иначе как Акрамхан-ака нас балует...

Бахор не донесла ложку до рта, вспыхнула.

— Я тоже! Как одна прихожу — обед такой вкусный!.. Значит, нас кормят лучше, чем других? Нехорошо это, отец!

Старик вздохнул:

— Уж так сосед распорядился. Он это от доброго сердца. Ты ешь, ешь, дочка. Ключешь, ровно птица. Гляди, у меня уж миска пустая, а ты все ковыряешься...

Бахор бросила ложку:

— Это несправедливо, отец! Мы должны — как все. Я скажу Акрамхану-ака.

— И обидишь человека. А он вчера и так на меня обиделся, — доброе лицо старика погрустнело. — Заехал ко мне в кузницу, хурджун протягивает... А там мясо, сало. Щедрый подарок по нынешним-то временам!

— И вы... взяли? — с испугом спросила Бахор.

Старик опять вздохнул:

— Вернул я ему хурджун!.. Он даже потемнел лицом от обиды. Оно, конечно, сосед соседу всегда подсобляет, так уж издавна повелось. Однако как бы я людям в глаза смотрел? Бедовать, так уж всем миром.

Бахор строго сдвинула брови:

— Откуда у него сало?

— Почем я знаю? Может, из дома привез. Да и у нашего завхоза имеется, верно, кой-какой запасец.

— Завхоз — жулик!

— Ишь какая быстрая! За руку его пока никто не схватил. Правду сказать, и у меня не лежит к нему душа. А как бы мы Пулата выходили, если бы Махсумча не подмог? То меда даст, то яблок.

Стоило только старику упомянуть о Пулате, как у Бахор потемнели глаза.

— Почему он ушел, отец? Вы утром его видели?

Старик пожал плечами:

— Ума не приложу! Утром-то он радовался, что скоро выйдет на работу...

— И я ничего не понимаю, — сказала Бахор. — Все так хорошо было!

Пулат с нами... Уверена, Акрамхан-ака оставил бы его на стройке. Как он работал, отец,— всю душу в работу вкладывал! — Она улыбнулась.— Он, когда болел, все бредил... Одно у него было в мыслях — фронт да работа. С отцом своим, с Хайри-апа разговаривал. С нашим агитатором... Когда вы мне его записку показали, честное комсомольское, я глазам не поверила! Другие-то уже знают?

— У слухов, дочка, крылья быстрые! — Халил-ата помял в ладони свою бородку.— Чего я только за утро не наслушался! Кузница-то, что базар — народ приходит, уходит. Ну, толкуют всякое... Одни, вроде нас, руками разводят: парень-то с душой работал, земляки нахвалиться им не могли, а поди ж ты — сбежал! Да... А другие ругаются. Мол, захворал, с перепугу-то и смазал пятки. Чужой рот ситом не закроешь.

За их спинами послышался стук копыт, они обернулись. К ним подъехал Тураханов, соскочил с коня.

— Пусть ваш достархан будет полон яств! Привет честным труженикам!

Он пожал руку Халилу-ата и Бахор. Старик радушно предложил:

— Присаживайтесь, сосед. Угощайтесь чем бог послал. Вон... еще помидоры остались.

Тураханов стоял, похлестывая по сапогу своей нарядной плеткой.

— Спасибо, атаджан, некогда! Я к вам так, между делом... Слышали, что Садыков выкинул?

— Вы... знаете что-нибудь? — вырвалось у Бахор.— Понимаете, он нам записку оставил, что уходит домой. Только все равно ничего не понятно!

— Уходит! — Тураханов насмешливо сощурился.— Он не ушел — дезертировал! Покрыв позором наш участок, на всех славных тружеников наложил штраф! Нам скоро знамя получать, а у нас дезертир. Недаром лично я бегляю брать его на стройку. Будто чувствовал, что принесет нам хлопот...

— Акрамхан-ака! — воскликнула Бахор.— Как же он мог дезертировать? Ведь он — добровольцем...

— А про чухотку забыла? Как только дала она вспышку, у него поджилки и затряслись. Испугался, что того гляди может совсем загнуться.

— При чем тут чухотка? Он простудился...

— Откуда нам знать, что у него было? Факт остается фактом: заболел, перетрусил, сбежал.

Халил-ата удрученно молчал. А Бахор в эту минуту ненавидела Тураханова — ей нечего было возразить ему. И она горячо, протестующе проговорила:

— Неправда!.. Пулат не такой!

Тураханов снисходительно усмехнулся:

— А какой? Что ты о нем знаешь, Бахорхон? Человеческий характер полностью раскрывается лишь при столкновении с реальными трудностями. Сильные борются и побеждают, слабые — бегут. Жизнь у нас, строителей Галабагэса, нелегкая. Вот Пулат и не выдюжил.— Он пристально посмотрел на Бахор, потом решительно произнес: — Не хотел вам говорить, друзья, уж ладно, скажу... Пулат вчера был у меня. Просил дать ему работу полегче. Я лично сказал — подумаю. Но он, видимо, сообразил, что с его болезнью ему вообще нечего делать на стройке. Это же не санаторий. И удрал!

Бахор хотела что-то сказать, но Тураханов властным жестом остановил ее:

— Не защищай его, Бахорхон! По-человечески парня, конечно, можно понять. Он болен — какой с него спрос? — Тон у Тураханова был сочувственный, но Бахор почувствовало, что в его глазах блеснул злобный

огонек.— Не надо было ему ехать на стройку, лезть в герои, уж не знаю, из каких побуждений он это сделал. Вот вам и герой!.. Сами виноваты — во всем ему потакали. Виноваты перед Хайдаром-ака, перед Хайри-апа!.. Не сумели вовремя образумить парня. Теперь красней из-за него перед людьми. Ведь ни на одном участке не было до сих пор случаев дезертирства — мы первые. Лично я врагу не пожелаю такого первенства! — Тураханов с силой ударил плеткой по засохшему стеблю росшей на берегу верблюжьей колючки.— Ладно! Авторитет нашего района подорван на рубль — поднимем его на сотню рублей! На моем участке больше тысячи колхозников, и они героическим трудом смоят пятно, наложенное на них одной паршивой овцой! Нет, не испортить ей всего стада!.. Простите, друзья, лично мне трудно удержаться от гнева. А тебе, Бахорхон, урок на всю жизнь: как молвит мудрая поговорка, дружи лишь с тем, кто износил больше рубашек, чем ты сам. С хорошим человеком поведешься — всего добьешься, с плохим поведешься — только опозоришься... Выкинь этого парня из головы, советую тебе как старший брат. И вы, атаджан, впредь тоже не будьте слишком уж сердобольным!.. Ладно, мы еще потолкуем об этом. Надо ехать на канал...

Кинув быстрый, испытующий взгляд на опечаленную и растерянную Бахор, Тураханов легко вспрыгнул на коня, махнул на прощание рукой и поскакал по направлению к каналу. Старик и Бахор долго молчали — видно, Тураханов заронил в их душу зерно сомнения. Бахор кинула в воду комок земли, вздохнула:

— Не верю, отец! Не верю, что Пулат сбежал... Понимаю возмущение Акрамхан-ака. А разделить не могу. Пулат всем сердцем рвался на стройку! И разве он тут на что-нибудь жаловался? Он не страшился ни трудностей, ни лишений. Вы же видели, отец!

Халил-ата, с нежностью глядя на дочь, задумчиво теребил свою бородку:

— Верно, верно, дочка... Сын таких достойных родителей. Явился сюда по собственной воле. С чего бы это ему дезертировать?

— Тут что-то не так, отец!.. Что-то стряслось. А что? Вот этого-то мы и не знаем. А Пулата — знаем...

Бахор сидела, обняв руками обтянутые платьем колени, устремив взгляд на противоположный берег реки. Там возводился металлургический завод. Людей не было видно, только вспыхивали призрачно-голубым сиянием искры электросварки да доносился звон металла.

Вот бы им с отцом работать на этом заводе!.. Она — электросварщицей, он — кузнецом. Какой он молодец! В кузнице у него всегда темно, сумрачно, сам он все время ворчит, жалуется, что кетмени то и дело ломаются, а возьмет в руки молот, обрушит его на металл, и металл принимает любую, удобную отцу форму. В такие минуты Халил-ата, в бликах огня, среди причудливой игры света и теней, выглядит добрым, всемогущим волшебником из сказки...

— Отец! — спросила Бахор. — Почему на строительстве завода много уже делается механизмами, а у нас — все вручную?

— Дай срок, дочка, и у нас будут машины. Кетменем Сыр-Дарью не перегородишь, плотину не сладишь. Вот кончится война...

— Пулат тоже мечтал о машинах, — перебила Бахор. — Помню, мы шли с ним первый раз до стройке, — он так и замер перед экскаватором, глядит на него во все глаза... Если бы, говорит, весь канал такими машинами!

— Так и будет, дочка. А кетмени сдадим на переплав. Вот на этот завод.

— Акрамхан-ака сказал, что Пулат просил у него работу полегче, — проговорила, помолчав, Бахор. — Не верится, отец! Он обучился профессии бетонщика — думаете, это легко? Землю рыл наравне со всеми.

Он упорный, я ему всегда завидовала. У меня вот, верно, работа легкая. Скучно мне в библиотеке, отец! Я мечтаю о настоящем деле!..

Усы Халила-ата встопорщились в лукавой улыбке:

— И, гляжу, времени даром не теряешь. Учат тебя, дочка, твои подружки?

— Учат!.. Я хочу обучиться ремеслу... как Пулат. Вы не против, отец?

— Что ты, доченька? В старину говаривали: научишься хорошему делу, дому от этого польза, а наука на всю жизнь при тебе останется.

Бахор стремительным движением повернулась к отцу, обняла его, поцеловала в лоб:

— Спасибо, отец! Значит, вы не рассердитесь, если я уйду из библиотеки?

— Народ книжками одаривать — тоже дело похвальное. Но я ведь, дочка, рабочий, как же мне не желать тебе рабочей судьбы? — Он вздохнул. — Раз уж в институт не пошла...

Бахор сдвинула брови.

— А Пулат... Не могу понять, почему он ушел. Но я... вот как в вас, как в себя... верю в него, отец!

Старик отвернулся, чтобы дочь не увидела его растроганного лица и глаз, в которых стояли слезы.

## 6

Как только закончился первый рабочий день Пулата в бригаде Никитина, к нему подошел Рустам.

— Ну, приятель, на работу мы устроились, едой и жильем обеспечены, остается подыскать подходящее место для рыбалки!

Пулат засмеялся, обвел широким жестом Сыр-Дарью.

— Вон сколько воды! Лови, где хочешь.

— Нам не вода нужна, а рыба. Вы же тут распугали ее своим шумом! Нам бы где потише, поукромней...

— Не терпится порыбачить?

— Не говори!.. Думаешь, тебя оставлю в покое? Мозгам и рукам надо когда-нибудь отдыхать? Или еще не убедился, что рыбалка лучший отдых?.. Река еще не замерзла, на погоду грех жаловаться — найти бы тихое местечко!..

— Я знаю такое место, — сказал Пулат. — А когда мы туда пойдем? На заре или вечером?

— Тотчас и двинем. Удочки я с собой захватил.

— Ну что же, пойдем!..

По вечерам Бахор работала в библиотеке, после работы обычно сразу же шла домой. Вряд ли Пулат мог столкнуться с ней. Он и хотел такой встречи, и боялся ее, потому что не знал, как Бахор отнеслась к его уходу, к его невразумительной записке...

— Только оденься потеплей! — предупредил Рустам, когда они топорливо шагали в общежитие, где их поселили. Оно находилось у подножья скалы и представляло собою длинный барак-землянку с выступавшими из земли дощатыми, побеленными, многооконными стенами.

Рыболовы натянули поверх теплых портянок сапоги, надели ватники, взяли удочки, старое помятое ведро, консервную банку с червями, загодя приготовленными Рустамом, кое-какую еду и отправились к месту впадения Каттасая в Сыр-Дарью.

Как в закрытом тучами небе мелькают порой голубые просветы, так в здешней зиме выдавались погожие деньки. Был вечер как раз такого дня, когда Пулат и Рустам собрались на рыбалку. Уже темнело. Воздух был студеный. На чистом небе появилась луна.

Пулат привел Рустама туда, где в день своего приезда на стройку обедал с Бахор. Рустам расстелил на земле брезентовый плащ. Когда друзья уселись и забросили удочки, Пулат тихо спросил:

— Рустам-ака! Зачем вы меня расхваливали перед Никитиным?.. Время покажет, на что я гожусь.

— Так ведь я, приятель, не на базаре с тобой познакомился, а на работе. Ты уже показал, чего стоишь. Я имел полное право сказать о тебе доброе слово!

Пулат, краснея, упрямо повторил:

— Время покажет... Может, меня не хвалить надо было, а ругать.

— За что? — удивился Рустам.

— Есть за что...

— Ну, коли сам понимаешь, значит, все в порядке!

Когда на крючке Рустама затрепетала первая рыба, лицо бетонщика расплылось в довольной улыбке:

— Гляди-ка, тут можно жить!

Послышались чьи-то шаги. Рустам обернулся, обрадованно воскликнул:

— Сергей-ака! Какими судьбами?

— Люблю тут бродить! — ответил, подходя к ним, Никитин. — Вот по берегу шел — рыбаков нашел!

Пулат пододвинулся ближе к Рустаму, освобождая на плаще место для Никитина.

— Садитесь, Сергей Иванович. Хотите мою удочку?

Никитин, усаживаясь, покачал головой:

— Не увлекаюсь!.. Люблю кататься, не люблю саночки возить. Угостите ухой — не откажусь. А на поплавок глазеть целый вечер... Уж лучше посижу, посмотрю, как другие мучаются.

— Мучаются! — оскорбленно хмыкнул Рустам. — Уж если кого и жалеть, так тебя, Сергей-ака. Какого удовольствия себя лишаешь!

— Ну, не будем разводить дискуссию! — миролюбиво произнес Никитин. — Кто любит рыбу ловить, кто — ухой лакомиться...

— Как ваш зуб, Сергей Иванович? — спросил Пулат.

— А что с ним церемониться? Пошел к врачу да вырвал. — Никитин по-отцовски ласково взглянул на Пулату. — Как работалось, дружок? Не устал?

— Что вы, Сергей Иванович!

— Я все поглядывал, как ты управляешься. Молодец! Хорошие у тебя были учителя. — Никитин искоса глянул на Рустама. — Так вот и идет жизнь! Ты одного доведешь до дела, он — другого, другой — третьего. Придет, дружок, и твой черед вытягивать кого-нибудь в мастера. Вот оно — бессмертие труженика!.. — Внезапно он схватил Пулату за рукав: — Гляди, парень! У тебя клюет!

— Заразился, Сергей-ака? — расхохотался Рустам. — Рыболов, выходит, тоже бессмертен: один другого наставляет на путь истинный!

— Тяни же, уйдет! — не унимался Никитин, тормоша Пулату.

— Терпение, Сергей-ака, терпение, — похохатывая, сказал Рустам. — Сами когда-то учили меня быть терпеливым.

— Не на рыбалке же!..

И когда Пулат вытащил небольшого сазана, радости Никитина не было границ:

— Ого, какая рыбина! Ох, и уха будет!

Пулат великодушно предложил:

— Считайте, Сергей Иванович, что этого сазана мы вдвоем поймали!

— Э нет, не хочу присваивать себе заслуги других!.. Чужого мне

не надо! — Он помолчал и неожиданно спросил Пулата: — Давно не был в своем кишлаке?

— Давно...

— Не хочешь съездить? Отпущу на пару днейков.

— Только начал у вас работать — уж отпуск брать?

— Мать, верно, соскучилась. Хоть пишешь ей?

Лицо юноши залила густая краска стыда:

— Давно не писал. То работа... то болел...

— А представляешь, как она тревожится, не получая от тебя вестей? Береги, дружок, материнское сердце: сколько жизнь на нем рубцов оставляет — не сосчитать! — Никитин набил табаком трубку. — Ничего, я подымлю?

— Дыми, отравляй свои легкие! — сказал Рустам.

Никитин раскурил трубку и, отогнав рукой дым от Пулата, продолжал:

— Ты, Пулат, молод еще, не ценишь мать, как она того заслуживает. — Увидев, как помрачнел Пулат, торопливо добавил: — Ценишь, ценишь, верю! А письмами-то не балуешь? То-то и оно. А ведь это мать... Не гляди, что мне за пятьдесят, и у меня мать жива. Старенькая, в Ташкенте живет. Как выпадет свободное время, — я к ней. Уж как она радуется! А потом начнет отчитывать — за то, за это. Все мальчонку во мне видит, воспитывает. А бывает, примешься помогать ей по хозяйству, принесешь воды, дров наколешь, она вдруг руками всплеснет: «Серенька, да какой же ты большой!» А какой я большой? Я уж старый. Только не примечает она моих седин... Нас у нее трое было. Овдовела она рано и всю свою жизнь нам, детям, отдала, всю, без остатка. Да и до сих пор для детей, детьми живет. Сколько она из-за нас горя перетерпела!.. Как же не любить, не беречь ее? Когда-нибудь ты, дружок, поймешь: что бы ты ни сделал для матери, все равно в долгу перед ней, все равно она больше для тебя сделала, больше тебя любила, больше о тебе заботилась... Ты напиши матери, Пулат!

Пулат молча кивнул. Рустам тоже молчал, видно, вспоминал о своей матери...

Никитин выбил трубку, задумался.

На берегу воцарилась тишина. Только волна, пробегая мимо рыболовов, приветствовала их коротким всплеском и, журча, спешила слиться с могучей рекой.

Внезапно начался такой клев, что Рустам и Пулат еле успевали вытаскивать удочки. Скоро ведро до краев наполнилось рыбой. То один, то другой сазан выпрыгивал из ведра на землю, и Никитин кидался их ловить и бросать обратно в ведро.

Довольный удачной ловлей, Рустам негромко напевал:

Не называли бы реку рекой,  
Коль не журчала б волна...  
Не называл бы тебя дорогой,  
Коль не была б мне верна...

Пулат, слушая его, вспомнил, как сидел на этом месте с Бахор, как столкнул в воду камень, придавивший цветы, и Бахор назвала его богатырем. Богатырь!.. Ушел, не сказав ей ни слова. Что-то она теперь думает о нем?..

Они вернулись в общежитие в полночь. Возле землянки был вырыт небольшой хауз. Пулат вывалил в него рыбу — завтра они угостят бетонщиков отменной ухой!

Следующий день начался для Пулата с неожиданности.

Юноша задержался на строительной площадке, пошел в столовую позднее всех и по дороге нос к носу столкнулся... с Халматом.

— Халмат-ака?.. Вы здесь как очутились?

На губах Халмата появилась его обычная недобрая усмешка:

— Вежливые люди, молодой человек, сперва здороваются, а уж после задают глупые вопросы.

Пулат вспомнил слова Рустама о том, что он не один приехал на стройку. Но о Халмате Рустам почему-то не упомянул. Пулату было неприятно, что Халмат тоже приехал на Галабастрой. Но он тут же постарался приглушить в себе неприязнь к своему старому недругу: что особенного в том, что он на стройке? Руки у него золотые, и трудностей он не боится — фронтовик!..

— Почему мой вопрос глупый? — спокойно спросил Пулат. — Просто я не ожидал вас тут увидеть...

— А мы, фронтовики, всегда на самых ответственных участках! — В глазах Халмата тоже мелькнуло удивление. — Постой-ка... А ты почему здесь?

— Как почему? А куда же я из совхоза уехал?

— Уехать-то уехал... Да, говорят, смылся со стройки!

— Кто это вам сказал?

— А у нас только и разговору, что о тебе. Мол, смазал пятки, дезертировал! Чепе!..

Пулат прервал Халмата:

— Где это — у вас?

Халмат хлопнул себя по лбу:

— Да ты же ничего не знаешь! Я ведь у Тураханова работаю. Там, откуда ты удрал.

— Бетонщиком?

— Бетонщиком! — Халмат усмехнулся. — Поднимай выше! Меня Акрамхан-ака поставил прорабом на Каттасайский участок. Строю переемычку. В армии-то я сапером был, а сапер — на все руки мастер. Понял?

Пулат и не подозревал, что Халмат и Тураханов давно знали друг друга, были родом из одних мест. Тураханов во время поездки в район и забрал Халмата из совхоза, посулив ему всяческих благ. Он устроил бетонщика прорабом на одном из ответственных объектов своего участка — на строительстве временной переемычки, которая должна была перегородить Каттасай и защитить от возможного паводка недоделанную бетонную часть канала.

Халмат сразу стал видной фигурой на стройке — это тешило его самолюбие. И, встретив Пулата, он обрадовался возможности и покичиться перед ним, и унижить этого сопляка, из-за которого у него в совхозе были неприятности.

Пулат решил все стерпеть от Халмата — очень уж хотелось ему выяснить, как отнеслись к его уходу со стройки земляки.

— Так дезертиром меня и называют? — переспросил он.

— А кто ж ты, как не дезертир? Приехал героем, распустил хвост, как павлин! А хлебнул лиха и смылся. Смылся ведь?

Но тут Халмат осекся. Если Пулат дезертировал, то почему же он на стройке, почему на нем рабочая роба, забрызганная свежим бетоном?

— Постой-ка... Говорят, ты сбежал со стройки... А с кем же тогда я треплюсь? Тебя тут нет, а ты тут? Неувязка получается!

— Без ветра, говорят, листья не колышутся, — невесело усмехнулся

Пуллат.— Верно, я ушел. И вернулся. Работаю в бригаде Никитина... Скажите, от кого вы слышали, что я... дезертир?

Халмат уловил в его голосе тревогу и торжественно ухмыльнулся. Любопытный и проницательный, он многое уже успел разнюхать с тех пор, как появился на участке Тураханова. Узнал, к кому приезжал Пуллат, и смекнул про себя, что, наверно, этот дохляк и библиотечкаша «крутят любовь». И с деланной небрежностью Халмат сказал:

— От разных людей... Зашел в библиотеку за книжкой, и там на твой счет проходятся. Одна девица-раскрасавица, библиотечкаша... забыл, как ее зовут,— да ты ее должен знать! — так прямо обвинительную речь перед всеми зачитал!

— Врете! — только и мог сказать Пуллат.

Халмат пренебрежительно скривил губы:

— Охота была!.. За что купил, за то и продаю. Так ты ее знаешь?

— Не ваше дело...

— Грубишь старшим! Я все-таки износил рубашек побольше, чем ты.

Халмат понял, что его удар попал в цель. Он не скрывал злорадного торжества: так тебе и надо. Око за око, зуб за зуб!..

Пуллат некоторое время молчал, угрюмо склонив голову, потом поднял глаза и, борясь со смущением, негромко сказал:

— Не говорите никому, что видели меня. Пусть думают, что хотят... Не скажете?

— А на кой ты мне сдался? Повстречались — разошлись, как в море корабли, а в пруду утки. Своих забот хватает!

Этот ответ успокоил Пуллата: в самом деле, какое им дело друг до друга? У каждого — своя дорога...

— Верю, не скажете,— проговорил он, и сдержанная грусть прозвучала в его голосе.— Что ж, Халмат-ака, спасибо за правду. И вот что еще... Любовью друг к другу мы не пылаем, верно? Но и зла помнить не хочу. От души желаю успеха в работе и счастья!

Халмат почувствовал, как от этих слов в его сердце дрогнула какая-то тонкая-тонкая струнка. Все ж таки неплохой он парень, Пуллат... Однако Халмат подавил в себе это легкой, теплой искоркой вспыхнувшее чувство, недобро усмехнулся:

— Счастье!.. Поостерегся бы желать его другим. На всех-то его все одно не хватит. Счастье, это как одеяло на двоих: один потянет к себе, укроется, с другого стащит...

Пуллат взглянул Халмату в лицо, упрямо сказал:

— Чтоб обоим было тепло, надо крепче прижаться друг к другу!

Халмат — он сам не понимал, что с ним происходит,— протянул юноше руку:

— Прощай, птенец! Может, еще свидимся — мир, говорят, тесен, а стройка тем более.

Он круто повернулся и, чуть прихрамывая, пошел своим путем. А Пуллат побрел в столовую. Настроение у него было не из веселых. Какое уж тут веселье, когда тебя зачислили в дезертиры... Он же не сбежал — его выгнали! Но кому, кроме него самого, это известно?

Пуллат во всем винил себя, оправдывая своих земляков, заподозривших его в позорном бегстве со стройки. Со стороны-то это, и правда, выглядело бегством...

Но как Бахор могла верить, что он способен на такое! Она ведь верила в него. И, что бы ни случилось, уж она-то должна была сохранить веру в друга!

А не слишком ли много ты от нее требуешь, Пуллат? Добро бы ты перед уходом рассказал ей о своем разговоре с Турахановым, а то ведь сорвался с места, ничего никому не объяснив. Вера в человека опи-

рается на его поступки, а ты как поступил? Как мальчишка!.. Может, не поздно еще сейчас побежать к Бахор?

Пулат стиснул зубы. Нет!.. Он делом докажет ей, что достоин ее веры и уважения! Всем докажет!

Пока ему еще нечем хвалиться — он только начал работать в бригаде Никитина. Но ему по душе эта работа. Он будет учиться мастерству у Сергея Ивановича, у Бохадыр-ата, у Рустама. И когда добьется первых успехов, пойдет к Бахор, все ей расскажет и ни в чем ее не упрекнет, потому что если она и потеряла веру в него, то виноват в этом только он сам. Только сам!..

## 8

Этим же вечером Пулат сел за письмо к матери. И с тех пор пользовался каждой свободной минутой, чтоб черкнуть ей хоть несколько строк.

«Дорогая мамочка! Видишь, как часто я тебе пишу...— так начиналось одно из писем.— С кем, как не с тобой, делиться мне всем, что у меня в жизни и на душе? С тобой и с отцом... Только от него опять нет вестей. Ты не волнуйся, просто ему сейчас не до писем. Наши наступают, мама, на всех направлениях. До чего же это здорово!..

У нас тут тоже большие события. Закончена перемычка. Сипайшики поставили поперек реки треножки из бревен, туго перевязанных проволокой, в бушующую воду обрушились тонны камней — запрудили реку. Помнишь, мама, ты как-то говорила, что в старые времена дехкане боялись наводнения и села больше, чем пожара? А теперь человек повелевает речной стихией, нас много, мы спаяны крепкой дружбой. у нас великая цель. Как же реке не покориться нашей силе? Такая сила и горы сотрет в порошок! Строители обуздали реку, как норовистого коня, освободили от воды правую часть русла, где уже началось строительство плотины.

Вот когда понадобились бетонщики! Почти всю нашу бригаду перевели на плотину — это, мама, комсомольский участок. Правда, Сергей Иванович и Бохадыр-ата давно уже вышли из комсомольского возраста, но душой они комсомольцы, честное слово!

Я пока продолжаю работать на малой ГЭС. Мы закладываем бетон в основание — цоколь будущей электростанции. Хотя стоит зима, но со дна котлована то тут, то там вдруг начинают бить теплые ключи, они даже лед растапливают, грунт превращается в жидкое месиво, и над этими местами поднимается пар. Но ничего, мы воду откачиваем насосами — у нас вообще теперь с каждым днем все больше механизмов. На нашей и на других строительных площадках появились экскаваторы, подъемные краны. А мне недавно вручили электровибратор и научили, как с ним обращаться. Ох, и злая машинка! Так и дрожит в руках от ярости, и я весь трясусь, словно сквозь меня ток пропустили. Зато как быстро уплотняется бетон! И порой мне чудится, что вибратор живой и от души старается мне помочь. Правда, правда, мама, у машин есть душа, надо только ее понять, и тогда машина становится тебе верным другом. Если меня возьмут в армию, я, конечно, пойду в пехоту — так быстрее можно попасть на фронт. Но как бы мне хотелось быть танкистом! Танк бы меня слушался, я бы слился с ним, как на скачках всадник с горячим конем. Ох, и задали бы мы жару фашистам! Я прямо влюблен в машины!

У нас на стройке вообще много перемен. Построены узкоколейки, мосты, проложены дороги. Уже возводятся жилые дома. А специали-

стов мало. Если бы я мог, я овладел бы всеми профессиями и работал бы сразу на всех участках! Ведь везде не хватает рабочих рук.

Ты только не посчитай меня за хвастуна. Это все ведь одни мечты. А хвастаться мне пока нечем. Работаю как могу.

Чувствую себя хорошо. Бетон заливаем на свежем воздухе, мне все говорят, что свежий воздух полезней всяких лекарств. Я и физзарядку не забросил. Да и труд бетонщика — сплошная гимнастика.

Товарищи заботятся обо мне, как о маленьком. С продуктами туго, а они достают для нас с Рустамом парное козье молоко. Пью его каждый день: в совхозе Рустам-ака чуть не силком вливает его в меня, а теперь я и сам вижу, какая от него польза... Ох, и чудесные же у нас ребята!

Часто вижу с Анваром. Я все рассказал ему о Тураханове. Пусть никто и не слышал моего разговора с Турахановым, все равно я был убежден, что Анвар мне поверит. Чего мне бояться, если чувствую себя правым? Оказалось, что и Анвар не любит Тураханова. Он не раз бывал на турахановском участке, видел, что там творится, и тоже, как и я, удивляется — как это Тураханов ухитряется каждый месяц выполнять план, ходить в передовиках? Правда, колхозники его участка трудятся как герои, не жалеют сил, — только откуда им взять эти силы? Заболел бы он о них, так они могли бы работать еще лучше, но они больше болеют, чем работают. А план выполняется! Анвар сказал, что еще доберется до Тураханова. Но я вижу, ему некогда, всюду нужно поспеть. А Тураханова, так сказал Анвар, голыми руками не возьмешь. У него авторитет, он умеет пускать пыль в глаза. Мама, ты опять, верно, морщишься: мол, слишком категорично сужу о человеке, которого мало знаю. Мало, но знаю, мама! Слышала бы ты, как он со мной разговаривал! Я прав, мама! Только что мне делать с этой моей правотой? Нельзя жить по принципу: меня не трогают, и ладно. Надо бороться! Как бороться, мама? Нас в школе многому учили, но не учили, как справляться с бурным селевым потоком жизни. Вот я и барахтаюсь, как щенок...

Да, мама, чуть не забыл — Анвар, оказывается, сочиняет песни! Я как-то застиг его врасплох: сидит на берегу, что-то мурлычет под нос. Я подсел к нему, он даже не заметил. Так вот мы и сидели: он пел, я слушал. Потом он повернулся, увидел меня, покраснел. Я спрашиваю, что ты пел? Ну, ему деваться некуда, он признался: это его собственная песня. Он еще на фронте, во время передышек, начал слагать песни. От всех это скрывал! А песни чудесные, он мне спел несколько. Я говорю: посылай в газету, напечатают. Он смеется: какой я поэт, я, говорит, как тот любитель-рыболов, который удит рыбу для собственного удовольствия. Он не прав, мама: Рустам-ака часами просиживает с удочкой, вроде бы для отдыха, а если улов удачный, рыбой-то он всех угощает!

Рыбу стало ловить трудней — река замерзла. Но Рустаму-ака и горя мало, он теперь таскает меня на озеро, оно чуть выше плотины. Мы прорубаем лунки во льду и удим. Воздух чистый, морозный, вдохнешь — в ноздрях покальвает. Хорошо! Наконец-то наступила настоящая зима. Долго она примерялась, играла с нами, как кошка с мышью: протянет лапу, ударит, опять отдернет... Так и зима: найдет на нас вьюгу — и тут же на попятный. После метели — дождь. До самого января было тепло.

Но нам, мама, не страшны и холода: на работе работа греет, а в общестии печка гудит. Вот только насчет турахановского участка беспокоюсь: как-то там переносят холод мои земляки?

Кстати, мама, я тебе уже писал и еще раз прошу: если тебе при-

дётся писать Халилу-ата и Бахор, или если ты увидишь их, не говори, что я на стройке. Поверь — так надо. Придет время, я сам к ним наведаюсь и все объясню. Исполнишь мою просьбу, мама?

Пиши чаще, родная моя, самая-самая родная! Если будет что от отца, тотчас перешли мне, ладно?

Крепко, крепко тебя обнимаю.

Твой нескладный, но вполне-вполне здоровый

Пулат».

В своих письмах к матери Пулат рассказывал о многом, но кое о чем и умалчивал. Он, как и отец, больше писал о других, чем о себе, а свою жизнь рисовал в слишком уж радужных, безмятежных тонах, чтобы не волновать понапрасну Хайри.

Он и словом не упомянул в письмах об истории с хлебными карточками, а ему приходилось тогда, ох, как несладко! Случилось так, что Рустам потерял свою хлебную карточку. Хлеб на стройке был на вес золота. От Пулата ему не удалось скрыть потерю, и когда они сели обедать, Пулат разломил свой хлеб пополам и половину молча придвинул к Рустаму. Тот добродушно рассмеялся:

— Ишь какой щедрый! Ты что, директор хлебозавода? Или боишься потолстеть? И то гляжу, раздобыл парень, ремень на последнюю дырку застегиваешь — только с какого конца?

— Ешьте! — коротко сказал Пулат.

— Нет, приятель, этак получится, что битый небитого везет! — Он хлопнул себя по животу. — Видал, какое брюхо? Как барабан! Я, как тот верблюд — вполне могу жить старыми накоплениями.

— Ешьте. А то и я не буду...

Рустам внимательно взглянул на юношу, вздохнул:

— А ведь и правда: не будешь. Упрямая башка! — Он взял хлеб. — Спасибо, приятель.

И пока все не уладилось, Пулат и Рустам жили на одну карточку. Матери Пулат писал, что ест до отвала...

Он не сообщил ей и о том, что ему доверили самостоятельный участок. Бригада ушла на плотину, а Пулату поручили заканчивать цоколь малой ГЭС. Времени для завершения работы было отпущено в обрез — стройка остро нуждалась в электроэнергии. А в бригаде Пулата, «малой бригаде», как он сам ее называл, было всего человек двадцать, и все недавние колхозники, только на строительстве обучившиеся бетонному делу.

По сравнению с остальными бетонщиками своей бригады Пулат считался умелым специалистом. Памятуя наставление Никитина, он старался обучить товарищей, делился с ними своим не таким уж богатым опытом, вдохновлял их — советом и примером. И все равно, хотя бригада выбивалась из сил, закладка цоколя продвигалась медленней, чем мечталось Пулату: он хотел сдать цоколь досрочно, чтоб поскорей присоединиться к бригаде Никитина, тоже испытывавшей нехватку в рабочей силе.

Пулат собрал бригаду, потолковал с бетонщиками по душам. Они дружно поддержали предложение своего бригадира перейти на работу в три смены, поклялись сделать все, чтобы уход товарищей на другие объекты не отразился на темпах и качестве работ на малой ГЭС. Эту свою клятву они написали на алом полотнище, полыхавшем над строительной площадкой под порывами ветра.

Но Пулат понимал — как бы они ни старались, без помощи машин им не управиться к сроку. Полный отчаянной решимости, он пошел в управление и отвоевал для своего участка ленточный транспортер и три

грузовика в дополнение к тем, что уже курсировали между малой ГЭС и бетонным заводом. Бригада за два дня установила и пустила в ход транспортер; теперь бетон, который беспрерывно подвозили машины, подавался прямо на малую ГЭС.

Пулату хотелось хоть чем-нибудь походить на командира взвода, о котором рассказывал на собрании строителей Анвар. Стоило только ему представить, как тот перебегает от бойца к бойцу, подбадривает своих солдат и сам хватается то за автомат, то за противотанковое ружье, как у Пулата словно крылья выросли. Он трудился увлеченно, неумолимо, умудряясь наблюдать за работой всех трех смен, подбадривал замешкавшихся, поправлял ошибавшихся, и сам загружал раствор на транспортер, то занимался укладкой бетона, то уплотнял его вибратором. Он, казалось, не знал усталости и всех заражал своим самозабвенным упорством.

Из скромности он ничего не писал об этом матери...

И о наступившей зиме он в последнем письме упомянул вскользь, в бодром, шутливом тоне, хотя на самом-то деле бетонщикам было не до шуток. Неожиданно завернули необычные для Узбекистана холода. Но пуще всего доносили строителей снежные бураны. Место, где строилась ГЭС, было открыто всем ветрам, они прилетали из ущелий, метались по стройке, как бешеные собаки, завывали голодными шакалами, валили людей с ног. От ветра и холода перехватывало дыхание, деревенели губы, окоченевшие руки не слушались — тянуло в общегитие, к теплу... А работать нужно было как никогда споро: чуть зазеваешься — застынет бетон.

И люди оставались на местах. Они говорили себе: на фронте еще труднее! Ни трескучий мороз, ни осатаневший ветер не помешали бригаде Пулата досрочно закончить укладку цоколя.

Никитин поздравил их с трудовой победой, крепко обнял Пулата, похлопал по спине затвердевшей брезентовой рукавицей:

— Молодец, сынок! Оправдал доверие.

А еще он сказал, что с оставшейся работой «малая бригада» может справиться и без Пулата: он забирает его на плотину — там позарез нужны умелые бетонщики.

Пулата охватило чувство гордости. Совсем недавно Тураханов прогнал его со стройки, оскорбив, унизив, попрекнув болезнью. И вот Пулат доказал, что его болезнь делу не помеха: он выполнил порученное ему ответственное задание, и Никитин похвалил его... Пулат почувствовал прилив новых сил. Если бы он в эту минуту встретил Тураханова, то сумел бы постоять за себя, сказать ему в лицо все, что думал о нем. Хозяин!.. Нет, это он, Пулат, и его товарищи — хозяева на стройке. Им подвластны стихии, и нет в мире такой силы, которая устояла бы перед ними!

Пулат готов был петь от радости, и ему так хотелось поделиться ею с отцом, с матерью... с Бахор!

Отныне ему нечего стыдиться Бахор, он должен ее увидеть. Он пойдет к ней и объяснит, почему чуть было не ушел со стройки, и рассказывает о своем скромном трудовом успехе, о своей жизни, о своих мечтах и о том, как тоскливо ему было без Бахор, как рвалось к ней его сердце, истомившееся в разлуке, полное боли, нежности и любви. Довольно ему таиться и от самого себя, и от любимой — он все ей скажет, распахнет перед ней душу! Пулат не испытывал больше ни робости, ни смущения — он верил в свое счастье.

И, не мешкая, поспешил в библиотеку, где работала Бахор.

Землю окутал плотный вечерний сумрак. Стройка словно вымерла — колхозники, уставшие от работы, ветра и холода, попрятались по землянкам. Темно, хоть глаз выколи. Но Пулата ничто не могло остановить — ни тьма, ни снег, ни сильный встречный ветер. Вот и библиотека — небольшая мазанка из глиняных катышей. Сквозь замерзшее подслеповатое оконце пробивался на улицу мутный желтый свет керосиновой лампы. Пулат подошел к двери, чуть приоткрыл ее и вдруг услышал знакомый ненавистный голос. Он отпрянул в темноту. Послышались твердые шаги. Кто-то, подойдя к двери изнутри, прихлопнул ее, видно, подумав, что она распахнулась от ветра...

Пулат стоял возле окна и не удержался — заглянул внутрь через крохотный глазок, протертый на обледеневшем стекле.

В библиотеке были только двое — Бахор и Тураханов. При виде Бахор у Пулата сжалось сердце. Она сидела за круглым столом, на котором были разложены газеты и журналы, вполоборота к Тураханову, расхаживавшему вдоль библиотечной стойки. Пулат видел только затылок Бахор, косы, уложенные венцом поверх косынки. Тураханов что-то говорил ей, и она, судя по напряженной позе, внимательно его слушала. Со стола соскользнула не то газета, не то лист бумаги, Бахор нагнулась, чтобы поднять, и Пулат увидел ее разругавшиеся щеки. Тураханов шагнул к столу, что-то положил на него — это были маленькие изящные часики. Бахор отодвинула их, Тураханов настойчивым движением сунул часы ей в руки, наклонился, чтобы обнять девушку...

На это Пулат уже не мог смотреть — как ужаленный, отскочил от окна. Некоторое время стоял оцепенев, не в силах осмыслить увиденное. И все-таки какая-то сила тянула его к окну, толкала еще раз убедиться в измене любимой, до дна испить чашу унижения. Нет, это недостойно настоящего мужчины!.. Пулат подавил в себе темное желание, заставил себя отвернуться от окна и побрел прямо по сугробам прочь от библиотеки...

Ветер усилился — или это только казалось Пулату? Идти было трудно, лицо пылало, как в огне, мысли путались... Как все это могло случиться? Ведь Бахор всегда уверяла его, что относится к Тураханову как к соседу, смеялась над его, Пулата, ревнивыми подозрениями. Она не лгала — Бахор не способна на ложь! Но теперь она с Турахановым, принимает от него дорогие подарки, позволяет ему обнимать себя... Неужели она так изменилась за то время, что они не виделись? Его, Пулата, она сочла за дезертира, он перестал для нее существовать. Тут-то Тураханов и раскинул свои сети, и она попала в них, глупая! Бахор — глупая? Ну нет, она умная и чистая. И она — с Турахановым? Значит, она не такая, какой до сих пор представлял ее Пулат? Ему вспомнились ее похвалы в адрес Тураханова, вспомнилось, как она уезжала из кишлака в турахановской коляске. Эти воспоминания еще больше разожгли в нем обиду и ревность. Но зачем же тогда она вызвала Пулата на стройку? Как самоотверженно она заботилась о нем, когда он болел, с каким искренним негодованием осуждала Тураханова за то, что тот жил на стройке на широкую ногу. Не могло же все это быть притворством. Так почему же она теперь с Турахановым?..

Ревность, тоска и гнев терзали его сердце. Значит так, Бахор? Не знаю, что нашла ты в этом чванливом распутнике, но ты с ним, ты предала, растоптала нашу дружбу!

Жгучие слезы выступили на глазах Пулата, наверно, от резкого ветра, хлеставшего по лицу... Он не помнил, как добрался до понтон-

ного моста. Ступив на него, он остановился, в последний раз взглянул в ту сторону, где была библиотека. У него дрожали губы от нестерпимой обиды, от боли и отчаяния. Но он постарался овладеть собой, гордо вскинул голову.

Хорошо, Бахор!.. Я больше не буду о тебе думать. Я вырву из сердца любовь к тебе. Проживу без тебя, Бахор. У меня есть друзья, работа. Проживу без тебя...

И, упрямо наклонив голову, Пулат решительно зашагал на другой берег.

...Пулат, Пулат, если б ты знал, что в действительности происходило в библиотеке и о чем разговаривали Бахор и Тураханов!..

Бахор надумала уйти из библиотеки и только поджидала возвращения Тураханова из очередной его поездки в район. Да, после разговора с тобой Тураханов опять укатил со стройки: он теперь больше разъезжал по району, чем руководил участком. Ты в письме к матери угадал: дела на его участке обстояли не так гладко, как он сам пытался тебя уверить. Колхозники и вправду сил не жалели, но сколько же сил забирали у них холод, болезни, недоедание, трудный неустроенный быт. А Тураханов не желал понять, что люди нуждаются в заботе. Он думал только об одном: на участке нужда в рабочих руках, и старался всеми правдами и неправдами, используя свой авторитет, ораторский талант и организаторскую хватку, где только можно, набрать людей сверх обычной разверстки и добиться победы — не уменьем, так числом. Ему и теперь удалось привезти с собой колхозников. Он торопливо распищал их по холодным землянкам, которые и без того были битком набиты здоровыми и больными, кое-как залатал таким образом очередную брешь, призвал всех к решительному штурму, и участок снова выполнил месячный план, снова получил переходящее знамя. После митинга, на котором вручалось знамя и премии, торжествующий и как никогда уверенный в себе Тураханов явился в библиотеку к Бахор. Он знал, что в этот вечер вряд ли сюда заглянет кто из строителей — митинг закончился поздно, люди устали...

Бахор, и правда, была одна. Пристроившись за круглым столом, она приводила в порядок картотеку. Увидев в дверях Тураханова, она приветливо улыбнулась:

— Салам, Акрамхан-ака! Давно не заглядывали...

— Дела, дела, Бахорхон! То по району мотаешься, как проклятый, вернешься на участок — тут навалится миллион забот. Вон какой воз тянуть приходится!

Он пригладил пальцами черные короткие усы, снимая с них примерзший снег, поздоровался с Бахор, задержав ее ладонь в своей... Она осторожно высвободила руку.

— Вы сегодня, как именинник...

— Правильно, лично я — именинник! Переходящее-то опять у нас! Не зря работал как вол, недосыпал ночей, руководство оценило мои старания, выдвигает на пост председателя райисполкома. Можешь поздравить!

— Поздравляю, товарищ Тураханов!

Тураханов с обидой развел руками:

— Ну зачем же так официально? Ты же знаешь, Бахорхон, для тебя я не начальство, а сосед, старший брат. Называй меня, как и прежде, Акрамхан-ака. Поверь, мне это приятно. Я так соскучился по тебе...

Бахор вдруг показалось, что Тураханов пьян. У него было багровое

лицо, масляно поблескивали глаза, и она впервые заметила, какие у него красные, влажные, плотоядные губы... Тураханов словно угадал ее мысли:

— Думаешь, хмельной? Хмельной — да не от вина. Правда, выпили после митинга, в узком кругу, надо же было отметить успех. И я тут же к тебе. Давно я не видел тебя... Бахорхон...

Он приблизился к ней, она невольно отшатнулась. Тураханов усмехнулся, отошел и вновь принялся вышагивать вдоль стойки.

— Кажется, ты боишься меня, Бахорхон? А ведь я к тебе с открытым сердцем!..

Бахор поторопилась перевести разговор на другое:

— Акрамхан-ака! Я давно хотела сказать... Вас все не было...

— Говори, слушаю!

— Нам с отцом очень неловко... Мы тут на каком-то особом положении. Живем в отдельной землянке... Кормят лучше, чем других. Отец говорит, это по вашему указанию. Но так же нельзя! Я хочу, как все. Я уже поскандалила с вашим завхозом...

— Слышал,— Тураханов кивнул и снисходительно взглянул на девушку.— Как ты еще молода, Бахорхон! Пойми, девочка, всех досыта не накормишь. Война, продуктов не хватает... А вы мне все-таки не чужие.— Он бросил на нее пристальный, быстрый взгляд и, заметив, что она нахмурилась, поспешно добавил:— Может, я и не прав, что выделяю кого-то. Так ведь я человек, а не камень. Больно смотреть, как надрывается твой отец: старик, а на самой тяжелой работе. Ему необходимо усиленное питание.

— А почему же и мне? — спросила Бахор.

Тураханов шагнул к ней, остановился, покачал головой:

— Неужели ты ничего не видишь, Бахорхон? Лично я... на все для тебя готов! Да, кстати...— он достал из кармана маленькие часики, положил на стол перед Бахор.— Это тебе от меня. Скромный подарок. В залог нашей будущей дружбы.

Щеки Бахор разругались от стыда и негодования. Резким движением она оттолкнула часы, но Тураханов сунул их ей под ладонь и прикрыл ее руку своей.

— Не возьмешь — обидишь. Сегодня нас премировали ценными подарками. Считай, что это твоя премия.

Бахор выдернула руку:

— Я еще не заслужила премии!

— Ты заслуживаешь большего! Бриллианту нужна достойная оправа. Я вправе распределять премии по своему усмотрению. Носи на здоровье эти часы, с ними ты будешь еще красивее! — Он наклонился к Бахор, попытался обнять ее.— Ты красивей всех, кого я знал!

Бахор с неожиданной силой стряхнула со своих плеч руки Тураханова, вскочила со стула:

— Как вам не стыдно!

— Стыдно? Когда ты сердишься, ты еще прекрасней! Как же стыдиться любви к такой красавице?

Бахор была так потрясена и растеряна, что только и смогла повторить:

— Как не стыдно! — Она закрыла пылавшие щеки ладонями, устремила на Тураханова испуганный, полный страдальческого недоумения взгляд.— У вас ведь жена...

В ответ на возмущенный возглас Бахор Тураханов пренебрежительно пожал плечами.

— Жена!.. Я говорил тебе, что не выгоняю ее только из жалости — без меня она пропадет! — Он смотрел прямо в глаза Бахор.— Однако ради тебя... ради тебя я пошел бы на все!

Бахор смело встретила его взгляд.

— Даже на подлость?

Тураханов рассмеялся:

— Зачем такие громкие слова? Кто знает, что такое подлость? Ты знаешь? Ты еще ничего не смыслишь в жизни. В ней все относительно — низкие и высокие понятия. Существует один лишь верный критерий: общественное мнение. Человек это то, что о нем думают другие. Не делай больших глаз, Бахорхон! Учись трезво смотреть на жизнь.

Бахор задохнулась от возмущения:

— Трезво?! Прощать себе всякую подлость — это вы называете трезво смотреть на жизнь?

Она готова была расплакаться; все, что делал и говорил Тураханов, казалось ей страшным, неправдоподобным сном. Вот Тураханов, приосанясь, стоит перед ней и смотрит на нее пьяно прищуренными глазами, и усы хищно шевелятся под его мясистым носом... Вот он шагнул к ней... Бахор загородилась рукой, как от удара, и крикнула:

— Не смейте! Уходите отсюда! Сейчас же уходите!

Не помня себя от страха и отвращения, она с силой оттолкнула его, отбежала к двери, широко раскрыла ее.

— Уходите! Или я позову на помощь!

Тураханов стоял, прислонясь к стойке, прерывисто дышал, постепенно приходя в себя. Черты его лица отяжелели, как всегда, когда на него накатывала слепая ярость. Он выпрямился, одернул китель, ни слова не говоря, направился к двери. Бахор отстранилась, он прошел мимо, медленной, грузной походкой.

Холод врывался в распахнутую дверь, но Бахор не чувствовала его. Вдруг ее взгляд упал на стол, на котором блестели оставленные Турахановым часы. Она кинулась к ним, схватила, снова метнулась к двери:

— Возьмите! Вы забыли! Ваши часы!..

Он не обернулся. Исчез в непроглядной мгле...

Бахор закрыла дверь. Часы жгли ей ладонь, она бросила их в ящик своего рабочего столика, брезгливо, словно держала в руках холодную, скользкую змею, и невольным движением вытерла ладонь о юбку.

А потом опустила на стол, закрыла лицо руками и разрыдалась...

## 10

Из библиотеки Бахор ушла поздно, она не торопилась с возвращением в землянку: хотелось хоть немного успокоиться после этого ужасного разговора. Отцу она решила ничего не говорить, чтоб не изранить его доверчивое, доброе сердце.

Медленно брела она домой. Дорога была еле различима в темноте; вокруг, как барханы, шевелились под ветром сугробы снега. Вьюга завывала на разные голоса, но Бахор слышала только голос своего сердца, голос, полный боли и негодования... Негодяй! Как искусно прикидывался он все это время добрым соседом! Околдовал своими речами отца, да и ее, Бахор... Как она могла ему верить? Пулат, тот давно сомневался в искренности турахановских намерений, а она, глупая, еще обвиняла своего друга в безрассудной, слепой пристрастности. Сама она была слепа!

Бахор передернула плечами: казалось, они еще ощущали тяжесть турахановской руки. Как он посмел? Для него нет ничего святого — ни семьи, ни любви, ни дружбы. Как он посмел подумать, что она, Бахор...

Она оступилась, упала в сугроб. Поднялась, машинально отряхнулась, долго смотрела на обледенелую дорогу, по которой, как юркие белые ящерицы, сновали подгоняемые ветром струи сухого снега. Лед

словно дымился... И такие же вихри, вздымаясь, переплетаясь, обжигая холодом, бушевали в душе Бахор.

А разве это справедливо — обвинять во всем одного Тураханова? Она-то хороша!.. Он при ней обливал грязью свою жену — она слушала его с участием и состраданием. Зная, что она дружит с Пулатом, он принялся травить его, стремился принизить Пулата в ее глазах, хотел разрушить их дружбу и поэтому, только поэтому отказался взять его на стройку. А что она сделала, чтобы защитить их дружбу? Она защищала Тураханова от нападок Пулата! Стоило Пулату хоть словом задеть Тураханова, как она уж спешила за него вступиться, назло, да назло Пулату! Она таяла, словно леденец, от льстивых, вкрадчивых речей Тураханова. Она уехала на стройку вместе с ним, да еще требовала, чтоб Пулат провожал ее! Что ж после этого удивляться притязаниям Тураханова? Она дала для них тысячи поводов. Доверчивая дура! Доверчивая — к Тураханову, несправедливая — к Пулату...

Занятая своими мыслями, она не замечала ничего вокруг: ни мороза, ни ветра. Ее гнев, стыд и раскаяние были сильнее вьюги, невыносимей мороза. Она шла как слепая, то и дело спотыкаясь.

А может, Пулат оттого и ушел со стройки, что узнал о приезде Тураханова? Не случайно же уход одного совпал с приездом другого. Ведь Пулат все видел, все понимал, он старался и ей открыть глаза. Где-то ты теперь, Пулат, верный друг, столько вытерпевший из-за моей слепоты, из-за моего упрямства? Что с тобой? Уж не болен ли ты? Как мне разыскать тебя, чтобы повиниться во всем — я сама никогда не прошу себя, а ты должен простить, иначе мне будет так трудно, так невозможно трудно, что хоть головой об лед! Был бы ты сейчас рядом, любимый, да, любимый, любимый! — я бы открыла тебе свое сердце, призналась во всем, что меня терзает, я бы взглянула в твои большие честные глаза, заставила бы их потеплеть и сама бы успокоилась. Ох, Пулат, у меня сердце разрывается, когда вспоминаю, как мучала тебя, как помогала этому негодяю мучать тебя! Пулат, Пулат, я бы сейчас не постеснялась обнять тебя и была бы самая счастливая в мире, счастливая на всю жизнь. Я ведь знаю, ты любишь меня, родной мой, самый сильный, самый зоркий и справедливый!

У нее выступили на глазах слезы, она замедлила шаги, вытерла глаза, подождала, пока сердце станет биться спокойней, и лишь после этого вошла в землянку.

Халил-ата не спал, он с тревогой взглянул на дочь:

— Что так припозднилась, доченька?

Бахор, раздеваясь, ответила как можно непринужденней:

— Отец, я же сдаю дела. Вот и задержалась...

— Ты уже решила? Будешь работать со своими подружками?

— Да, отец, с завтрашнего дня.

Старик, ворочаясь на своем тюфяке, следил за Бахор. Ее лицо показалось ему расстроенным, но по доброте своей он объяснил это тем, что ей жалко расставаться со своими книжками — свыклась за столько месяцев с работой, несущей людям свет и знания.

— А с Акрамханом говорила? Отпустит?

Бахор вздрогнула.

— Не имеет права не отпустить! — И испугавшись, что по ее взволнованному, непримиримому тону отец может заподозрить неладное, уже мягче добавила: — Девушки обещали похлопотать за меня в управлении.

— Вот и ладно! — Старик прикрыл ладонью сладкий зевок. — Ложись, дочка. Поди, умаялась.

— Спокойной ночи, отец.

— Счастливого утра, дочка!

На другой день, ближе к обеденному перерыву, Бахор поспешила на Каттасай к своим подругам электросварщикам. Вьюга стихла, но небо было обложено низкими свинцовыми тучами, сквозь которые еле проглядывал тусклый диск солнца. И мороз по-прежнему пробирал до костей. В такую недвижную, морозную, сумрачную погоду все вокруг кажется особенно неудобным...

Но тоску с души Бахор как рукой сняло, когда она увидела своих подруг, веселых, жизнерадостных, чем-то особенно возбужденных, — хотя ведь молодых пьянит сама молодость!

Надя первая бросилась к Бахор:

— Бахор!.. Ура!.. Мы все устроили. Ты теперь с нами! — Она обняла Бахор и, кружась с ней, затараторила: — Да здравствует гвардейская бригада боевых подруг электросварщиц!

Зульфия, не прекращавшая работать, подняла на лоб железный щиток, защищавший лицо от искр электросварки, и строго сказала:

— Особенно радоваться нечему! — и, заметив недоуменный взгляд Бахор, добавила: — Разлучают нашу бригаду...

Амина, грустно потупясь, кивнула:

— Разлучают нас, Бахор!

— В чем дело, девушки? — встревожилась Бахор, вмиг забыв о собственных неприятностях. Она посмотрела на Надю, та пожала плечами.

— Зульфия тебе обо всем подробно доложит...

Зульфия сняла щиток.

— Ладно, девушки, пошли обедать, — сказала она. — По дороге все расскажу.

И когда они шли в столовую, сказала, обращаясь к Бахор:

— Понимаешь, с каждого участка на строительство металлургического завода направляют двух-трех специалистов. Тут мы почти всю работу закончили. Вот в управлении и решили: двух электросварщиц оставить на Каттасае, а остальных двух...

— Нас ведь теперь четверо! — встала Амина.

— Да. А двух перевести на строительство завода, там нужны и электросварщики. — Зульфия вздохнула. — Вот и ломай теперь голову, кому тут оставаться, кому на завод... Ничего страшного, конечно, нет, столовая одна, общежитие тоже. Но работать врозь придется...

Бахор, молчавшая все время, сказала:

— Девочки! Меня — на завод...

— Тебя? — удивилась Зульфия. — У тебя же здесь отец!

— Я очень прошу, девочки!

В умоляющем тоне Бахор было что-то такое, что Зульфия внимательно и озабоченно посмотрела на нее.

— Стряслось что, Бахор? — спросила Надя.

Девушки всегда делились друг с другом самым сокровенным, и Бахор не стала таиться от подруг: еле сдерживая слезы, она рассказала им о вчерашнем столкновении с Турахановым. У Амины совсем по-детски округлились глаза, Надя тихонько охнула:

— Ох, девочки, что ж это делается!..

Зульфия сосредоточенно хмурила брови.

Некоторое время все молчали. Наконец все та же непоседа Надя, покрасневшая, как костер на ветру, воскликнула:

— Надо его проучить, Бахор! Мы выведем его на чистую воду!

Амина печально вздохнула, а Зульфия сердито покосилась на Надю:

— Несерьезно, Надежда. Что он такого сделал? Признался в любви. Его любовь отвергли. Он ушел.

Надя сжала кулачки:

— Разложила все по полочкам! Что он сделал? Да как он посмел

приставать к Бахор! Он семейный человек. Вот пришьют ему моральное разложение!..

— Не кипятись! Моральное разложение... Он что, соблазнил кого? А любить никому не запрещено. Жизнь сложнее, чем ты думаешь. К тому же Тураханов пользуется на стройке заслуженным уважением.— Зульфия задумалась.— Бахор права, лучше ей на завод. Если он и после этого не оставит ее в покое, мы примем меры...

Надя покачала головой:

— Ох, уж эта твоя рассудительность!

Но она привыкла во всем слушать Зульфию — та была среди них самая старшая, самая серьезная и спокойная.

Зульфия между тем продолжала:

— С Бахор на завод пойду я. А ты, Надежда, шефствуй над Аминой. Каждый день будем друг перед другом отчитываться. Договорились?

Столовая, к которой были прикреплены электросварщицы, находилась на другом берегу реки. Когда они подошли к мосту, Зульфия вдруг остановилась, ее строгие глаза просияли, она торжественно проговорила:

— Девочки!.. И давайте дадим друг другу клятву: что бы с нами ни случилось, никогда не расставаться! Дружить всю жизнь!

— Ура, Зульфия! — радостно отозвалась Надя.— Клянемся, девочки!

— Клянемся!

— Клянемся!

— Клянемся!

Они веселой гурьбой взбежали на мост, только Бахор осталась стоять на месте.

— Ты что? Разве не с нами? — спросила Зульфия.— Можешь уже сегодня у нас пообедать!

— Мне надо... к Тураханову...

На Бахор уставились три пары изумленных глаз.

— К Тураханову?..

— Надо ж его предупредить...

— Ладно, Бахор,— сказала Зульфия.— Ступай. До вечера! Вечером зайдешь к нам?

— Обязательно!

Надя погрозила Бахор крепким своим кулачком.

— Смотри, держись! Эх, мне бы с ним встретиться, я бы ему показала!..

...До чего же не хотелось Бахор идти к Тураханову!.. Но ведь она так и не успела сказать ему вчера о своем решении оставить библиотеку. И его часы все еще у нее. Надо отдать их. В конце концов чего ей бояться?..

И все-таки у дома Тураханова она задержалась. Ноги словно приросли к земле. Может, на ее счастье, его нет дома? Но тотчас же она рассердилась на себя: к чему медлить — все равно ведь придется с ним встретиться! Она должна справиться со своим малодушием, иначе потеряет всякое уважение к себе.

И Бахор решительно толкнула дверь.

Тураханов был дома, восседал за письменным столом, роясь в каких-то бумагах. Когда вошла Бахор, он поднял голову, губы его скрипелись в злорадной усмешке.

— Явилась, госпожа недотрога! Не ожидал.

Он хотел было встать ей навстречу, но она предупредила его движение — торопливо вытащила из кармана часы, положила их на стол.

— Вот... Вы вчера забыли в библиотеке.

Она смело смотрела ему в глаза, неприступная, гордая. Тураханов, как вчера в библиотеке, невольно залюбовался ею, но в то же время он понял, что ни за что не сладить ему с этой упрямницей. Бессильная злоба охватила его, он поднялся, уперся в стол кулаками, тяжелым взглядом уставился на Бахор:

— А не надоела ли тебе библиотека, Бахорхон? Лично я на твоём месте со стыда бы сгорел: война идет, а ты, молодая, здоровая, пригласилась среди книг, в то время как твои подруги, не жалея сил, работают на самых трудных участках!

Он говорил еще какие-то пустые, высокопарные слова, и Бахор глядела на него широко раскрытыми глазами, не испытывая даже возмущения. Вдруг ей стало смешно, и она рассмеялась в лицо Тураханову.

— Акрамхан-ака! Вы мне мстите? Хотите за вчерашнее наказать трудной работой? Да я уж давно решила уйти из библиотеки! Я и пришла к вам сказать об этом. Меня приняли в бригаду электросварщиц.

Она положила перед Турахановым еще утром написанное заявление и ключ от библиотеки.

У Тураханова лицо налилось кровью. Он чувствовал себя бессильным перед насмешливым спокойствием Бахор. Ему казалось, что она дорожит местом в библиотеке, — это ведь не землю копать — вот он и решил припугнуть ее, чтобы знала, с кем имеет дело. А она обвела его вокруг пальца!

А Бахор, пользуясь минутным замешательством Тураханова, продолжала:

— Вы, наверное, забыли, что сами уговаривали меня пойти в библиотеку. А я просила разрешить мне работать наравне со всеми. Это мое самое горячее желание! А вы... вы этим хотите меня наказать?.. — Глаза у нее потемнели. — Ничего-то вы не понимаете!

К Тураханову, наконец, вернулся дар речи. Багровый от душившейся его ярости, он ткнул пальцем в сторону двери:

— Вон, девчонка! Слишком много воли вам дали! Убирайся на все четыре стороны!

— Вы не бойтесь! — сказала Бахор напряженно звонким голосом. — Я никому ничего не расскажу.

— Вон!.. — взревел Тураханов.

Бахор повернулась и ушла.

Если бы она знала, что Тураханов так же выгнал и Пулат! Его бешила их независимость — ну и молодежь пошла, уже начали замахиваться на авторитет старших! Надо приструнить их, пока не поздно! Ни с чем не считаются, молокососы... Но он был слишком уверен в своих силах, в своем превосходстве над ними, чтобы долго думать об их опасном бунтарстве. Других забот хватало, и как только Бахор ушла, Тураханов опять погрузился в бумаги. Положение на участке складывалось такое, что было над чем поразмыслить. И это было для него важнее, чем капризная девчонка...

Бахор с этого же дня начала работать электросварщицей на строительстве завода. Халил-ата после ее ухода перебрался из землянки в общежитие кузнецов — глинобитную мазанку, находившуюся поблизости от кузницы. Тураханов больше не опекал его «по-соседски», чему старик был только рад, а при встречах с Халилом-ата не подавал и вида, что между ним и Бахор пробежала черная кошка...

## II

Пулат и не заметил, как на стройку пришла весна. Пронизывающие ветры, с прежней неутомимостью обдувавшие Галабастрой, несли теперь с собою сырость и неуловимые запахи близкого цветенья земли. Пулат

с наслаждением вдыхал влажный, теплеющий воздух, не думая о том, что он опасен для него, и сладкая, щемящая тревога разливалась в груди...

Он работал вместе со всей бригадой на реке, где возводилась плотина. Это было царство бетона. Но техники для его укладки и уплотнения не хватало, что сказывалось на темпах работ. Однажды Никитин позвал к себе в палатку Пулата и Рустама.

— Ты ведь десятилетку кончил, верно? — спросил он Пулата.

— Н-ну... кончил, — сказал Пулат, не понимая, куда клонит бригадир. — А в чем дело, Сергей Иванович?

— В том, что ты в долгу у народа, а долг платежом красен. Ясно?

Пулат засмеялся:

— Отец мой любил говорить: ясно, но непонятно.

— Тогда поясню. Нельзя допускать, чтобы государственные, народные средства были пущены на ветер. Теперь понял?

— Ничего не понял!

Никитина, видно, забавляла эта игра. Он развел руками, как бы удивляясь непонятливости Пулата.

— Ну что загадки загадываешь! — взмолился молчавший до сих пор Рустам. — Выкладывай, что ты от нас хочешь.

— А я как раз хочу загадать загадку. У тебя, Рустам, опыт, фронтовая смекалка. У Пулата светлая голова — недаром целая армия учителей над ним хлопотала. Даю вам три дня срока. Пошевелите мозгами и придумайте, как быть. Всем нам надо крепко подумать. Сами видите: зашиваемся! Ну, пока заливаем котлован, еще туда-сюда, управимся. А дальше? Народу и машин — кот наплакал. Не уложимся в график. Надо, как это говорится... искать скрытые резервы. Вот и ищите. Обмозгуйте все варианты, которые помогли бы нам ускорить укладку бетона. Теперь ясно?

Рустам почесал затылок.

— Да, задал задачку!.. Какой из меня рационализатор? Тут особый талант нужен.

— На фронте попадал, наверно, в разные передраги?

— Случалось...

— И находил выход? То-то. Что ж, у тебя особый военный талант был?

— Обстоятельства заставляли, Сергей-ака!..

— Считай, что и мы сейчас вроде как в окружении. И надо из него вырваться! Надо, Рустам, дорогой!.. Пулат, сынок, надо!.. Понимаете, други, вот как надо!

И Никитин провел ребром ладони по горлу.

Это «надо» крепко засело в сознании Пулата. Их участок и в самом деле мог очутиться в прорыве. Они с Рустамом долго ломали голову над заданием Никитина. Помогала им вся бригада. А решение оказалось неожиданно простым: если плотину строить, не заливая в нее бетон, а складывая ее как дом из кирпичей, дело пошло бы быстрее? Куда быстрее! А можно ли делать кирпичи из бетона и связывать их тоже бетоном? Прикинув так и этак, произведя несложные подсчеты, друзья пришли к выводу: можно!

Так родился новый строительный материал — блок-бетон. В дальнейшем он получил широкое распространение на стройке.

Когда Пулат и Рустам рассказали бригадиру о блок-бетоне, Никитин, обняв и расцеловав обоих, помчался в управление — доказывать преимущество нового метода укладки бетона. По настоянию Пулата и Рустама он представил там их предложение как инициативу всей бригады.

В управлении горячо поддержали новаторов. Это был крупный успех строителей плотины.

Пулат был на седьмом небе от радости.

И чем больше сил, страсти, уменя вкладывал он в свою работу, тем крепче привязывался к профессии бетонщика. Бригада Никитина стала ему второй семьей. И его любили в бригаде — за неутомимость, упорство, за полную отдачу сил.

Он уже не мыслил себя без своей бригады, без своей работы. Его волновал запах бетона, он с гордостью носил рабочую одежду: забрызганные бетоном кирзовые сапоги, белые прорезиненные брюки и спецовку.

Как-то, когда он уплотнял бетон электровибратором, выглянуло солнце — оно все чаще пробивалось сквозь тучи, растапливая и превращая в веселые ручьи остатки снега. Пулату стало жарко, пот катился по лицу. Он снял спецовку, бросил ее на земляную насыпь, высившуюся на краю котлована, и снова налег на вибратор. Вскоре и рубашка на Пулате насквозь промокла от пота... Кто-то легонько хлопнул его по спине. Пулат обернулся и увидел рядом с собой Никитина. Бригадир озабоченно, с укоризной смотрел на юношу:

— Оденься, сынок! Весна коварна, ты ей не слишком доверяй. Гляди, прохватит, опять сляжешь.

Пулат, прищурясь, глянул на небо:

— Солнышко-то какое! Ветер теплый!

— Это тебе сгоряча кажется.— Он отобрал у Пулата вибратор и ласково, строго повторил: — Оденься.

Пулат поискал глазами свою спецовку — ее не было на месте. Он взобрался на насыпь, — куда же она могла деваться? Никакая другая пропaja не огорчила бы так Пулата. В эту минуту он с особой остротой ощутил, как дорога ему его рабочая одежда. И когда он, наконец, увидел свою куртку — ее унесло ветром вниз, — лицо его озарилось радостью. Он сбежал с насыпи, кинулся к спецовке, схватил ее, прижал к груди и тут же подумал, что и на фронте он не забудет о днях, проведенных на Галабастрое, о своих друзьях по работе, о своем вибраторе и об этой спецовке, оберегавшей его от дождей, ветров и морозов, пропитанной его потом, остро пахнущей резиной и бетоном...

Пулат на ходу натянул на себя куртку. Никитин поджидал его, дымя трубкой. Оглядев юношу, удовлетворенно кивнул:

— Вот так. Береги себя, сынок. Геройство хорошо, когда со смыслом и к месту.

— Спасибо вам, Сергей Иванович! Болеть мне совсем не хочется! Да я ведь за всю зиму ни разу и не захворал!

Никитин ласково потрепал его по голове:

— Ты у меня молодцом! Вон как возмужал-то!

Он ушел, а Пулату вдруг стало грустно. Сколько новостей накопилось у него за последнее время, сколько невысказанных чувств теснилось в его груди!.. Как ему не хватало сейчас Бахор, той, прежней Бахор, от одного взгляда которой светлело вокруг и теплело на душе... Как ни старался Пулат не думать, не вспоминать о ней, он не мог подавить в себе чувство к Бахор. Пожалуй, только теперь он и понял, что любил ее. Любил и любит — горькой любовью, омраченной изменой Бахор. Горько ему, больно, но плечи его не сникли, а распрямились, оскорбленная гордость заставила его высоко держать голову.

Так бывает только с сильными!..

Весна всем прибавила хлопот, в том числе Тураханову и Халмату.

Все трудней становилось заполучить в районе рабочую силу — на носу была посевная. Из-за нехватки людей строительство перемычки оказалось под угрозой срыва.

Перемычка должна была перегородить Каттасай, чтобы во время возможного паводка отвести воды небольшой, но бурной горной речушки от участка, где сооружалось бетонное русло канала. За эту часть канала также отвечал Халмат, и Тураханов требовал, чтобы он в первую очередь заботился о строительстве именно бетонного русла — от успешного хода этих работ во многом зависели общие показатели турахановского участка. Халмату пришлось все силы бросить туда, а под началом у него было около ста дехкан, не считая кадровых рабочих.

К возведению каттасайской перемычки он приступил с большим запозданием, когда уже наступила весна, а весну предсказывали дружную, с паводками, селевыми потоками, разливами рек. Стоило хоть чуть задержаться со строительством перемычки, и Каттасай, разбухнув от весенних вод, вобрав в себя быстрые горные ручьи, дождевую воду и талые снега, налившись силой и яростью, мог свести на нет все усилия строителей бетонной части канала.

Халмат позабыл о сне и отдыхе, колхозники, сооружавшие перемычку, валились с ног от усталости, и все-таки с каждым днем становилось все ясней, что им не обогнать весну, не закончить перемычку до паводка. Халмат нервничал. Он ненавидел сейчас солнце, припекавшее все сильнее, — оно плавало снега в горах. Ненавидел собиравшиеся в небе облака, — они сулили дожди, от которых обычно возникали самые могучие паводки. С угрюмой злостью и страхом смотрел Халмат на все более мутнеющий Каттасай, — река, казалось, распухла, вздувалась у него на глазах. Шайтан бы ее побрал! Из-за нее он, Халмат, может опозориться на всю стройку!..

Что же предпринять, чтоб спасти свою рабочую честь? Поднажать на строителей перемычки? Что с них взять, они и так работают на пределе своих сил. Вот если б ему прибавили людей!..

И когда на берегу Каттасая появился в сопровождении верного Махсумчи Тураханов, Халмат бросился к нему, видя в нем последнюю надежду:

— Акрамхан-ака! Выручайте! Не укладываемся в сроки.

Тураханов смерил Халмата суровым взглядом:

— Что значит: не укладываемся? И при чем тут лично я? Ты прораб этого участка, на тебе вся ответственность.

У Халмата дергалась щека в нервном тике.

— Что я могу сделать? И так бьюсь как рыба об лед. Вода-то все прибывает; как хотите, а не успеем к паводку!..

— Ну, насчет паводка это еще вилами по воде писано, по той самой воде, которой ты так боишься! — Тураханов улыбнулся собственной шутке, и Махсумча угодливо рассмеялся. — Рано, товарищ прораб, ударился в панику! — Он обернулся к Махсумче: — Вот и работай с такими!.. Лично я, понимаешь, оказал ему доверие, из совхоза вытащил, выдвинул на ответственную должность, и я же должен его выручать! Спасибо, братец, обрадовал. Этак вы всю стройку на мои плечи взвалите!

Махсумча, не отрывая от Тураханова преданного взгляда, машинально потирая сложенные на животе руки, будто он торопливо мыл их, восторженно воскликнул:

— А вы бы справились, товарищ Тураханов! У вас такие крылья — на любую вершину взлетите!

— Взлетишь с такими молодчиками! — Тураханов насмешливо посмотрел на Халмата.— Баба! Размазня! Сам-то все возможности использовал? Все выжал из своих людей? А?

Однако и Халмат был не из тех, кто лезет за словом в карман. По-краснев от обиды, он огрызнулся:

— Выше себя не прыгнешь! Жмем на всю железку...

— А ты помнишь золотые слова — что нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять? Ты ведь комсомолец?

— Ну, комсомолец.

— И, как вижу, мечтаешь вылететь из комсомола?

Халмат почувствовал себя так, будто арбуз выпал у него из-под мышки; он безнадежно махнул рукой:

— Если вы так, то и мне все равно!..

Тураханов решил, что пора сменить гнев на милость — достаточно с прораба того нагоняя, который он ему задал. Он покровительственно похлопал Халмата по плечу:

— Ну, ну... Уж и надулся. Вам, если не накрутить хвост, совсем руки опустите. Говори — чем лично я могу тебе помочь?

У Халмата просветлело лицо.

— Мне бы еще хоть пятьдесят рабочих, — возбужденно проговорил он. — Мы тогда в момент управимся!

— Пятьдесят рабочих? У тебя губа не дура. Что ж, я тебе, рожу их, что ли?

— Перемычка сейчас — главное, — хмуро сказал Халмат. — Можно на время снять людей с канала — там дело терпит... На фронте все силы бросали на оголенный участок!

Тураханов надменно усмехнулся:

— Учи, учи меня, дурака! Да ты понимаешь, что советуешь? Работу моего участка оценивают прежде всего по кубометрам вынутого грунта и уложенного бетона. Доходит? Если я сниму людей с канала, плана мне не уменьшат. А кто его будет выполнять? Или ты хочешь, чтобы участок лишился переходящего знамени? Лично я не могу допустить, чтоб на нас легло пятно позора!

— Тогда снимайте меня с прорабов! — сказал Халмат.

— Вот как? — Тураханов прищурился: — При первой же трудности — в кусты?

— Ты не паникуй, братец! — проговорил Махсумча. — Пока с нами товарищ Тураханов, бояться нечего. Уж не беспокойся, он найдет выход! Тураханов поморщился.

— Ну, ну, помолчи!.. А ты, дорогой прораб, не думай, что только у тебя одного голова болит за эту проклятую плотину. Постараюсь что-нибудь придумать. Съезжу еще раз в район, может, дадут людей. Неужели в колхозах не найдутся настоящие патриоты, которые откликнулись бы на зов своих братьев — строителей Галабагэс?

— Что ж, подождем. — Халмат пожал плечами. — Паводок-то — не завтра...

Тураханов положил ему руку на плечо:

— Не горюй, прораб! Такие ли препятствия нам, коммунистам, приходилось преодолевать? Но ты смотри не подведи меня! Закатывайте рукава, и за работу! На штурм Каттасая! Схватим его за горло, прораб!

Он победоносным взглядом окинул пенящуюся реку, попрощался с Халматом и ушел твердой начальственной походкой. Махсумча семенил следом, на ходу оглянувшись, погрозил Халмату маленьким кулачком.

Халмат вздохнул и с тоской посмотрел на реку. Если бы они принялись запруживать ее хоть месяцем раньше, когда она спокойно текла под тонким льдом! А теперь в нее кидают, кидают землю, хворост, камни,

течение уносит их, и приходится все начинать сначала. Прямо прорва какая-то! На Тураханова, конечно, можно положиться. Раз обещал помочь — поможет. Это ведь и в его интересах: не успеют они до паводка построить перемычки — с него первого шкуру спустят. Но пока дело обстоит так: перемычки нет, и людей нет.

Он хотел было сбежать по обрыву к реке, где копошились строители, как вдруг кто-то окликнул его:

— Эй, приятель!

Халмат обернулся — к нему подходил Рустам. Халмат обрадовался, увидев своего бывшего бригадира: все-таки немало проработали вместе, немало построили новых домов! Но, верный своему нраву, он напустил на себя важность — теперь он сам начальство. Степенно поздоровавшись с Рустамом, спросил с усмешкой:

— Командир решил поглядеть, как его солдат сам командует?

Рустам кивнул:

— Вроде того. Ну как? Справляешься?

— Руковожу! — усмехнулся Халмат и неожиданно для себя признался: — И все шишки на меня валяются!.. Чья бы вина ни была — ты ответчик!

— На то ты и командир, братец. Командовать, приятель, это прежде всего отвечать. Тут шкура нужна дубленая! — Он озабоченно оглядел берег, усыпанный горами камней, земли, хвороста. — Поздновато вы зачесались... Управитесь до паводка?

— А паводок то ли будет, то ли нет...

— Считай, что будет! — Рустам улыбнулся. — У меня кости ломит к непогоде. Ты, приятель, готовься к самому худшему, так-то оно надежней!

Невольный вздох вырвался из груди Халмата:

— Сам знаю, поздно спохватились. Народу-то — видал, сколько?

— Не густо.

— Тураханов обещал еще достать.

Рустам помолчал, потер ладонью круглую бритую голову:

— Хочешь, подсобим по старому знакомству? В свободное от работы время..

Халмата словно обожгло. Кляня себя за откровенность, он заносчиво ответил:

— Обойдемся! Еще и вас возьмем на буксир!..

— Ишь ты! — сказал Рустам. — Ершистый! Ты, приятель, все ж таки помни — понадобится наша помощь, только кликни. И уж раз ты такой самолюбивый, считай, что не тебе будем помогать, а всей стройке. Думаешь, случится беда на твоём участке, так это только твоя беда? Порвался, скажем, рукав в халате — ведь пока ты его не зала-таешь, халата не наденешь, верно?

— Валяй, воспитывай! — незлобиво буркнул Халмат.

Вечером в общезнании Рустам рассказал о встрече с Халматом Никитину и Пулату.

— Чудно у них получается! — добавил он. — Все время в передовниках ходят, а на участке — во какие прорехи! Долбанет по ним паводок — от всей их работы мокрое место останется.

— Сами виноваты! — сказал Пулат.

— Малоутешительное соображение. Они всю стройку могут подвести и нас тоже. Помочь им надо...

— Помогать? Тураханову? — воскликнул Пулат. — С такими бороться надо, а не помогать!

Никитин неодобрительно покосился на юношу.

— При чем тут Тураханов? Рустам прав — участок Халмата один из решающих.

Пулат упрямо наклонил голову:

— Помогать Тураханову не буду...

— Вот и говори с ним! — Никитин досадливо махнул рукой. — Я ему про Фому, а он про Ерему. Заладил: Тураханов, Тураханов!.. Дался тебе этот Тураханов! Замутила тебе душу обида. А через нее порой переступить надо — ради общего дела. Мы ведь о чем толкуем? О перемычке. Может, Халмат чего недоглядел. Он и от помощи отказывается. С гонором парень! Не лежит у меня душа к таким... О себе думает — не о стройке. Как и ты!..

Пулат покраснел от обиды: как мог Никитин сравнить его с Халматом! Только уважение к бригадиру удержало его от резкого слова. Но позднее, немного поостыв, он задумался над словами Никитина. А может, им и правда движут личные чувства? Знал бы Никитин, что он к тому же просто боится очутиться на турахановском участке, боится ненароком встретиться там с земляками, с Бахор! Несерьезно все это! Не в обиде же дело! Он знает о Тураханове больше, чем другие. И обязан разоблачить его перед всеми. Ведь он комсомолец, и комсомольская совесть не позволяет ему стоять в стороне, когда рядом вершится хоть малейшая несправедливость! Так говорил Анвар — и он прав!

Только действовать надо достойно, по-взрослому. Мало рассказать о том, что он знал и видел, Анвару или Рустаму с Никитиным. Что толку жаловаться каждому по отдельности? Это ведь, как говорил когда-то отец, — «шепоток в карман». Нет уж, бороться так бороться!.. В открытую! Всерьез! С верой в поддержку всех честных тружеников! Сколько хороших людей узнал он за последнее время! Сколько раз ощущал на себе их дружескую заботу! Да, он в кругу друзей, где все — друг для друга и друг за друга. Ему нечего бояться!

На днях на стройке состоится собрание партийно-хозяйственного актива. И он, Пулат, выступит на активе. Просто поделится с товарищами по работе своими раздумьями и сомнениями. Надо только хорошенько все обдумать, проверить себя — не примешивается ли к его намерению желание отомстить Тураханову за то, что тот выгнал его со стройки, отнял у него Бахор? Достаточно ли важно, благородно и принципиально то, о чем он собирается повести речь на активе? Мальчишеского злопахательства ему не простят. Он и сам себе не простил бы его!

## 13

То, что Тураханов увидел на Каттасае и услышал от Халмата, заставило его крепко призадуматься. Он не стал доискиваться до причин, по которым на Каттасайском участке создалось катастрофическое положение, — он не привык даже перед самим собой признаваться в собственных промахах, полагая, что не к лицу деловому человеку копаться в прошлом. Он понимал: выход был один — раздобыть людей, штурмом взять возникшую на победоносном пути преграду! Иначе... Но об этом «иначе» Тураханов не хотел думать.

А это «иначе» означало, что если ему не удастся вовремя закончить перемычку, то могли рухнуть все его честолюбивые замыслы.

Тураханов недаром постарался закрепиться на Галабастрое в качестве уполномоченного райкома. Руководящая работа на строительстве, которому уделял особое внимание ЦК республики, давала Тураханову выгодную возможность проявить свои организаторские способности, отличиться, выдвинуться. В этом смысле стройка была великолепным плацдармом для рывка вперед, а «вперед» значило для Тураханова «выше». Председатель райисполкома был уже в возрасте, да к тому же не отличался крепким здоровьем, он вот-вот должен был оставить свой пост. Тураханов как раз и метил на его место.

Пока Тураханов был «на коне». Он не жалел ни себя, ни других, из кожи вон лез, чтобы быть на хорошем счету у руководства стройки. И его отмечали, хвалили, его участок, всегда выполнявший план, ставили в пример другим. Он был близок к своей цели и с наслаждением представлял себе, как развернется, заняв высокий пост, поднявшись еще на одну ступеньку той лестницы, которая вела к все большей и большей власти! Уж тогда-то он рассчитается со всеми, кто пока еще осмеливался ему перечить!

Но чем ближе был он к цели, тем дороже мог ему обойтись любой срыв в работе. Задержка со строительством перемычки грозила ему большими неприятностями.

И он не медля отправился в район, решив прибегнуть к испытанному способу, с помощью которого уже не раз поправлял дела на своем участке.

Ему нужны были люди. Рабочая сила. На поиски ее он и направил всю свою недюжинную энергию. Но не достиг желанных результатов. Обычно председатели колхозов, скрепя сердце, шли на уступки Тураханову, не выдерживая его натиска, но весна сделала их несговорчивыми: в эту горячую, страдную пору каждый человек был на счету.

Оставалась последняя надежда — на школьников, старшекласников. У них как раз начались весенние каникулы, и если бы удалось привлечь их к работам на Каттасайском участке, положение было бы спасено.

Тураханов решил начать со школы, где он сам когда-то директорствовал. Сутки он провел дома. Отдохнув, запасшись свежими силами, он бодро вскочил на коня и поскакал в поле — он выяснил, что школьники в дни каникул работали в саду, который сами же разбили между пшеничным полем и пришкольным участком. В этом году ожидался обильный урожай: все деревья благополучно перезимовали, рано зацвели. Ребята радовались, представляя, сколько фруктов соберут они нынешней осенью в подарок своим старшим братьям-фронтовикам.

Сад был гордостью бахмальской школы, слава о нем шла по всему району, и в трудные военные годы он служил большим подспорьем колхозу.

Сразу же за садом расстилались пшеничные поля. Они уже покрылись всходами. Легкий ветерок пробежал по полям, и тогда словно тень ложилась на это место — тень ветра. Казалось, что кто-то невидимый, взявшись за края, тихо колышет бархатистый зеленый ковер...

Всходы были густые, весна в этом году расщедрилась на дожди, обещала добрый урожай. И радовалось сердце бахмальца: будет зерно, появится мука, можно и самому прокормиться, и помочь фронту.

Бахмальская пшеница — всем пшеницам пшеница! Зерна крупные, белые, будто омытые молоком, и обтянуты такой тонкой пленкой, что при помоле почти не бывает отрубей. Какие лепешки здесь пекут! Пышные, румяные, словно наливное яблоко, а начнешь есть — так и тают во рту. А какая лапша получается из этой муки — прямо объеденье! На богарных землях созревают арбузы и дыни, сладкие, как мед, сахаристым соком наливаются фрукты, прозрачным солнцем пропитывается виноград.

Радуетса погожей весной сердце дехканина и в то же время полнится тревогой: только бы не нагрянули засуха, гармсил!

Тураханов, хмуро посматривая по сторонам, ехал вдоль школьного сада. В другое время и он радовался бы пышным всходам пшеницы, нежному цветенью фруктовых деревьев — это же колхоз его района, и, судя по всему, осенью он украсит сводку победными цифрами! Но сейчас Тураханов не радовался, а злился: бахмальская земля, готовящая богатый урожай, прочно привязала к себе колхозников, и он не в силах отнять их у нее, чтоб залатать прореху на Каттасайском участке...

Путь ему преградил арык. Тураханов остановился перед ним. Вода в арыке струилась словно под большим напором — весна в Бахмале наступила рано, река до краев наполнилась вешними водами. Черт бы побрал эту воду — откуда ее столько взялось в этом году? Того гляди, вот-вот, и Каттасай упруго вздуется под натиском дружной весны!

Тураханов натянул поводья, конь перемахнул через арык, углубился в сад. А вот и школьники — поливают деревья, белят стволы, копаются на огородном участке... Кто это с ними из учителей? Вот не везет — Хайри!.. Она — секретарь школьной парторганизации. Вот и лезет всюду, выставляет напоказ свой энтузиазм... Делать нечего, придется с ней вести малоприятные переговоры. А впрочем, она партийный вожак и обязана подчиняться требованиям секретаря райкома!

Хайри уже заметила Тураханова и не торопясь приблизилась к неожиданному гостю. Как всегда, она была в белой кофточке, темном узком жакете, строгой темной юбке.

Тураханов важно кивнул:

— Салам, Хайрихон!

Хайри тоже кивком поздоровалась с ним, взялась за уздечку:

— Слезайте, товарищ Тураханов!

Тураханова почему-то задели эти слова — ему послышалась в них скрытая насмешка. Он сердито покосился на Хайри, щегольски, одним махом спрыгнул на землю — так гимнасты четким рывком соскакивают с перекладины, замирая на ковре как влитые.

Приветственно помахав рукой возившимся неподалеку учителям и школьникам, Тураханов спросил:

— Не вижу директора. Где он?

— Вызвали в военкомат. У вас срочное дело?

— Хм... — Тураханов окинул Хайри пытливым взглядом. — И срочное, и важное... для вас.

Хайри подняла брови:

— То есть?

— Ваша школа может внести достойный вклад в дело строительства Галабагэс. Лично я уверен, что вы не упустите этой возможности. Помощь стройке — это помощь фронту.

— Фронту мы и так помогаем: ребята и в саду трудятся, и на полях. В колхозе только старики да женщины. Ребята это понимают...

— Молодцы! — похвалил Тураханов. — Было бы неплохо, если бы они помогали своему колхозу еще и на Галабастрое. Сейчас у них весенние каникулы...

— Каникулы скоро кончатся! — Хайри пожала плечами. — Не понимаю, товарищ Тураханов, чего вы хотите. Чтобы ребята поехали на Галабастрой? Но ведь главная их обязанность — учиться! Впереди экзамены.

Тураханов перешел на доверительный тон:

— Поймите, Хайрихон. Вам я могу сказать... Бахмальцы на стройке не справляются с порученным им ответственным заданием — их участок в прорыве. Молодежь Бахмала должна выручить своих земляков, сделать все, чтоб не посрамить чести родного колхоза!

Хайри пристально посмотрела на Тураханова:

— А я слышала, что ваш участок — передовой...

— И передовые участки не застрахованы от угрозы стихийных бедствий. Мы должны успеть до паводка построить перемычку на Каттасе — с паводком шутки плохи. А народу не хватает!

— Да вы же и так забрали из колхоза больше людей, чем положено!

— Таково решение бюро райкома...

— Нет, это не так. Я сама член райкома. Мы такого решения не принимали.

— Руководство райкома не обязано обо всем вам докладывать. Мы решили это... хм... явочным порядком.

— Ах вот как! А мобилизовать школьников тоже приказал райком?

Почувствовав в голосе Хайри насмешливые нотки, Тураханов на миг замялся — он не посвящал райком в этот свой замысел.

— Хайрихон!.. Разве речь идет о мобилизации? А долг сердца? Стройка ждет от вас добровольной патриотической инициативы! Что стоит ребятам помочь землякам? Оплошаем мы — позор падет на весь район, а значит, и на ваш колхоз! Или вы не патриоты родного колхоза?

— Мы патриоты своей страны, товарищ Тураханов. И ребята честно выполняют свой патриотический долг, работая в колхозе, стараясь учиться так, чтобы ими могли гордиться отцы, защищающие Родину. Я не позволю перед выпускными экзаменами срывать им учебу, увозить их отсюда в самое напряженное для колхоза время!

— Но на фронте, дорогая Хайрихон, все силы бросают на оголенный участок,— Тураханов сам не заметил, как повторил слова Халмата, против которых недавно возражал.— А стройка тот же фронт. И она в прорыве!

— А по чьей вине, Акрамхан-ака? Вы вот сказали, что вас подводят бахмальцы. Так ли это? Мне сын писал о порядках на вашем участке. Вы людей не жалуете! А это же... не рабы на байских землях. Разве можно заставлять их работать из-под кнута?

— Постойте-ка... Сын писал? Так он не здесь? Не в колхозе?

— Он на стройке! Разве вы не знаете? После того как вы попытались его спроводить,— ведь так было дело? — он поступил в бригаду бетонщиков.

Тураханов скривил губы:

— Вот оно что! Понимаю. Теперь мне все понятно! Ваш сынок напелл вам невесты что с досады на мою дружескую прямоту, а вы и поверили! И решили мне отомстить? Хороша же ваша партийная принципиальность!

— Подумайте, что вы говорите, Акрамхан-ака! — возмутилась Хайри.— При чем тут Пулат?

— Это вы должны стыдиться! Надо не виновных выискивать, не в обидах своих копать, а исправлять положение! И если ваши школьники помогут нам в этом, поддержат славу своего колхоза, внесут свой вклад в общее дело — честь и хвала им! Не на прогулку их зову — на народную стройку!

Тураханов оседлал своего любимого конька — литавры зазвенели в его голосе. Но Хайри не раз уж доводилось отражать его демагогические наскоки. Она в упор взглянула на Тураханова, спокойно сказала:

— Мы все знаем, что Галабастрой — это гордость и радость нашего народа. И все-таки было бы ошибкой посылать туда учащихся. Они должны учиться — это в интересах государства: мы обязаны думать о будущем!

Тураханов надменно сморщил уголки губ, задрал подбородок, глаза его источали холодный блеск.

— Не нужно меня учить, лично я давно уже не школьник! Слава богу, всю жизнь отдал партии. И знаю, что делаю. Повторяю: стройка нуждается в людях. И вы должны их дать!

— Я не могу сделать этого, и вы должны понять меня. Мы с вами взрослые люди, коммунисты... Обратитесь к руководству стройки — не оставят же вас в беде!

— Что-о?.. Вы предлагаете мне поклониться в ножки людям, кото-

рые так верят в нас, так на нас надеются? Вы подумали, какое это может произвести впечатление, как мы будем выглядеть в глазах руководства? Передовой участок расписывается в своем бессилии, в неспособности выполнить взятые на себя обязательства!

— Да разве дело в том, как выглядеть? — сказала Хайри. — Судя по тому, что вы говорили, главное сейчас — не репутацию свою спасти, а участок! Вам не могут не помочь...

— А мы будем краснеть от стыда?

— Что ж тут стыдного — принять помощь товарищей? У нас-то вы просите помощи... Я понимаю, как тяжело признаваться в своей нестоятельности, но еще хуже — скрывать правду! Мы сильны правдой, товарищ Тураханов. Всегда, при любых обстоятельствах, мы должны быть правдивыми, как бы порой ни была горька правда!

— Громкие слова, Хайрихон...

Хайри усмехнулась:

— Уж не вам это говорить, товарищ Тураханов! — Она задумалась о чем-то, не сводя глаз с Тураханова, и он съезжился под ее пристальным взглядом. — Я, кажется, поняла вас... Для вас важно не то, что вы делаете, а то, какое впечатление производите. Вы на все готовы, только бы показать себя с лучшей стороны, в наиболее выгодном свете.

— Не вижу в этом ничего предосудительного, — перебил Тураханов. — Если, к примеру, ваш Пулат хорошо зарекомендует себя на работе, лично я буду только рад за него!

— За Пулата не волнуйтесь, он уже себя показал! Главное другое, главное — цели и побуждения...

Тураханов побагровел.

— Не слишком ли много вы на себя берете? Смотрите, товарищ Садыкова, как бы вам не пришлось ответить за свои клеветнические выпады!

— Я говорю то, что думаю.

— А мне безразлично, что вы обо мне думаете! Но подрывать свой авторитет я не позволю! Лично я требую: срочно подготовьте и отправьте на стройку группу учащихся во главе с кем-нибудь из учителей!

Хайри помолчала.

— Отправлю. Если райком сочтет это необходимым...

— Вам недостаточно моего указания... как секретаря райкома?

— Недостаточно. Обсудим этот вопрос на бюро.

— Только так?

— Только так.

— Хорошо же, дорогая соседка... Вы еще пожалеете!

— Не угрожайте, я не из пугливых!

Но Тураханов и сам жалел, что был с Хайри слишком откровенным, — еще и правда доведет их разговор до сведения бюро райкома! А этого Тураханову хотелось меньше всего: из месяца в месяц от него шли в райком победные реляции. Что подумают о нем, когда узнают, как он выпрашивал у Хайри школьников? Черт бы ее побрал — заставляла его унижаться...

Не сказав больше ни слова, он резко повернулся и, даже не простившись с Хайри, вскочил на коня, рванул поводья, пустил его с места в карьер.

Хайри проводила его задумчивым взглядом. Вот ты какой, оказывается! А почему «оказывается»? Что она прежде не замечала за ним демагогических вывертов, заботы в первую очередь о собственной репутации? Он и к ней-то примчался потому, что испугался за свою шкуру, испугался, что не удержится на своем посту! Как она сразу не разглядела в нем карьериста, думающего не о пользе дела, а лишь о том, как отнесутся к нему те, от кого зависело нынешнее его благополу-

чие и дальнейшее продвижение по служебной лестнице? Или и ей застигал глаза его дутый авторитет? Ведь это не ошибки, не заблуждения — это позиция! Еще работая в школе, он стремился замазывать недостатки, пускать пыль в глаза. Уж она-то — педагог, воспитатель, коммунистка — должна была бы знать, что тот, кто склонен к обману в малом, если его вовремя не разоблачить, не осадить, может пойти и на крупный обман. На обман партии и народа! Зло надо душить в зародыше, иначе оно разовьется в преступление. Если говорить откровенно, она проявила по отношению к нему благодушие и мягкотелость. А не зря молвится, что мягкое дерево точат черви...

Что же сейчас ей делать? Она обязана поставить райком в известность о сегодняшнем разговоре с Турахановым! Ясно, он действовал в обход райкома, поэтому и не согласился на ее предложение обсудить на бюро вопрос о помощи стройке...

Завтра же она пойдет в райком и добьется, чтобы бюро обсудило и действия Тураханова, и положение на его участке.

## 14

Бессильная злоба обуревала Тураханова — будто кто разжег в его груди жаркий костер. В споре с Хайри он потерпел поражение. Нужно было думать, что делать дальше, но мозг его был затуманен злобой, на ум шли одни проклятья. Он отпустил поводья, конь не спеша трусил по дороге, ведущей в кишлак, а Тураханов, мрачный, словно грозовая туча, по-бычьему наклонив голову, смотрел куда-то в сторону невидящими глазами и угрюмо размышлял о событиях последних дней...

Ну, дожил! Такой сопляк, как Пулат, и тот не желает с ним считаться. Ишь зацепился-таки на стройке... Ну, молодежь пошла — никакой почтительности, о послушании нечего уж и говорить. А Бахор? Проклятая недотрога! За хлопотами, свалившимися на Тураханова, он и думать о ней забыл, а сейчас она встала перед его мысленным взором как живая, шайтан бы ее побрал с ее заносчивостью и упрямством! Гнев у нее на кончике носа, так и вспыхнула, когда он заговорил с ней о любви. Другая на ее месте была бы на седьмом небе от счастья, — не какой-нибудь мальчишка, — секретарь райкома обратил на нее внимание! Какие у нее хрупкие, горячие плечи! У Тураханова даже ладони вспотели от волнения, когда он вспомнил, как пытался обнять Бахор...

Слишком он цацкался со всеми этими людишками, разыгрывал благородную роль доброго соседа! Другие трепещут от одного его взгляда, выслушивают его, заискивающе заглядывая в глаза, почтительно прижимая руки к груди, и со всех ног бросаются исполнять любое его приказание. Как никак, он один из районных руководителей, и его слово — закон!

Закон — да пока, видно, не для всех! Он вспомнил, в какой гордой, независимой позе стояла перед ним Хайри. Высоко занеслась, проклятая баба! Кто она такая, чтоб спорить с начальством? Рядовая учительница, секретарь крохотной парторганизации — вся-то она уместится на турахановской ладони. И его авторитет — для нее ничто? Вот она — узбечка без паранджи, вместе с паранджой бросила в огонь уважение к старшим по возрасту, по чину! Много мы им дали воли — и бабам, и молодежи! Распустили народ!

Ну, ничего. Он, Тураханов, сумеет преодолеть все преграды на своем пути. Ума да энергии ему не занимать, его ждут власть и почет, и тогда не поздоровится всем строптивцам, он поставит их на место, они еще узнают, кто такой Тураханов!

Эта мысль о его будущем торжестве доставила Тураханову мсти-

тельное удовлетворение, но он еще не остыл от ярости, когда подъехал к своему дому.

Ворота оказались на запоре. Не слезая с коня, он постучал в них рукоятью плетки. Никто не откликнулся. Он постучал настойчивей, потом стал стучать изо всех сил. Наконец, ворота заскрипели и широко распахнулись. Тураханов увидел Зеби — она стояла с робким, виноватым видом, придерживая рукой створ тяжелых ворот. Он метнул на нее свирепый взгляд и въехал во двор. Зеби, закрыв ворота, кинулась к мужу, который успел уже спрыгнуть на землю, но только она взялась за уздечку, собираясь завести коня под навес возле хауза, как ее остановил гневный, повелительный голос мужа:

— Мало того что я устал, как собака, я еще должен ждать, когда меня соизволят впустить в собственный дом!..

Зеби, не поднимая от земли глаз, тихо сказала:

— Простите, Акрамхан-ака. Я подметала комнату, не слышала...

— Жена у меня, оказывается, еще и глухая! Приятная новость.

— Ваши родители тоже ведь не слыхали...

— Не хватает еще, чтоб старики бегали к воротам!

Зеби молчала, слабый румянец просвечивал сквозь желтизну ее кожи.

Из дома вышли старики. Тураханов приказал Зеби:

— Что стоишь, как прикованная? Отведи коня.

Зеби, чуть не плача, повела коня под навес. Привязав его, она подбросила в кормушку охапку клевера, прошла к хаузу, обессиленно прислонилась к столу старой ивы, склонившейся над водой. Боже, как она устала! В эти дни работы по дому было не так уж много, да она к ней и привыкла, и все же она испытывала сейчас такую усталость, что не могла даже шевельнуть рукой. В зеркальной глади хауза отражалась ива с прижавшейся к ней тонкой женской фигурой. Зеби смотрела на свое колеблющееся отражение, и комок стоял у нее в горле. Как будто она смотрела в свое прошлое, счастливое, прозрачное, как вода в хаузе... Тогда лицо у нее было как румяное яблоко, и глаза под мохнатыми длинными ресницами, словно два чистых озера в зарослях камыша, и на сердце ни облачка! Она и сейчас не утратила еще былую красоту, засученные до локтей рукава халата обнажали белые, гладкие, как слоновая кость, руки, и стан был стройный, и косы тугие, а щеки увяли, и глаза увяли, и на сердце камень — тяжелый камень на ее увядшем сердце...

В последнее время муж бывал дома наездами, и каждый раз повторялось одно и то же: попреки, окрики, оскорбления, ругань. Тошно жить на свете!

Зеби встрепенулась — до нее донесся голос мужа. Он не мог ее не видеть, и все же кричал так, будто она умышленно от него пряталась:

— Жена!.. Где ты там запропастилась? Или хочешь уморить меня голодом? Накрывай обедать!

Зеби метнулась от хауза к дому, вынесла скатерть, достархан, растелила ее на супе, в дальнем тенистом углу двора, где уже восседали в ожидании обеда Тураханов и его родители, принесла горячие лепешки, кок-чай, большую касу с мелко нарезанными ранними овощами, холодное тушеное мясо, изюм с жареным горохом и густые сливки. Когда она начала разливать чай по пиалам, Тураханов, взглянув на нее из-под наслупленных бровей, буркнул:

— Что торчишь, словно засохшее дерево? Неси водку! Водка-то в этом доме есть?

Зеби принесла графин с водкой. Отец и сын молча выпили. Тураханов вяло жевал холодное мясо, — хотя он и измотался за день, но сегодня кусок становился ему поперек горла. Мулла Турахан, наоборот, с

жадностью набросился на еду. С набитым ртом он обратился к сыну:

— Ты вроде не в духе, сынок?

— Будешь тут не в духе!..— Тураханов запил баранину чаем.— Работает, как вол, днем и ночью, в жару и мороз, затылок почесать некогда, а что видишь вместо благодарности? Каждый щенок норовит вцепиться тебе в ляжку! Развелись, понимаешь, указчики: то не так, это не так. Подкапываются под мой авторитет... Но Тураханова свалить — это не волос из теста вытянуть!

— Ох, сынок! — вздохнула мать.— Сердце разрывается, когда слушаю тебя! Пусть аллах покарает твоих врагов! Отец своей крови не жалел, чтобы тебе жилось получше... А оно вон как обернулось: одни заботы да огорчения...

— Молчи, мать! — цыкнул на нее Мулла Турахан.— Сын еще возьмет свое!

Тураханов, разомлевший от выпитой водки, обнял отца:

— Только вы меня понимаете, отец!.. Свое я возьму! Однако...— он исподлобья посмотрел на жену, подававшую шурпу.— Жена и то от рук отбилась — разбаловали вы ее без меня! Битый час проторчал перед воротами — нечего сказать, хорошо меня встречают в собственном доме! Нет чтобы угодить мужу, побережь его нервы... Я хоть и коммунист, но живой человек! Дома-то имею право на покой?

Он попробовал шурпы, брезгливо поморщился.

— Ей-богу, на стройке ем лучше! — Он только и искал, к чему бы придраться. Налил себе в пиалу водки и, осушив ее, неожиданно воспрянул духом: — Ничего, отец!.. Вот кончится война, построим Галабагэс, заживем, наверстаем упущенное! — Он стукнул кулаком по супе.— Или я не заслужил, черт поberi?

— Заслужил, сын! Заслужил! — с гордостью поддакнул отец.— Верю, большим человеком заделаешься. Лаббай! Даром, что ль, в партию вступал?

Тураханова совсем развезло. Помахав перед носом отца пальцем, он проговорил:

— Эт-то что за разговоры?.. В партию меня позвало сердце! Я... всей душой...— Он ударил себя ладонью по груди.— Делю с народом и радость, и горе... Меня должны оценить!

Кончилось тем, что Зеби пришлось чуть не на себе тащить опьяневшего мужа в комнату. Его распирала злость, которую он так еще ни на ком и не выместил. Опустившись на постель, он уставился на жену мутными глазами. По лицу ее пробежала невольная гримаса отвращения; Тураханов заметил это, поднялся, качаясь, вплотную приблизился к Зеби:

— Что морщишься? Не по вкусу тебе ублажать мужа?

Зеби в испуге отшатнулась от него; ни разу еще не видела она мужа таким. А перед ним вдруг, рядом с лицом Зеби, всплыли лица непокорной Бахор, спокойной, полной достоинства Хайри. Наступая на жену, он прохрипел в бешенстве:

— Р-раскрепощенные суки!..— И с размаху ударил Зеби по лицу, вложив в удар всю злость, накопившуюся за эти дни в его душе.

Зеби вскрикнула, закрылась ладонями, а он, распалившись, бил и бил ее, осыпая грязными ругательствами.

Она не защищалась, покорно сносила побои, только глаза ее были полны ужаса, ненависти, отчаянья...

Эта ее безропотность отрезвила Тураханова. Он вытолкнул жену за дверь, вернулся к своей постели и, камнем свалившись на нее, тотчас погрузился в тяжелый сон...

Утром отец с тревогой спросил его:

— Где Зеби? Ни дома, ни во дворе ее нет.

— А черт ее знает!..

У Тураханова с похмелья так трещала голова, что ему было не до жены. Он смутно помнил, что произошло вчера между ними. Он выпил водки, закусив молодым луком с солью, вывел из конюшни коня, с трудом взгромоздился на него и, простившись с родителями, поскакал в районный центр. Он спешил: Галабастрой никак не мог обойтись без Тураханова!..

Он вернулся на стройку ни с чем.

Никуда не заезжая, направил коня прямо к Каттасайскому участку. Халмата он застал на боевом посту — прораб как ошпаренный метался по берегу, надрывая горло, отдавал распоряжения своим людям, суетившимся возле грузовиков с камнем, ссыпавшим землю в мутную реку, укладывавшим хворост в большие аккуратные груды. Тураханов, не слезая с коня, подозвал Халмата. Тот подошел и вопросительно воззрился на своего «командира». Халмат был бледней, чем обычно, щеки ввалились, глаза запали.

— Как, начальник? С победой? — спросил он.

По мрачному виду Тураханова Халмат понял, что тот вернулся, ничего не добившись.

Тураханов спешился, положил руку на плечо прораба:

— Лично я жду, что ты меня порадуешь победой! Уж на тебя-то, фронтовика, я могу положиться?

Он через силу улыбнулся, чтоб не выдать своей тревоги. Но это только разозлило Халмата — что они в прятки играют, что ли?

— Я же вам докладывал, Акрамхан-ака, — горячась, сказал Халмат. — Не построим перемычку до паводка! Вон как вода поднялась! Люди нужны...

Но Тураханов, видимо, уже принял какое-то решение. Кивнув, он успокоительно произнес:

— Знаю, знаю! Сниму людей с канала, дам тебе... Но только на три дня! Иначе мы выбьемся из графика по всему участку...

На Халмата словно вылили ведро холодной воды:

— На три дня?.. Это нам как мертвому припарки.

— Ну, брат, остальное зависит от тебя. — Тураханов обвел взглядом берег, реку. — Что, конкретно, вам предстоит еще сделать?

— Засыпем реку землей, камнями. Землю надо утрамбовать, положить сучьями, хворостом... Работы сверх головы!

— А не придумываешь ли ты лишнюю работу? Не на века строите! Я гляжу, слишком уж вы возитесь с этой штукой. Это же временное сооружение, так, для перестраховки, на всякий случай... — Заметив, как помрачнел Халмат, Тураханов усмехнулся. — Понимаю, тебе приятно думать, что ты чуть ли не памятник себе возводишь. А ты трезвее, трезвее смотри на дело!

Халмат ошеломленно хлопал глазами, стараясь догадаться, куда клонит Тураханов, а тот спокойно продолжал:

— Временем не дорожишь, дорогой товарищ! Что для нас главное? Уложиться в сроки! Вот дам тебе людей, навалитесь, да за несколько дней всю работу и закончите!

— Это же халтура будет, Акрамхан-ака!

Тураханов грозно взглянул на прораба:

— Кровь из носу, а чтоб перемычка была готова к сроку! Ясно? В противном случае взыщем с тебя по всей строгости!

Халмат выдержал его взгляд:

— Если это делу поможет — взыскивайте!

— Делу может помочь только твое трудовое рвение. Поднажмите, черт побери! Упростите технологию, сделайте хоть на скорую руку,

только сделайте к сроку! Неделки потом устраним Паводок не курьерский поезд, может и запоздать.

— А если не запоздает? Отрапортуем об успешном окончании работ, а он снесет все к чертовой матери!

— Ну, ты еще не бюро погоды, чтоб так уж точно все предсказывать. Если бы да кабы... Гляди, какая весна сухая! Ни одного дождя! Так что паводок то ли будет, то ли нет. А переходящего знамени — стоит нам только поддаться панике — у нас наверняка не будет! С чем мы придем к партийно-хозяйственному активу? С позорными производственными итогами? Ты пойми, при неудачах у людей руки опускаются, остывает трудовой пыл! Отставание участка может подорвать моральный дух наших героев-строителей!

Халмат слушал его, понунив голову. Он ждал от Тураханова деловой помощи, а тот отделяется громкими фразами, толкает Халмата на халтуру! Нет, что бы о Халмате ни говорили, а душа у него рабочая, он не привык работать кое-как, наспех, спустя рукава!.. А может, все обойдется? И Халмат вкусит сладость победы, и переходящее знамя по-прежнему будет и на него отбрасывать свой яркий ответ? Ну, а если паводок?.. Как он взглянет в глаза тому же Рустаму... Пулату? Позора не оберешься!

Словно угадав его мысли, Тураханов сказал:

— Ты мне как-то говорил, что работал вместе с Садыковым.

— С Пулатом?

— Вот-вот... И, судя по всему, он тебе крепко насолил. Так вот, он у нас на стройке, в бригаде Никитина...

— Знаю...

— Вот как? — Тураханов постарался скрыть свое удивление. — Ну, а я только что узнал. Учти, на переходящее знамя прежде всего претендует их участок. И ты позволишь, чтобы этот желторотый птенец опять одержал над тобой верх? Или у тебя нет самолюбия?

Уж в чем, в чем, а в отсутствии самолюбия Халмата никак нельзя было упрекнуть. И все глубже проникал в его тщеславную душу горький яд турахановских слов. Начальник прав — надо любыми способами наращивать темпы!..

А Тураханов, испытующе глянув в глаза Халмату, дружески потрянул его за плечи:

— Выше, выше голову, товарищ прораб! Ты вот что... Загляни-ка вечером ко мне. На досуге обсудим все поподробней.

И вечером, за рюмкой водки, Тураханов и Халмат быстро нашли общий язык.

Темпы работ на участке Халмата резко возросли, несмотря на то, что людей там по-прежнему не хватало. Цифры на доске показателей тешили сердце прораба, радовали взгляд Тураханова и, по их общему мнению, были как нож острый для бригады Никитина и всех других соперников на стройке.

Когда через несколько дней Тураханов получил тревожный запрос из райкома партии, в котором ему предлагалось подробно осветить положение на его участке, с тем, чтобы потом этот вопрос обсудило бюро, Тураханов выругался про себя: «Накапала-таки эта проклятая Хайри!» И спокойно, уверенно ответил, что бюро собирать излишне, так как у него на участке все в порядке. Угроза срыва строительства переминышки миновала: он, Тураханов, мобилизовал все внутренние резервы, участок обойдется своими силами, план работы и на канале, и на Катгасае будет перевыполнен.

Собрание партийно-хозяйственного актива проходило в клубе строителей металлургического завода. Квадратное, грубое — то ли деревянное, то ли сложенное из сырца — сразу и не разберешь — здание угрюмовато высилось среди глинобитных мазанок. В дождливую погоду к нему трудно было подступиться: грязь налипала на ноги, засасывала чуть не по колено.

На собрание, кроме коммунистов и командиров строительства, были приглашены передовики Галабастроя, представители области и республики.

Председательствовал секретарь обкома партии — старый, ленинской закалки, большевик. Ему перевалило за пятьдесят — редкие, с большими залысинами волосы давно побелели, кожу лица тронула нездоровая желтизна, глаза были красные от усталости и привычных бессонниц. Со своего места за столом президиума, покрытым красным, в чернильных пятнах, не достающим до пола сукном, — из зала видны были заляпанные глиной сапоги выбранных в президиум, — он внимательно разглядывал сидевших в зале.

Почти все пришли прямо с работы, не успев снять спецовок. У бригадиров выглядывали из нагрудных карманов карандаши, блокноты, складные метры. От одежды строителей исходили запахи бетона, глины, сосновых досок. Эти люди, с изможденными лицами, загрубевшими, натруженными руками, строили Галабагэс. И именно для них строились Галабагэс и сотни других электростанций, фабрик, заводов.

Ради счастья этих людей старый, усталый, седой человек — секретарь обкома, сидевший посередине почетного стола, не жалел ни сил, ни крови, ни жизни. Став коммунистом в первые дни революции, он по своей воле возложил себе на плечи ответственность за судьбу своей страны, за судьбы простых людей, достойных самого лучшего в жизни. Он твердым, решительным шагом прошел сквозь бури и грозы последующих лет, всегда оказываясь в гуще событий, там, где было всего трудней и опасней, где решалось будущее родного края. Он был истинным солдатом партии не только потому, что сердцем слушал ее приказы, но и потому, что всегда был в бою, в жестоком, кровавом бою с проклятым прошлым, за светлую, прекрасную новь для своих земляков. Он всех их принял в свое сердце, словно самую близкую родню, и как старший брат отвечал за каждого из них, за благополучие всей этой большой, пестрой семьи.

И потому, слушая выступавших, он морщился, как от боли, когда вскрывались недостатки в работе, и его усталое лицо светлело, когда выступавшие рассказывали о трудовых подвигах колхозников и рабочих, особенно молодых, своими руками строивших свое же будущее. Он от души гордился их успехами, его согревало сознание, что не зря прожил он тяжелую, полную борьбы жизнь большевика-революционера.

Названа очередная фамилия: «Садыков!» И секретарь обкома с особым вниманием стал следить за поднявшимся на помост худым, высоким юношей с обветренным, смуглым лицом, на котором выделялись черные, горящие глаза. Садыков, Садыков... Не сын ли Хайдара Садыкова? Похож! Наверно, сын... Когда-то секретарь обкома рука об руку со старшим Садыковым дрался с басмачами. Хайдар — настоящий коммунист, борец, человеколюбец! Каким-то он воспитал своего сына? Секретарь обкома приставил ладонь ребром к уху (он плоховато слышал) и всем телом повернулся к трибуне.

Пулат некоторое время стоял молча, покусывая губы, стараясь справиться с охватившим его волнением.

— Я вот о чем, — проговорил он. — Я долго думал: может, не надо

об этом... На стройке такие дела творятся, такие замечательные дела! И такая она у нас огромная! А я — о недостатках... Да и не так уж глубоко я во всем разобрался... Но, если меня это тревожит, — я обязан сказать?..

В зале кто-то засмеялся — очень уж сбивчиво начал паренек. Кто-то захлопал в ладоши, ободряюще крикнул с места: «Давай, парены! Тут все свои!» У секретаря обкома подобрали глаза, его тронула искренность, звучащая в голосе Пулата. А тот продолжал:

— Я долгое время работал на участке Тураханова... Вот он, здесь, в президиуме...

Тураханов, насторожившийся при появлении Пулата на фанерной трибуне, вскинул голову, впился в юношу тяжелым, холодным взглядом. Впрочем, тревоги в этом взгляде не было, а в уголках опущенных губ таилась снисходительная брезгливая улыбка. Пулат, глядя в зал, говорил:

— Сейчас я на другом участке, в бригаде Никитина. Жаловаться не на что — живем хорошо, дружно. А вот колхозникам моего района туго приходится. И виноват в этом уполномоченный райкома товарищ Тураханов! И пускай я работаю не у него... все равно не могу молчать!..

Пулат встретился взглядом с Анваром, улыбавшимся ему из зала. И, почувствовав безмолвную поддержку своих друзей, всего зала, захваченного его пылкостью, заговорил уверенней.

— На первый взгляд, это вроде все мелочи, бытовые неурядицы... Товарищ Тураханов наверно оправдывает их трудностями военного времени. Он мне сам говорил, — сейчас, мол, не до удобств...

Тураханов хотел было прервать Пулата, но секретарь обкома, заметив это, остановил его строгим взглядом: не мешай, ответишь в свое время! И Тураханов промолчал...

— Это верно — в годы войны лишения неизбежны. Мы переносим их, думая только об одном: как помочь фронту, победе над фашизмом! Правда? Но вот халатность нельзя терпеть! Меня учили... главное у нас — забота о людях. Разве война отменила этот святой закон? Если можно что-то сделать, чтобы облегчить жизнь людей, — это надо делать! А на участке Тураханова колхозники иногда чуть не голодают — честное слово! Кормят их как попало, в землянках холод... Это я про зиму. То один, то другой болеет. Сафарали-амаки захворал, в больницу его вовремя не отправили, провалялся в сырой землянке — умер... На участке только фельдшер, точнее, бывший ветеринар. — В зале зашумели, засмеялись. — Я вот болел, так позвали врача с другого участка. А требуют с этих колхозников, как со всех, даже больше. И они стараются. Я работал с ними, видел! Но ведь их трудный быт отражается на работе, верно? Значит, равнодушные Тураханова к их нуждам — в ущерб всей нашей стройке. Без заботы о людях плана не выполнишь. Я говорил об этом со своими товарищами... И мы не понимаем, как это участок Тураханова все время впереди! А потом мы узнали... Не так уж у них все гладко. Оказывается, запаздывают со строительством каттасайской перемычки...

— Клевета! — не удержался Тураханов.

— Клевета? — Пулат чуть растерялся. — Об этом многие говорят!

— Где? На базаре?

Тураханов, с победным видом оглядев зал, откинулся на спинку стула.

Пулат, однако, уже оправился от минутного замешательства:

— Я не говорю, что все знаю и во всем прав... Но здесь кругом — друзья. Если я в чем сомневаюсь, должен я с ними посоветоваться? Все, о чем я говорил, я видел своими глазами. И сказал себе: надо, чтоб все

об этом узнали. Всем вместе легче докопаться до правды и бороться с недостатками!..

Секретарь обкома, слушая его, думал: «А парень дело говорит. Забываем мы порой о людях. Заслоняют их от нас пусть высокие, но несколько отвлеченные понятия: будущее... счастье для всех... Пускай этот юноша и не во всем разобрался, и на Тураханова-то он, может, зря нападает, но есть, есть в пылкой речи юного Садыкова глубокая правда. Какие-то неполадки задели, взволновали его, и он готов защищать интересы строительства и строителей, не думая о последствиях, которыми это выступление может грозить лично ему. Весь в отца — боец! Вот оно, новое поколение, которому мы из рук в руки передаем революционную эстафету... Славное поколение!»

И когда Пулата сменил на трибуне Тураханов и по залу раскатился его уверенный, зычный бас, секретарь обкома поймал себя на том, что слушает его с каким-то предубеждением. И он никак не мог отделаться от ощущения, что Тураханов изо всех сил старается защитить и поднять свой, именно с в о й престиж в глазах собрания.

— До чудесных времен дожили мы с вами, товарищи,— с мягкой пренебрежительностью говорил Тураханов.— Нас, опытных руководителей, учат уму-разуму школьники! Кхм... А позвольте узнать, дорогой юноша, долго ли вы пробыли на моем участке? Без году неделю! Или, может, вы проверили положение на участке с какой-либо авторитетной комиссией? Смешно слушать ваши домыслы и поверхностные рассуждения! А впрочем, не смешно — грустно. Грустно, товарищи, что у нас подвергается такому искажению большевистский принцип критики и самокритики. Этот святой принцип только дискредитируется подобными безответственными, мальчишескими выпадами. Лично я, товарищи, не люблю копаться в чужих побуждениях, но я должен, так сказать, ввести вас в курс дела. Комсомолец Садыков использовал эту высокую трибуну для сведения личных счетов. Да, да, товарищи! Юноша тяжело болен, у него чахотка.— Тураханов подождал, пока уляжется в зале гул удивления, вызванный его словами.— И я, руководствуясь добрыми чувствами к своему юному односельчанину, соседу, предложил ему покинуть стройку, чтобы он не подвергал опасности ни себя, ни других. А юноша — романтик, у него отец на фронте, и, естественно, его больно ранил мой добрый совет. По-человечески это можно понять, товарищи! Но лично я не ожидал, что он вынесет свою мальчишью обиду на трибуну нашего уважаемого и весьма серьезного собрания. Это уже не по-комсомольски, товарищ Садыков. Это... дрызги какие-то, на которые как-то даже неловко и унизительно отвечать...

— Неправда! — крикнули из зала.— Пулат парень честный и работает — дай бог каждому! И при чем тут чахотка?

Тураханов развел руками.

— Я же говорю не о его трудовом, а о его моральном облике. Слишком много он на себя берет. Его горячность граничит с безответственностью, он не гнушается прямой клеветы. Вот вам и честный! Он ведь скрыл от всех, что болен!

— Враки! — опять послышалось из зала.— Болеет бы — не мог бы так работать!..

Секретарь обкома досадливо сказал:

— Товарищ Тураханов! Мы же не разбираем здесь персональное дело Садыкова. Лучше расскажите о положении на своем участке. За этим мы, собственно, здесь и собрались.

Выступление Тураханова вызвало в нем смутный протест. Для руководителя крупного участка оно было, по меньшей мере, несерьезным и вводило собрание от больших, насущных проблем строительства. На-

шел время и место — говорить о своих личных отношениях с этим горячим пареньком!

— Положение на моем участке не дает никаких оснований для тревоги! — сказал Тураханов, отвечая на реплику секретаря обкома. — Я надеюсь, собрание больше поверит цифрам, чем голословным обвинениям... недавнего школьника. А цифры всем известны: план мы выполняем, и строительство каттасайской перемычки идет полным ходом. Взгляните на сводку! Правда, за время моего отсутствия там произошел небольшой затор. Он успешно ликвидирован самоотверженной работой строителей и их вожака — прораба Халмата. Я не боюсь его перехватить и думаю, что мы по достоинству оценим и отметим проделанную им работу. По труду и слава!

Все сидевшие вокруг Халмата с любопытством оглянулись на него. Лицо его побледнело, словно бы даже окаменело от гордости. Тураханов будто медом облил его сердце, и Халмат смотрел на него благодарными, преданными глазами.

Последним выступил секретарь обкома. Подведя итоги актива, сказав о неотложных задачах, стоящих перед строителями, он в конце речи остановился на выступлениях Тураханова и Пулата.

— Должен откровенно признаться, товарищи, меня оправдания уполномоченного райкома не убедили, несмотря на уверенность, звучащую в его словах. Наоборот, я почувствовал, что не все ладно на его участке. И нельзя предаваться благодушию. У меня нет оснований ставить под сомнение партийную честность товарища Тураханова. Но посмотрите, товарищи, какую тяжелую артиллерию выдвинул он против скромного юноши, покритиковавшего порядки на его участке. Прямо сурнай к пшениной похлебке! Это настораживает... А мне выступление Садыкова понравилось. Может, в чем-то он и переборщил, но он поднял принципиально важный вопрос, от обсуждения которого Тураханов предпочел уклониться. Юный оратор прав: забота о народе, о советском человеке — незыблемый закон нашей жизни. Ленинский закон! А у нас порой так бывает: чем важнее объект, который мы строим, тем больше крика — давай нажимай, на нас смотрит вся страна! О самих строителях вроде некогда и подумать. Все, что мы строим, мы строим на благо народа — и значит, для каждого из вас! Для каждого!.. Любой гражданин нашего социалистического государства — это и творец будущего, и объект неусыпных забот нашей партии. А то ведь некоторые руководители так рассуждают: не план для людей, а люди для плана. Главное, мол, интересы государства, все силы — на построение коммунизма! И вроде они все делают для достижения этой прекрасной цели, а на людей, на простых тружеников, руками которых и возводится коммунизм, им наплевать. Это, по их убеждению, лишь рабочая сила, строительный материал для будущего коммунистического здания!..

Тураханов, упершись в стол локтями, не сводил с секретаря обкома тяжелого, словно налитого свинцом, взгляда. «Вредные разглагольствования, — сформулировал он про себя, — заигрывание с народом, критика наших методов руководства. Что ж, возьмем это на заметку».

А секретарь обкома продолжал:

— Нет, товарищи, мало болтать о коммунизме. Надо любить людей, наших современников, сограждан, и рука об руку с ними, ради них, ради их счастья бороться за светлое будущее. Какое же мы имеем право только подгонять наших строителей и не заботиться, не думать о них? Нам на этой стройке потребуются героические осознанные усилия всех наших колхозников и рабочих! Техники, сами знаете, у нас маловато, а темпы и качество работ должны быть высокими. Строить во время войны, в трудных, исключительных условиях — не значит строить на ско-

рую руку. Это стройка во имя будущего. Можем ли мы будущее строить кое-как? Быстрее и лучше — вот наш девиз!

Тураханов, подняв от стола голову, коротко сказал:

— Мы выполним ваши указания!

Секретарь обкома повернулся к нему:

— Почему «мои указания»? Это наказ партии, а я только ее солдат. И учитите, товарищ Тураханов, выполнить этот наказ вы сможете, лишь опираясь на людей, ведя их за собой, веря в них и заботясь о каждом из них. Судя по тому, что я слышал, с этим у вас на участке не все в порядке. — И, обращаясь к залу, секретарь райкома закончил: — Разберитесь в этом, товарищи! Мы вам поможем!

## 16

Анвар проснулся, как обычно, на рассвете — еще только занималась заря. Умывшись, натянув гимнастерку, старый пиджак и поношенные сапоги, он вышел из землянки на берег Сыр-Дарьи и не торопясь зашагал по направлению к деривационному каналу. День предстоял хлопотный; нужно было встретиться и поговорить с Турахановым, провести очередную беседу с колхозниками, выпустить свежий номер стенгазеты, подвести итоги соревнования между бригадами, побывать в общежитиях, поинтересоваться, не нуждаются ли в чем строители, — да мало ли дел у агитатора! И перед таким полным забот и беготни днем приятно было пройтись по еще спящей стройке, подышать утренним воздухом и в одиночестве поколдовать над новой песней...

Было тихо-тихо. Утро шло по стройке неслышным шагом, словно обутое в мягкие ичиги. Небо было чистое, как озерная гладь. Воздух прозрачен и недвижим: горный ветерок, видно, взял выходной и нежилась где-нибудь неподалеку от стройки, в покрытых росой кустах.

Так складывалась песня об утре на Галабастрое...

Вот и канал!.. Он сейчас безлюден, и, может быть, оттого так бросалась в глаза проделанная за последнее время работа. Ого, сколько грунта вынута! Русло канала глубокое, все дно в земляных ступенях — узких, широких, высоких, низких, — казалось, здесь потрудились сказочный великан. А и то великан: народ! Работы еще край непочатый, но и сделанного не охватишь взглядом! Берега и дно канала влажно поблескивали под первыми лучами солнца, а Анвару чудилось: это не роса сверкает — пот, пролитый строителями!

Так рождались строки о трудовом подвиге галабастроевцев.

Стройка оживала. Возле землянок взвились дымки — колхозники ставили самовары, разжигали огонь в нехитрых бивачных очагах. На берегах канала появились успевшие уже позавтракать строители. Пробежал мимо парнишка почтальон. Узнав Анвара, вернулся, выхватил из брезентовой сумки свежую местную газету.

— Анвар-ака! Тут про вас!

И, сунув ему в руки пахнувший типографской краской листок, помчался дальше. Анвар взглянул на первую страницу — лицо его стало растерянным, озадаченным. В газете были напечатаны его фронтовые песни. Анвар нахмурился — он без труда догадался, чьих рук это дело: ясно, Пулата! Недаром тот в последнее время все приставал к нему: спой да спой. И на тебе — запомнил, хитрец, несколько песен и отправил их в редакцию. Нечего сказать, удружил, ославил своего друга на всю стройку!

В первый момент Анвар рассердился на Пулата. Но, разжигая в себе возмущение поступком Пулата, убеждая себя, что теперь его задразнят на стройке, терзаясь стыдом — словно его раздетым выставили перед всем народом, — Анвар все-таки несколько раз перечитал про себя

строки своих песен. На газетном листе, выстроенные в аккуратные столбики, они выглядели как чужие, словно отделившиеся от него, живущие своей самостоятельной жизнью, готовые, независимо от его воли и желания, торить нелегкий путь к сердцу читателя. И, забыв о всех только что обуревавших его чувствах, Анвар втайне радовался, что плоды его вдохновения принадлежат всем людям, и тревожился за судьбу своего детища, испытывая ни с чем не сравнимые, острые, как нож, благодатные, как гроза, муки неудовлетворенности: не дал ли он читателю горький, недозрелый плод?

В таком смутном и возбужденном состоянии духа он встретился с Турахановым.

Уполномоченный райкома стоял в тени высокого искусственного холма, заложив руки за спину, твердо упираясь в землю широко расставленными ногами, и наблюдал за ходом работ на трассе канала. Колхозники его участка, как правило, приступали к работе раньше всех — иначе им трудно было бы выполнить дневную норму. Тураханов сейчас не распоряжался, не покрикивал на бригадиров — только наблюдал. Но одно его присутствие подгоняло всех. Бригадир суетилась больше обычного, знала, с ним шутки плохи. Все это отметил про себя Анвар. Он встал рядом с Турахановым. Тот поздоровался с ним сдержанным кивком, некоторое время оба молчали. Анвар тоже смотрел на канал. Его радовало, что у строителей появились помощники — грузовые машины. Но было еще немало тачек, носилок. Трудно людям! А они работают четко, в едином ритме, — молодцы, герои! И тут же Анвар вспомнил о злоупотреблениях, только что вскрытых при расследовании деятельности завхоза этого участка Махсумчи. Нет, откладывать разговор с Турахановым нельзя!

— Товарищ Тураханов, мне надо с вами потолковать...

Тураханов посмотрел на Анвара, спросил с насмешкой:

— Ну, ну... Что там у тебя, товарищ писатель?

Анвар покраснел:

— Читали? Я тут, собственно говоря, ни при чем!

— А ты не скромничай! Не знал за тобой таких талантов! Я лично считал, что тебя агитатором прислали, а ты, оказывается, еще и поэт. И, как я слышал, — он понизил голос до язвительного шепота, — записался к тому же в следователи...

— Вот я и хотел...

Тураханов не дал ему договорить. Повернувшись к Анвару, прищутив глаза, он воскликнул:

— Лично я завидую тебе, агитатор! Видно, времени некуда девать? И в самом деле: работу твою в процентах не выразишь, ни начала у нее, ни конца. Значит, никакой ответственности — занимайся, чем душе угодно!

Лицо Анвара потемнело.

— Вы, видно, решили действовать по принципу: кто не прав — тот первым поднимает кулак?

Тураханов вскинул брови:

— Это ты о чем?

— Будто не догадываетесь? Помните, о чем говорилось на активе? Вот мы и попытались разобраться, почему на вашем участке плохо со снабжением...

— И разобрались?

— А как же! — Анвар в упор посмотрел на Тураханова. — Как вы могли доверить важнейшее дело снабжения строителей заведомому жулику? Я говорю о Махсумче!..

— Ну, знаешь... Мастер ты, погляжу, швыряться безответственными обвинениями. Махсумча не первый год на такой работе!

— Значит, накопил опыт, научился людей обкрадывать? Сказать по совести, он колхозников голодом морит!

— А ты бы, дорогой, все-таки выбирал выражения. Забыл, что война? Да, приходится порой подтягивать ремни — мы не в раю, а на стройке военного времени. С продуктами туго, — должен бы знать. На фронте солдаты и не такое терпят, это тоже тебе должно быть известно!

— Терпят в силу необходимости! А у вас на участке... Мы проверяли: колхозы отпускают для своих дехкан достаточное количество продовольствия. А до столовой доходят крохи. Куда девается остальное? Сегодня колхозники без хвороста, завтра без горячей пищи. То мяса нет, то хлеба. Чай горячий и то не всегда бывает. Это, по-вашему, порядок? В этом тоже война виновата? Нет, товарищ Тураханов, это у вашего Махсумчи клюв в крови!

Тураханову ничего не оставалось, как сбавить тон:

— Послушай, дорогой, да ты знаешь, какой воз он везет? Видно, до всего руки не доходят. А лично у меня, товарищ агитатор, других забот хватает! Ты погляди, кто работает на канале — одни старики! А попробуй не выполнить план, недодать хоть один процент — голову снимут! С меня план требуют — я его даю. А ты ставишь нам палки в колеса!

— Не понимаю, как вы выполняете план при таком отношении к людям! Колхозники все, как один, жалуются на завхоза. Не слышали, как они промеж себя его называют? Махсум-угри!<sup>1</sup>

— Э, люди всегда чем-нибудь недовольны, на всех не угодишь... Погляжу на тебя — больно уж ты с ними нянчишься. Распустил, понимаешь, слюни!..

Анвар внимательно посмотрел на Тураханова, словно увидел его впервые, и сказал:

— О, верно говорил секретарь обкома! Есть у нас руководители, для которых люди — лишь рабочая сила... Вы вот только и умеете, что командовать ими!

— А ты, смотрю, слишком уж демократичен!

— Слишком? Как это можно быть слишком демократичным в самой демократической стране в мире? Разве скажешь про воздух: слишком свежий?! Чем демократичней, тем лучше!

Тураханов усмехнулся:

— Язык-то у тебя неплохо подвешен. Но меня, дружок, не надо агитировать, я в партии подольше, чем ты!

— А не желаете понять простых вещей! Зачем мы в партию вступали? Ради кого живем и работаем? Ради людей!

— Пышные фразы! — отмахнулся Тураханов.

— Нет, суть нашей жизни! — Анвар вгляделся в лицо Тураханова, на котором была написана скука, и сказал, безнадежно махнув рукой: — Ладно, оставим этот спор. Вернемся к вашему завхозу. Не защищайте его. Это бесполезно. У нас на руках факты. Есть все доказательства, что он завел подозрительные связи, что львиную долю продуктов он просто крадет!.. Лучше скажите, что вы намерены предпринять по отношению к нему?

Тураханов не собирался без боя отдавать верного Махсумчу, стараниями которого ни он сам, ни его друзья на стройке ни в чем не испытывали нужды.

— А ничего, — ответил он. — Что мне твои факты? Я его знаю лучше, чем ты, и никогда не поверю, что он вор! Что ты лезешь не в свое дело?! Ты агитатор, ну и агитируй себе на здоровье, а не занимайся травлей моих работников.

---

<sup>1</sup> Угри — вор.

— Да к тому же еще и ваших родственников? Не поэтому ли вы к нему так жалостливы?

Тураханов побагровел.

— И про это успел уже пронюхать? Широко же ты понимаешь свои функции агитатора!

— Агитатору до всего есть дело!

Меньше всего Тураханову хотелось, чтобы ему приписали еще и кумовство: он тщательно скрывал от всех, что Махсумча его родич, и он сказал как можно покладистей:

— Ладно, может, я лично и допустил ошибку... Сам знаешь, у нас крепкие родственные связи — традиция. Родным принято помогать... Кхм!.. А они, бывает, тебя подводят. Будь по-твоему, уволю Махсумчу.

— Мало его уволить. Надо привлечь к судебной ответственности!

Тураханова душила бессильная ярость. Он вплотную приблизил свое лицо к лицу Анвара и хрипло проговорил:

— Да ты спятил! Ну, проштрафился человек — пусть уходит по собственному желанию. А ты хочешь, чтоб на весь участок легло пятно позора?! Не выйдет, дорогой! Лично я не позволю! Бюро не допустит!

— Посмотрим!

— Я знаю, что говорю! Я секретарь райкома, черт побери! Научитесь вы когда-нибудь считаться с этим фактом? И здесь, на стройке, я отвечаю за участок! И никому не позволю покушаться на его славу! Ты что — хочешь подорвать авторитет руководителей участка?

Возглас этот прозвучал у Тураханова искренне; он понимал, что, предав огласке махинации своего завхоза, тем самым признается в собственном попустительстве ему.

Анвар холодно возразил:

— Честное признание ошибок не умаляло еще ничьего авторитета...

— Я же сказал, — раздраженно перебил Тураханов, — сам им займусь, уберу со стройки. Что тебе еще надо? — И добавил: — Это хорошо, что ты болеешь душой за моих колхозников. Но думай и о чести нашего района! Клянусь, я сил не жалею, чтоб поддержать его славу. И мы не выпустим из своих рук переходящего знамени. Мы выполним свой долг перед партией и народом!

Расставшись с Турахановым, Анвар долго думал о нем: что это за человек? Он давно в партии — не враг же ее интересам? Но его рассуждения... Впрочем, Анвару доводилось выслушивать подобные рассуждения не от одного Тураханова. Что за поветрие нашло на иных руководителей: кричат — план, план; а к людям бессердечны, это для них только «подчиненные», которые — как это сказал Тураханов? — вечно чем-нибудь недовольны.

Ну нет! Мы еще поборемся с тобой, товарищ Тураханов! За этих простых людей, товарищей моих. Я воевал с ними вместе, мы вместе работаем, я не дам их в обиду — мне за них и кровь не жалко было пролить!..

А Тураханов после разговора с Анваром вызвал к себе Махсумчу. Не так уж важно, о чем они беседовали; Тураханов часто срывался на крик, Махсумче крепко досталось — не за темные его делишки, а за то, что он попался. Однако Махсумча ушел от своего благодетеля, довольнo потирая руки: «хозяин» отправил его в бахмальский колхоз, порекомендовав на должность кладовщика.

## 17

В ту ночь, когда пьяный Тураханов избил Зеби; она ушла из дома и, не помня себя от горя и унижения, до утра пробродила в окрестностях Бахмала. А когда утром, придя в себя и немного успокоившись, возвратилась домой, свекор встретил ее грубым окриком:

— Где шлЯлась всю ночь? Лаббай! Опозорить нас хочешь? Так-то ты бережешь покой мужа? Он уехал сам не свой!

Услышав об отъезде мужа, Зеби вздохнула с невольным облегчением, подняла на свекра заплаканные глаза и столкнулась с его жестким, непрощающим взглядом.

— Больше из дома не выйдешь. Будешь сидеть у себя и ждать Акрамхана. Поганая девка!

Зеби не посмела ослушаться свекра — сутки провела в своей комнате, словно в глухой темнице. Родители мужа не звали ее ни к завтраку, ни к обеду. Свекровь сама приносила ей чай и немного еды, словно узнице.

Сколько горьких дум передумала за это время Зеби! Вся жизнь припомнилась ей, жизнь бессловесной рабыни в доме властелина-мужа. Когда-то она пленила его хрупкой своей красотой, но увяла, поблекла ее краса, как цветок без дождя и солнца, — слишком душно было вокруг! Муж не любил ее больше. Он помыкал ею, как когда-то баи помыкали своими женами. Он растоптал ее человеческое достоинство, и вот вчера поднял на нее руку, а теперь ее заточили, как пленницу, в тесную, темную комнату, ичкари<sup>1</sup>. Зеби она казалась олицетворением всей ее теперешней жизни. Она не раз слышала, что в старые времена мужья нещадно избивали своих жен, ее бросало в дрожь от этих рассказов, и утешало лишь сознание, что Советская власть открыла перед узбекскими женщинами широкую дорогу. Но на ее пути встал муж и загородил собой свет. Боже, как темно у нее на душе! Зеби не хватало воздуха, она то и дело растирала ладонью судорожно сжимавшееся горло, в нем комом стояли невыплаканные слезы, мешали дышать.

С ужасом представляла она, что будет с ней, когда приедет муж, — угрозы свекра не предвещали ничего доброго. Она не в силах больше терпеть эти угрозы и унижения!

Но, скромная и послушная, она не могла восстать — на это у нее не доставало ни сил, ни воли. Скромность, терпеливость украшают человека, если не превращаются в безответственность, — тогда недобрые люди, посчитав скромность за робость, готовы веревки вить из беззащитной жертвы!

Муж глумился над Зеби — Зеби терпела. Свекор заточил ее на долгие годы в домашнюю темницу, понуждал выполнять все свои прихоти, покрикивал на нее, как на служанку, — Зеби смиренно подчинялась его воле. Свекровь притесняла Зеби, взвалив на ее плечи все хлопоты по дому, за малейшую промашку осыпала проклятьями. Зеби молча повиновалась ей...

И ее безропотное терпение привело к тому, что и муж, и его родители все меньше считались с Зеби — ведь непотворение злу только множит зло...

Зеби не видела никакого просвета. Жить не хотелось!

На рассвете, несмотря на строгий запрет свекра, Зеби тайком выскользнула из дома и направилась к речке. Она села на берегу, обняв руками колени, и устремила перед собой затуманенный горем взгляд. Вода в реке за последние дни заметно прибавилась, но здесь, близ родников, она была еще прозрачной, на дне виднелись разноцветные камушки — белые, желтые, черные... Трава на берегу была сочная, ярко-зеленая — скоро ее начнут косить. Зеби погладила рукой шелковистую траву. Каждая травинка тянется к солнцу, и речка течет, напевая веселые песни, не зная ни горя, ни печали. В садах цветут яблони, радуя взор. И яблони, и трава, и вода в реке, и дожди — все нужно людям.

<sup>1</sup> Ичкари — помещение для женщин.

А я — человек, только какая от меня польза? Я — как яблоня, убитая заморозками. Я ни в чем ни перед кем не виновата, но я и не нужна никому, и жизнь моя беспцельна. Зачем же тогда жить? Зачем жить, если я не могу жить, как все, — жить для людей, радоваться, как подарку, каждому новому дню?

Тут наверно глубоко... И вода холодная-холодная — вмиг охватит тело ледяными обручами... Зеби смотрела на воду, темно и пусто было у нее на душе...

Вдруг она услышала звонкий смех, вздрогнула, обернулась. Из-за деревьев показалась стайка школьников, спешивших спозаранку в колхозный сад. Они бежали вприпрыжку, радуясь ветреному, омытому росой утру, переливчатой, как трели сурная, песне реки и избытку собственных веселых сил... Сзади, чуть отстав от ребят, шла Хайри. Зеби хоть и жила неподалеку от нее, но до сих пор словом с ней не перемолвилась и знала о ней лишь со слов мужа, нередко честившего учительницу за ее строптивость. Зеби смотрела на нее, и ей казалось, что эта женщина со спокойной, гордой осанкой всем своим видом как бы укоряла, стыдила Зеби, малодушно смирившуюся с судьбой. Вот бы кого ей в старшие сестры — уж такая никому не позволила бы измываться над Зеби!.. Но... какое дело этой женщине до нее, до всего, что творится в турахановском доме?..

Зеби опустила голову, хрупкие плечи ее задрожали... Хайри невольно остановилась, увидев Зеби. Что делает здесь соседка ранним утром, почему плачет? Хайри относилась к ней с брезгливой жалостью, но в эту минуту сострадание обожгло ей душу, она сердцем почувствовала неладное. Подойдя к Зеби, она ласково спросила:

— Что с вами, соседка?

Все тело Зеби затрясло от рыданий. Хайри опустилась рядом с ней, обняла ее, заглянула в лицо, залитое слезами. И Зеби, встретив ее взгляд, полный участия, прижалась головой к ее груди и заплакала с каким-то облегчением: ведь больше всего не хватало ей в эти дни дружеского сочувствия!.. Хайри молча гладила ее по голове — пусть выплечется, видно, настрадалась, бедняжка. А я-то хороша! Рядом чужое горе, а я проходила мимо. Зеби, пригревшись под лучами непривычной для нее ласки, неожиданно для себя подняла голову и, глядя на Хайри, быстро-быстро, словно торопясь куда-то, заговорила. Казалось, под напором каких-то новых для нее чувств рухнула плотина, отгораживавшая ее от людей, и наружу хлынуло все, что таилось в самой глубине ее души. И Хайри, слушая ее, думала: «Какая же она несчастная, чистая, и как стосковалась по людям! И как мало нужно, чтобы исчезли ее замкнутость, подозрительность!» А Зеби все говорила, всхлипывая, и глаза ее молили: не уходите, выслушайте до конца! Вся ее жизнь прошла перед Хайри, и Хайри удивлялась — как же могла соседка дойти до такой жизни, так унижить себя! Но в душе она упрекала не Зеби, она упрекала себя.

— Хайри-апа... Я увидела вас с детьми... Так больно, так завидно стало! Я ведь тоже учительница. Вы об этом не знали, и никто не знал... Я сама, сама во всем виновата! Дичилась людей... Моя беда весь мир от меня заслонила. Вся жизнь казалась черной. Я ведь... только не браните меня, Хайри-апа! Думала оборвать все разом... Если б не увидела вас...

Хайри вздрогнула, услышав эти слова. Так вот отчего Зеби оказалась в неурочный час у быстрой реки!

— Что толку тебя бранить? — сказала Хайри. — Когда человек один, ему и не такое может прийти в голову... Одиночество — как отравы, от него мутнеют и разум, и сердце! — Голос ее смягчился. — За что же ты решила наказать себя одиночеством, за что и нас, соседей, обидела —

не пришла к нам в трудную минуту? Ох, сестренка, уж как мне порой было тяжело — сколько времени не знала, что с мужем. Но люди не давали мне пасть духом. И надо было работать, детей учить. А ты молода, у тебя все впереди.

— Я не пойду домой! — с отчаяньем выкрикнула Зеби.

— А кто ж тебя туда гонит? — Хайри задумалась на минуту. — Вот что, поживи пока у меня. Придешь в себя, да и мне легче: дома пусто, муж на фронте, сын на стройке... Согласна?

Зеби смотрела на Хайри с надеждой и тревогой.

— А как же Акрамхан-ака?.. Когда он узнает...

— А что он может, если ты с людьми? Тебе нечего бояться. С людьми ничего не страшно!

## 18

На стройке готовились к празднику песни.

На всех участках шли репетиции и просмотры номеров, с которыми должны были выступить на празднике солисты и хоры местной самодеятельности. Анвар организовал молодежный хор, раздобыл гармонь и бубен. Под его руководством комсомольцы разучивали песни народов советской страны. Они же выбрали место для заключительного концерта. Дно канала поднималось ступенями, на них-то и раскинули ковры, получилась огромная многоярусная сцена, на которой могли разместиться сотни певцов. Участок канала, расположенный метра на два ниже сцены, стал зрительным залом. Землю здесь разровняли, застелили брезентом. По сторонам импровизированного зрительного зала, вдоль берегов, поставили большие, увитые алыми лентами портреты передовиков строительства. Среди них были портреты Никитина, Халила-ата, Рустама, Бохадыра-ата, Пулата.

На праздник приехали колхозники из окрестных кишлаков. Они стояли в грузовиках, тесно прижавшись друг к другу, и пели под аккомпанемент карнаев и сурнаев.

Вся стройка бурлила, звенела песнями, — трудно было понять, кто тут исполнитель, кто слушатель, — все пели и все слушали!

А вечером строители и гости, принарядившись кто как мог, заполнили «зрительный зал», усеяли склоны отвалов, подстелив что попало. Самые молодые облепили даже стрелы экскаваторов, стоявших на берегах.

На концерт собралось столько зрителей, что упали иголка — осталась бы стоять торчком!

Халмат пристроился неподалеку от своего портрета и то и дело косился на него — прораба распирало от гордости! Он уже, кажется, не жалел, что пошел на поводу у Тураханова.

Сам Тураханов с группой других руководителей рассматривал портреты передовиков. Остановился возле портрета Халмата, сказал что-то своим спутникам, степенно прошествовал дальше. У него было отличное настроение: дела шли как по маслу, паводка вроде нечего опасаться... Вдруг он снова замедлил шаги — заметил Бахор, стоявшую перед портретом Пулата. За ее спиной стояли подружки, веселые, нарядные, — сама весна! Щеки у Бахор покраснелись, глаза блестели радостно, удивленно.

Эге, да она, кажется, только сейчас узнала, что этот болтун на стройке! Ба!.. Да вот и он, собственной персоной, стоит чуть поодаль, не сводя глаз с девушки, и, судя по его хмурому, растерянному виду, не знает, на что решиться: то ли подойти к своей крале, то ли остаться незамеченным! У Тураханова раздулись ноздри: надо опередить этого «борца за правду»...

И отделившись от своих спутников, он быстро направился к Бахор.

Он угадал: Бахор до этого дня и не догадывалась, что Пулат на стройке. Увидев портрет юноши в ряду других, она оцепенела от неожиданности. Ее охватила радость и гордость за друга: она не ошиблась в нем — никуда он не удирал, он здесь, и конечно же среди первых! Но в то же время сердце кольнула обида: почему же он не дал ей знать, что остался на стройке? Что случилось, Пулат?

Она смотрела сквозь слезы на его портрет, не зная, что и он из толпы наблюдает за ней. Вдруг она вздрогнула, — над ее ухом раздался знакомый голос:

— Салам, девушки!.. Бахорхон! Как я рад тебя видеть!

Она обернулась — перед ней стоял Тураханов, улыбаясь как ни в чем не бывало.

— Ты, надеюсь, лично на меня не держишь сердца? Кто старое помянет, тому глаз вон — так говорит пословица!..

— Кто забудет — тому два глаза вон! — отчужденно сказала Бахор, не протягивая Тураханову руки. Он сам взял ее ладонь, ласково пожал ее.

— Не надо, соседка, омрачать ссорами сегодняшний праздник!

— Я не ссорилась с вами, — Бахор в упор посмотрела на Тураханова. — Я ненавижу вас!

Сделав усилие над собой, Тураханов продолжал улыбаться. Он ни на минуту не забывал, что за ними следит Пулат, и не мог допустить, чтобы тот стал свидетелем его поражения.

— Бахорхон! — Тураханов развел руками и, словно ища поддержки, обратился к притихшим подругам Бахор. — Девушки! Защитите меня от несправедливости!..

Но тут его кто-то окликнул. Он обернулся, в его глазах мелькнула тревога. Бахор проследила за его взглядом и увидела на берегу Муллу Тураханова — он делал сыну какие-то знаки. Прервав себя на полуслове, Тураханов кивнул Бахор и торопливо зашагал к отцу.

Бахор тоже почувствовала смутное беспокойство: что нужно здесь этому суровому старику, какая беда заставила его покинуть кишлак и примчаться на стройку? Она оглянулась, словно кто-то мог ответить ей на эти вопросы, и краска залила ее лицо — она встретила взглядом с Пулатом!

— Пулат! — радостно вскрикнула она.

Пулат, чуть не до крови прикусив губу, смотрел на нее исподлобья, а когда она сделала шаг к нему, повернулся и исчез в толпе. Бахор беспомощно посмотрела на подруг:

— Что ж это, девушки?.. Он не хочет видеть меня!..

Подруги молчали. Только бойкая Надя шепнула:

— Он же видел тебя с этим... с начальником. Ревнует!..

— Пошли, пошли, скоро концерт начнется! — заторопила Зульфия Бахор. — Нам места заняли...

Понураясь, шла Бахор за подругами. Она еще раз оглянулась: Пулата не было видно. Невольно она отметила, что поблизости нет и Тураханова...

А тому было не до праздника. Недобрые вести привез ему Мулла Турахан. Едва сын приблизился к отцу, как тот схватил его за руку и потащил за собой. Лишь когда они отошли подальше от собравшихся на концерт строителей, Мулла Турахан хриплым, яростным шепотом поведал сыну о беде, случившейся у них:

— Зеби ушла из дому! Лаббай! О чем только не говорят в кишлаке — людские уста не прикроешь ситом!

У Тураханова помутилось в глазах.

— Отомстила, стерва! — пробормотал он. — Как же вы ее отпустили?

Он не чувствовал за собой никакой вины. Мозг ему сверлила одна

лишь мысль: все пропало! Эта потаскуха в отместку наговорит на него бог весть что, и его недруги не замедлят воспользоваться этим — живьем съедят! Что делать, как выкрутиться из этой истории? Это посерьезней всяких паводков,— того гляди, придется распрощаться с партийным билетом, а значит, и со всеми своими далеко идущими планами!

До него донесся первый мощный раскат хора: «Идет война народная, священная война»...

Тураханову хотелось заткнуть уши. Он мог сейчас думать только об одном: за какую бы соломинку ухватиться, чтоб спастись? Он повлек отца к своему дому...

Вечер был светлый, теплый. В небе в полный накал светила луна. Звезды густо усеяли голубой купол, казалось, они высыпали особенно густо, чтобы послушать песни, и перемигивались, словно делясь впечатлениями.

Молодежный хор спел песню о Галабастрое, сложенную строителями. Хором дирижировал Анвар. А когда молодежь сменили на сцене другие коллективы, он прошел на берег и разыскал Пулата,— они заранее договорились, где встретиться. Анвар сразу заметил, что Пулат чем-то расстроен, но не стал его ни о чем расспрашивать — парень крепился, видно, не хотел показывать, что на душе скребут кошки. С каждой новой песней лицо его светлело, и он совсем оживился, когда неожиданно запели песню Анвара, напечатанную в газете.

...В верном сердце, словно тайну,  
Я хранил любви бутон.  
А теперь пускай все видят —  
Как цветок, раскрылся он!  
Не смущайся,— знают люди,  
Что любовь цветам сродни.  
Пусть и нашу любовью  
Полюбуются они!..<sup>1</sup>

Пулату пришлось выслушать от Анвара немало упреков; и сейчас, видя, как хорошо принимают слушатели эту песню, он торжествующе толкнул друга в бок:

— Анвар! Погляди, как слушают твою песню!

Анвар молчал, а когда грянули дружные аплодисменты, ему стало и радостно и чуть неловко: разве заслужил он такой успех? Но Пулат почувствовал, что он прощен другом.

## 19

Бахор на следующий день работала во вторую смену и утром зашла в кузницу к отцу. Халил-ата, как всегда, возился с кетменями. Его уже перестало огорчать, что кетмени и лопаты часто ломаются,— конечно, инструмент старый, но дело, видно, и в том, что строители работают, не жалея ни себя, ни инструмента!

И как всегда, он очень обрадовался, когда в кузнице появилась Бахор. Они жили теперь врозь, и каждая встреча была для них праздником. Старик сильно скучал по дочери и гордился ею еще больше, чем прежде: она освоила профессию электросварщицы, и на заводе ею нахвалиться не могли.

В это утро старик поджидал дочь с особым нетерпением. Как только она вошла, он отложил молот, стер с лица пот и сажу, вытер руки о фартук, вывел дочку во двор, усадил на сломанную, без колес, арбу и, достав из кармана фартука письмо, протянул Бахор:

<sup>1</sup> Перевод Е. Елисеева.

— Прочти, дочка! Земляк сегодня привез...

Письмо было от Хайри. Она просила простить ее за долгое молчание, объясняя его занятостью в школе.

«У нас в Бахмале стряслось такое, что я просто не могу не поделиться с вами этим случаем, который всем нам наука. Вы и не поверите, что такое могло произойти,— у вас, дорогой Халил-ата, мягкая, добрая душа, а ты, девочка, еще юна и неопытна.

Недавно в кишлаке побывал наш сосед, Тураханов. У меня с ним произошла очередная стычка, и я многое поняла в нем. Многое, да видно еще не все! После отъезда Тураханова, доведенная до отчаянья его жестоким обращением, его жена Зеби хотела покончить с собой,— только случай предотвратил это несчастье. Сейчас она находится у меня и очень плоха,—слишком трудно и медленно оправляется от всего пережитого.

Я не собираюсь ее оправдывать, она проявила непростительную слабость. Но я и себя казню: все мы повинны в этой трагедии. Мы забыли, что человек человеку брат, а когда мы хоть на минуту об этом забываем, то кому-нибудь плохо. Вот так мы и проглядели, что происходило в последнее время с нашей соседкой, с нашей сестрой Зеби. Вы помните, дорогие, она жила на отшибе от людей, всех сторонилась, и встречаясь с ней, жалкой, словно бы запуганной, я только досадливо морщилась: наша власть все сделала, чтобы вывести ее на светлую дорогу, а она укрылась, как улитка, в домашней раковине — не хватало еще надеть на себя паранджу! Почему меня не обеспокоила эта ее запуганность? Я ведь, девочка, учила тебя и Пулата чуткости и внимательности. А сама оказалась равнодушной к чужой судьбе. А так нельзя!.. Нельзя было спокойно наблюдать, как новая жизнь проходит мимо кого-то из наших друзей. Мы одна семья, мы все братья и сестры, и безразличие к жизни любого нашего советского человека граничит с преступлением. Что греха таить, многие недолюбливали стариков Турахановых, видели, что это люди темные, отсталые. Почему же нам не пришло в голову, что они и невестку свою могли погрузить в темноту! Темнота, отсталость одного никогда не проходит даром для другого, если никто не борется с этой отсталостью.

Бедная Зеби! Мы не догадывались, что у нее беда, потому что стояли в стороне от этой беды. И если уж говорить откровенно, на многое закрывали глаза. Я знаю, Халил-ата, вы в дружбе с нашим соседом Турахановым. И Бахор всегда его защищала. Да и я одергивала Пулата, когда он честным сердцем своим почуяв нечестность в этом человеке, высказывал со своими, как мне казалось, слишком резкими суждениями. Как мы были слепы с вами, дорогие! И я все думаю — что же нас ослепило? Внешняя мягкость Тураханова — эта маска, которую он носил, когда это было ему выгодно? Его самоуверенность? Ведь он умел заставить верить в свою непогрешимость. А может, нас ослепляло и то, что он занимал ответственную должность? Мы не учитывали, что иной карьерист ради достижения личных целей способен замаскироваться так ловко — сразу и не распознать! И я искренне хочу, чтобы вы в будущем остерегались таких, как Тураханов! Нам всем нужно быть зорче, нужно быть и внимательней к людям, и непримиримей к любому проявлению двоедушия! Многое мы могли бы предотвратить, заметить вовремя за Турахановым ханжество, байские замашки, спесь.

Не знаю, дошла ли до него весть об уходе Зеби. Верю — он будет наказан. Но это еще не значит, что он успокоится,— нет, он любимыми способами постарается вернуть утерянное, начнет все сначала, и от нас зависит, чтобы ему был прегражден путь к власти, которой — в этом я тоже уверена — он способен только злоупотреблять.

Тяжело мне писать обо всем этом, дорогие мои. На сердце камень. Повторяю, все мы должны извлечь из этой истории суровый урок. Как бы

мне хотелось встретиться с вами и потолковать по душам — после Хайдара и Пулата вы самые мне родные...

Как твои успехи, Бахор-киз? Ты ведь теперь рабочий человек, я горжусь тобой, девочка! И должна покаяться — перед тобой я тоже виновата. Ты в письмах все беспокоилась, где сейчас Пулат, что с ним. Я уклонялась от ответа. Прости меня, я только выполняла не очень-то для меня понятную просьбу сына не говорить вам, что он — на стройке. Его выгнал со стройки Тураханов, и он действительно чуть было не уехал в Бахмал, но вернулся с полдороги и работает теперь в бригаде Никитина бетонщиком, работает хорошо, недавно его премировали именными часами, я им довольна. Он сам хотел рассказать вам обо всем, но, судя по всему, до сих пор так и не попытался с вами увидеться. Вы что, поссорились? Если так, то я очень огорчена вашей размолвкой. Сколько лет дружили — и обиделись-то друг на друга, наверно, из-за пустяков. Отыскала бы ты его, девочка, да поговорила с ним откровенно. Надо будет — поспорьте. Недруг, говорят, поддакивает, истинный друг спорит. Только выясните все! А вы, дорогой Халил-ата, помогите нашим детям восстановить дружбу — прекрасней дружбы нет ничего на свете! Надо ее ценить и беречь как зеницу ока.

Не забывайте обо мне, дорогие мои.

Ваша Хайри».

Бахор вслух прочла отцу это письмо. Некоторое время оба молчали, не в силах побороть волнение, вызванное письмом.

Хотя была весна — утро выдалось душное, парило. Старик отер со лба пот, спросил, обращаясь к Бахор:

— Как же это, дочка... Сосед-то?

Бахор сдвинула брови.

— А я знала, что он такой! Давно знала!

— Что ты говоришь, доченька!

— Он жену никогда не любил. Он... он страшный, отец!.. — Бахор закрыла лицо ладонями и сказала шепотом: — Когда-нибудь я вам расскажу... Я никому не хотела рассказывать... Стыдно!.. Отец, я ведь из-за него ушла на завод. Только бы не встречаться с ним... Он страшный!

Старик посмотрел на дочь, вздохнул:

— Ладно, дочка, когда захочешь, тогда и расскажешь. — Он покачал головой. — То-то, гляжу, он ко мне больше глаз не кажет. Значит, и на меня рассердился!

Халил-ата замолчал, вспомнив, с каким радушием относился к нему Тураханов. И эта «соседская доброта» предстала перед стариком в новом свете. Не доброта это была — задабриванье, а он-то, старый дурень, развесил уши, размяк, принимал все за чистую монету. Слепой, совсем слепой был! Чуть не замарал свою рабочую честь! Ой, бой, есть же на свете такие коварные люди!.. Ты в дом мой другом входил, а сам камень держал за пазухой. Твоя правда, Хайри-апа, — слепые мы были, как котята. Бедняжка Зеби!

Так казнил себя Халил-ата за свою доверчивость: прозрев, он умел смотреть правде в глаза. Он был добрый, честный, смелый, и если и поддался Тураханову, то лишь потому, что привык драться с недругами в открытом бою.

О нем рассказывали такую историю.

В самый разгар борьбы с басмачами Халил-ата вступил в народную милицию. О его смелости ходили легенды. Именно ему удалось изловить курбаши, басмаческого главаря, жестокого, как барс, и хитрого, как лиса. Халил выследил его. Как-то после налета на базар курбаши отправился к своей второй жене. Там, возле самого дома, и настиг его Халил — они столкнулись лицом к лицу. Курбаши вздыбил своего коня, поскакал

прочь, Халил пустился в погоню. У обоих были не кони — молнии! Курбаши мог выбирать из сотни, а Халил сам выходил своего вороного. Они мчались по кишлаку, перемахивая через дувалы. Курбаши отстреливался из английского маузера, но патроны у него скоро кончились. Халил, уже нагонявший его, тоже перестал стрелять и крикнул: «Если ты мужчина,— остановись, сразимся на саблях!». Курбаши повернул коня, выхватив саблю, понесся на Халила. Дехкане, притаившиеся в своих домах, наблюдали за этой схваткой, дрожа от страха и от всей души желая победы Халилу. Сабли звенели, высекая искры, храпели кони... Вдруг конь курбаши заржал и умчался прочь,— хозяин его лежал на земле с разрубленной головой.

Незадолго перед этой схваткой жена сшила Халилу новый халат, подбитый ватой. В нем он и дрался, и когда вернулся домой, жена ахнула: пули изрешетили весь халат, из всех дыр вылезала белая вата.

Халил был из тех, кто мог побеждать только в честном бою. Таким оружием, как коварство и хитрость, он не владел, и Тураханов в самое сердце, полное доброты и доверия к людям, вонзил ему отравленный кинжал.

Страдальчески морщась, Халил-ата пробормотал:

— Вот уж не думал, не гадал... Прямо как гром среди ясного неба! Бедняжка Зеби...

— Я еще вчера заподозрила неладное,— сказала Бахор.— К нему Мулла Турахан приезжал, увел его с концерта... Отец, отец! Он нам и про Пулата солгал! Говорил, что Пулат дезертир. А Пулат работает на стройке!

Старик кивнул:

— Верно, дочка, сам видел его портрет.. Молодец наш Пулат! Остался. А мы и ведать не ведали. Постой-ка, дочка! Соседка пишет, что парень сам не захотел, чтоб мы знали... Не таись от меня — неужто поссорились?

— Нет, отец, нет! — горячо сказала Бахор.— Я и сама ничего не понимаю!..

Во двор въехали два арбакеша, попросили подковать лошадей. Старик ушел в кузницу. Оставшись одна, Бахор задумалась. Одно сейчас ее мучило — почему Пулат избегает ее, почему просил мать скрыть от них, что он на стройке, почему вчера, завидев ее, поспешил затеряться в толпе? Что она ему сделала плохого? Да, она порой была к нему несправедлива — когда он нападал на Тураханова, она вступалась за соседа. И все же они дружили вплоть до того дня, как он, оставив записку, ушел с их участка. «Пулат, чем я могла тебя оттолкнуть? Или ты так увлекся работой, что и думать обо мне забыл? Или... полюбил другую? Нет, только не это!.. Помнишь, год назад, на лугу, усыпанном тюльпанами, ты сказал, что всегда будешь помнить обо мне. А когда ты болел, ты в бреду звал меня. Мне было и стыдно, и я была так счастлива! Нет, Пулат, ты не мог предать нашу любовь. Что же произошло? И разве ты не видел, что я люблю тебя всем сердцем? Слышишь меня, Пулатджан? Я не стыжусь дум своих — это сердце мое говорит с твоим сердцем. Никаким обидам и размолвкам я не уступлю нашу дружбу, нашу любовь! Слышишь?..»

Задумавшись, Бахор прикрыла глаза, ресницы ее почти сомкнулись и оттого казались особенно густыми и длинными. Заслышав шаги возвращавшегося отца, Бахор открыла глаза, решительно встала с места.

— Отец! Я должна поговорить с Пулатом!.. Я пойду к нему.

Халил-ата ласково погладил дочь по голове.

— Иди, дочка. Иди...

Бахор знала теперь, где работает Пулат. Она пошла напрямик к строящейся плотине. На краю котлована она остановилась, высматри-

вая среди бетонщиков Пулата. Она узнала бы его из тысячи, но его нигде не было видно. Заметив, что Бахор кого-то ищет, к ней подошел плечистый, богатырского сложения бетонщик в широкой прорезиненной куртке — Рустам. Спросил, улыбаясь:

— Что потеряла, сестренка?

Бахор смутилась.

— Вы не знаете... Тут должен работать Пулат Садыков.

— А ты кто ему будешь?

— Я его соседка. Мы из одного кишлака.

— Землячка, значит? — Рустам вздохнул. — Неладное с ним творится, сестренка, с нашим Пулатом. Утром пришел на работу туча тучей — с ресниц снег падает. Отпросился у бригадира и пошел во-он туда! — Рустам показал рукой на вершину высокой горы. — Сами тревожимся, — что это с ним стряслось? Утром какое-то письмо получил... От кого — не знаю. Всегда всем с нами делился, а тут никому ни слова...

Бахор побледнела от тревоги. Письмо? Может, от матери? Нет, оно не заставило бы его бросить работу. Что же погнало его в горы? Она должна его разыскать — и объясниться, и помочь в беде!

## 20

Да, Пулат получил в это утро письмо. Оно было от майора Петрова, того самого, который когда-то сообщил ему и матери о ранении Хайдара Садыкова. То, что писал не отец, а опять майор, не сулило ничего доброго. Пулат не пошел завтракать. Когда общежитие опустело, он торопливо распечатал письмо. На этот раз майор обращался только к Пулату.

«Наберись мужества, сынок, — так начиналось письмо, — покрепче стисни зубы, чтоб ни единого стога не вырвалось из твоей груди. Ты мужчина — прими, как мужчина, как солдат, страшную весть. Твой отец, наш комиссар, пал на поле брани смертью героя...»

У Пулата потемнело в глазах, кровь отхлынула от щек и от сердца. Некоторое время он сидел на нарах, не в состоянии ни о чем думать, закрыв глаза, покачиваясь из стороны в сторону. Веки его горели, но глаза были сухие. Он не находил в себе сил дочитать письмо, и все, что он делал в дальнейшем, он делал словно в полусне. Ему хотелось побыть одному, но только не здесь, не в общежитии. В землянке было невыносимо душно, Пулату не хватало воздуха. Комкая в потной ладони письмо, Пулат поднялся. Он не помнил, как дошел до участка, о чем говорил с Никитиным, лицо бригадира расплывалось перед ним, черный туман застилал всех окружающих. Не приступая к работе, не поздоровавшись ни с кем, Пулат побрел в горы...

Горе Пулата было не таким, чтобы делить его с другими, — ему не стало бы легче, если бы он бросился за утешением к друзьям. Такое горе человек переживает один на один, до дна осушая наполненную ядом чашу. А друзья помогают ему тем, что просто существуют на свете, — сердце помнит о них в самом тяжком несчастье...

Идя куда глаза глядят, Пулат забрался высоко в горы, остановился, в каком-то тяжелом недоумении оглянулся вокруг. Как он здесь очутился? Вокруг — каменные склоны, поросшие гребенщиком и колючкой. Шуршат в траве насекомые... Поют птицы...

Но все, что видел и слышал Пулат, доходило до его сознания, словно из какой-то иной, далекой от него жизни. Письмо, спрятанное в нагрудном кармане, жгло ему сердце. Он опустился на траву, с минуту сидел, сдавив виски кулаками, а потом упал ничком на землю, прижавшись

сухим ртом к траве, чтоб не закричать от боли. Мама, бедная мама! Знает ли она? Как перенесет она эту весть? Все глаза выплачет, только он, Пулат, может поддержать ее в эту минуту. Он мужчина, он сильнее, она обопрется на его плечо — так ей легче будет идти по жизни. Он сильнее! Он сильнее! Так пишет майор Петров, так говорила Бахор... Мама, бедная мама!.. Отец!.. Неужели же это правда? Может, майор ошибся — ты не убит, а пропал без вести и скоро дашь знать о себе, и рассеется черный туман вокруг, сквозь который не видно ни гор, ни солнца. Пулат поднял голову. Надо дочитать письмо. Он должен знать, как погиб отец!

Бережно разгладив смятый листок, Пулат перечитал первые строки. Дальше майор рассказывал про последний бой комиссара Садыкова.

«Наша часть только что с победой вышла из тяжелого боя. Но какой ценой достигнута эта победа, какой страшный урон мы понесли! Больше двух суток гитлеровцы, закрепившиеся в большом селе — этот пункт и для них, и для нас имел важное тактическое значение, — отражали наши атаки. Наконец нам удалось выбить фашистов из села. Комиссар с группой бойцов вырвался вперед. Они залегли за селом в наспех вырытых окопах. Гитлеровцы, не смирившиеся с потерей важных позиций, поливали смельчаков ураганным огнем, так что нельзя было голову поднять от земли. Бой затянулся.

Отец, наверно, писал тебе, Пулат, о Ване Николаеве, который, выздоровев, прижился у нас в части, стал сыном батальона. Он души не чаял в нашем комиссаре, всюду следовал за ним, как тень, готовый исполнить любое поручение. В боях парнишка, конечно, не участвовал. Мы как могли оберегали его от опасностей, к которым он так и рвался.

В тот день, когда твой отец принял на себя главный удар врага, Ваня остался по его приказанию в селе, при штабе. А ему так хотелось хоть чем-нибудь помочь комиссару и солдатам, сдерживавшим вражеский натиск! Он знал, что они с утра без горячей пищи. Не спросив ни у кого разрешения, он набрал на кухне полный котелок каши, выбрался из села и по открытому полю побежал к окопам, где укрывался комиссар. Как радовался он, что угостит комиссара горячей кашей! Детство не знает страха — я убедился в этом на фронте. По Ване открыли стрельбу, а он под градом пуль несся со всех ног к окопам. К счастью, ни одна его не задела. Когда он очутился рядом с окопами, комиссар обернулся, увидел подбегавшего к нему мальчонка. Он выпрыгнул из окопа и заслонил Ваню своим телом. Он успел вовремя. Пуля, которая убила бы мальчика, впилась в грудь комиссара. Он рухнул в окоп, но у него еще хватило сил затащить туда и мальчонка. Ваня, плача, склонился над ним. Комиссар открыл тускнеющие глаза, погладил Ваню по голове, и рука его бессильно упала на землю...

Ценой своей жизни твой отец спас жизнь маленькому солдату. Комиссара хоронил и оплакивал весь батальон. Гордись своим отцом, сынок, замечательный был человек! Знай, сынок, и я, и вся наша часть разделяет с тобой и твою гордость, и твою скорбь. Понимаю, как тебе сейчас тяжело. Мужайся! Пусть отец твой вечно живет в твоей памяти, как будет он жить в нашей. Знаю, никакие слова участия не смогут облегчить твоего горя. Ты только помни, что ты мужчина, сын героя — Хайдара Садыкова. И тебе еще нужно подготовить мать к этой скорбной вести. Ей я ничего не написал. Верю в твою выдержку и мужество. Крепись, сынок!

Знай еще, что Ваня считает тебя своим старшим братом. Он ведь сирота. А наш комиссар был ему как родной отец. Ваня сейчас рвется в бой, а мы хотим отправить его в тыл. Было бы хорошо, если бы ты взял на себя заботу о нем. Как, сынок, могу я на тебя положиться?

Был бы рад получить от тебя весточку и узнать, что и ты, и твоя мама не пали духом. Ты для нас всех — как родной. Хотя знаю, отца мы

тебе не заменим. Горячий привет от фронтовиков! Мы отомстим за твоего отца. Он пролил кровь за победу — она уже близка.

Крепко тебя обнимаю.  
Майор Петров».

Пуллат еще раз перечитал письмо. Закрыв глаза... Отец возник перед ним как живой, улыбаясь мягкой, умной своей улыбкой. Пуллат не мог представить его погибшим! Он так надеялся, что будет сражаться плечом к плечу с отцом!

Он будет сражаться! Будет сражаться — рядом с друзьями отца. Вот Ваня — сколько ему лет? — и то в солдатской шинели. И рвется в бой! И он, Пуллат, должен добиться, чтобы его послали на фронт, никакая болезнь не в силах этому помешать. Не кто-нибудь, а именно он, сын героя, должен отомстить врагу за кровь отца!

Легкий ветер овеивал лицо Пуллата, шевелил траву у его ног. Казалось, он хотел приласкать, утешить юношу. Но ничто не могло его утешить. Дуновение ветра не могло охладить его жарко пылавших щек и сердца, обожженного болью.

— Пуллат! — услышал он вдруг чей-то задыхающийся голос.

Он не сразу понял, кто его окликнул. Не поднимаясь с земли, повернул голову. К нему бежала Бахор. Легкое платье обвивалось вокруг ее стройных ног, щеки покраснелись от быстрого бега, по вискам струился пот. Мысли Пуллата в эту минуту были так далеки от всего окружающего, так затуманены горем, что его даже не удивило появление Бахор здесь, в горах. Его сейчас ничто не могло удивить, он смотрел на Бахор невидящими глазами, а она, приблизившись к нему, еще не отдышавшись, горячо заговорила:

— Насилу тебя разыскала... Пуллат! Почему ты прячешься от меня, чем я тебя обидела? Я только в одном перед тобой виновата — слишком поздно узнала я ему цену... ты знаешь, о ком я говорю! Пуллат, тебе я могу сказать... Ты был прав, он нечестный, он страшный... Я на завод ушла, только бы не видеть его... Он подлый, подлый!.. Твоя мама нам о нем написала. Из-за него Зеби хотела утопиться, ты знаешь?

Пуллат слушал ее — и не слышал. О чем она? Какая Зеби? Он молча, отчужденно глядел на Бахор. У нее задрожали губы.

— Пуллат!.. Ты не хочешь меня слушать? Сердишься на меня? За что?

В голосе ее звучало такое нескрываемое отчаянье, что у Пуллата защемило сердце. У него горе... А Бахор-то при чем? Ведь это Бахор стоит перед ним — Бахор! Он заставил себя вслушаться в ее слова. Она сказала — подлый. Это о ком? О Тураханове? Значит... Прикусив губу, он взглянул на Бахор, а она, ободренная его вниманием, продолжала еще торопливей, словно боясь, что или он снова уйдет в себя, или у нее не останет решимости высказать все, что наболело на душе.

— Почему ты не дал нам знать, что ты на стройке? — Она присела рядом с Пуллатором. — Тураханов сказал, будто ты дезертировал — я ему не поверила! А от тебя — ни весточки. Я уж не знала, что и думать... Ты был совсем близко — и молчал. Почему ты молчал, что я тебе сделала?

На глазах у нее выступили слезы. Молчание Пуллата пугало ее, она не понимала, почему он молчит. Потупясь, она спросила:

— Тебе больше... не нужна моя дружба?

Пуллата, казалось, ничто не могло сейчас взволновать, нестерпимая боль разрывала ему сердце, но голос Бахор вторгался в его горькую душевную уединенность с такой страстной настойчивостью, что трудно было устоять перед ним. Это была прежняя Бахор, такая, какой он знал ее все эти годы, порывистая, добрая, чистая, и в то же время в чем-то она неуловимо изменилась. Никогда раньше он не видел ее такой смя-

тенной, пылкой, глубоко страдающей, откровенной в своих чувствах. Никогда он не видел ее такой... взрослой. Лицо ее было залито слезами. Этого Пулат не в силах был вынести, он положил свою ладонь на руку Бахор, чуть прижал ее к траве:

— Не надо, Бахор... Кроме тебя и мамы, у меня никого нет!

Бахор так обрадовали эти слова, что она даже не заметила звучащей в них муки, глаза ее засияли.

— Правда, Пулат? Мы по-прежнему друзья? — Она не стыдилась своей откровенной радости. — Пулат, Пулат, знал бы ты, как я... как мне без тебя... Я в эти дни многое поняла. — Она опустила было голову, чтоб скрыть смущение, но тут же вскинула ее и, не отводя от Пулата заплаканных, полных решимости широко раскрытых глаз, произнесла быстрым шепотом: — Я люблю тебя, Пулат! Слышишь? Я люблю тебя!

Она прикрыла глаза и пылающий лоб ладонью. Пулат чувствовал, как другая ее рука дрожит под его рукою, он погладил ее, прошептал:

— Бахор, Бахор!..

Казалось, только теперь дошел до Пулата смысл сказанного девушкой. Скажи она это раньше — он бы задохнулся от счастья! А сейчас... Он взял ее за плечи, притянул к себе:

— Бахор! Ты... ты самая хорошая!..

В голосе его было столько любви, что Бахор подняла голову и несмело спросила:

— А ты?..

Пулат ничего не ответил. Не отрывая глаз, он смотрел на Бахор, и она сказала уверенно:

— Ты... тоже! Да, Пулат? Расскажи мне все-все...

— Потом, Бахор! — устало сказал Пулат.

— Нет, сейчас! Пусть в нашей дружбе не будет ни облачка! Мы должны быть честными друг с другом!..

— Потом, Бахор! — повторил Пулат. — Мне... трудно сейчас... У меня...

Только теперь, признавшись в самом сокровенном, убедившись, что и ее любят, чуть успокоившись, Бахор увидела, как он бледен, как осунулось его лицо, какая боль застыла в его словно бы отрешенных глазах.

— Что с тобой, Пулат? — чуть не закричала Бахор. — Ты болен?

Пулат протянул ей письмо:

— Прочти...

Пока она читала, он сидел, глядя в землю, пытаясь собраться с мыслями. О чем она его выспрашивала, что хотела выяснить? Все, что было между ними прежде, сейчас казалось ему очень далеким. Все заслонило собой письмо... Судорога перехватила горло Пулату. Отец!.. Отец!..

— Что ты сказал, Пулат? — спросила Бахор, не отрываясь от письма, боясь встретиться с юношей взглядом.

— Ничего... Ты читай, читай...

Письмо было дочитано, а Бахор все не решалась поднять глаза на Пулату. Сердце ее было полно боли, сострадания и раскаянья. Какая же она глупая, черствая! У него такое несчастье, а она к нему со своими чувствами! Вообразила, что это он из-за нее такой хмурый. Как могла она не заметить, что он убит горем, что ему не до нее? Хайдар-амаки погиб. Погиб Хайдар-амаки! Вот и к ним в двери постучалась война безжалостной рукой... Бахор подвинулась к Пулату, положила руки ему на плечо, заглянула в сухие, горящие глаза — и сама вдруг разразилась рыданиями. Пулат прижал ее голову к своему плечу, неумело погладил по мягким, скользким, как шелк, волосам... Не Бахор его утешала — ему ее пришлось утешать! Она беспомощно приникла к нему, потому что верила: он мужественный, сильнее ее!

Бахор подняла голову, вытерла слезы.

— Пойдем, Пулат. Вниз, к людям!

Пулат отрицательно качнул головой.

— Ты не думай,— поспешно сказала Бахор.— Я не отвлеку тебя хочу!.. Разве от такого можно отвлечься? С людьми тебе, может, будет даже трудней... Я ведь тебя знаю — ты умрешь, а не покажешь, как тебе плохо. Но твои друзья беспокоятся о тебе, они всей душой с тобой! И ты должен быть с ними. Пойдем, Пулат! Нельзя одному!

Она встала, отряхнула платье. Взяв Пулата за руку, повлекла его за собой.

Они шли быстро, и вскоре перед ними открылась панорама строительства. Они остановились. Бахор искоса взглянула на Пулата. Брови его были сурово сдвинуты. Но залюбовавшись стройкой, он немного оживился. Он провел здесь зиму, весну, сроднился с этими местами — с каждым камнем, с каждой травинкой, с землей, небом, водой. И каждый раз, когда он охватывал взором все строительство, сердце его наполняли восторг и гордость — такая это была волнующая, величественная картина!

Глухой раскат грома донесся до них. За стройкой, над дальними горами, тяжело клубились лиловые тучи, наполнили на небо. Их края были окрашены солнцем, изнутри их освещали вспышки молний.

— Гроза! — сказала Бахор.— С утра парило. Красиво, Пулат, правда?

Пулат молча смотрел на небо, потом перевел озабоченный взгляд на стройку. Там заметна была необычная суета: видно, надвигающаяся гроза не на шутку переполошила строителей. Послышался новый раскат грома. Пулат повернулся к Бахор, показал на дальние горы.

— Там ливень! — сказал он.— Понимаешь, что это значит? Паводок!.. Бежим, Бахор. Скорей!

И они что есть духу побежали вниз по склону.

## 21

Пулат угадал: во время их отсутствия на стройке сложилась тревожная обстановка. В горах, где брал начало Каттасай, ночью разразилась гроза, хлынул ливень. Сама по себе гроза не представляла для стройки особой опасности, но ливни могли вызвать на Каттасае паводок. Впрочем, поначалу и это мало кого обеспокоило: ведь Тураханов доложил, что каттасайская перемычка почти закончена и выстоит перед любым паводком. Но только докатились до стройки первые удары грома, как на участок Никитина прибежал растерянный, бледный Халмат. Он разыскал Рустама, отвел его в сторону и сказал:

— Рустам-ака! Можешь ругать меня последними словами... Я хватун, дрянь, тряпка...

У него тряслись губы, Рустам поторопил его:

— Не тyani! Чтостряслось?

— Пока ничего... Но всякое может быть... Выручай, Рустам! Знаю, виноват, делайте со мной, что хотите. Хоть под суд отдавайте, — только помогите. Ты ведь сам хотел мне помочь, помнишь? Я, дурак, тогда отказался...

— Что ты все о себе, да о себе! Говори толком, в чем дело.

— Плевать мне на себя! Семь бед — один ответ. Участок под угрозой!

— А перемычка? — спросил Рустам.

Халмат махнул рукой:

— А, перемычка!.. На соплях наша перемычка. Строили абы как...

— Тураханов уверял — выдержит!

— Тураханов, Тураханов!.. Он-то и благословил нас на халтуру. Все требовал: темпы, темпы, план, план! Черт бы его побрал с его темпами и со всеми потрохами! Задурил мне голову — до паводка, мол, далеко, сладим перемышку к сроку, потом подлатаем... Далеко!..— Халмат посмотрел на небо.— Вот-вот препожалует! Что же мне Турахановым подпереть перемышку, что ли? Река клокочет, как кипятик в котле. Я как утром глянул на реку — сразу к тебе. К кому больше? Другим я и в лицо не смог бы глядеть...

— Покороче, приятель! — оборвал его Рустам.— Где Тураханов?

— Ищи ветра в поле!.. Вчера к нему отец приехал, он с ним куда-то и смылся.

Рустам нахмурился:

— Хорош командир — бросил участок в минуту опасности!.. Что надо делать?

— Крепить перемышку! Если все навалимся...

Рустам бросил на Халмата испытующий взгляд:

— А ты, приятель, не совсем еще пропавший человек!..

Халмат понял, что он хотел этим сказать, огрызнулся:

— А что, на фронте я за свою шкуру дрожал?

Рустам крепко сжал его локоть:

— Ладно, время дорого, пошли! Выложи все бригаде — только покорооче, понял? Поможем.

И когда Никитин, по просьбе Рустама, собрал бригаду и Халмат объяснил бетонщикам, какая опасность грозит Каттасайскому участку, белобородый Бохадыр-ата, обращаясь к своим товарищам, произнес короткое, обладающее магической силой слово:

— Хашар!

Хашар — добровольная помощь соседей соседям, взаимовыручка, старая, добрая традиция нашего народа.

— Беда соседа — наша беда,— добавил старик.

Никитин положил руку на плечо Бохадыр-ата.

— Спасибо, ата,— золотые слова,— сказал он.— Нам с вами не впервой идти на хашар. Кто еще пойдет?

И вся бригада молча шагнула вперед, замерла перед бригадиром в четком воинском строю.

Халмат, взволнованный до глубины души, переводил быстрый взгляд с одного бетонщика на другого. Глядя на их лица, Халмат вспомнил фронт — фронтную дружбу, фронтную спайку, отвагу и мужество своих товарищей солдат. Глазам стало жарко, он судорожно глотнул, чтобы избавиться от сухой горечи во рту. Как он жалел, что в свое время с мальчишеской самонадеянностью отверг помощь друзей, желавших ему только добра! Вот они — настоящие его друзья, эти вот простые рабочие парни в заляпанных бетоном резиновых спецовках,— а не Тураханов. Да и сам-то он был себе врагом, а не другом! Себе и стройке. Главное — стройке!

Никитин, между тем, объяснял бригаде:

— Только, друзья, хашар хашаром, но и на нашем участке работа не должна застопориться. Придется потом отдыхом пожертвовать, чтобы наверстать упущенное. План-то у нас все тот же. Как, выдюжим?

— Пусть твое сердце будет спокойно, бригадир,— за всех ответил Бохадыр-ата.— Каждый готов работать за двоих!

Никитин кивнул:

— Так тому и быть! Позвоною в управление, согласую это дело.

Он по телефону сообщил начальнику строительства об обстановке на Каттасе, о решении своей бригады помочь Халмату,— конечно, не в ущерб собственной работе. Заручившись поддержкой руководства, повел бригаду на Каттасай.

Халмат предполагал увидеть на своем участке растерянность, суматоху — ведь участок в такой грозный момент оказался брошенным на произвол судьбы. Однако на Каттасае вовсю кипела работа. Колхозников возглавил вездесущий Анвар.

Анвар, правда, не представлял себе подлинных размеров грозящей Каттасайскому участку катастрофы — как и многие другие, он был введен в заблуждение рапортами Тураханова об успешном строительстве перемычки. Но и того, что он увидел, оказавшись на участке, было достаточно, чтобы забыть тревогу.

Река разбушевалась не на шутку. Ее щедро питали тающие в горах снега, ливень, обрушившийся на горы, все сметающие на своем пути селевые потоки. Вода в Каттасае прибывала на глазах. С каждой минутой река все сильнее билась о перемычку, увлекая с собой камни, хворост, отваливающиеся пласты земли. Она ревела, пенилась. Если бы даже путь ей преграждала бетонная стена, и то нельзя было бы не испытывать тревоги.

Анвар немедленно начал действовать. Он привел в подмогу каттасайцам колхозников с трассы канала, распределил между ними работу, сам — вместе со всеми — принялся укреплять перемычку, укладывая в kloчочущую воду бревна, гребенщик, хворост и камни.

Увидев своих колхозников за работой, Халмат облегченно вздохнул: пока его не было, строители не сидели сложа руки, как могли, боролись со стихией. Но он понимал: того, что они делали, мало для победы над паводком! Никитину, Рустаму, Бохадыру-ата, знакомым с истинным положением на участке, тоже было ясно, что нужно принимать более решительные, более действенные меры.

— Гляжу — агитируешь не словом, а делом! — сказал Никитин Анвару.

— Воюем помаленьку! — Анвар увидел бетонщиков, толпящихся за спиной бригадира. — Ого, да вы всей ротой!..

— Тут такое дело — и армии мало! — Рустам махнул рукой.

— А что такое? — всполошился Анвар.

— После расскажем! — Рустам недобро покосился на Халмата.

Бохадыр-ата молча, внимательно рассматривал перемычку, которая — он сразу подметил наметанным глазом — чуть заметно осела и готова была вот-вот рухнуть под бешеным напором высоких, уже выхлестывающих на берега речных волн. Повернувшись к остальным, он озабоченно покачал головой:

— Тут, сынки, камнями да хворостом не обойтись!

— Что же делать? — хриплым, срывающимся голосом спросил Халмат.

Бохадыр-ата огладил свою длинную, белую бороду.

— Надо сипай ставить! Распорядись, чтобы принесли проволоку. Бревен хватит?

— Не хватит — из-под земли достану! — заверил Халмат, повернулся к колхозникам, занятым работой, и крикнул: — Сто-ой!.. Кончай работу! Кто умеет ставить сипай — ко мне!

К нему подбежало несколько человек. Нашлись сипайщики и в бригаде Никитина.

Часть строителей Халмат послал за проволокой и бревнами. На Каттасае появились уже представители управления — они помогли обеспечить участок всеми необходимыми стройматериалами. Колхозники, не мешкая, принялись мастерить сипай. Они спешили — в горах все злее лил дождь, до участка докатывались глухие, грозные раскаты грома. Река рычала, удары волн о перемычку становились все сильнее. Казаюсь, сотни всадников, сверкая на солнце обнаженными клинками, налетали один за другим на дрогнувшего, обессиленного противника.

В это время и прибежали на участок Пулат и Бахор. Первый их увидел Халил-ата. Вместе со всеми он, по призыву Анвара, еще с утра поспешил на выручку землякам, работавшим на Каттасае. Измученный вид Пулата поразил старика, он окликнул юношу:

— Здравстуй, сынок! Что с тобой? Уж не захворал ли?

Пулат молча обнял старого кузнеца. У Халила-ата защемило сердце от недоброго предчувствия, но он только со сдержанной лаской погладил Пулата по голове. К ним подошел Никитин:

— Пулат! Молодец, вовремя подоспел. У нас каждый человек на счету.

Он не стал ни о чем его расспрашивать — коротко объяснил, какая беда подняла всех на ноги, и направил к бетонщикам, ладившим на берегу из бревен и проволоки сипаи. Бохадыр-ата, Халмат и другие бывалые сипайщики начали уже устанавливать их в воде, перед самой перемычкой. Это было нелегкое дело, требовавшее от сипайщиков немалой сноровки. Нужно было определенным образом разместить сипаи поперек реки. Яростный поток мешал сипайщикам, но они работали не за страх, а за совесть, понимая, что в этом единоборстве с рекой решается судьба всего Каттасайского участка. Больше всех усердствовал Халмат. Желая хоть как-то загладить свою вину, он старался изо всех сил. Пренебрегая опасностью, стоя чуть не по пояс в холодной воде, он ловко бросал на дно деревянные треножники.

Пулат, работавший неподалеку, то и дело поглядывал на него — с удивлением, беспокойством, завистью. В эту минуту он хотел быть рядом с Халматом, он хотел самого трудного и опасного дела — не для того, чтоб забыться, нет! Он чувствовал себя обязанным перед памятью отца быть там, где всего трудней и опасней.

Вдруг Халмат пошатнулся, — видно, свело раненую ногу. Пулат видел, как исказилось его лицо. Беспомощно взмахнув руками, прораб погрузился в воду, поток подхватил его, понес с собой. Пулат вскопчил на ноги, его чувства опережали мысль; не успев еще осознать, что должен сделать, он помчался вниз по течению. Опередив поток, несущий уже не сопротивлявшегося Халмата, Пулат, не раздеваясь, бросился на ледяные волны. И тотчас услышал отчаянный возглас Рустама:

— Куда, дурень? Плавать не умеешь!

Рустам побежал по берегу, обгоняя стремительный поток, круживший два словно связанных тела. Он уж хотел было кинуться в воду, но увидел, что Халмата и его спасителя относит к берегу как раз в том месте, где Рустам и Пулат любили удить рыбу. Рустам одним прыжком подскочил к ним и вытащил на берег. Пулат такой мертвой хваткой вцепился в плечи Халмата, не давая ему уйти на дно, что Рустам еле оторвал его заочневшие руки от халматовской спецовки. Подбежали бетонщики, Халил-ата и Бахор. Они принялись растирать Халмата и Пулата, делать им искусственное дыхание.

Халмат первым открыл глаза, обвел помутневшим взором склонившихся над ним людей, остановился на Рустаме — и видно, все вспомнил, все понял... Схватив бетонщика за руку, он прижался мокрым лицом к его рукаву. Плечи Халмата мелко затряслись от сдержанных рыданий. Когда плачет мужчина, обычно испытываешь чувство неловкости. Но Рустаму плачущий Халмат не казался жалким — в этих слезах перегорало то вздорное, наносное, что было в характере самолюбивого, озлобленного и, в сущности, одинокого парня...

Вскоре очнулся и Пулат. Он увидел рядом с собой Халмата, живого, невредимого, и лицо его озарилось радостью. Но, борясь с бешеным потоком, он совсем обессилел, да и студеной вода сделала свое дело, — его била дрожь. Он закрыл глаза, побледнел и потерял сознание...

Около трех недель пролежал Пулат в городской больнице, куда отвезли его Анвар и Никитин,—опять жестокая простуда свалила его. Первые дни он почти не приходил в себя, метался в бреду на узкой больничной кровати. Халил-ата, часто навещавший юношу, только скорбно качал головой, гладил Пулата по плечу, чтобы унять дрожь, укрывал его одеялом.

Бахор, как и тогда, когда он, больной, лежал в их землянке, терпеливо и самоотверженно ухаживала за ним, жертвуя своим отдыхом, помогая врачам и медсестрам. Она приходила в палату ранним утром, не успев даже позавтракать; из больницы спешила на завод, с завода опять в больницу, где и просиживала дотемна. Она бы оставалась и на ночь, но стеснялась отца и товарищей Пулата, поочередно дежуривших возле больного. Но и дома Бахор не спала по ночам—все думала о Пулате.

Она сердцем чужала, когда Пулату хуже, когда—легче. Нежные ее руки и на этот раз отогнали болезнь от Пулата. Союзниками в ее победе над болезнью было и умение врачей, и постоянное внимание и заботы друзей Пулата. Когда понадобилось достать редкое, дорогое лекарство, которого не было в больнице, бетонщики, товарищи Пулата, невесть каким путем раздобыли его. Помогла, конечно, и жизнестойкость самого Пулата—в каждой его жилке билось желание выздороветь, стать на ноги, чтобы совершить все, чего он еще не успел совершить в своей жизни.

Как-то утром он открыл глаза, с недоумением оглянулся, силясь припомнить, как он сюда попал и что с ним было до того. Он лежал в маленькой комнатушке, высоко, у самого потолка, светило окно. Опершись о кровать ослабевшими руками, он с трудом приподнялся, спустил ноги на пол, медленно подошел к окну, приподнявшись на цыпочки, упираясь локтями в подоконник, заглянул в него.

Окно его палаты выходило на широкую мощеную дорогу, обсаженную карагачами. По дороге взад и вперед мчались пустые и груженные машины, проехала арба, доверху наполненная лаково-яркими красными помидорами, шли школьники, люди в рабочих спецовках. Все куда-то спешили, у всех была какая-то цель... И с этой минуты Пулата начало томить вынужденное бездействие, его потянуло к этим торопящимся по своим делам людям.

Это был первый признак выздоровления.

И хотя у Пулата тотчас закружилась от слабости голова и он еле добрал до своей постели, он уже и сам чувствовал, что самое опасное—позади.

С тех пор он полюбил стоять у окна, наблюдая за движением на дороге. Окно связывало его с шумным, беспокойным, полным труда и тревог, радостей и горестей миром, частицей которого был он сам и без которого так тосковал. Глядя в окно, на дорогу, он припоминал тот путь, который прошел сам. Не гладкий это был путь, нелегкие испытания выпали на его долю, но они словно очистили, отграничили, обновили его душу. На этом пути он узнал счастье труда, дружбу, любовь. Он узнал и самое черное горе, однако болезнь—эта длинная-длинная ночь в его жизни—как бы отодвинула горе в прошлое. Он знал, что никогда не забудет отца, но представлял его только живым, образ отца не вязался в его сознании с мыслью о смерти. И думал сейчас Пулат лишь о будущем. Он ясно сознавал, чего ждет от будущего, и что сам должен сделать—для своих близких, для друзей, для Родины. Слабость еще сковывала его движения, но никогда еще он не ощущал в себе такой внутренней зрелой силы. Он вернулся к жизни после всех невзгод, горя,

болезни для того, чтоб прожить ее ярко и достойно. И все свои, словно заново проснувшиеся силы, жизнь свою он готов был отдать за счастье своего народа, который дал ему возможность учиться, свободно и вдохновенно работать и окружил миллионами друзей. Труд и дружба окрылили Пулата, родили в нем веру в себя и мужество. Труд и дружба помогли ему окрепнуть душой и разумом, выстоять перед бедой, отчаяньем и сомненьями. Стройка, в которой он участвовал, явилась как бы колыбелью его характера. Могучая волна народного энтузиазма подняла его и понесла на высоком гребне вперед. И он был безгранично благодарен людям, которые трудились бок о бок с ним, учили его, поддерживали в тяжкую минуту. Он был благодарен народу своему, советской нови, выведшей его на нелегкую, но ясную и прямую дорогу, и чувствовал, что у него хватит сил, воли и умения отплатить добром за добро, до конца выполнить свой долг.

В эти дни Пулат часто думал о матери... Ее до сих пор не известили ни о гибели мужа, ни о болезни сына, — ни у кого не поднималась рука нанести ее сердцу сразу две глубокие раны. Все дожидались выздоровления Пулата, а когда ему стало лучше, он сам попросил ничего ей не сообщать, написал короткое, успокоительное письмо, где ни словом не обмолвился об отце. Он решил рассказать ей все при встрече. А на это тоже требовались силы, нужно было запастись немалым мужеством, чтобы и самому не сдать и хоть часть своего мужества передать матери, помочь ей справиться с невыносимым горем!

На сердце у Пулата теплело, когда он думал о Бахор... Стоило ей войти в палату, как он не отрывал от нее глаз. Он так давно не видел ее, и все по своей глупости! Как она добра и нежна, как тревожилась за него все это время! Только такой ревнивый дурак, как он, мог заподозрить ее в чем-то недостойном. Ей можно верить больше, чем самому себе, — честней и чище ее нет никого на свете! Она настоящий друг и любит его, и понимает так, как может понять только самый близкий человек.

В тот день, когда Пулат впервые попробовал встать на ноги, она, заглянув в палату и увидев его сидящим на постели, вся просияла от радости. Подойдя к нему, не дожидаясь вопроса, поспешила сказать:

— С перемышкой все в порядке, Пулат. Победа за нами! — И только после этого она под села к нему, приникла головой к его груди и, плача от радости, зашептала: — Пулат, родной, тебе лучше, тебе ведь лучше, Пулат? Я так и знала... Ты сильный, тебе любая болезнь нипочем. Вот увидишь, все будет хорошо!..

Какую бодрость влили в него эти слова — они были целительней любых лекарств!

О многом размышлял Пулат, глядя в окно, на дорогу...

Правда, времени для размышлений у него почти не было. Не проходило дня, чтобы к нему не наведывался кто-нибудь из друзей: то Халил-ата, то Рустам, то Никитин. Доктор смотрел на эти посещения сквозь пальцы, потому что после них у Пулата поднималось настроение и даже аппетит улучшался. А уж друзья старались, чтобы он не был голоден, вся тумбочка возле его кровати была забита снедью, принесенной ими.

Незадолго перед выпиской, когда Пулат был в палате один, к нему заявился Халмат. Стараясь скрыть охватившее его чувство неловкости, он держался с подчеркнутой развязностью. Небрежно поздоровался с Пулатом, положил на тумбочку огромную дыню, похвастался:

— Весь базар обшарил! Говорят, мирзачульская. Из тех мест, где мы с тобой вкалывали, помнишь?

Он присел рядом с Пулатом на кровать, достал из-за голенища сапога нож, одним взмахом ловко разрезал дыню. Она всю зиму проле-

жала в песке, сохранив и аромат, и сочность, и такую нежную сладость, что мякоть ее таяла во рту.

— Вкусно!— сказал Пулат, облизывая пальцы, с которых стекал сок.

От этой похвалы лицо Халмата, как он ни сдерживался, расплылось в широкой, довольной улыбке.

— Значит, угодил?— спросил он.— Ты, брат, слабак, слабак, а парень что надо! Оказывается, сам плаваешь, как топор! Спа-аситель!— насмешливо протянул он, однако голос у него дрогнул.— Только, брат, не стоило меня спасать. Меня утопить надо!

— Бросьте, Халмат-ака,— остановил его юноша.— Ведь поправили ошибку. Перемычка-то устояла...

— Какая тут моя заслуга?

— Предупредили вовремя...

— Не халтурил бы раньше, не пришлось бы и предупреждать!— Халмат оживился.— Гляди-ка, как одно за другое цепляется!.. Тураханову славы захотелось — на халтуру меня толкнул, а тут паводок, перемычку чуть не смыло к чертовой матери... Я перепугался — вас на помощь позвал, сам в воду попер, чуть дуба не дал. А ты парень такой, для других и жизни не жалко,— полез спасать меня, дурака, вот и очутился в больнице... Отчего ты здесь? Оттого, что стоящий парень, а Тураханов — дерьмо!— Халмат поднял палец.— Диалектика!

— Диалектика!— повторил Пулат и засмеялся.

Какая-то мысль не давала Халмату покоя, и он снова заговорил:

— Знай я, что такая петрушка получится... с перемычкой... и с тобой... не уломать бы меня Тураханову! Ох, и честят же его на стройке!.. Нам Халил-ата все разъяснил... Почему этот тип в кишлак рванул? Бессовестная душа! Да на фронте бы за такое... Как мы его раньше не раскусили?..

— Человека не так-то легко распознать,— проговорил Пулат; он в эту минуту подумал и о Халмате.— А Тураханов... Он ведь в душе боялся всех... В душу-то к нему не влезешь...

— Надо влезать! Нет, брат, я так думаю,— если какой подлец ходит среди нас неразоблаченный, в том и наша вина!

Пулат с радостным удивлением покосился на Халмата: неглупый парень! Вот ведь как можно ошибиться в человеке...

Да, жизнь сложна, нельзя судить о людях с первого взгляда! Правда, в Тураханове он сразу почувствовал фальшь — и не ошибся. А вот с Халматом — сплеховал. Он его сразу же не влюбил, долго считал пустым, никчемным хвастуном. Не всегда можно полагаться на внутреннее чутье,— оно требует проверки жизнью, лишь опыт и глубокое знание человека дают право на безоговорочное суждение о нем. А знал ли он Халмата, попытался ли узнать, что у него на сердце? Халмат в чем-то был и слаб, но в то же время и честен,— у него душа труженика. И за него нужно было бороться! С такими, как Тураханов, борются,— и ты боролся. Но борются и за таких, как Халмат, а все от него отмахнулись. И не ты, не твои друзья— беда вразумила Халмата, беда, которой могло бы и не случиться! Теперь вся спесь слетела с него и обнажилась настоящая, человеческая сердцевина его характера...

Пулат, внимательно посмотрев на Халмата, протянул ему руку:

— Забудем все, что было, ладно? Будем дружить...

Этот наивный порыв юноши заставил Халмата внутренне улыбнуться, но он с готовностью, крепко пожал руку Пулата.

— Я тебя дохляком окрестил, а ты меня, бывшего фронтовика, из воды вытащил! — сказал Халмат.— На поверку-то я послабей тебя оказался...

Нелегко далось Халмату это признание!..

Дверь тихо отворилась — в палату вошла Бахор. Увидев, что Пулат

не один, она смутилась, но только на мгновение. С высоко поднятой головой шагнув к кровати, где сидели Пулат и его гость, она приветливо поздоровалась с обоими. По-хозяйски оглядела палату — все ли в порядке? — прошла к окну, настезь распахнула его. Видно было, что она чувствует себя здесь как дома. Пулат следил за ней благодарным, любящим взглядом. Халмат, покосившись на Бахор, на Пулата, кашлянул в кулак, тихо шепнул:

— Ты, брат, того... прости меня, — он глазами показал на Бахор. — Помнишь, нагородил я тебе всякого...

— Я же сказал — забудем!

— О чем вы там? — спросила Бахор от окна.

— Халмат-ака дыню принес, хочет угостить тебя...

— Ой, хорошо! — обрадовалась Бахор. — Дыня!.. Ешь сам, Пулат, это ведь тебе!

— Да он скоро лопнет! — не удержался Халмат. — Нагулял ряжку! — Он дружески плечом толкнул Пулата и поднялся. — Ладно! Я пошел...

— Куда же вы?

— Вы без меня как-нибудь обойдетесь, а стройка — едва ли! — улыбаясь, сказал Халмат.

Когда он исчез за дверью, Бахор подошла к Пулату, с беспокойством спросила:

— Как себя чувствуешь?

— Когда ты со мной — лучше всех!

— Ты не забыл? Сегодня тебе на исследование!

За последние дни Пулата замучили различными исследованиями. Он тайне страшился каждого предстоящего осмотра: а вдруг процесс обострился? Тогда нечего и думать о фронте...

И когда однажды, после решающего осмотра, в палату к нему вошел врач с рентгеновскими снимками в руках, Пулата охватил озноб. Тревожным взглядом уставился он на врача, а тот улыбался в седые усы.

— Ну, друг, бывают же в природе чудеса! — Он протянул Пулату снимки. — Держи. Любуйся! Нет у тебя никакого туберкулеза! Понятно? Нет! Таких, как ты, болезни боятся!..

Пулат не верил своим ушам:

— Как... нет?

— А вот так, нет, и все тут! Все зарубцевалось. Климат-то здесь, и правда, волшебный! Да и труд закаляет, труд — великий чародей!

Пулат опустил на кровать: порой и радость валит с ног. Он прикрыл глаза ладонью, но тут же отнял ее, взволнованно спросил:

— Значит, я теперь могу на фронт?

## 23

После призыва Пулат провел около месяца в лагере, расположенном в их же районе, там он прошел военную подготовку. За это время он успел списаться с майором Петровым, и тот обещал добиться, чтобы Пулата из запасного полка направили к нему в часть.

К месту армейской службы Пулат уезжал со станции, находившейся неподалеку от районного центра. Эта станция была началом его нового, большого и трудного пути, и он надолго запомнил ее, хотя она и не представляла собой ничего особенного: станция как станция — недлинные шеренги запыленных в паровозной копоти карагачей, немногочисленный рынок за старым кирпичным станционным зданием, по другую сторону железной дороги — голый, без зелени, колхозный поселок в степи.

На одном из путей стоял воинский эшелон, готовый к отправке. Возле теплушек толпились новобранцы и провожающие. Станция гудела, как пчелиный улей, — слышались громкие возгласы, смех, плач, песни.

Провожать Пулата пришли Хайри, Бахор и Халил-ата, Анвар и Рустам.

Пулат был в новой солдатской форме, она сидела на нем еще мешковато, но он чувствовал себя в ней заправским солдатом, и все поправлял пилотку на стриженной голове — ему, видно, было просто приятно лишний раз коснуться ее рукой.

Хайри не отходила от сына. За последнее время плечи ее чуть ссутулились, волосы посеребрила седина. Ей стоило огромных усилий держать себя в руках — хотелось кинуться к сыну, крепко, как в детстве, прижать его к себе, защищая от бед и опасностей, и никуда от себя не отпустить — довольно с нее одной невосполнимой потери!..

Это чувство мучило ее давно, — с того дня, как Пулату велели явиться на сборный пункт военкомата. Но и тогда она не сказала ни слова, молча уложила в чемодан вещи сына и лишь ночью, в одиночестве, зарылась лицом в подушку и расплакалась... До фронта Пулату было еще далеко, но Хайри уже видела его в огне сражений и старалась успокоить себя — нет, нет, война не посмеет отнять у нее сына! Но она вспомнила, что так же думала когда-то и о Хайдаре...

Самое страшное — она была бессильной перед тем, чему суждено свершиться. Она знала — если бы у нее была возможность удержать сына рядом с собой, она не воспользовалась бы этой постыдной возможностью. Она — мать, вдова, но она одна из многих вдов и матерей, сердца которых в эти годы обливались кровью. И ей было до боли ясно: место Пулата, как и тысяч его сверстников, там, где сложил голову его отец. Он не только ее сын, он сын своего народа. Он рвался на фронт, и она понимала и одобряла его порыв, такой естественный для Пулата, как и для любого советского юноши. Ведь она сама воспитала его патриотом, и она гордилась сыном — он так походил на отца! Хайри жизнью своей готова была пожертвовать, только бы Пулат остался жив, но она не имела права его удерживать. И плача, она мысленно напутствовала его — будь бесстрашен, будь отважен, как твой отец, но возвращайся целым и невредимым!..

Хайри часто навещала Пулата в лагере и при нем держалась спокойно, мужественно, но стоило ей прийти домой, в опустевшие комнаты, как ноги у нее подкашивались. Сидя на постели, держа перед собой фотографию мужа, который и для нее, как для Пулата, навеки остался живым, она подолгу, сердцем, разговаривала с ним: «Вот и Пулат покинул дом. Когда же, наконец, кончится эта война? Что делать, как жить — без сына, без мужа?..»

В школе она немного забывалась — она была нужна этим мальчикам и девочкам, многочисленным своим детям, и ради них она старалась подавить в себе отчаянье и слабость — им теперь принадлежала ее жизнь.

Она пришла провожать Пулата внутренне собранная, ей хотелось, чтобы воспоминания о минутах прощания придавали сыну силу и мужество. Пусть он видит ее стойкой, не сломленной горем и там, на фронте, не волнуется за нее, ему легче будет воевать... Молча стояла она рядом с сыном и смотрела на него ненасытным взглядом — словно могла насмотреться на всю жизнь!

То и дело ласково, ободряюще поглядывая на мать, Пулат оживленно разговаривал с Бахор и другими провожающими. Пулат испытывал душевный подъем: он добился своего, он — воин Советской Армии и скоро будет на передовой.

Бахор пришла в самом своем нарядном легком платье, волосы ее блестели под солнцем, на руке поблескивали маленькие часы, подарок Пулата. Она принесла с собой большой букет чуть привядших тюльпанов. Передавая его Пулату, шепнула:

— Это оттуда, с нашего луга... Последние!

— Нет! — сказал Пулат. — Не последние!.. Вернусь — ты встретишь меня с таким же букетом. Правда, Халил-ата?

— Вы еще вместе будете их собирать! — любовно глядя на дочь и Пулата, откликнулся старый кузнец.

— Войны не будет — будет весна, солнце и цветы! — сказал Пулат. — Мы всем кишляком справим праздник тюльпанов, — верно, мама?

Хайри не могла удержать вздоха...

А Бахор, казалось, не была опечалена предстоящей разлукой с любимым, или тоже бодрилась ради Пулата? Нет, она радовалась за него, вернее, вместе с ним — у их мыслей, чувств и стремлений было одно русло. Прежде, когда его не брали в армию, она от души переживала за него, а теперь вместе с ним торжествовала победу: он победил болезнь, горе, и исполнилась его страстная, испепеляющая сердце мечта — он продолжит ратный подвиг своего отца! И еще Бахор не поддавалась печали потому, что верила: ничего с ним не случится — он сильный, храбрый, самый лучший из всех!

Стоя рядом с Пулатом, она так покраснелась, что, казалось, букет, который он держал в руках, отбрасывает на ее щеки алый отсвет...

Анвар и Рустам старались не мешать их беседе — пусть наговорятся перед долгой разлукой! Анвар смотрел на солдат и провожающих. Вдруг возле одной из теплушек он увидел Тураханова, что-то хмуро говорившего стоящим рядом с ним сухопарому старику и старухе в очках.

Анвар знал, что Тураханов призван в армию — после событий, раскрывших его истинную сущность, его сняли с должности, исключили из партии. Теперь ему предстояло кровью искупить свою вину перед народом. Уполномоченным райкома на Галабастрое стал вместо него Анвар.

Анвар предполагал, что может встретиться на станции с Турахановым — и все же удивился, увидев его. Он с трудом узнавал в обритом наголо солдате прежнего Тураханова — тот словно бы сделался меньше ростом, съежился, как засохшая груша, хотя, разговаривая со стариками, грозно хмурился.

Анвару не было жаль его — слишком много зла причинил он людям. Его мрачный вид вызвал в Анваре глухое раздражение: отъезд на фронт, который Пулат воспринял как дар судьбы, для Тураханова был ударом судьбы. Как-то он поведет себя на фронте?

Все случившееся заставило Анвара крепко призадуматься. Ну, а если бы обстоятельства не сложились против Тураханова? Если бы Зеби согласилась покорно терпеть домашний гнет и не было паводка, не было бы всего, что само по себе разоблачило Тураханова, — удержался бы он на поверхности? Ведь он считался в районе авторитетной фигурой, умел пускать пыль в глаза, многие его побаивались... И, не сорвись он волей случая, — так бы и был до сих пор на коне?

И Анвар отвечал сам себе: нет, и еще раз нет!.. Как веревочке ни виться, а концу быть! У нас такие, как Тураханов, непременно споткнутся — не на одном, так на другом. Он жил для себя, а не для народа, и мы не допустили бы, чтобы народом руководил властолюбец и карьерист!

Тураханов, словно почувствовав взгляд Анвара, оглянулся. Увидел Пулата, других своих знакомых. На его лице появилось выражение какой-то растерянности. Он что-то быстро сказал старикам и, ухватившись за дверь, прыгнул в теплушку.

До отправки эшелона оставались считанные минуты.

Хайри крепко обняла сына, прижалась мокрой щекой к его щеке. Пулат погладил ее плечо:

— Мама!.. Что ты, мама!..

Но Хайри уже овладела собой. Вытерев слезы, сказала:

— Доберешься до своей части — про Ваню не забудь. Сделай все, чтобы мальчика к нам отправили. Мы примем его, как родного, здесь ему будет хорошо!..

— Постараюсь, мама.

Бахор, робко приблизившись к Пулату, застенчиво, нерешительно оглянулась и, с таким видом, словно бросалась в ледяную воду, обвила руками его шею, поцеловала при всех в щеку и тотчас отпрянула.

— Я буду ждать тебя, поскорей возвращайся, Пулат! — сказала она.

Рустам добродушно улыбнулся:

— Не стесняйся, сестренка, тут все свои! Вместе будем ждать нашего палвана! Ты ведь остаешься на стройке?

— Конечно!

— А ты, Пулат, когда демобилизуешься, что собираешься делать?

— Вернусь на стройку! Но об этом рано говорить.

— О будущем говорить никогда не рано. — сказал Рустам. — Я знал, ребятки, что вы мне ответите. Сердцем к стройке прикипели — оно и понятно: она вас такими орлами взрастила! — Бросив взгляд на Хайри, он поспешил оговориться: — Вместе с вами, вместе с вами, Хайри-апа! — По-отцовски обнял Пулата и Бахор за плечи, привлек их к себе. — Эх, дорогой мой рабочий класс!

Состав громыхнул сцепами. Хайри снова, в последний раз, приникла к сыну.

...Прощаюсь и я с тобой, юный мой друг. Доброго пути, Пулат! Возвращайся с победой!

*Авторизованный перевод с узбекского ЮРИЯ КАРАСЕВА*





\* \* \*

Я за твоё здоровье пил,  
А чтоб была совсем здорова,  
Потом ещё стакан разбил,  
Но ты взглянула так сурово,  
  
Что показалось мне: я сам,  
А не стекло,— лежу в осколках,  
Что это — сердце пополам,  
А вот тебе не жаль нисколько.  
  
Скорей поднять его спеша,  
Ведь ты тепла его не знала,

Сбрось серьги, к уху приложи,  
Ты трудный стук его слыхала?

Ну, слышишь, как частит оно,  
Как шепчет: «Эх, моя тупица,  
Я всё обидами полно,  
Я так и впрямь могу разбиться».

Стакан пропал, ну что нам в нём?  
Возьмем и выпьем из другого,  
А если сердце разобьем,  
Кто нам его починит снова?

## О любви

Давай размахнемся, мечтая  
С тобой, и была — не была,  
К себе призовем, дорогая,  
Из горного края орла.  
Любви нашу ношу навьючим  
И будем в надзвездье парить  
И сильную птицу научим  
О нашей любви говорить.  
Чтоб реки рассказу внимали  
И в ближнем и в дальнем краю,  
Чтоб всюду они понимали  
Земную улыбку твою...  
Летим!.. Если щаль твою ветер  
Сорвет вдруг — я силой верну,  
А дождь загудит на рассвете —  
Я в бурку тебя заверну.  
Нам путь самолеты уступят,  
А летчики крикнут: «Салют!»  
Туманы уйдут за уступы,  
И тучи в моря уползут.  
Прикажем мы дремлющим стаям  
Петь лучшие песни свои,  
Мы бурю унять заставим  
Верховною властью любви.  
А ночью, чтоб не заблудиться,  
Погасшие звезды зажжем.  
Ты глянешь — и вспыхнет зарница,  
Вздохну я — покатится гром.

Под нами пути-перепутья,  
Хребты, города, корабли,  
И рыбы, и звери, и люди,  
И милые звуки земли...  
Пусть смотрят за нашим движеньем  
Москва, и Эльбрус, и Цада,  
Пускай твоих глаз отраженье  
Качает в заливах вода.  
Пусть все тебе будет подвластно:  
Махнешь — и столица внизу,  
Вздохнешь — и закружатся в пляске  
Четыре аварских Койсу.  
И лес, свои краски развесив,  
Приветствовать будет тебя,  
И птицы, кружа в поднебесье,  
И туры, с обрывов трубя.  
Запляшут в чащобах медведи  
И мошки над сушью степей,  
Завидев, как празднично светит  
Им солнце улыбки твоей.  
Летим же, любовь моя, высшей  
Дорогой — мечты и орла,  
И если орлиных не сыщем —  
Пусть мчат нас стальные крыла!

*Перевела с аварского  
Ирина Снегова*



## МЕДВЕДЬ

ПОВЕСТЬ

I

Теперь и собака была под стать медведю, и человек. Зверей стало двое, считая Старого Бена — медведя, и людей двое, считая Буна Хоггенбека, в чьих жилах тоже текла струя индейской крови — но не крови вождей, и только Сэм Фазерс, Старый Бен и смешанной породы пес по кличке Лев были без изъяна.

Мальчику было шестнадцать. Седьмой год он ездил на взрослую охоту. Седьмой год внимал охотничьей беседе, лучше которой нет. О лесах велась она, глухих, обширных, что древней и значимее купчих крепостей, белым ли плантатором подписанных, по недомыслию своему полагавшим, будто получает какую-то часть леса во владение, индейцем ли, немилосердно кривившим душой, продававшим плантатору это мнимое право владения: леса товаром быть не могут. О людях велась эта беседа, не о белой, черной или красной коже, а о людях, охотниках с их мужеством и терпением, с волей выстоять и уменьем выжить; о собаках, медведях, оленях, призванных лесом, четко расставленных по местам для извечного и упорного состязания, чьи нерушимые правила не милуют и не жалеют, вызванных лесом на лучшее из игрищ, на жизнь, не сравнимую ни с какой другой, на беседу, и подавно ни с чем не сравнимую: негромко и веско звучат голоса, точно и неспешно подытоживают, вспоминают в кабинетах городских домов или в конторах планта-

ций, среди трофейных шкур и рогов и зачехленных ружей — или, слаще всего, тут же в лесу, в охотничьем лагере, где висит неосвежеванная, теплая еще туша, а добывшие зверя охотники расселись у рдеющих в камине чурбаков, а нет камина и домишки, так у брезентовой палатки, вокруг дымно пылающего костра. И бутылка тут же непременно, так что мальчику казалось: все прекрасные мгновенья мужества, ума, быстроты и сметки сгущены, сжижены в буроватый напиток, предназначенный не для женщин, не для детей и подростков, и пьют его скупо, смиренно как бы — не в низменной и тщетной надежде язычника, что питье даст сноровку, силу и проворство, а в честь этих высоких качеств. С виски, естественно, и началось, иначе и быть не могло, — казалось ему в это декабрьское утро.

Впоследствии он понял, что началось гораздо раньше. Раньше и того дня шесть лет назад, когда двоюродный брат мальчика Маккаслин в первый раз привез его в лагерь, в лесную глушь, чтобы он в свой черед выслужил у леса сан и званье охотника, если достанет на то смирения и стойкости. Он еще в глаза не видел, а уже принял, как принимают наследство, огромного старого медведя с искащенной капканом ступней и с собственным, личным, как у человека, именем, славным на десятки миль вокруг; длинна была повесть о взломанных и очищенных закромах, об утащенных в лес поросятах, свиньях, телятах, о раскиданных западнях и ловушках, об изувеченных насмерть собаках, о дробовых зарядах и даже о пулях, пущенных чуть ли не в упор и возымевших действие не более, чем горошинки, и пролагая эту трассу разрушения и разора, берущую начало задолго до рождения мальчика, неся напролом косматый исполин, вернее — подвигался с безжалостной неотвратимостью локмотива.

Он давно мерещился мальчику. Еще ни разу не был мальчик в той не тронутой топором глухомани, где оставляла двупалый след медвежья лапа, а медведь уже нависал над снами, косматый, громадный, багряноглазый, не злобный — просто непомерный: слишком велик был он для собак, которыми его пытались травить, для лошадей, на которых его догоняли, для охотников с их пулями, слишком велик для самой местности, его в себе заключавшей. Мальчику словно виделось уже то, чего ни чувством, ни разумом он еще не мог постигнуть: обреченная на гибель глушь — с краешков обгрызают ее, непрестанно обкрамсывают плугами и топорами люди, страшась ее потому, что она глушь, дичь, — люди бесчисленные и безыменные даже друг для друга в лесном краю, где заслужил себе имя старый медведь, не простым зверем рыщущий по лесу, а неукротимым анахронизмом из былых и мертвых времен, символом, апофеозом старой дикой жизни, вокруг которой кишат, в бешеном отвращенье и страхе машут топориками люди — пигмеями у подошв дремлющего слона; неукротимым и как перст одиноком виделся старый медведь, вдовцом бездетным и неподвластным смерти старцем Приамом, потерявшим царицу и пережившим всех своих сыновей.

Когда мал еще был для охоты мальчик и ждать оставалось три года, потом два, потом год, — каждый ноябрь провожал он взглядом фургон, увозивший в Большую Низину, в большой лес собак, одеяла, припасы, ружья, увозивший брата его Маккаслина, и Джима, и Сэма Фазерса тоже, пока Сэм не переселился в лагерь навсегда. Мальчику казалось, что они едут не добывать оленей и медведей, не на охоту, а на ежегодное свидание со старым медведем, убить которого и не рассчитывают. Двумя неделями позже они возвращались без трофея, без шкуры. Он и не ожидал трофея. Не опасался, что на этот раз в фургоне среди прочих голов и шкур окажется и эта. Не говорил себе даже, что вот пройдут три года, два, год, и он тоже поедет, и, может, именно его выстрел окажется метче других. Он сознавал, что, только пройдя лесной искус и доказав, что

достоин стать охотником, будет он допущен до беспалого следа, и даже тогда в течение двух ноябрьских недель он — подобно брату, де Спейну, генералу Компсону, Юэллу, Буну, подобно собакам, не смеющим взять медведя, подобно дробовикам и винтовкам, бессильным его ранить, — будет всего лишь рядовым участником ритуала в честь медвежьего яростного бессмертия.

День его настал наконец. Из шарабана, где сидели они с де Спейном, Компсоном и братом, он увидел лес сквозь вялый, мерзлый ноябрьский дождик. Впоследствии лес так и вспоминался всегда ноябрьским, рисовался сквозь тусклую морось поры умирания высокой бескрайней стеной сомкнутых деревьев, хмурой, глухой, — отсюда ему и не различить было, где, в каком месте смогут они проникнуть вглубь, хоть он и знал, что Сэм Фазерс ждет их там с фургоном. Они ехали мимо нагих, жухлых стеблей хлопчатника и кукурузы, последними перед лесом полями, последними лоскутами, откромсанными от дремучего лесного бока; до смешного крохотная на огромном фоне повозка как будто вовсе не продвигалась вперед (сравнение пришло тоже впоследствии, когда взрослым уже человеком он побывал на море) — так затерянная в пустынном океанском безбрежье лодчонка висит на месте, покачивается вверх-вниз, а вода и затем и недостижимо неприступная, казалось бы, суша сама медленно разворачивается, все шире распахивает устье бухты, куда плывет и не доплывет лодка. Доплыли. От терпеливо ждавших мулов шел пар, на козлах сидел Сэм, укрывшись от дождя попоной. Сэм был рядом с ним, когда с зайцев и прочей мелочи начиналось его ученичество; рядом, под сырой, теплой, стеганой попоной, были они с Сэмом и теперь, когда послушником вступал он в настоящий лес, принявший его и тотчас сомкнувшийся снова. Чаща расступалась и смыкалась, то была не дорога, не просека, а скользкий просвет, раскрывающийся в десятке шагов перед фургоном, закрывающийся в десятке шагов за спиной, так что казалось — не мулы их везут, а проталкивает, прожимает сквозь себя сплошная глушь, окружающая среда, сонная, глухая, непрозрачная.

Десятилетний, он точно теперь только вступал в мир. Удивления не было. Все это уже виделось ему прежде, и не только во сне. Приехали в лагерь — таким ему и представлялся этот некрашенный одноэтажный дом в шесть комнат, поднятый на сваи от весенних паводков. Стали на скорую руку устраиваться, и он помогал наводить сумбурный порядок и даже движения свои узнавал — так ему это и грезилось. Пол-

месяца потом вкушал он грубую, мужскую пищу, наскоро сготовленную теми, для кого охота была поважнее стряпни, — кислые комоватые лепешки и дичину: оленину, медвежатину, индейку, енота — такого мяса он в жизни не едал. И спал он, как спят охотники, завернувшись в шершавое одеяло без простыни. Каждый серый рассвет заставал его с Сэмом Фазерсом на лазу. Место ему от-

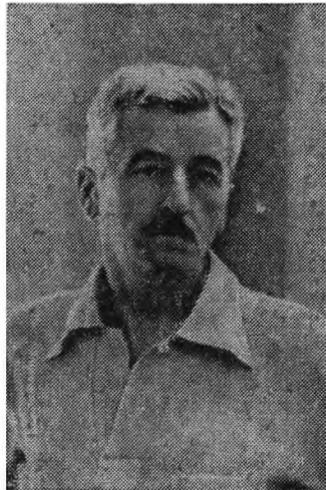
\*

Уильям Фолкнер (1897—1962 гг.) — знаменитый американский писатель, создатель многотомной эпопеи об американском Юге (романы «Сарторис», «Святылище», «Поселок», «Город», «Особняк» и др.), автор нескольких сборников рассказов.

На русском языке издали романы «Особняк», сборник «Семь рассказов».

Повесть «Медведь» взята нами из книги У. Фолкнера «Большой лес», изданной в Нью-Йорке в 1955 году.

\*



вели самое убогое, самое недобычливое из всех. Он и к этому был готов и даже не надеялся в эту первую свою охоту услышать идущих по следу гончих. Однако услышал. Это было на третье утро — откуда-то пришел звук, невнятный, почти неразличимый, но мальчик догадался, хотя никогда раньше не слышал, как стая гонит зверя. Звук вырос, распался на голоса, и он выделил в общем хоре пятерых собак Маккаслена.

— Теперь,— сказал Сэм,— напавь ружье чуть кверху, взведи курки и не шевелись.

Но ему еще не полагалось в этот раз. Смирению он уже научился. Придет и терпение. Это ведь первая неделя, ему только десять. И миг кончился. Ему почудился исчезающий в чаще рогач, дымчатый, удлинённый скоростью, унесся и лай, а сизая тишина еще звенела; из хмурой лесной дали, из утра, растекающегося серым дождичком, донеслись два выстрела.

— Теперь спусти курки,— сказал Сэм.

Он повиновался.

— Ты знал, что он пройдет не здесь.

— Да,— ответил Сэм.— Я учу тебя, что делать, когда не удалось выстрелить. Зверь прошел, курки не спущены, и тут-то гибнут люди и собаки.

— Все равно, это был не он,— сказал мальчик.— И не другой медведь даже. Всего лишь олень.

— Да,— сказал Сэм.— Всего лишь олень.

И вот он снова услышал гон. Сразу, без напоминания, он изготовил свое чересчур длинное и тяжелое, на взрослого рассчитанное ружье, хотя гон проходил еще дальше, чем в тот раз. Собачий лай едва доносясь, и звучал он совсем особенно. «Взведи курки, встань, где кругозор получше, и замри»,— так учил Сэм, а тут вдруг сам двинулся с места, подошел.

— Ну-ка, прислушайся,— произнес Сэм.

Мальчик вслушался: то был не звонкий, сильный гончий хор на горячем следу, а суматошное взлаиванье, октавой выше обычного, таившее в себе что-то горшее, чем нерешимость или даже приниженность, что-то непонятное ему покамест; лай удалялся небыстро, вяло, и долго еще замирала в воздухе тонкая рыдающая нотка, униженная, горестная, и не было ощущения погони, не чудилось стремительного дымчатого тела впереди. Сбоку часто и мерно дышал Сэм.

— Это Старый Бен! — шепотом вскрикнул мальчик.

Сэм не двигался, лишь медленно поворачивал голову за выходящим из слуха гоном, и ноздри его трепетали.

— Вон как! — сказал Сэм.— Даже не убегает. Просто уходит.

— Но зачем он приходил? — воскликнул мальчик.— Что ему здесь надо?

— Он каждый год заявляется,— сказал Сэм.— Раз, не больше. Эш с Буном думают, он приходит, чтоб шугнуть медвежью мелкоту. Убирайтесь, мол, отсюда к бесу, охотники уйдут — тогда вернетесь. Может, оно и так.

Уже мальчик ничего не слышал, а Сэмово лицо все отворачивалось от него вслед звуку. Но вот оно снова повернулось к мальчику — родное, важное, непроницаемое, когда без улыбки, а старые глаза горят теперь темным, грозным, гордым огнем, постепенно угасающим.

— Только Бену ни до кого нет дела — ни до людей, ни до богов, ни до медведей. Он пришел взглянуть, кто нынче в лагере, умеют ли стрелять новички, надолго ли их хватит. И нашлась ли уже собака, чтоб его не испугалась и держала, пока не подспеет стрелок. Он здесь главный. Вождь.

Огонь погас, глаза стали обычными, всегдашними.

— До реки он их дотерпит. А оттуда отправит домой. Пойдем и мы — посмотришь, с каким видом вернутся собаки.

Собаки уже вернулись в лагерь и прятались меж сваями кухонного флигелька, сгрудились там вдесятером. Присев на корточки рядом с Сэмом, мальчик заглянул в темноту, где мерцали собачьи глаза, и опять уловил присутствие чего-то более крупного и сильного, чем собака, запах не просто звериный, потому что впереди давешнего постыдного, страдальческого тьякня не чувствовалось зверя, а одна лишь дремучая чаща. Одиннадцатая собака, гончая сука, вернулась перед вечером, они с Джимом держали ее, покорную, все еще дрожащую, Сэм смазывал ей скипидаром и дегтем порванное ухо и ободранное плечо, но и тут мальчику казалось, что не живое существо, а сам лес нагнулся к ней на секунду и шлепнул легонько за дерзость.

— Совсем как человек,— сказал Сэм.— В точности — как человек. Оттягивала, оттягивала, а ведь знала, что рано или поздно придется ей разок проявить храбрость, чтоб сметь и дальше называться выжловкой, и знала наперед, во что ей эта храбрость обойдется.

Он не тотчас заметил, что Сэма в лагере нет. Три дня затем он просыпался, завтракал, и никто его не ждал. Он без Сэма уходил в лес, один добирался на место и занимал позицию, как научил Сэм. На третье утро он опять услышал голоса взявших след собак, снова уверенные и звучные, и приготовился по всем правилам, но гон прошел далеко — мальчик не успел еще заслужить большего в эти свои первые две недели, такие короткие в сравнении со всей долгой жизнью, заранее, в терпении и смирении, отданной лесу; он услышал выстрел, на этот раз одиночный,— хлопнула винтовка Уолтера Юэлла. Он теперь умел не только дойти до места и вернуться в лагерь без провожатых; пользуясь компасом, что подарил двоюродный брат, он вышел к Уолтеру, где лежал олень и толклись у потрохов собаки,— вышел раньше всех, кроме подскакавших де Спейна и Джима, раньше, чем дядюшка Эш прибыл на одноглазом упряжном муле, которому нипочем был запах крови и, говорили даже, медвежий дух.

На одноглазом прибыл не дядюшка Эш. Это вернулся Сэм. После обеда мальчик сел на одноглазого, а дожидавшийся его Сэм — на второго мула из фургонной упряжки, и часа три с лишним они ехали без дороги, без сколько-нибудь приметной тропки сквозь пасмурный, быстро вечеряющий день и забрались в места, где мальчик ни разу еще не был. Тут он понял, почему одноглазый, не боящийся крови и звериного духа мул был отдан ему. Мул под Сэмом вдруг шарахнулся, рванулся было прочь, но Сэм уже спрыгнул на землю; мул упирался, натягивал, вырывал повод, а Сэм, уговаривая, вел, тащил его вперед — привязывать было рискованно, — и мальчик тоже слез со своего, спокойного. Стоя рядом с Сэмом в меркнушем зимнем дне, в густом, огромном сумраке дремучего леса, он молча смотрел на гнилую колоду, насквозь продранную когтями, и на кривой отпечаток чудовищной двупалой ступни в сырой почве возле колоды. Теперь понятно стало, что звучало в лае гончих в то утро. Мальчик ощутил в себе самом это тоскующее, покорное чувство собственной хрупкости и бессилия (но не трусости, не колебания) перед вековой чашей; внезапная, медного вкуса слюна наполнила рот, что-то резко сжалось в мозгу или под ложечкой, не поймешь где, и не это главное: главное, он впервые сейчас осознал, что зверь из рассказов и снов, с незапамятной поры не дающий ему покоя и, значит, и брату, и де Спейну, и даже старику Компсону, всю их жизнь не дающий покоя, — что это живой медведь, и если, отправляясь каждый ноябрь в лагерь, они и не рассчитывали его затравить, то не потому, что он бессмертен, а потому, что знали, что травля пока дело безнадежное.

— Значит, завтра,— проговорил мальчик.

— То есть, завтра попробуем,— поправил Сэм.— У нас еще нет собаки.

— У нас их одиннадцать,— сказал мальчик.— Они ж погнали его в понедельник.

— Ты слышал гон,— сказал Сэм.— И видел их потом. Собаки у нас еще нет. Хватило бы одной. Но такой у нас нет. Может, такой вообще нет. Одна надежда, что он сам оплошает и выскочит на кого-нибудь, кто не любит мазать.

— На меня-то не выскочит,— сказал мальчик.— На Уолтера, или на майора, или...

— Может, и на тебя,— возразил Сэм.— Ты завтра смотри в оба. Он ведь умный. Иначе не прожил бы столько. Если его прижмут и придется прорываться, он выберет тебя.

— Как это? — произнес мальчик.— Откуда ему знать...— Он не кончил.— По-твоему, он уже знает, что я здесь в первый раз и не успел еще себя проверить...— Он опять не кончил, глядя на Сэма во все глаза, и сказал уже покорно, без изумления: — Значит, это он меня приходил смотреть. Ему, наверно, раз только и нужно взглянуть.

— Будь завтра начеку,— сказал Сэм.— А теперь нам пора в лагерь. И так уже ночью вернемся...

Утром охотники отправились в лес тремя часами раньше, чем всегда. К ним присоединился даже дядюшка Эш, повар де Спейна, считавший себя поваром именно лагерным и ездивший в лес не на охоту, а на стряпню; но леса и на него наложили печать, и теперь рваное собачье ухо, и плечо, и беспалый след в болотной почве будили в нем тот же отклик, что в них во всех и в мальчике, хоть он и провел в лагере всего полмесяца. Они ехали — пешком добираться было слишком далеко — мальчик и Сэм с Эшем в фургоне при собаках, а Маккаслин, де Спейн, Компсон, Бун, Уолтер и Джим по двое на лошадях; снова, как в первое утро полмесяца назад, сизый рассвет застал мальчика на лазу. Сэм поставил его, ушел, и он встал, держа на изготовку громоздкое для него ружье (собственность де Спейна), которое мальчик раз только испробовал: в первый же день всадил в пенек один заряд, чтоб испытать отдачу и научиться перезаряжать. Он стоял спиной к большому камедному дереву, у неширокой заводи; черная недвижимая вода тихо вытекала из тростников, проползала полянкой и снова уходила в тростники, где, невидимый, барабанил по сухому стволу крупный дятел. Место как место, мало чем отличалось от того, где мальчик становился каждое утро; окрестность была хоть нова, но привычна не меньше той, которую за две недели он вроде немного уже изучил,— такая же пустыня, та же дремучая глушь, где слабый и робкий человек прошел, но ничего не тронул, не оставил ни следа, ни зарубки; должно быть, точно так же выглядело все здесь, когда древнейший, еще доиндейский предок Сэма Фазерса впервые прокрался сюда, готовый обрушить дубину или каменный топор или пустить стрелу с костяным наконечником. Разница была лишь в том, что теперь мальчик уже изведal запах, шедший из-под кухни, где затаились гончие, видел раненый бок и ухо собаки, проявившей храбрость, чтобы, как сказал Сэм, сметь и впредь называться выжловкой, а вчера и отпечаток живой двупалой лапы увидел у изодранной когтями колоды. Гона не было слышно. Ни лая, ничего. Но дятел вдруг замолк, и мальчик понял, что медведь здесь и смотрит на него. Откуда-то, то ли из тростника, прямо в лицо ему, то ли из-за деревьев сзади. Он застыл, сжимая бесполезное ружье, понимая уже, что оно не согдится ему на этого зверя ни сейчас, ни после, и опять ощущая во рту нехороший медный привкус.

Медведь ушел. Сухой стук дятла возобновился так же внезапно, как оборвался, а немного погодя и собак как будто стало слышно, донесся

слабый, невнятный шум, воспринятый не сразу, а через минуту-две, должно быть; донесся и уплыл, заглох. Далеко где-то прошли, да и собаки ли то были? И если медведя гнали, то не этого, другого. Из тростников явился Сэм, перебрел через воду, за ним следовала выжловка неотступно, как легавая. Она подошла к мальчику и, вздрагивая, прижалась к его ноге.

— Я и не увидел его, Сэм,— сказал мальчик.— Так и не увидел.

— Знаю,— ответил Сэм.— Он тебя зато увидел. И не зашуршало, значит?

— Нет,— сказал мальчик.— Я...

— Он умный,— сказал Сэм.— Слишком умный.

Снова глаза Сэма вспыхнули темным и грозным огнем; он глядел на собаку, дрожавшую мелкой, непрерывной дрожью. Капельки свежей крови алыми ягодами повисли на собачьем плече.

— И слишком большой. Собаки у нас пока нету. Но, может, еще будет.

Впереди ведь охоты, еще и еще. Ему ж всего одиннадцатый. И во мгле будущего, где рождается и принимает облик время, мерещились мальчику двое: неподвластный смерти старый медведь и он сам — рядовым, но участником. Ибо теперь он знал, чем несло от попрятавшихся собак и что омедняло слюну, он познал страх — так при виде женщины, много любившей, в подростке пробуждается знание о любви и страсти, об извечном опыте и наследстве, во владение которым его еще не ввели. «Выходит, придется мне его увидеть,— думал мальчик без трепета и без надежды тоже.— Придется взглянуть на него».

И настало лето. Июнь. Они снова приехали в лагерь — отпраздновать дни рождения де Спейна и Компсона. Хотя первый родился в сентябре, а второй среди зимы и лет на тридцать раньше майора, но каждый июнь они с Маккаслином, Буном и Уолтером (а отныне и мальчик вместе с ними) отправлялись на полмесяца в лагерь ловить рыбу и охотиться на белок, индеек и — ночью, с собаками — на енотов и диких котов. Точнее, удили, стреляли белок, травили енотов Бун и негры, а теперь и мальчик; признанные же охотники: де Спейн и старый Компсон (проводивший эти две недели в кресле-качалке у казана, где тушилась дичина, помешивая, пробуя да отпивая виски из жестяного ковшика, и тут же дядюшка Эш с критикой и Джим с бутылкой наготове) и отнюдь не старые Маккаслин и Уолтер били только диких индюков из пистолета, на спор или для упражнения, а до прочего не снисходили.

То есть, это Маккаслин и прочие думали, что он белок в лесу ищет. Но Сэм Фазерс был иного мнения. Каждое утро, сразу после завтрака, мальчик уходил в лес. Теперь у него была новая двустволка — рождественский подарок брата; почти семьдесят лет проохотился он с ней потом, дважды сменил стволы и затворы и один раз ложу, так что от прежнего ружья осталась под конец только отделанная серебром спусковая скоба, на которой были выгравированы имена его и Маккаслина, день, месяц и год — 1878. Он отыскал заводь и дерево, где стоял в то утро. Отсюда пошел по компасу дальше, неприметно становясь настоящим лесовиком. На третий день он разыскал и ободранную колоду, около которой впервые увидел двупалый след. Донельзя уже искрошенная, в рьяном, почти зримом самоотречении, она возвращалась в землю, откуда поднялась деревом. Он бродил в зеленом сумраке летнего леса, где сейчас чуть ли не темней было, чем в ноябрьскую серую морось, и даже в полдень солнце лишь стоячими зайчиками пестрило почву, вечно сырую и кишашую мокасиновыми, водяными, гремучими змеями, пятнистыми, как этот сумрак, так что не всегда и разглядишь их, притаившихся. С каждым днем он все позднее возвращался в лагерь; на третий вечер, в сумерки, он

проходил мимо обнесенного частоколом бревенчатого сарая, куда Сэм как раз ставил лошадей на ночь.

— Все еще не показался тебе, — сказал Сэм.

Мальчик остановился. Мгновенье молчал. Потом сказал спокойно — точно прорвало игрушечную запруду на ручейке и спокойно хлынула вода:

— Да. Еще нет. Но где ж искать? Я у затона был. И колоду нашел. Я...

— Все так. Не иначе, как он тебя видел. Но вспомни-ка про его лапу.

— Я... — произнес мальчик. — Я забыл... Не подумал...

— В ружье все дело, — сказал Сэм.

Старик, сын невольницы-негритянки и вождя чикесо, Сэм стоял у забора в потрепанном, линялом комбинезоне и ветхой пятицентовой соломенной шляпе, головном уборе негров рабов, и если он и сейчас носил эту шляпу, то отнюдь не в память освобождения. Лагерь — вырубка, дом, сарай и загончик — растворялся в сумерках, над ним смыкалась предвечная тьма дебрей. «Ружье, — подумал мальчик. — Ружье».

— Придется тебе выбирать, — сказал Сэм.

На следующее утро мальчик ушел до света, без завтрака, задолго до того часа, когда в кухне подымался с пола, из стеганых одеял дядюшка Эш и разводил огонь в плите. Он взял с собой только компас да палку от змей. Почти милю он прошел в потемках по памяти. Потом сел на бревно, держа в руке невидимый компас, и потаенные звуки ночи, замершие было при его шагах, воспрянули, засуетились, потом затихли уже окончательно, и совы замолкли, уступая место просыпающимся дневным птицам, и свет забрезжил в сером и влажном лесу, и стала видна стрелка. Он зашагал быстро, но пока еще спокойно, нечувствительно для себя самого совершенствуясь в лесной науке. Он спугнул лань с детенышем, подошел так близко, что увидел, как лань мелькнула своим белым зеркальцем, исчезая в затрещавшем подлеске, а за ней и олененок. Он шел по-охотничьи, против ветра, как научил Сэм, хоть проку сейчас в этом было немного. Ружье ведь осталось в лагере; он добровольно отказался от него, и не простой дебют, вариант избрал тем самым, а принял особое условие, при котором не только ненарушимая доселе медвежья незримость, но заодно и все вековые правила охотничьей игры теряли силу. Но он не дрогнет, не струсит и тогда, когда страх уже полонит его всего, памятью предков ударив в мозг, но оставив там узкую, четкую, неистребимую полосу трезвой ясности, отличающую его и от этого медведя, и от всех иных медведей и оленей, встреченных потом за семьдесят лет. Недаром поучал Сэм: «Бойся. Без этого нельзя. Но не трусь. Зверь лесной тебя не тронет, пока у него есть куда отступить или пока он не учуял, что ты трусишь. А труса медведям и оленям надлежит опасаться так же, как и храброму человеку надлежит опасаться труса».

Он давно миновал заводь и к полудню забрался в неведомую местность глубже, чем когда-либо. Теперь он шел, сверяясь и с компасом, и со старыми, оставшимися после отца часами — тяжелой серебряной луковицей. Девять часов назад он вышел из лагеря, до темноты остается восемь, на час меньше. Как поднялся с бревна, когда наконец обозначился циферблат компаса, так и шел с той поры без привала, но тут остановился и огляделся, утирая рукавом пот с лица. Не взял же он ружья, сам отказался от него, покорно, не хныча и не сожалея, раз надо; но, видно, это не все, этого мало. Он постоял минуту — ребенок, чужой здесь, затерянный в зеленом сумраке дебрей. Затем покорился до конца. Часы и компас — они мешают. Надо быть совсем чистым. Он отстегнул от комбинезона ремешок, открепил цепочку, повесил компас и часы на куст, рядом прислонил свою палку и вошел в чашу.

Когда он понял, что заблудился, то поступил, как наставлял его Сэм: стал делать круг, чтобы выйти на свой начальный след. Последние два-три часа он шел не очень скоро, особенно с тех пор, как остался без компаса. Так что теперь пошел и вовсе не торопясь, ведь до дерева, под которым рос тот куст, было не так уж далеко; и, правда, дерево он увидел даже раньше, чем ожидал, и повернул к нему. Но там не оказалось ни куста, ни часов, ни компаса, и тогда, продолжая действовать, как показывал Сэм, он сделал новый круг, но в другую сторону и куда больше радиусом, так что общий рисунок кругов должен бы пересечься со следом, и однако же нигде ему не встретилось ни намека на след, и теперь он шел быстрее, хотя по-прежнему без паники, и сердце билось хоть чаще, но достаточно ровно и сильно, и снова вышел к дереву, совсем уж не к тому — тут рядом лежит рухнувший ствол, которого там не было и в помине, а за стволом сочащееся влагой болотце, не то суша, не то вода,— и выполняя третье и последнее Сэмово наставление, он присел на этот ствол и увидел в сырой земле кривую вмятину, двупалый отпечаток, который быстро заполняла вода, вот уже переливаясь через край, съедая очертания. Поднял голову, увидал еще один, шагнул, увидал другой подалше и не побежал суетливо, а пошел за точно с неба падающими отпечатками, пока не размыло, пока не потерял их навсегда; и шел неумоимо, без трепета и колебания, слегка задыхаясь, с колотящимся сильно и часто молоточком-сердцем, и внезапно вышел на прогалину. Глушь беззвучно ринулась навстречу и огустела, оформилась в деревья, кусты, часы и компас сверкнули под солнечным лучом. И он увидел медведя. Нет, медведь не явился, не появился ниоткуда — предстал недвижимый в солнечных пятнах зеленого знойного полдня, не громадиной из снов, а каким мерещился наяву, может, чуть крупнее — размеры скрадены пятнисто-сумеречным фоном,— и смотрит. Шевельнулся. Двинулся не спеша через прогалину, на миг облило его горячим солнцем, опять застыл, глядит через плечо. Ушел. То есть, не ушел — канул, без единого движения растворился в чаще, как однажды на глазах мальчика, и плавниками не пошевелив, скрылась, погрузилась в темную глубину омута рыба — огромный старый окунь.

## II

И следовало ожидать, что Лев возбудит в мальчике ненависть и страх. К тому времени мальчику пошел четырнадцатый. Он уже добыл своего первого оленя, и Сэм помазал ему лицо горячей оленьей кровью, а затем в ноябре он убил медведя. Еще до этого торжественного посвящения он освоил лес лучше многих взрослых охотников с тем же, что у него, стажем. Теперь же и не всякий ветеран-лесовик мог с ним потягаться. Он назубок знал местность на двадцать пять миль вокруг лагеря — каждый затон и пригорок, каждое приметное дерево и каждую тропу, и смог бы, не плутая, доставить желающего на любое место и обратно в лагерь. Ему ведомы были звериные лазы, неизвестные даже Сэму Фазерсу; в третью осень он без чьей-либо помощи открыл оленью лежбище и, ни словом не обмолвившись брату, выпросил винтовку у Юэлла и подкараулил на рассвете возвращавшегося на лежку рогача, как, по рассказам Сэма, делали индейцы в старину.

След старого медведя был ему теперь знаком не хуже собственного, и дело не только в увечной лапе. Он моментально опознал бы отпечатки и трех прочих лап, хотя водились в окрестности и другие медведи, оставлявшие следы почти такой же величины. Но не в размере лишь дело. Если Сэм Фазерс был с первых лет его наставником, а приготовительными классами — зайцы и белки опушек, то чаща — обиталище старого

медведя — стала его университетом, а медведь этот, издавна одинокий и бездетный, точно сам себя породивший, — его alma mater.

Теперь ему не составляло труда отыскать двупалый след в десяти, в пяти милях от лагеря, а то и ближе. За три прошедших года он дважды еще слышал со своего номера, как собаки брали этот след, а раз даже на самого зверя наткнулись, и тонко, жалко, почти по-человечьи истерично звучали их голоса. Затаясь однажды на лазу с винтовкой Уолтера, мальчик видел, как Старый Бен брал длинную полосу поваленного бурей леса. Медведь пронесся локомотивом через — вернее, сквозь — кавардак сучьев и стволов с почти оленьей быстротой, а ведь олень прыжками бы летел над буреломом; мальчик понял тогда — нужна собака не только исключительной отваги, но и редкостной величины и быстроты. Дома был помесный песик, каких негры зовут сморчками, — крысолов, сам чуть побольше крысы и храбрый до безумия, до дурости. Мальчик взял его на одну из июньских охот и в урочное время, как будто отправляясь на деловое, заранее условленное свидание, понес своего крысолова, закрыл ему голову мешком, а Сэм повел пару гончих на сворке, и они засели на следу, за ветром, так что медведь угодил в форменную засаду. Собаки оказались так близко к зверю, что даже остановили его — сбитого, должно быть, с панталыку бешеным визгом крысолова, как сообразил мальчик после. Припертый к стволу большого кипариса, медведь встал на дыбы, все выше, все непомерней вырастая над гончими, которые, словно от крысолова, обе набрались отчаянной смелости. И тут до мальчика дошло, что сморчок не шутя намерен схватиться со зверем. Он бросил ружье наземь и кинулся вперед. Дотянулся, выхватил пронзительно орущую, свирепо забарахтавшуюся собачонку из-под медведя. В ноздри ударил крепкий, горячий медвежий смрад. Прямо над собой он увидел грозovou тучей нависшего зверя. «Это где-то раньше было», — мелькнуло и вспомнилось где: во сне.

Медведь ушел. Мальчик и не видел как. Стоя на коленях, обеими руками держа осатанелую собачонку, он слушал, как удаляется плачущий лай гончих. Подошел Сэм, тихо положил рядом ружье, выпрямился, глядя на мальчика.

— Вот ты и с ружьем его два раза видел, — произнес Сэм. — Сегодня ты его наверняка бы уложил.

Мальчик поднялся на ноги, все еще держа крысолова. Песик по-прежнему яростно визжал, изворачивался, рвался из рук вслед гложущему лаю, точно жгут пружиннок-проволочек под током.

— А ты сам? — сказал мальчик чуть прерывающимся голосом. — У тебя же оставалось ружье. Почему ты не стрелял?

Сэм точно не слышал. Протянул руку, коснулся песика, который все еще тьявкал и тянулся, хотя собак уже не слышно было.

— Он ушел уже, — сказал Сэм. — Успокойся, отдохни теперь до следующего раза.

И песик стал затихать под глядящей рукой.

— Ты нам почти подходишь, — приговаривал Сэм. — Только маловат вот. Нет у нас пока собаки. Поратость ей понадобится, а еще больше рост, а сверх того и другого — храбрость. — Он убрал с головы песика руку, поднял взгляд на лес, где скрылись медведь и собаки. — Когда-нибудь кому-нибудь кончать...

— Знаю, — отозвался мальчик. — Поэтому придется одному из наших. Чтоб на самый на последок. Когда он сам уже захочет, чтобы кончилось.

Так что мальчику следовало бы питать ко Льву ненависть и страх. Это было летом, когда он в четвертый раз приехал справлять по-охотничьи день рождения де Спейна и Компсона. Кобыла де Спейна ожеребилась ранней весной. И как-то летним вечером, пригнав на ночь лошадей и мулов к конюшне, Сэм недосчитался этого жеребенка, а обезумев-

шая матка ни за что не шла в загородку. Сэм подумал было, что лошадь поведет его на то место в лесу, где остался жеребенок. Но никуда она не повела. Из ее шараханий нельзя было угадать ни места, ни даже направления. Она просто металась вслепую, все еще вне себя от ужаса. Раз даже повернула и бросилась на Сэма, точно разучившись вдруг понимать, что он человек и свой. Наконец ему удалось загнать ее в загородку. К тому времени стало слишком темно, чтобы можно было пойти по следу и разобраться в ее путаном беге.

Сэм направился в дом и доложил де Спейну. Было ясно, что здесь не обошлось без крупного хищника и что жеребенок погиб, ищи не ищи. Это понимали все ужинавшие.

— Это пантера,— тут же решил Компсон.— Та, что в марте олениху с теленком задрала.

Когда Бун весной, как обычно, приехал в лагерь взглянуть, как пезимовали, Сэм передал через него де Спейну про этот случай — у лани вырвано горло, а затем и беспомощный олененок настигнут и зарезан.

— Сэм не уточнял, чьих клыков было дело,— возразил де Спейн.

Сэм непроницаемо молчал, как будто ожидая только, когда кончат говорить и можно будет уйти к себе домой. Взгляд у него был совершенно отсутствующий.

— Пантера способна повалить лань и запросто поймает олененка после. Но напасть на жеребенка, когда матка тут же рядом, не отважится никакая пантера. Это Старый Бен,— продолжал де Спейн.— Я был о нем лучшего мнения. Он нарушил правила. Не ожидал я от него. Одно дело вышибать дух из собак моих и маккаслиновских. Собаки — наша ставка против него, и обе стороны предупреждены. Но вламываться в мои владения, резать мой скот, да еще летом,— такое уж против правил. Это дело Старого Бена, Сэм.

Сэм по-прежнему молча стоял, ждал, когда де Спейн кончит.

— Завтра пройдем по следу и удостоверимся,— заключил де Спейн.

Сэм ушел. Он не захотел поселиться в самом лагере, выстроил себе в четверти мили отсюда, у затона, хижину вроде той, что была у Джо Бейкера, но сбитую попрочней и поплотней, и сложил из бревен крепкий сарайчик, где хранился запасец кукурузы на потребу поросяткам. Наутро Сэм явился, когда еще спали. Он уже нашел жеребенка. Не дожидаясь завтрака, отправились на место. Оно оказалось поблизости. Шагах в шестистах от конюшни трехмесячный жеребенок лежал на боку, с вырванным горлом; внутренности выедены и часть бедра. Видимо, зверь не сверху прыгнул, а сбоку ударил и повалил, и не было царапин от когтей, которыми пантера впивается по-кошачьи, пока доберется до горла. По следам они прочли, как лошадь кружила без памяти возле и наконец атаковала хищника с тем же отчаянием, с каким бросилась на Сэма вечером, прочли длинный след неживого от страха галопа и след зверя, который даже не рванулся навстречу, а только сделал шага три-четыре к лошади, и та ударилась в бегство. И у Компсона вырвалось:

— Не дай господи, волчина!

Сэм все молчал. Мальчик не сводил с него взгляда, пока остальные, присев на корточки, вымеряли след. На лице у Сэма было теперь что-то новое. Не торжество, не ликование, не надежда. Выросши, мальчик разгадал это выражение, понял: Сэм с самого начала знал, чьи это следы и кто зарезал весной лань и олененка. Провидение конца — вот что было на лице у Сэма в то утро. «И он рад был,— говорил себе мальчик впоследствии.— Ведь он был старик. Ни детей, ни народа своего, никого из единокровных ему уже не встретить, все в землю легли. Да и встреча не дала бы близости и отклика, потому что вот уже семь десятков лет на нем иная кожа. А теперь наступал конец, и он был рад концу».

Они пошли в лагерь, поели и вернулись с ружьями и гончими. «Тут бы им и понять, вслед за Сэмом, что за зверь задрал жеребенка»,— думал мальчик позднее. Но то был не первый и не последний в его жизни случай, когда люди действовали, исходя из предвзятых и ложных суждений. Бун, утвердив ступни по обе стороны жеребьячей тушки, ударами пояса отогнал собак, и те стали принюхиваться к следам. Молодой выжлец, несмышлениш еще, брехнул разок и пробежал несколько шагов, вроде бы учуяв зверя. Но тут собаки остановились и оглянулись на людей с видом деятельным и нимало не озадаченным, а лишь вопрошающим: «Ну, а дальше что?» Затем кинулись обратно к падали, где их встретил хлесткими ударами все тот же Бун.

— Так скоро след не остывает,— сказал Компсон.

— Этот волчище, видно, все может — и жеребенка у матки отбить в одиночку, и запаха не дать,— сказал де Спейн.

— А может, он оборотень,— сказал Уолтер. Он взглянул на Джима.— Как думаешь, Джим?

Поскольку собаки так и не взяли следа, де Спейн велел Сэму отойти шагов на сто и разыскать продолжение следа, и собак снова стали наманивать, и снова несмышлениш брехнул, как брешет на чужака дворовая собака, но ни до кого все-таки не дошло, что по зверю так голос не подают. Компсон сказал, обращаясь к бельчатникам — мальчику, Буну и Джиму:

— Вы, ребята, ходите с собаками до обеда. Он, должно быть, где-то здесь торчит, дожидается, пока от падали уйдем. Может, еще удастся прихватить запах.

Но утро прошло впустую. Мальчику запомнилось, как, взяв собак на сворки, они направились в глубь леса, а Сэм глядел вслед — ничего не прочтешь ведь на индейском его лице, пока не улыбнется, да разве еще по трепетанию ноздрей, как в то утро первого гона. Они и назавтра пришли с собаками, надеясь наманить их на свежий след, но жеребенка на месте не оказалось. На третье утро опять явился Сэм и в этот раз стал ждать, пока позавтракают. Затем сказал: «Пошли». Он повел их за свою хижину, к сарайчику. Накануне он убрал оттуда кукурузу и насторожил дверь, использовав жеребьячью тушку как приманку. Сквозь щели меж бревнами они увидели какого-то зверя почти под цвет ружейного или пистолетного ствола. Он не давал себя рассмотреть. Не лежал, не стоял. Был в движении, в воздухе, неся навстречу, с ужасающей силой грохнулся в дверь тяжелым телом, так что толстая дверь подскочила и брякнула на петлях, а неведомый зверь, не успев еще, казалось бы, коснуться пола и оттолкнуться для нового прыжка, уже опять грянулся о дверь.

— Идемте,— сказал Сэм,— пока он не сломал себе шею.

Они пошли прочь, по-прежнему слыша тяжкие и мерные удары, и всякий раз двухдюймовая дверь сотрясалась и брякала, сам же зверь не издавал ни рыка, ни вопля — молчал.

— Это что за дьяволово отродье? — спросил де Спейн.

— Это пес,— ответил Сэм, ноздри его слегка раздувались, опадали, з глазах снова была неяркая, грозная млечность, как в то первое утро медвежьего гона.— Тот самый.

— Какой тот самый? — спросил де Спейн.

— Что не даст ходу Старому Буну.

— Хорош пес,— сказал де Спейн.— Да я скорей Старого Бена возьму себе в стаю, чем этого зверюгу. Застрели его.

— Нет,— сказал Сэм.

— Тебе ж его вовек не приручить. Как ты привьешь ему страх перед обой?

— Ручной он мне не нужен,— сказал Сэм. Опять мальчик отметил

движение ноздрей и грозное мерцание взгляда.— А запуганный — так и вовсе. Только устроить его не способен никто и ничто на свете.

— Что ж ты с ним думаешь делать?

— Увидите,— ответил Сэм.

Всю вторую неделю охоты они навевывались по утрам к сарайчику. Сэм заранее оторвал несколько дранок с кровли сарая, пропустил внутрь веревку, обвязал ею жеребенка и, когда западня сработала, вытащил тушку вон. Каждое утро они наблюдали, как Сэм спускал в сарай ведро с водой, а пес неумоимо кидался на дверь, падал и опять бросался. Он не издавал ни звука, и в его прыжках не остервенение чувствовалось, а лишь холодная и угрюмая неукротимая решимость. К концу недели прыжки прекратились. Не то чтобы пес заметно ослабел или же осознал, что дверь ему не поддается. Он попросту как бы презрел дальнейшие попытки. Но не лег. Они еще не видели его лежащим. Стоял, и теперь можно было разглядеть его — от мастифа, от эрделя кое-что и, возможно, от десятка других пород, высота в холке тридцать с лишним дюймов, вес до девяноста, пожалуй, фунтов, холодные желтые глаза, могучая грудь, и этот странный одноцветный окрас, отливающий синью вороненого ствола.

Полмесяца кончились. Охотники собрались уезжать. Но мальчик просил, и брат разрешил ему остаться. Он перебрался в хижину к Сэму. По утрам смотрел, как опускается внутрь сарая ведро с водой. К концу этой недели пес лег. Встанет, подтащится, шатаясь, к воде и снова упадет. Наступило и такое утро, когда он не смог уже ни доползти до воды, ни даже голову оторвать от пола. Сэм взял недлинную палку и пошел к сараю.

— Погоди,— сказал мальчик.— Я ружье принесу...

— Не надо,— сказал Сэм.— Он уже не в силах двинуться.

И верно. Сэм дотронулся до головы, до отошлого тела, но пес лежал на боку не шевелясь, и желтые глаза были открыты. В них не было злости, они выражали не куцую обозленность зверька, а холодную лютость, почти безличную, как лютость метели и стужи. И глядели они мимо Сэма и мимо мальчика, следившего за псом в щель между бревнами.

Сэм принес мясного отвару. Пришлось поначалу поддерживать псу голову, чтобы он мог лакать. На ночь Сэм поставил в сарае миску с бульоном и кусками мяса. Когда вошел утром, миска была пуста, а пес лежал уже повернувшись на живот, подняв голову, уставив холодные желтые глаза на открывающуюся дверь,— и, не изменив выражения этих холодных желтых глаз, не зарывав даже, прыгнул, но промахнулся, подвели ослабевшие мышцы, так что Сэм успел палкой отбить нападение, выскочить наружу и захлопнуть дверь, на которую, неизвестно когда собравшись для нового прыжка, тотчас же бросился пес, словно двух недель голодовки и не бывало.

В полдень они услышали, что кто-то гайкает в лесу, направляясь к ним от лагеря. Это оказался Бун. Он подошел, воззрился сквозь бревна на непомерного пса, что лежал, высоко держа голову и отрешенно, дремотно помаргивая желтыми глазами,— воплощение несломленного, неукротимого духа.

— Нам бы проще его выпустить,— сказал Бун,— а взамен поймать Старого Бена и натравить на этого сукиного сына.— Он повернулся, на двинулся на мальчика докрасна обветренным лицом: — Собирай манатки. Кас велит ехать домой. Хватит, насмотрелся уже на чертова конегрыза.

Пролетку Бун оставил на въезде в низину; в нее был впряжен мул не из лагерных. К ночи мальчик был уже дома. Он рассказывал брату

— Сэм снова станет морить его голодом, потом войдет к нему, дотр

нется. Кормить начнет. А потом, если потребуется, опять примется мочь.

— А зачем? — спросил Маккаслин. — Толк какой? Даже Сэму никогда не укротить этого зверя.

— Он нам не нужен укрощенный. Пусть остается, какой есть. Только пусть поймет в конце концов, что ему не выйти из сарая, пока не подчинится Сэму, человеку. Он, и никто другой, остановит Старого Бена и не даст ему ходу. У него уже и кличка есть. Мы назвали его Львом.

Наконец пришел ноябрь. Они вернулись в лагерь. Стоя во дворе вместе с Томпсоном, де Спейном, братом, Уолтером и Буном среди ружей, одеял, ящиков с провизией, он увидел Сэма Фазерса и Льва — идет по дорожке от конюшни старик индеец в потертом полушубке поверх ветхого комбинезона, в резиновых сапогах и в шляпе, которую носил прежде отец мальчика, а рядом важно ступает великан пес. Гончие бросились было навстречу и осели, кроме все еще не наученного жизнью кобелька. Он подскочил ко Льву, виляя хвостом. Лев и клыков не оскалил. На ходу ударил по-медвежьей лапой, так что визгнувший кобель отлетел кувыркою шага на три, а Лев вошел во двор и встал, ни на кого не глядя, безучастно и сонливо помаргивая.

— Вот это да, — произнес Бун. — А потрогать его можно?

— Можно, — сказал Сэм. — Ему безразлично. Для него и люди и зверье — пустое место.

Мальчик приглядывался. Два года затем он все приглядывался к этой паре, с минуты, когда Бун погладил Льва по голове, и, присев, стал ощупывать костяк и мышцы, щупать силу. Слово Лев был женщина — или, пожалуй, женщиной был из них Бун. Второе верней, когда сравнить — большой, важный, сонного вида безразличный пес и горячий, грубый, коряволицый человек с примесью индейской крови в жилах и с разумением под стать ребенку. Бун взял на себя кормежку Льва, оттеснив и Сэма и дядюшку Эша. И не раз видел мальчик, как, присев на корточки у кухни под холодным дождем, Бун кормит Льва. Потому что Лев и кормился и спал отдельно от других собак, но лишь в следующем ноябре им стало известно, где именно ночует Лев; до тех пор все думали, что он спит в своей конуре около хижины Сэма, но как-то Маккаслин чисто случайно коснулся этого предмета в разговоре с Сэмом, и тот просветил его. Вечером де Спейн, Маккаслин и мальчик вошли с лампой в комнатушку, где спал Бун, — тесную, шибанувшую в нос густейшим духом немытого Бунова тела и его мокрой охотничьей одежды, — и лежавший навзничь Бун захлебнулся храпом, проснулся; рядом с ним приподнял голову Лев, глянул на них из своих холодных, дремотных желтых глаз.

— Брось, Бун, — сказал Маккаслин. — Псу не место здесь. Ему ж утром гнать Старого Бена. А он разве что скунса будет в состоянии еще учуять, если целую ночь продышит твоим запахом.

— Мне мой запах пока не мешает, — сказал Бун.

— А хоть бы и мешал, — сказал де Спейн. — От тебя чутья не требуется. Уведи пса. Пусти его под дом, к остальным собакам.

Бун сказал, поднимаясь:

— Да он убьет на месте первую, что чихнет от него, или зевнет, или заденет ненароком.

— Не волнуйся, — сказал де Спейн. — Никто из них и во сне не рискнет ни чихнуть, ни толкнуть его. Выведи его на двор. Завтра он мне нужен с незабитым чутьем. Старый Бен перехитрил его в прошлом году. Вряд ли ему удастся это снова.

Бун сунул ноги в грязных подштанниках в башмаки и, не зашнуровывая, не пригладив всклокоченных со сна волос, как был, повел Льва из комнаты. Прочие вернулись в залу, где Маккаслин и де Спейн снова

сели за карты, уже розданные Уолтером. Немного погодя Маккаслин предложил:

— Хотите, я пойду проверю.

— Не надо,— ответил де Спейн.— Принимаю ставку (это он Уолтеру).— И опять Маккаслину:— А если и пойдешь, то мне не говори. Первый признак того, что старею: меня уже злит невыполнение отданного мной приказа, даже если я знал наперед, что отдаю его впустую... Пара, мелкая,— оповестил он Уолтера.

— Совсем мелкая?— спросил Уолтер.

— Совсем,— ответил де Спейн.

И лежа под своими одеялами в ожидании сна, мальчик тоже понимал, что Лев уже вернулся на Бунов тьюфак, проночует там и сегодня, и завтра, и всю последующую ноябрьскую охоту, и ту, что будет за ней. Ему подумалось: «Интересно, почему Сэм смолчал. Он мог бы не отдавать Льва, пусть Бун и белый. Ни майор, ни брат ему б не отказали. А главное, его рука легла на Льва первая, и Лев хозяина помнит». Выросши, он и это понял. Додумался, что так и следовало. Таков порядок. Сэм — патриций, вождь; Бун, низкорожденный,— его ловчий. Ходить за собаками полагалось Буну.

В то утро, когда Лев впервые повел стаю на Старого Бена, в лагерь явились откуда-то семеро лесовиков: костлявые, изможденные малярией болотные жители, промышлявшие енота капканами или же сеявшие хлопок и кукурузу на полосках, что окаймляли низину: одетые немногим лучше Сэма Фазерса и куда хуже Джима, они еще с ночи пришли во двор со своими старыми дробовиками и винтовками и, присев на корточки, терпеливо дрогли под дождем. Самый речистый из них сказал (Сэм рассказал потом де Спейну, что все лето и осень они захаживали в лагерь в одиночку, по двое, по трое — постоят, понаблюдают Льва и уйдут):

— Доброе утро, майор. Мы слышали — вы нынче собираетесь пускать сизого кобеля на того двупалого медведя. Мы хотим посмотреть, если вы не против. Стрелять не будем, разве набежит на нас.

— Милости просим,— сказал де Спейн.— Пожалуйста, стреляйте. Медведь не столько наш, сколько ваш.

— И то правда. Мне с него причитается: не одну корову ему скормил. И подвинка три года назад.

— И мне причитается,— сказал другой.— Только не с медведя.

Де Спейн взглянул на него. Тот дожевал табак, сплюнул:

— Телка у меня пропала. Хорошая телочка. Прошлый год. После нашел ее в том виде примерно, как вы своего жеребенка в июне.

— Вот как,— сказал де Спейн.— Что ж, милости прошу стрелять зверя из-под моих собак.

По Старому Бену в тот день не дали ни выстрела. Охотники его не видели. Он был поднят в сотне шагов от прогалины, где показался мальчику летним полднем три года назад. Мальчик стоял меньше чем в четверти мили оттуда. Он слышал, когда собаки подозрели медведя, но не уловил незнакомого голоса, который принадлежал бы Льву, и сделал вывод, что Льва там нет. Гон по Старому Бену шел гораздо быстрее, чем прежде, и высокая, тонкая истерическая нота отсутствовала, но даже это не подсказало истины. Уже вечером Сэм разъяснил ему, что Лев гонит без голоса.

— Когда вцепится Старому Бену в глотку, тогда зарычит,— сказал Сэм.— А лая от него не дождемся, как не дождались, когда он в сарае на дверь прыгал. Это в нем та синяя порода. Ты называл ее.

— Эрдель,— сказал мальчик.

Лев вел гон; медведя подняли чересчур близко к реке. Вернувшись со Львом часов в одиннадцать ночи, Бун клялся, что Лев припер было

Старого Бена, но гончие трусили сунуться, и Старый Бен отбил, кинулся вплавать по течению, а Бун со Львом прошли миль десять берегом в поисках места, где медведь вышел из воды, и переправились вброд и двинулись обратно другим берегом, но так и не попали до темноты на след, а возможно — Старый Бен уплыл даже за тот брод. Кроя гончих почем зря, Бун поел, что оставил ему от ужина Эш, и ушел спать, а немного спустя мальчик отворил дверь в комнатушку, ходуном ходившую от храпа, и большой пес важно поднял голову, скользнул по нему дремотным взглядом и опять положил голову на Бунову подушку.

Когда снова наступил ноябрь и последний день, который становилось уже обычаем оставлять для Старого Бена, в лагере собралось десятка полтора пришлых. И не только трапперов. Были тут и городские, прослышавшие о Льве и Старом Бене и пожелавшие присутствовать на ежегодной встрече сизого великана пса со старым беспалым медведем. Некоторые приехали даже без ружья, в охотничьих куртках и сапогах, купленных в лавке накануне.

Лев настиг Старого Бена в пяти с лишним милях от реки, остановил, наел и увлек за собой разазартившихся гончих. До мальчика донеслись их голоса: он стоял не так уж далеко. Он услышал улюлюканье Буна; услышал два выстрела — это Компсон с расстояния (не было сладу с перепуганной лошадей) ударил по медведю из обоих стволов пятью картечинами и пулей. Заревели гончие по уходящему зверю. Мальчик услышал это уже на бегу; хватая воздух, спотыкаясь, хрипя, добежал туда, откуда стрелял Компсон и где легли две убитые Старым Беном собаки. Мальчик увидел кровь на медвежьем следу, но дальше бежать не смог. Прислонился к дереву, стараясь отдышаться, утишить сердце, и слушал, как глохнет, выходит из слуха гон.

Вечером в лагере, где заночевали пятеро из все еще не пришедших в себя горожан, весь день плутовавших по лесу в своих новеньких охотничьих куртках и сапогах, пока Сэм не пошел им на выручку, — вечером он узнал остальное: как Лев вторично настиг медведя и не дал ему ходу, но один лишь кривой мул, не боящийся запаха крови, подошел близко, а мул этот был под Буном, стрелком никудышным. Бун расстрелял по медведю все пять зарядов своего дробовика, и все мимо, а Старый Бен, пришиб еще одну собаку, вырвался, добежал до реки и был таков. Опять Бун со Львом пустились берегом вдогон. Зашли далеко, слишком далеко. Уже смеркалось, когда переправлялись, и не успели сделать и мили вдоль другого берега, как стемнело. Лев и в потемках нашел у воды след Старого Бена — возможно, учуял кровь, — но, к счастью, Лев был на сворке; и, спрыгнув с мула, Бун схватился с псом в рукопашную и оттащил-таки от следа. Теперь Бун и не ругался. Встал на пороге, облепленный грязью, донельзя усталый, с трагическим и все еще изумленным выражением на широченном, химерически безобразном лице.

— Промазал, — сказал он. — Пять раз промазал с десяти шагов.

— Кровь, однако же, мы пустили, — сказал де Спейн. — Генерал Компсон его задел. Прежде нам не удавалось.

— А я промазал, — повторил Бун. — Пять раз промазал. У Льва на глазах.

— Не тужи, — сказал де Спейн. — Отменный был гон. И кровь пустили. В следующую охоту посадим на Кейти генерала Компсона или Уолтера, и он от нас не уйдет.

И тут Маккаслин спросил:

— Эй, Бун, а где же Лев?

— У Сэма оставил, — ответил Бун. Он уже поворачивался уходить. — Не гожусь я ему в напарники.

Нет, мальчик не питал ко Льву ненависти и страха. Во всем происходящем ему виделась неизбежность. Что-то, казалось ему, начинается,

началось. Последний акт на уже подготовленной сцене. Начало конца, а чему конца — он не знал, но знал, что печали не будет. Будет смирение и гордость, что и он достоин роли, пусть даже только роли зрителя.

### III

Стоял декабрь. Самый холодный на памяти мальчика. Они пробыли в лагере уже четыре дня сверх положенных двух недель, дожидаясь, чтобы потеплело и Лев со Старым Беном провели свой ежегодный гон. Тогда можно будет сняться — и по домам. Эти непредвиденные дни ожидания, коротаемые за картами, исчерпали запас виски, так что Буна и мальчика отрядили в Мемфис с чемоданом и запиской от де Спейна к мистеру Семсу, винокуру. То есть, Буна майор и Маккаслин посылали за виски, а мальчика — присмотреть, чтобы Бун это виски, или большую часть, или хоть сколько-нибудь да довез.

В три часа ночи Джим его поднял. Он быстро оделся, поеживаясь не от холода — в камине уже бушевало гулкое пламя, — а от глухого зимнего часа, когда сердце вяло гонит кровь и сон не кончен. Он прошел из дома в кухню полоской железной земли под оцепенело блистающей ночью, что не раньше как через три часа рассветно побледнеет, обжег небо, язык, легкие до самых корешков студеной тьмой и вступил в тепло кухни, там светила лампа и туманила окошки раскаленная плита, и там, за столом, уткнувшись в тарелку и работая сизыми от щетины челюстями, сидел уже Бун — лицо неумыто, жесткие лошажьи космы нечесаны, — на четверть индеец, внук сквау из племени чикесо, то встречающий тугими и яростными кулаками намек на возможность хоть капельки небелой крови в своих жилах, то, обычно спяна, доказывающий при помощи тех же кулаков и столь же яростно, что отец его был чистокровный чикесо, притом вождь, и даже мать наполовину индианка. Рост у него был метр девяносто, разум ребенка, сердце лошади, жесткие глазупгови, ничего не выражающие — ни подлости, ни великодушия, ни доброты, ни злобы — и сидящие на лице, корявое которого мальчик в жизни не видел. Как если бы кто нашел грецкий орех размером покрупней футбольного мяча, прошелся по нему зубилом и затем выкрасил почти одноцветно, не в индейский краснокожий, а в яркий румяно-кирпичный колер, обязанный происхождением частично, может быть, и виски, в основном же бесшабашному житью под открытым небом; и не морщины на этом лице, не сорока прожитых годов печать, а попросту складки от прищуров на солнце и вслед уходящему в сумрак зарослей зверю — складки, напрочно выжженные лесными кострами, у которых леживал он, прикорнув на холодной ноябрьской или декабрьской земле, чтобы чем свет продолжить охоту, — словно время было всего лишь средой наподобие воздуха, сквозь которую он и шагал, как сквозь воздух, не старясь. Он был храбр, предан, беспечен и ненадежен; не имел профессии, занятия, ремесла, а имел один порок — пристрастие к виски, и одну добродетель — безусловную, нерассуждающую верность де Спейну и двоюродному брату мальчика Маккаслину.

— Порой хочется то и другое отнести к достоинствам, — заметил как-то де Спейн.

— Или к порокам, — отозвался Маккаслин.

Мальчик сел к столу. Под полом завозились собаки от запаха жареного мяса или же от шагов. Лев рыкнул на них коротко и властно — так на любой охоте вожаку стоит лишь кратко распорядиться, и все поймут, кроме дурачья, а среди майоровых и маккаслиновских собак не было равных Льву по величине и силе и, возможно, по храбрости, но не было и дураков: последнего упокоил Старый Бен год назад.

Когда кончали завтракать, вошел Джим. Фургон стоял уже у крыльца. Эш сказал, что сам отвезет их к узкоколейке, а тарелки пускай моет Джим. Мальчик знал, почему Эш решил ехать. Он уже бывал свидетелем того, как старый Эш доводил Буна до каления.

Было холодно. Колеса фургона стучали о мерзлую землю; небо четко сверкало. Мальчик теперь не поживался — тело была крупная, мерная дрожь, а посередке еще ощущалось тепло и спокойная тяжесть от недавнего завтрака.

— Утром гон не состоится,— сказал он.— У собак чутья не будет, следа не возьмут.

— Лев возьмет,— откликнулся Эш.— Льву чутья не надо. Ему медведя надо.

Ноги Эш обмотал мешковиной, с головой покрылся, укутался стеганым одеялом из тех, под которыми спал в кухне на полу, и вид у него в сверкающем и разреженном звездном свете был ни на что не похожий.

— Он и по леднику десятильному медведя будет гнать. И нагонит. А другие собаки не в счет, они все равно Льву не компания, когда впереди Льва — медведь.

— Чем это тебе другие собаки не нравятся? — спросил Бун.— Ни черта ведь не смылит. Ни разу не высунул носа из кухни, кроме как за дровишками да сейчас вот.

— Они мне крепко нравятся,— сказал Эш.— За них я спокоен. Мне бы смолоду беречь здоровье, как они свое берегут.

— Так вот, гона сегодня не будет,— сказал Бун. Голос его звучал жестко и уверенно.— Майор обещал ждать, пока мы с Айком вернемся.

— Погода нынче переломится. Оттепель. К ночи дождь.— Вслед за тем Эш фыркнул, засмеялся где-то под одеялом, куда упрятал лицо.

— Пошевеливайтесь, мулы! — дергая вожжи, прикрикнул он. Мулы рванули (фургон загромыхал, накренился) и снова затрусили обычной рысцой.— И потом желал бы я знать, зачем это майору тебя дожидаться. Вот Лев ему нужен. А от тебя ни медвежатины, ни другой какой дичины сроду не видали.

«Сейчас Бун скажет ему слово, а то и ударит»,— мелькнуло у мальчика. Но обошлось, как обходилось прежде и после; от Эша Бун стерпит, хотя четыре года назад посреди улицы в Джефферсоне Бун выпустил из чужого пистолета пять зарядов по негру — с тем же успехом, что по Старому Буну прошлую осень.

— Шалишь,— сказал Бун.— Пока не вернусь вечером, собаки ни шагу. Раз обещал мне — всё. Ты знай мулов погоняй. Заморозить меня решил, что ли?

Доехали до линии, развели костер. Немного погодя из лесу на светлеющем востоке показался состав с бревнами, и Бун остановил его, помахав рукой. В натопленном служебном вагончике мальчик задремал, а у Буна с обоими кондукторами зашел разговор о Льве и Старом Буне, как в позднейшие времена зашел бы о Салливэне и Килрейне, а еще позднее — о Демпси и Тэнни<sup>1</sup>. И до самой станции, под толчки и громыханье безрессорного вагона, слышал мальчик сквозь сон про задранных Старым Беном телят и свиней, про разоренные им закрома и сокрушенные ловушки, и про свинец, что гнезвился, должно быть, под шкурой у беспалого Старого Буна,— в здешних краях медведи с изувеченной капканом лапой по пятьдесят лет, случалось, носили кличку Трехпалого, Беспалого, Двупалого, но Старый Бун был медведь особый (мед-

---

<sup>1</sup> Салливэн, Килрейн — известные американские боксеры-соперники конца XIX века; Демпси, Тэнни — двадцатых годов нынешнего века.

вежьем царем величал его Компсон) и потому заслужил не кличку, но имя, какого не постыдился бы и человек.

На восходе солнца приехали в Хоукс. Вышли из теплого вагона в своем затрепанном охотничьем хаки и грязных сапогах. Но здесь было в порядке вещей и это, и небритые щеки Буна. Хоукс состоял из лесопилки, продуктовой лавки, двух магазинов да лесогрузки в тупичке, и все тут ходили в сапогах и хаки. Вскоре прибыл мемфисский поезд. В вагоне Бун купил у разносчика бутылку пива и три пачки каленой кукурузы с паточкой, и под Буново жеванье мальчик снова уснул.

Но в Мемфисе порядок вещей был иной. На фоне высоких зданий и булыжных мостовых, красивых экипажей, конок, людей в крахмальных воротничках и галстуках погрубели и погрязнули их сапоги и хаки, жестче и небритей сделалась у Буна борода, и все настойчивее стало казаться, что не след бы Буну и выходить из лесу со своим лицом, а тем более забираться в места, где нет ни де Спейна, ни Маккаслина, ни другого кого из знакомцев, чтоб успокоить прохожих: «Не бойтесь. Он не тронет». Добывая языком застрявшую в зубах кукурузу и шевеля сизой щетиной, похожей на стальную стружку от нового ружейного ствола, Бун прошел по гладкому полу вокзала, так пружиня ноги, точно ступал по намаасленному стеклу. Миновали первый салон. Даже сквозь закрытые двери на мальчика повеяло опилками и пролитым спиртным. Бун закашлялся. С полминуты примерно прокашлялся.

— Черт побери,— сказал он.— Где б это я мог простыть?

— На вокзале,— сказал мальчик.

Бун, уже опять было закашлявшийся, замолчал. Взглянул на Айку.

— Чего? — спросил он.

— Ты ж ни в лагере, ни в поезде не кашлял.

Бун все глядел, помаргивая. Перестал моргать. Но не закашлял. Сказал негромко:

— Одолжи мне доллар. Не зажимай. У тебя есть. Ты ж их не трапишь. Ты не то чтобы скупой. Просто тебе вроде никогда ничего не надо. У меня в шестнадцать бумажка долларовая выпархивала из рук — и рассмотреть не успею, каким банком выпущена. Давай доллар, Айка,— заключил он спокойно.

— Ты ж обещал майору, обещал Маккаслину, что до самого лагеря ни капли.

— Ладно уж,— сказал Бун по-прежнему негромко и терпеливо.— Напьюсь я, что ли, на один доллар? А второго ты ж не дашь.

— Уж в этом можешь быть уверен,— сказал мальчик, тоже спокойно, с холодной злостью на кого-то, только не на Буна, потому что помнилось ему: Бун, храпящий в кухне на стуле, чтоб не проспать разбудить его и Маккаслина по кухонным часам и поспеть с ними за семнадцать миль в Джефферсон к мемфисскому поезду; необъезженный техасский пестрый пони, на которого мальчик выпросил у Маккаслина позволение и денег, и вдвоем с Буном они купили этого дикаря на аукционе и доставили домой, захомотав колючей проволокой меж двумя смиренными старыми кобылами, а лущеной кукурузы пони никогда не видал и, наверное, принял зерна за каких-нибудь жучков и, наконец (мальчику было десять тогда, а Буну всю жизнь было десять), Бун сказал, что пони укрощен, и, надев ему мешок на голову, с помощью четверых негров они завели его в оглобли старой двуколки, впрягли, мальчик с Буном взмоились на сиденье, и Бун сказал: «Порядок, ребята. Пускайте», и один из негров — Джим — сдернул мешок и отскочил опрометью, и, задев за столб, в воротах слетело первое колесо, но тут Бун схватил Айку за шиворот и выбросил из двуколки в кювет, так что дальнейшее увиделось урывками: второе колесо хряпнулось об калитку, катится через двор на веранду; обломки двуколки там и сям на дороге; уцепившись за вожжи, Бун

уносится на животе в бешено клубящуюся пыль, и вожжи лопаются, а через два дня пойман, наконец, и пони в семи милях от дома, с остатком хомута и оголовьем уздечки на шее, как герцогиня с двумя ожерельями сразу... Мальчик дал Буну доллар.

— Порядок,— сказал Бун.— Зайдем, чего тебе стоять на холоду.

— Мне не холодно,— ответил Айк.

— Лимонаду выпьешь.

— Не хочу.

Дверь захлопнулась за спиной. Солнце поднялось уже довольно высоко. День был яркий, хотя Эш пророчил к ночи дождь. Размораживало; завтра гон состоится. И сердце состалось восторгом, девственным и древним, как в первый день; пусть состарится он на охоте, никогда не покинет его это ни с чем не сравнимое чувство причастности, смирения и гордости. Лучше не думать об этом. А то ноги сами рвутся бежать на вокзал, на перрон — в первый поезд, идущий на юг: лучше не думать. Улица полна была движения. Крупные нормандские лошади-першероны, из щегольских экипажей высаживались мужчины в модных пальто и розовые дамы в мехах и шли в здание вокзала (салон был всего через дом от него). Двадцать лет назад, кавалеристом отряда Сарториса, действовавшего в составе армии Форреста, отец Айка въехал в Мемфис и по главной улице и (рассказывали) прямо в холл гостиницы Гейозо, где, развалясь в кожаных креслах, офицеры-северяне поплевывали в высокие, блестящие медью плевательницы,— и ускакал цел и невредим...

Дверь за спиной отворилась. Тыльной стороной ладони Бун утирал губы.

— Порядок,— сказал он.— А теперь — дело делать и домой мотать.

У винокура им уложили виски в чемодан. Где и когда Бун обзавелся еще бутылкой — неизвестно. Должно быть, мистер Семс дал. (Когда прибыли в Хоукс на закате дня, бутылка была пуста). Обратный поезд отходил через два часа. От винокура, никуда не заходя, они вернулись на вокзал, как приказывал Буну сперва де Спейн, а потом Маккаслин,— они и мальчика для этого приставили. Бун почал свою бутылку в вокзальном туалете. Человек в форменной фуражке подошел сказать, что здесь не положено, взглянул разок на Буново лицо и промолчал. Потом в ресторане Бун, держа стакан под столом, стал наливать, но явилась распорядительница и (поскольку женщина) не промолчала, а он опять пошел в туалет. Он уже успел громогласно поведать о Льве и Старом Бене негру-официанту, а заодно и всем посетителям, которые никогда не слыхали про Льва, да и не желали бы слышать, если бы то от них зависело. Затем Буна осенило насчет зверинца. В три часа на Хоукс, оказывается, отходит еще поезд, и, стало быть, сейчас они пойдут смотреть зверей, а поедут трехчасовым. В третий же раз придя из туалета, Бун объявил, что они немедленно едут в лагерь за Львом и втроем отправятся в зверинец, где медведи заелись мороженым и конфетками, и Лев им всем там жару даст.

Так что на поезд, которым следовало вернуться, они не сели, но трехчасового он не дал Буну пропустить и тем поправил дело; теперь Бун и в туалет не уходил, пил тут же в вагоне да разглагольствовал про Льва, поймав кого-нибудь в проходе, и собеседники молчали, как молчал служитель на вокзале.

Когда на закате приехали в Хоукс, Бун спал. Мальчик растолкал его, вытащил из вагона вместе с чемоданом и даже убедил поужинать в продуктовой лавке. Так что Бун почти протрезвился к тому времени, как паровичок повез их обратно в лес, над которым багряно заходило солнце, и небо было уже пасмурное, и ночью земля не замерзнет. Спал теперь мальчик, присев за рубиновой от жара печуркой; вагончик трясся

и тархтел, разговор шел про Льва и Старого Бена, и кондуктора отвечали с пониманием, потому что здесь Бун был среди своих.

— Небо затянуло, на оттепель пошло,— говорил Бун.— Завтра Лев его кончит.

Кончатъ выпадало Льву, или кому другому — только не Буну. Он ни разу еще, сколько помнили, не подстрелил дичи посуущественнее белок, — разве что негритянку в тот день, когда пять раз палил в негра. Негр был парень рослый, стоял в четырех шагах от Буна, разряжавшего по негру пистолет, взятый у чернокожего кучера де Спейна, — и тоже выхватил пугач, выписанный по почте за полтора доллара, и изрешетил бы Буна, но выстрелов не получилось, а одни осечки: шелк-шелк-шелк-шелк-шелк. Бун же израсходовал обойму, разбил зеркальную витрину, за которую с Маккаслина потребовали сорок пять долларов, и ранил в ногу проходившую мимо негритянку, но тут уж пришлось расплачиваться де Спейну: они с Маккаслином разыграли в карты, кому платить за стекло, кому за ногу. А нынешний год в лагере, в первое же утро охоты, прямо на Буна выбежал рогач. Мальчик услышал пятикратный грохот старого Бунова дробовика и потом голос Буна: «Уходит, треклятый! Наперерез бери! Наперерез!» и, добравшись до места, увидел, что от пятерки расстрелянных гильз до оленьих следов неполных двадцать шагов расстояния.

В ту ночь в лагере было пятеро гостей из Джефферсона: Баярд Сарторис с сыном, младший Компсон и еще двое. А наутро, выглянув из окна в рассветную серую морось, предсказанную Эшем, мальчик увидел более двадцати человек — на протяжении десятилетия снабжали эти люди Старого Бена зерном, свиньями и телятами, а теперь стояли и сидели на корточках под мелким дождем, в ветхих шляпах, куртках и комбинезонах, которые любой городской негр давно бы выбросил или сжег; даже ружья, старые, невороненные, имелись не у всех, и лишь резиновые сапоги были целые. Пока завтракали, подошла еще дюжина пеших и конных: лесорубы с участка в тринадцати милях ниже лагеря, рабочие хоукской лесопилки, кондуктор с узкоколейки (единственный обладатель ружья) — так что в то утро майор де Спейн повел в лес отряд, уступавший вооружением, но едва ли численностью тем, какие он водил в последнюю мрачную пору шестьдесят четвертого — шестьдесят пятого годов. В дворике пришельцы не уместились, стояли и за воротами, где де Спейн верхом на своей кобыле ждал, пока Эш (в грязном фартуке) набьет жирными патронами и подаст ему карабин, и где пес синеватой масти важно и огромно — по-лошадиному, не по-собачьи — застыл у стремени, помаргивая дремотными топазовыми глазами, слепой и глухой ко всему вокруг, даже к гаму гончих, которых вывели на смычках Бун и Джим.

— На Кейти посадил генерала Компсона,— сказал де Спейн,— в прошлом году он пустил кровь; будь под ним спокойный мул, он бы...

— Нет,— сказал Компсон,— стар я уже гонять по зарослям на лошадях и мулах. Притом я свой шанс год назад упустил. Стану сегодня на номере. А Кейти я хочу дать пареньку.

— Погодите,— сказал Маккаслин.— У Айка вся жизнь впереди, с охотой и медведями. Пусть другой...

— Нет,— ответил Компсон.— На Кейти сядет Аик. Он уже лучше нас обоих дело знает, а лет через десяток сравняется и с Уолтером.

Мальчик не поверил, пока не подтвердил де Спейн. И вот он сидит на одноглазом муле, не шарахающемся от дикой крови, и глядит на пса, что встал у стремени де Спейна, и в сером зыбком свете кажется крупней теленка, крупней, чем на самом деле, — большая голова, грудь чуть не шире его собственной, мышцы под синеватой шерстью не дернутся, не дрогнут ни от чьего прикосновения, ибо сердце, которое гонит к ним кровь, не любит никого и ничего. Лев внушал мысль не только о храб-

рости и всем прочем, из чего складывается стремление и воля преследовать и убивать, но и о стойкости, о воле перейти за всякий вообразимый для плоти предел упорства в этом стремлении догнать и убить. Пес взглянул на него. Шевельнул головой, поверх мелкого собачьего гама, взглянул глазами, как у Буна — без глубины, как у Буна — без низости и великодушия, без доброты и злобы. Холодными, сонными, и только. Затем глаза моргнули, и мальчик понял — они не смотрят на него и не смотрели, просто голова так повернулась.

В это утро он услышал гон с первого голоса на следу. Лев скрылся из виду, пока Сэм с Джимом седлали мула и лошадь, выпряженных из фургона, а затем и гончие включились в поиск, принохиваясь и повизгивая, и тоже исчезли в чаще. Айк, де Спейн, Сэм и Джим двинулись следом, и шагов с двухсот из талого леса донесся до них первый, высокий, по-человечьи рыдающий, знакомый мальчику звук, а там и остальные гончие вступили, полня звонким ревом сумрачную глушь. И началась скачка. Мальчику казалось, он видит обоих: большой сизый пес стремится упорно и молча, а впереди локомотивом прет медвежья туша, как четыре года назад сквозь бурелом, с неимоверной скоростью, и мулы на галопе отстают все больше. Треснул выстрел. Редколесьем пронеслись они вдогонку уходящему, затихающему гону мимо стрелявшего траппера — мимо указующей руки, костлявого лица и орущего гнилозубого рта.

Новая нота послышалась в лае, и в трехстах шагах перед собой мальчик увидел собак и обернувшегося к ним медведя. Увидел, как с ходу метнулся Лев и как медведь отбил прыжок лапой, кинулся в визжащий собачий клубок, уложил одну на месте, рванул прочь. А мимо всадников потекли потоком гончие. Заорали де Спейн и Джим, пистолетно захлопал ремнем Джим, пытаясь повернуть собак обратно. Теперь мальчик с Сэмом скакали одни. Со Львом продолжала гон еще одна собака. Айк узнал ее по голосу. Тот прошлогодний кобелек, и тогда и теперь несмышленыш, — по крайней мере с точки зрения прочих гончих. «Может, в этом-то и храбрость», — подумалось ему.

— Правей, — раздался голос Сэма позади. — Правей бери. От реки его бы оттеснить.

Отсюда начинались тростники. Дорогу он знал не хуже Сэма. Из кустов выехали почти точно к тропе. Она вела сквозь заросли к реке, на высокий открытый берег. Тупо бахнула винтовка Уолтера — раз и еще дважды.

— Нет, — сказал Сэм. — Я слышу выжлеца. Вперед.

Из узкого безверхого тоннеля, из шороха и треска тростников они поднялись на обрыв, под которым желтая вода густела, казалось, недвижно и не давала отражения в сером и струистом свете. Теперь и мальчик слышал кобелька. Лай стоял на месте — тонкое исступленное тяканье. Вдоль берега бежал Бун, за плечами у него, на веревке взамен ружейного ремня, бился и мотался дробовик. Круто повернул к Айку, подбежал — лицо дикое, — вспрыгнул на круп одноглазому мулу.

— Треклятая лодка! — выкрикнул он. — На той стороне причалена! Медведь прямо на тот берег! Лев не дал ему уплыть! И кобелек подержал! Лев так близко, что нельзя было стрелять! Жми! — орал он, колотя мула пятками в бока. — Жми давай!

Оскальзываясь на талой почве, ринулись вниз, через верболоз и в воду. Холода, ледяного ожога мальчик не ощутил; правой рукой поднимаемая ружье над водой, левой держался за луку, за плывущего мула — с одного боку он, с другого Бун. А за спиной где-то был Сэм, но тут река, вода кругом наполнилась собаками. Гончие плыли быстрее мулов: еще мулы не коснулись дна, а они уже карабкались на крутой берег. А с того

берега улюлюкал де Спейн, и, оглянувшись, мальчик увидел, как входит в воду лошадь Джима.

Лес впереди и отягченный дождем воздух обратились теперь в сплошной рев. Заливистый, звенящий, он ударялся в тот берег, дробился и вновь и вновь сливался, раскатывался, звенел, и мальчику казалось, что все гончие края, сколько их было и есть, режут ему в уши. Он вскинул ногу на спину выходящему из воды мулу. Бун не стал садиться, ухватился рукой за стремя. Взбежали на обрыв, продрались сквозь прибрежные кусты и увидели медведя: на задних лапах стоит спиной к дереву, вокруг вопят и каруселью вертятся собаки, и вот опять Лев метнулся в прыжке.

На этот раз медведь не шиб его на землю. Принял пса в обе лапы, словно в объятия, и упали вдвоем. Аик соскочил уже с мула. Взвел курки у ружья, но не мог ничего различить в каше пятнистых собачьих тел, пока не начал снова возникать медведь. Бун кричал, а что — не разобрать; Лев висел, вцепившись в глотку, на медведе, а тот, полуподнявшись, ударом лапы далеко отбросил одну из гончих и, вырастая, вырастая бесконечно, встал на дыбы и принялся драть Льву брюхо передними лапами. Бун бросился вперед. Перемахнув через одних, расшвыряв других собак пинками, с тускло блеснувшим ножом в руке, он с разбега вспрыгнул на медведя, как раньше на мула, сжал ногами медвежьего бока, левой рукой ухватил за шею, куда впивался Лев, и мальчик уловил блеск лезвия на взмахе и ударе.

Рука опустилась лишь раз. Мгновенье они походили на скульптурную группу: намертво впившийся пес, медведь и оседлавший его человек, шевелящий глубоко вошедшим ножом. Затем повалились навзничь, на Буна, увлеченные его тяжестью. Медвежья спина поднялась первая, но тут же Бун оседлал ее снова. Он так и не выпустил ножа, и опять мальчик уловил нащупывающее движение руки и плеча, почти недоступное глазу; затем медведь встал на дыбы, неся на себе Буна и Льва, повернулся, по-человечьи шагнул дважды или трижды в сторону леса и грянулся оземь. Не поник, не склонился долу. Рухнул, как дерево, так что всех троих — человека, собаку, медведя — подбросило упруго.

Подбежали Аик с Джимом. Встав на колени, Бун возился у медвежьей головы. Левое ухо у Буна было раскромсано, левого рукава куртки как не бывало, голенище правого сапога распорото сверху до низу: по ноге, по руке, по лицу — не дикому теперь, а совершенно спокойному, — текла алая кровь, перемешиваясь с дождем. Втроем они разжали Льву челюсти.

— Полегче, черти, — сказал Бун. — У него ж все кишки наружу, не видите разве?

Он стал стаскивать с себя куртку, говоря Джиму спокойно:

— Подведи-ка сюда лодку, она шагов сто ниже по реке. Я ее там видел.

Джим встал, пошел. И тут, подняв голову на зов Джима, Аик увидел нагнувшегося Джима и Сэма Фазерса ничком в грязи.

Нет, его не сбросил мул. Мальчику помнилось — Сэм тоже спешил еще до того, как Бун рванулся на медведя. Ни раны, ни ушиба, и когда Аик с Буном повернули его лицом вверх, глаза Сэма были открыты, и он сказал что-то на языке, на котором говорил, бывало, с Джо Бейкером, последним своим соплеменником. Но подняться он не смог. Джим подвел ялик к обрыву; слышно было, как он перекликался через реку с де Спейном. Бун обернул Льва курткой, снес в лодку, туда же перенесли Сэма, затем привязали к седлу одноглазого мула Джимов ременной поводок и сволокли медведя с обрыва и в лодку, и Джим остался, чтобы переправить лошадь и обоих мулов вплавь. Не успел ялик причалить, как Бун прыгнул на берег мимо де Спейна, ухватившего лодку за

нос. Де Спейн поглядел на Старого Бена, негромко сказал: «Так» Вошел в воду, наклонился, дотронулся до Сэма, тот взглянул на него и опять произнес что-то на своем древнем языке.

— Что с ним, не знаешь? — спросил де Спейн.

— Не знаю, сэр,— ответил мальчик.— С мула он не падал. Слез еще раньше, чем Бун кинулся к медведю. А потом посмотрим — он лежит на земле.

— Скорее там, черт подери! — кричал Бун Джиму, доплывшему еще только до середины реки.— Давай мне мула!

— Зачем тебе мул? — спросил де Спейн.

Бун и не оглянулся на него.

— Еду за доктором в Хоукс,— сказал он невозмутимо, и под алой кровью, неустанно размываемой дождем, лицо его было совершенно спокойно.

— Тебе самому доктор нужен,— сказал де Спейн.— Джима по...

— Кончайте,— сказал Бун. Он обернулся к де Спейну. Лицо попрежнему спокойное, но сказал тоном выше: — Не видите — медведь ему все потроха к чертям выпускал.

— Бун! — проговорил де Спейн.

Они смотрели друг на друга. Бун был по меньшей мере на голову выше; даже мальчик уже перерос де Спейна.

— Надо доктора,— сказал Бун.— Кишки ему...

— Хорошо,— сказал де Спейн.

Джим вышел из воды на берег. Лошадь и второй мул уже почуяли Старого Бена; они шарахнулись, бросились прочь, таща за собою Джима, и лишь на самом верху обрыва он остановил их, привязал, вернулся. Де Спейн отстегнул ремешок компаса от петлицы и дал Джиму.

— Езжай немедля в Хоукс за доктором Крофордом,— приказал он.— Скажи ему — в лагере нужно двух человек посмотреть. Садись на мою лошадь. Дорогу отсюда найдешь?

— Да, сэр,— сказал Джим.

— Хорошо,— сказал де Спейн.— Езжай.— Он повернулся к мальчику: — Бери мулов и лошадь и — за фургоном. Мы спустимся в лодке к Енотову мосту. Там и встретимся. Доберешься?

— Да, сэр,— ответил мальчик.

— Добро. Действуй.

Мальчик отправился за фургоном. Тут он увидел, как далеко завел их гон. Было давно уже за полдень, когда он надел на мулов упряжь и привязал лошадь к задку фургона. Лишь в сумерки добрался он до Енотова моста. Лодка была уже там. Еще не успев ее разглядеть, едва завидев воду, он принужден был выпрыгнуть с вожжами в руках из кренящейся повозки, обежать, схватить под уздцы, а затем за ухо шарахнувшегося мула и, упершись в землю каблуками, держать, пока не подошел снизу Бун. А лошадь уже оборвала недоуздок и ускакала по дороге на лагерь. Они повернули фургон задком к реке, выпрягли мулов, мальчик отвел второго мула ярдов на сто и привязал у дороги. Тем временем Бун перенес Льва из ялика, где теперь не лежал, а сидел Сэм, и когда Сэма поставили на ноги, он взошел кое-как на берег и попытался влезть в фургон, но Бун не стал ждать — подхватил под мышки и поднял на сиденье. Они снова прикрепили ремень к седлу Кейти, подволокли Старого Бена к фургону и, откинув задок, втащили туда по двум наклонно приставленным брусам, затем Айк привел второго мула, и Бун принялся бить по твердой, глухо звучащей под ударами морде, пока мул не встал, дрожа, рядом с Кейти. И тут хлынул дождь, точно весь день сдерживался, дожидаясь.

Они возвращались сквозь дождь, сквозь ручьистую слепую темень, и задолго до того, как проблеснули лагерные огни, до них донесся рог

и путеводные, через равные промежутки, выстрелы. Когда проезжали темную Сэмову хижину, Сэм привстал. Опять сказал что-то на языке предков; потом отчетливо произнес:

— Дайте сойти. Пустите меня.

— У него и огня нет,— сказал майор.— Погоняй! — приказал он жестко.

Но Сэм уже силился подняться.

— Пустите меня, хозяин,— сказал он.— Домой пусти.

И мальчик остановил мулов. Бун сошел, снял Сэма с повозки. Теперь он не стал ставить Сэма на ноги. Отнес на руках в хижину, де Спейн раскопал в счаге непотухшие угли, зажег лампу скрученной бумажкой. Бун положил Сэма на койку, стащил сапоги, де Спейн укрыл его, а мальчик остался при мулах держать под уздцы того, второго, опять испуганно шарохававшегося, потому что стоило фургону встать, как запах Старого Бена прихлынул по черноте воздуха,— но глаза Сэма, думалось Айку, наверно, опять раскрыты, нацелены провидящим взглядом далеко за хижину и охотников, за мертвого медведя и умирающего пса. Затем поехали дальше, на протяжный плач рога и мерные выстрелы, каждый из которых как бы повисал, не падая, в густой текучей тьме, пока к нему не примыкал, не приливался следующий,— подъехали к освещенному дому, к ярким окнам, к лицам, молча глядящим, как, окровавленный и спокойный, Бун входит в дом с укутанной в куртку ношей. Кровавым свертком опустил он Льва на свою затхлую беспростынную постель, которую не разровнять было даже Эшу, по-женски ловкому в уборке.

Доктор с хоукской лесопилки уже прибыл. Бун не допустил его до себя: прежде пусть займется Львом. Хлороформировать Льва доктор не рискнул. Вправил внутренности и зашил без наркоза — де Спейн держал Льва за голову, Бун за ноги. Но Лев и не шевельнулся ни разу. Он лежал, уставя желтые глаза куда-то мимо людей, что набились в душную комнатку, крепко пахнущую Буном и его одеждой, и молча смотрели. Потом доктор промыл, прижег, забинтовал Буну лицо, руку и ногу, и — впереди мальчик с фонарем, за ним доктор, Маккаслин, де Спейн и Компсон — они направились в хижину к Сэму. Джим уже развел там огонь, дремал, сидя на корточках у очага. Как Бун уложил, а де Спейн укрыл Сэма, так Сэм и лежал пластом, но тут открыл глаза, провел взглядом по лицам, и когда Маккаслин тронул его за плечо, сказав: «Сэм. Доктор хочет тебя посмотреть», он даже выпростал руки из-под одеяла и стал нашаривать пуговицы на рубашке, но Маккаслин сказал: «Постой. Мы сами». Они раздели его. Он лежал — медно-коричневое, почти безволосое тело исконного лесовика, тело старика, у которого ни детей, ни родных, ни своего народа,— лежал недвижно, открыв глаза, но ни на кого уже не глядя; доктор кончил осмотр, укрыл Сэма одеялами, вложил стетоскоп в чемоданчик, щелкнул замком, и один лишь мальчик знал, что Сэму тоже не жить.

— Переутомление,— сказал доктор.— Возможно, шок. В его ли возрасте переплывать реки зимой. Это пройдет. Только пусть полежит денек-другой. Тут есть кому побыть при нем?

— Есть кому,— ответил де Спейн.

Они вернулись в дом; там, в душевой комнатке, по-прежнему сидел на тюфяке Бун и не снимал руки с головы Льва, и люди — те, для кого Лев гонял зверя, и те, кто лишь понаслышке знал о нем,— тихо входили, чтобы взглянуть и уйти. Потом рассвело, и все пошло во двор смотреть Старого Бена, чьи глаза тоже были открыты, стертые зубы оскалены, лапа изувечена капканом, под шкурой желваками старые пули (общим числом пятьдесят две штуки — картечин, винтовочных и круглых) и под левым плечом еле видная щелка, сквозь которую нож Буна добрался до медвежьей души. Затем Эш застучал в донце таза тяжелой ложкой,

сзывая народ на кухню, и впервые на памяти мальчика гончие ни разу за весь завтрак не завоились под полом. Видно, старый медведь и мертвый наводил на них ужас, преодолеть который самим, без Льва, им было не под силу.

Дождь перестал еще ночью. А среди утра явилось белесое солнце, быстро выжгло туманы и тучи, нагрело воздух и землю; день выдался из тех безветренных, декабрьских, миссисипских, что как бы воскрешают бабье лето. Льва вынесли на веранду, на солнце. Об этом подумалось Буну.

— Черт подери, — сказал Бун, — он же не любитель комнат, это я заставлял. Сами знаете.

Чтобы не потревожить Льва, Бун ломом оторвал доски пола, на которых лежал тюфяк, и Льва перенесли вместе с постелью и положили лицом к лесу.

Затем Аик, доктор, Маккаслин и де Спейн пошли в хижину к Сэму. Не открывая глаз, Сэм дышал так тихо, так мирно — почти незаметно было, что дышит. Доктор не стал прикладывать ни стетоскопа, ни даже руки.

— У него все в порядке, — сказал доктор. — Он и не простудился. Просто организм забастовал.

— Забастовал? — переспросил Маккаслин.

— Да. Со стариками это бывает. А выпится или пропустит стаканчик — и передумал помирить.

Воротились в лагерь. И тут они начали прибывать: тощие обитатели болот — фермеры с окаймляющих низину кукурузных и хлопковых полосок, чьи посевы, закрома и закуты разорял старый медведь; лесорубы с соседнего участка, хоукские пильщики и горожане из мест отдаленнее Хоукса, чьих собак старый медведь убивал, чьи ловушки и западни ломал, чей свинец носил под шкурой. Они прибывали верхами, пешие, в фургонах, входили во двор и, насмотревшись на медведя, проходили к веранде, где лежал Лев; скоро дворик уже не вмещал их — без малого сто человек, стоя или присев на корточки, вели под теплым и снотворным солнцем негромкие разговоры об охоте, о дичи, о собаках — ее добытках, о тех гончих, медведях, оленях и людях, какие были и каких уж нет, и время от времени большой сизый пес открывал на минуту глаза — не на говорящих, а на леса смотрел как бы запечатлевающим или удостоверяющимся взглядом. На закате он умер.

То был последний вечер лагеря. Льва понесли в лес, то есть, Бун завернул в свое стеганое одеяло и понес, никому не позволяя и коснуться, как вчера до прибытия доктора; Бун нес, а следом с фонарями и зажженными сосновыми сучьями шли мальчик, Компсон, Уолтер и — числом все еще до полусотни — приезжие, которых ожидало теперь ночное возвращение в Хоукс и за Хоукс, и лесовики, кому предстояло пешком разбредаться по своим глухым лачугам. Бун и к лопате никого не допустил, сам вырыл яму, положил Льва, засыпал, и в смолистом пыланье и дыме, струящихся сквозь зимние ветви, генерал Компсон встал в возглавии могилы и сказал прощальное слово, как над человеком. Потом пошли обратно. Тем временем де Спейн с Маккаслином и Эшем скатали и увязали постели. Мулов уже впрягли, фургон стоял нагруженный, дышлом к дороге, и когда Аик вбежал в кухню к уже поужинавшим де Спейну и Маккаслину, то плита не топилась, на столе — хлеб и куски холодного мяса, и только кофе горячий.

— Как это? — закричал мальчик. — Зачем? Я не еду.

— Едешь, — сказал Маккаслин. — Все едем. Майор велел по домам.

— Нет! Я остаюсь.

— В понедельник тебе в школу. И так уже не две, а три недели пропустил. До понедельника посидишь за учебниками, иначе не успеешь

наверстать. У Сэма ничего серьезного. Ты слышал, что сказал доктор Крофорд. Я оставляю тут Буна и Джима — побудут с ним, пока не встанет.

У Айка сжимало горло. В кухне уже собрались остальные. В отчаянье он рывком оглянулся на них. Бун держал в руке непечатую бутылку. Раскупоривая, исподнизу хлопнул по донцу ладонью, зубами вытащил и выплюнул пробку, отпил.

— Ты у меня от школы не отвиливай,— сказал Бун.— А то спущу штаны и выпорю. Я не Кас, церемониться не стану, пусть тебе хоть шестьдесят, не только шестнадцать, будет. Что из тебя выйдет без образования? Что из Каса вышло бы? Что, черт подери, из меня вышло бы, не ходи я в школу?

Айк опять повернулся к Маккаслину. Мальчик дышал все чаще, все короче, словно в кухне не хватало воздуха на всех.

— Сегодня еще только четверг. Я возьму здесь лошадь, приеду домой в воскресенье вечером. Днем даже, Маккаслин. Просижу до ночи за книжками и подгоню,— говорил он за гранью уже и отчаяния.

— Нет — сказано,— отрезал Маккаслин.— Садись ужинать. Сейчас отправ...

— Постой, Кас,— сказал Компсон, кладя руку на плечо мальчику. Айк не заметил, как он подошел.

— Что с тобой, сынок? — спросил Компсон.

— Я должен остаться,— сказал Айк.— Я должен.

— Ладно,— сказал Компсон.— Оставайся. Если из-за лишней проведенной тут недели книжонка, состряпанная кем-то за деньги, тебя в девять потов вгонит, покуда осилишь, то нечего тебе и ходить в школу. А ты помолчи, Кас,— продолжал он, хотя Маккаслин и так молчал.— Увяз одной ногой на ферме, другой в банке, а в коренном, в древнем деле ты младенец перед Айком; вы, растакие Сарторисы и Эдмондсы, напридумывали ферм и банков, чтоб только заслониться от того, знание о чем заложено в этом мальчугане — и страх, понятно, заложен, но не трусость, и за десять миль он по компасу пошел смотреть медведя, к которому никто из нас не мог подобраться на верный выстрел, и увидел, и обратно десять миль прошел в темноте. Это-то, быть может, поважнее ферм и банков... Так не скажешь, в чем причина?

Но у Айка выговорилось по-прежнему только:

— Я должен остаться.

— Ладно,— сказал Компсон.— Съестного вам тут хватит. А в воскресенье, значит, домой, как обещал Маккаслину? Не вечером — днем.

— Да, сэр,— ответил Айк.

— Вот так. Давайте-ка ужинать,— заключил Компсон.— Шевелись, ребята. Ночью еще морозец ударит.

Отужинали. Фургон стоял готовый, оставалось только сесть. Бун довозет их до опушки, до фермерской конюшни, где ждет шарабан. Запрокинув перевязанную голову, Бун стоял с бутылкой у фургона, рисовался на фоне неба высоченным силуэтом в афганской чалме. Вот бутылка оторвалась от губ и — полетела прочь, кувыркаясь и поблескивая в жидком свете звезд, порожняя. «Кто едет — садись, кто не едет — с дороги катись», — объявил Бун.

Уселись. Бун влез на козлы рядом с Компсоном, фургон двинулся в ночь, и сперва исчезли очертания, а там и темный движущийся сгусток стал неразличим среди окружающей тьмы. Но долго еще слышал мальчик, как повозка деревянно погромыхивает по рытвинам. А когда и громыханье замерло, не замер Бунов голос. Бун пел — коряво, зычно, без мотива.

Это в четверг. А в субботу утром Джим оседлал охотничью лошадь Маккаслина, что шесть лет провела безвыездно в лесу, и начинало ве-

череть, когда на взмыленной лошади он проехал под ворота к лавке, где Маккаслин был занят выдачей арендаторам и работникам продуктов на неделю. На сей раз, чтобы не тратить время в городе, не ждать, пока заложат шарабан де Спейна, сели в маккаслиновский и — в Джефферсон за майором (правил Маккаслин, Джим спал на заднем сиденье); де Спейн только обул сапоги, надел куртку, и той ночью они сделали в потемках все тридцать миль, чем свет в воскресенье пересели на лагерных кобылу и мула и на восходе солнца выехали из чащобы на взгорье, где похоронили Льва: свежая земля невысокого холмика хранила еще следы лопаты, а за могилой был укреплен меж четырех стволов помост из свежесрубленного молодняка, и что-то обернутое одеялом лежало на помосте, и ближе к холмику — Бун и мальчик на корточках, и тут Бун — повязка снята, сорвана, длинные струпья от когтей Старого Бена, как черная смола, засохшая на солнце, — вскочил и навел на них свой старый дробовик, из которого всю жизнь только и знал, что мазать, — но Маккаслин уже спешился: рывком высвободил ноги из стремян, на ходу, опершись о седло, прыгнул с мула и пошел к Буну.

— Не подходи, — сказал Бун. — Гад буду, не пущу к нему. Не подходи, Маккаслин.

А Маккаслин подходил — быстро, но не горячась.

— Кас! — позвал де Спейн и затем: — Бун! Слышишь, Бун!

Он тоже спешился, вскочил и мальчик на ноги, а Маккаслин все шел, не горячась и неуклонно, дошел до холмика, твердо протянул руку — движением быстрым, но не поспешным схватил дробовик поперек ствола, и они с Буном застыли друг против друга над могилой Льва, и Бун, почти на целую голову возвышаясь над Маккаслином своим усталым, неукротимым, изумленно-яростным лицом, перечеркнутым медвежьими когтями, задышал трудно, всюю грудью, точно в лесу, во всей дремучей глухомани не стало воздуха на четверых, на двоих, на одного даже Буна.

— Пусти ружье, Бун! — сказал Маккаслин.

— Ах ты, недомерок... — выговорил Бун. — Я ж у тебя вырву его. Вырву и галстучком на шейке завяжу.

— Верю, — сказал Маккаслин. — Пусти ружье, Бун!

— Такое его желание было. Он сказал нам. Сказал в точности, как все сделать. Не дам трогать. Как он велел, так и похоронили, и с тех пор вот сижу, стерегу от рысей и прочей мрази, и не дам...

Пальцы его разжались, и Маккаслин, наклонив дробовик, разрядил его так быстро, что не успел еще, кажется, первый патрон долететь до земли, а из патронника выщелкнулся уже пятый, последний, — и отбросил ружье прочь, глядя все это время Буну в глаза.

— Ты убил его, Бун? — спросил он.

Бун шагнул, отстраняясь. Будто пьян с четверга, вытянул, ища опоры, руку, шатко двинулся к ближайшему дереву, не рассчитал, как бы ослеп и, падая, валясь, выбросил обе руки, уперся в толстый ствол, повернулся, прислонился к дереву спиной и затылком — лицо неистовое, усталое, в шрамах, грудь вздымается и опадает — а Маккаслин неотступно шел за ним и не отводил глаз от глаз Буна.

— Ты убил его, Бун?

— Нет! — сказал Бун. — Нет!

— Правду скажи, — настаивал Маккаслин. — Я сам не смог бы ему отказать.

И тут подбежал Айк. Встал между ними, загораживая Буна, и не из глаз только хлынули слезы, а — ощутилось мальчику — потом брызнули со всего лица.

— Не лезь к нему! — закричал он. — К черту! Отвяжись!

## IV

Мальчик раз еще побывал в лагере, прежде чем лесопромышленная компания подвела ветку и приступила к валке леса. Сам де Спейн туда больше не ездил. Но их приглашал: живи и охоться, когда пожелаешь. В ту зиму финальной охоты, после смерти Сэма Фазерса и Льва, Компсон с Уолтером затеяли учредить корпорацию, всем их старинным кружком арендовать майоров лагерь и окрестные леса для охоты — идея, осенившая простоватого старика генерала и достойная самого Буна Хоггенбека. Даже мальчик сразу же раскусил эту уловку, попытку снова заинтересовать майора лагерем; за призрачную надежду ухватился было и Маккаслин, но даже Айк понимал, что де Спейн им откажет. И отказал. Подробностей Айк не узнал. Его не было при этом разговоре, а Маккаслин не стал распространяться. Но прошел июнь, и двойной день рождения остался не отмечен, наступил ноябрь, а про лагерь де Спейна никто не заикнулся, и мальчик так и не узнал, заговаривали ли с майором насчет предстоящей охоты, хотя майор, разумеется, знал о сборах через Эша; они — Айк, Маккаслин, Компсон (для генерала эта охота была последней), Уолтер, Бун, Джим и старый Эш — ехали тогда два дня в двух груженных припасами фургонах, забралась миль за сорок от знакомых Айку мест и прожили там положенных полмесяца в палатках. Пришла весна, и они услышали (только не от майора), что он продал лес на сруб лесопромышленникам из Мемфиса, а в одну из июньских суббот Айк приехал в город с Маккаслином и пошел к де Спейну в контору: просторную комнату на втором этаже, окнами выходящую на захламленные зады лавок, а обрешеченным балконом — на городскую площадь; стены уставлены книгами, в нише за занавеской — вода в ведре из кедровых клепок, сахарница, ложка, стакан и оплетенная бутылка с виски, а у дверей покачивается на стуле старый Эш — дергая за шнурок, колеблет над письменным столом опахало из бамбука и бумаги.

— Пожалуйста, — сказал майор де Спейн. — Эш, надо думать, не прочь будет пожить в лесу и сам пострять. Все брюзжит, не нравится ему, как Дейзи готовит. С тобой еще кто-нибудь?

— Нет, сэр, — ответил он. — Я думал, может, Бун...

Вот уже полгода Бун служил полисменом в Хоуксе; майор поставил это условием при продаже леса, точнее, пошел на компромисс: он хотел было устроить Буна десятником на подачу бревен, но компания решила, что роль блюстителя порядка Буну скорее по плечу.

— Добро, — сказал де Спейн. — Я дам ему сегодня телеграмму в Хоукс. Там и встретитесь. Эш отправится поездом, съестное они захватят, а ты езжай себе налегке верхом.

— Хорошо, сэр, — сказал он. — Спасибо.

И тут он опять услышал собственный голос. Он был уверен, все время знал, что заговорит об этом:

— Может быть, вы сами...

Голос оборвался. Пресекая неизвестно почему, ведь де Спейн не оборвал Айку, не сразу даже вернулся к столу и бумагам, то есть не сразу опустил глаза: садиться ему не пришлось, когда Айк вошел, он сидел за столом с бумагой в руке, невысокий, полный, седой, в строгой черной паре тонкого сукна, в накрахмаленной до глянца сорочке, а стоящий перед ним подросток привык видеть его небритым, в сапогах и плисовых штанах, заляпанных грязью, верхом на сильной, мохнатой, длинноногой кобыле, с выдавшим виды винчестером через седло, а у стремени — изваяньем — большой пес синеватой масти — в тот последний год всадник и собака чем-то похожи стали друг на друга, по крайней мере так казалось Айку, как становятся порою схожи два знающих толк в работе

или в любви человека, проработавших или пролюбивших вместе много лет. Де Спейн не поднял уже глаз.

— Нет. Дела не пустяк. А тебе желаю удачи. Поймаешь бельчонка — привези.

— Хорошо, сэр, — сказал Айк. — Привезу.

Он поехал верхом на трехлетке, которую сам вырастил и объездил. В часу первом ночи выехал из дому, а через шесть часов, и лошади не взмылив, был уже в Хоуксе, на узловушке, что, казалось ему, тоже принадлежала раньше де Спейну, хотя на деле де Спейном продана была компании (причем давненько) только земля под станционные пути, платформы и лавку, — и озирался, потрясенный, горестно изумленный, — а ведь он раньше знал и думал, что уж не удивится, увидав наполовину выстроенный лесозавод, занявший два или три акра площади, и целые мили сложенных штабелями рельсов, тронутых той яркой, светло-рыжей ржавчиной, что бывает на новой стали, увидав огороженные колючей проволокой загоны и кормушки для двухсот, если не больше, мулов, и палатки для погонщиков; так что он поскорее отвел лошадь в конюшню, договорился с конюхом, сел, не оглядываясь, в служебный вагончик в хвосте состава, забрался со своим ружьем к верхнему обзорному окну и неотрывно смотрел на лес, стеной вставший впереди, где хоть на этот раз можно будет еще укрыться от виденного.

Паровичок пронзительно свистнул, дернул, запыхтел, ляг сцепленный медленно, точно спросонья, передался вдоль состава, вагон тронулся с места, торопливое попыхиванье перешло в густые мерные выхлопы, и Айк смотрел, как голова поезда, завершив дугу единственного на всей линии поворота, скрывается в чаще и втягивает за собой хвост, словно уползающая в траву тусклая и безвредная змейка, — и вот уже поезд на всех парах, погромыхая, мчит Айка меж двумя стенами нетронутого топором глухого леса, как в прежние дни. Тогда-то змейка была безвредной. Еще лет пять назад из этого самого вагона Уолтер Юэлл на ходу поезда подстрелил оленя с рогами о шести концах; или вспомнить про того молодого медведя: первый состав идет по тридцатимильной ветке, только что проложенной в глубь леса, а между рельсами — медведь, выставил зад этаким игривым щенком и копается в шпалах, интересуется, нет ли там муравьев или других букашек, и вообще что это за чудные, ровные, прямоугольные колоды без коры, точно за одну ночь из пустоты возникшие и легшие бесконечной, математически строгой шеренгой; уже паровоз подходит, а медведь все изучает шпалы; машинист притормозил, шагах в тридцати дал свисток, медведь сорвался пулей и на первое попавшееся дерево — на ясенек чуть толще человечесей ноги, вскарабкался почти на верхушку, приник к стволу, спрятал голову в лапы по-человечьи, точнее по-женски, а кондуктор швыряет в него куски балласта; когда же тремя часами позже состав возвращался с первым грузом бревен, медведь еще только спускался с ясенька, и опять он вскарабкался повыше, и опять спрятался за ствол, и когда днем паровоз снова отправился за бревнами, и когда шел в сумерки обратно, медведь все сидел на дереве; а Бун в обед приезжал на станцию за мукой, услышал рассказ поездной бригады, и всю ту ночь Бун и Эш (оба были тогда на двадцать лет моложе) просидели под ясеньком, чтобы кто-нибудь не подстрелил медведя, а утром де Спейн задержал состав на станции, и лишь на закате дня (к тому времени близ дерева собрались, кроме Буна с Эшем, де Спейн, Компсон, Уолтер и двенадцатилетний Маккаслин) медведь спустился на землю, проведя на дереве почти тридцать шесть часов без воды, а люди стояли у бочажка и подумали уже было, что сейчас медведь остановится и напьется оттуда; Маккаслин рассказывал Айку, как медведь, помедлив, посмотрел на воду, на людей, опять на воду и не стал пить, пустился прочь, побежал, по-медвежьи печатая

передними и задними лапами параллельные, но отдельные ряды следов.

Да, тогда змейка была безвредна. В лагере порой слышали шум проходящего поезда, а порой и нет — они ведь не прислушивались. Слышали, как легко и быстро протаскивал пыхтящий паровозик постукивающие на стыках порожние платформы в глубь леса и как пронзительный его свисточек через мгновение тонул в задумчивой и безучастной глухомани, не разбудив даже эха. Потом состав возвращался груженный, шел не так быстро, но по-прежнему создавал видимость бешеной, хоть игрушечно ползучей, скорости; теперь паровоз не свистел — берег пар, лишь отдувался, кидал в лицо вековым лесам свое пыхтенье в неистовом и бесполезном тщеславии, шумном, пустом, ребяческом, увозя бревнышки куда-то и зачем-то, а лес позади уже смыкался над пнями и шрамами, — так груженная песком игрушечная тележка везет и сгружает свою кладь и спешит за новой, неутомимая, безостановочная, быстрая, но играющая ею рука еще быстрее возвращает песок на место, чтоб было чем грузить тележку.

Иное дело — теперь. Поезд-то был прежний: паровоз, платформы, хвостовой вагон, даже машинист, кочегар и кондуктора те самые, перед которыми Бун, успевший за каких-нибудь четырнадцать часов напиться, вытрезветь, опять напиться и снова почти протрезвиться, хвалился в тот день два года назад, что завтра Старому Буну конец; и шел этот поезд с той же игрушечно бешеной быстротой между теми же глухими, непроницаемыми стенами леса, мимо памятных Айку мест, старых звериных троп, на которых гонял он оленей, раненых и нераненых, где не раз на глазах у него олень, уж никак не раненый, вылетал из лесу и на насыпь, и через рельсы и с насыпи, и в лес, на тех же вроде бы четырех ногах, что и прочее зверье, и, однако, отринув землю, стрелой несся над нею, удлинненный, втрое длиннее обычного и даже цветом светлее — как если бы существовала между покоем и движением грань, за которой даже масса химически перерождается, без боли и муки меняя не только объем и форму, но и цветом приближаясь к цвету ветра. Но теперь поезд словно нес в обреченную на топор глушь знамение конца, весть о новом заводе, пусть еще недостроенном, о рельсах и шпалах, пусть еще неуложенных. И не только поезд — сам Айк, казалось, нес эту весть в памяти, в глазах, хранящих виденное, и даже в одежде, как, выходя от больного или покойника на чистый воздух, приносят с собой стойкий и тягостный запах. И теперь он понял (еще утром на станции почувствовал), почему не поехал де Спейн; понял, что и сам он после этого неизбежного раза больше сюда не вернется.

Уже подъезжали. Машинист дал свисток, но Айк знал и так. А вон и Эш с фургоном, и вожжи непременно опять обмотал вокруг тормоза, хотя только на памяти Айка де Спейн вот уже восемь лет толкует, что так нельзя. Поезд замедлил ход, загремели, сталкиваясь, буфера, вагон поравнялся с фургоном. Айк прыгнул с ружьем в руке, кондуктор, высунувшись, махнул машинисту флажком, вагон медленно проплыл мимо, все еще замедляя ход, но уже паровоз чаще и чаще кидал свои выдохи в немую глушь, бряканье сцеплений опять прокатилось вдоль состава, вагон набрал, наконец, скорость. И поезда не стало. Его и не было. Ни звука не осталось. Глушь сомкнулась в вышине, безучастная, погруженная в себя, вечная, несметно зеленеющая, древнее лесопилок, протяженнее узкоколеек.

— Мистер Бун уже здесь? — спросил он.

— Еще раньше меня приехал, — сказал Эш. — Сошел я вчера в Хокксе, а там уже фургон ждет нагруженный, Бун для меня приготовил, а вечером приехал я в лагерь — он уже на крыльце сидит. Затемно сегодня в лес подался. Сказал, что идет к Беличьему дереву и чтоб там его искали.

Айк знал это место — большое камедное дерево стоит на опушке, посреди старой вырубки, и если тихонько подкрасться и выскочить внезапно, то в эту пору года на ветках можно иногда застать с десяток белок, и деваться им будет некуда: деревьев рядом нет. Так что он не стал садиться в фургон.

— Я прямо туда,— сказал он.

— Так я и думал,— сказал Эш,— и коробку с патронами вот захватил.

Он передал коробку и стал сматывать вожжи с рукоятки тормоза.

— Сколько тебе раз майор говорил — так не делать,— сказал Айк.

— Чего? — сказал Эш. Потом продолжал: — И пусть Бун Хоггенбек учтет — обед через час будет на столе, так что поторапливайтесь, если хотите обедать.

— Через час? — переспросил Айк.— Да еще и девяти нет.— Он вынул часы, повернул циферблатом к Эшу: — Смотри.

Эш и не взглянул на часы.

— Это городское время. Мы не в городе теперь. Мы в лесу.

— Тогда на солнце посмотри.

— И на солнце смотреть нечего,— сказал Эш.— Если вы с Буном Хоггенбеком желаете обедать, то приходите, когда вам говорят. Некогда мне будет потом со стряпней возиться, дровами займусь. Под ноги вот надо смотреть. Тут этих ползучих теперь полно.

— Ладно,— сказал Айк.

И лес, зеленеющий, летний, окружил его кольцом не одиночества, а уединения. Лес был все тот же — извечному, ему так же незачем было меняться, как незачем меняться зелени лета, пожарам и дождям осени, ледяному холоду и порой даже снегу...

*...В тот зимний день, в то утро, когда он убил своего первого оленя и Сэм помазал ему лицо горячей оленьей кровью и они вернулись в лагерь,— Айк помнит, с каким сердитым, даже оскорбленным недоверием смотрел тогда, помаргивая, Эш, и в конце концов Маккаслину пришлось подтвердить, что это Айк уложил оленя. Весь вечер Эш просидел насупленный и неприступный в углу за плитой, так что ужин подавал Джим, и Джим же разбудил их в час ночи и сообщил, что Эш уже поставил завтрак на стол, и разозленный де Спейн принялся костить Эша на все корки, а Эш уперью огрызался, и, наконец, выяснилось, что Эш тоже хочет пойти на охоту и убить оленя — не просто хочет, а твердо намерен. И де Спейн сказал: «Вот напасть, ведь если мы его не пустим, то придется самим фартук надевать», а Уолтер добавил: «Или вставать завтракать в полночь». Поскольку Айк уже убил оленя и больше ему в ту охоту не полагалось, разве что мясо кончится, то он предложил было свое ружье Эшу, но вмешался де Спейн и велел отдать его на сегодня Буну, а Эшу вручил норовистый дробовик и два картечных заряда. Но Эш сказал: «Патроны у меня есть», и показал целых четыре: картечь, дробь третий номер на зайца и два заряда на птицу, и рассказал историю каждого заряда. Айк запомнил, с какими лицами слушали де Спейн, Юэлл и Компсон, запомнил лицо и голос Эша: «Не выстрелят? Еще как выстрелят! Вот этот,— он указал на картечь,— дал мне генерал Компсон восемь лет назад, прямо из ружья вынул, того самого, из которого уложил тогда рогача. А вот этот,— торжествуя поднял он заячий,— да он постарше этого мальчика!» В то утро Айк сам зарядил Эшу ружье, заложив в магазин сперва бекасинник, потом третий номер и напоследок картечь, чтобы она первой пошла в патронник. Падал снег, де Спейн с Джимом ехали верхом, Айк без ружья и Эш шли рядом с лошадьми, и вот гончие взяли след, в неслышно оседающем воздухе раздался звучный, милый уху лай и пропал в лесу почти мгновенно, словно погребенный вместе с еще неродившимся эхом под снежинками, невесомыми, ва-*

лящимися без счета, без усталости, без шороха. С порсканьем ускакали за собаками де Спейн и Джим. И все встало на место, Айк понял — так ясно, точно от Эша сейчас услышал, — что Эш уже наохотился и даже оленя простил ему, мальчишке, и они повернули обратно; вернее, Эш спросил: «Теперь куда?», и он сказал: «Сюда», и пошел впереди сквозь падающий снег, потому что Эш не знал дороги, хотя в течение вот уже двадцати лет ежегодно проводил здесь полмесяца и хотя до лагеря не было и мили. Но вскоре Айка не на шутку стало тревожить то, как Эш нес ружье, и он пропустил Эша вперед, и Эш, широко шагая, словоохотливый теперь, завел нескончаемый стариковский монолог сперва про место, которым шли, потом про лес и жизнь в лесу, про дичину, про еду вообще, и как ее следует готовить, и как его жена готовит, и кратко про свою старуху жену, и сразу же обстоятельно про кормилицу-мулатку, которую взяли недавно соседи де Спейнов, и что если она и впредь будет так хвостом трясти, то он ей покажет, на что способны старики, жаль только, что жена с него глаз не спускает. Они шли теперь звериной тропинкой через заросли тростника и шиповника, кончавшиеся в четверти мили от лагеря; путь им преградило поваленное дерево, большая колода, легшая поперек тропы, и Эш, по-прежнему болтая, хотел перешагнуть через нее, как вдруг из-за колоды поднялся годовалый медведь, сел на задние лапы, а передние поднял перед собой, точно молиться собрался. Прошло какое-то мгновение, ружье Эша поднялось неуверенным рывком, Айк сказал: «Сперва пошли патрон в патронник», но ружье уже щелкнуло, а он сказал: «Там же нет патрона», и Эш послушался, ружье покачалось, застыло, раздался щелк осечки, Айк сказал: «Перезаряди», и патрон, тая, кувыркаясь, полетел вбок, в заросли. «Третий номер теперь», — подумал Айк, и опять щелкнуло впустую, и он подумал: «Остался бекасинник»; Эш быстро перезарядил, Айк крикнул: «Не стреляй! Не стреляй!», но уже снова раздался легкий сухой едкий щелк, медведь повернулся, опустился на четвереньки и был таков, и осталась колода, тростник, бархатный и непрерывный снег, и Эш сказал: «Теперь куда?», и он сказал: «Сюда. Идем же». И двинулся было, глядя на Эша, но Эш сказал: «Сначала надо патроны подобрать», и он сказал: «Оставь их к черту! Идем». Но Эш прислонил ружье к колоде, сошел с тропы, нагнулся и шарил между корневищ, пока Айк не подошел и разыскал патроны, и они выпрямились, и в этот миг ружье, прислоненное в трех шагах, само собой рывнуло, грохнуло, пыхнуло пламенем и умолкло, и теперь Айк понес его — разрядил, подал Эшу последнюю окаменелую гильзу и, не запирая уж ствола, принес ружье в лагерь и поставил в угол за Бунову постель...

...Лето, и осень, и снег, и влажная, набухшая соками весна в их предначертанном чередовании, вечные фазы бытия леса — леса, который сделал или почти уже сделал Айка человеком; лес вспоил и вскормил Сэма Фазерса, потомка негров-рабов и индейских вождей, духовного отца Айка, кого Айк чтит, и слушался, и любил, кого лишился и по ком скорбел; придет пора, Айк женится, и они с женой в свой краткий черед познают короткое счастье (и назвать ли его счастьем, раз оно так неживуче), а память о нем унесут, быть может, и туда, где плоть уже не внемлет плоти, ведь память-то живуча, но все же лес будет Айку дороже жены и любовницы.

Он шел, не приближаясь к камедному дереву, а, напротив, удаляясь от него. Не таким уж давним было время, когда ему не разрешили бы бродить здесь одному: став чуть постарше и начав понимать, что почти ничего не знает, он и сам не решился бы зайти сюда один; а еще повзрослев и смутно определив уже пределы своего неведения, он прошел бы здесь с компасом, не заблудившись, не потому, что так уж возросла его вера в себя, а потому, что де Спейн, Уолтер и Компсон приучили его

наконец доверять компасу, куда бы ни указывала стрелка. Теперь же он шел не по компасу, а лишь подсознательно сверяясь с солнцем, и однако мог бы в любой момент указать на карте место, где находился, с точностью до сорока шагов. И действительно, почти там, где и ожидал, он увидел один из бетонных столбов, установленных землемером по четырем углам участка, которого де Спейн не захотел продать компании. Поднявшись по пологому склону, Айк вскоре уже стоял на вершине холма, и отсюда были видны все четыре столба, сохранившие свою белесую окраску и под зимним снегом и дождем, безжизненные, поразительно чуждые здесь, где даже распад был кипящей, брызжущей, вспухающей суматохой зачатий и рождений, а смерти попросту не существовало. Засыпанные листвою двух осеней, размытые водами двух весен, могилы были уже неразличимы. Но тот, кто не сбился с дороги, не нуждался и в надгробных камнях, он ориентировался по приметам, по деревьям вокруг, как учил Сэм Фазерс,— и, копнув охотничьим ножом, Айк сразу же наткнулся на круглую жестянку из-под колесной мази, где лежала выскобленная увечная лапа Старого Бена, захороненная над костями Льва.

Он сейчас же засыпал ее снова. И не стал искать вторую могилу, куда они с Маккаслином, де Спейном и Буном в воскресное утро два года назад опустили Сэма, положив ему его охотничий рог, нож и трубку,— искать было незачем. Она рядом; возможно, он топчет ее. Но это неважно. «Он, наверно, все утро знает, что я здесь»,— подумал Айк, подходя к дереву, к которому он с Буном подвесили погребальный помост, где Сэм лежал до прихода Маккаслина и де Спейна; вот и вторая жестянка прибита к стволу, ржавая, потускневшая, не оскорбляющая уже глаз, как те столбы, тоже чуждая, но прижившаяся к лесу и давным-давно пустая, ни еды, ни табака, что он тогда оставил; он вынул из кармана плитку табаку, цветной новый платок, пакетик любимых леденцов Сэма — но и этого всего не станет, он и отойти не успеет, как оно исчезнет,— нет, преобразится, воспринятое несметной жизнью, что изузорила колдовскими тропами темную почву этих скрытых от солнца мест, жизнью, что притаилась вот, дышит, смотрит из-за каждой ветки и листа, как он поворачивается, шагает прочь с холма. Мешкать он не стал, здесь не усыпальница, ни Сэм, ни Лев не мертвы, не неподвижно лежат они под землей, а свободно движутся в ней, с ней, входя неисчислимо дробной, но живой частицей в лист и ветку, присутствуя в воздухе и солнце, в дожде и росе, в желуде, в дубе и снова в желуде, в рассвете, закате и снова в рассвете, бессмертные и целые в своей неисчислимости и дробности — и Старый Бен, Старый Бен тоже! Они вернут ему лапу, непременно вернут — и снова бросят вызов, и долгой будет охота, но уже не будет ни сердца рвущегося, ни тела израненного... Айк остановился как вкопанный. Оторвал уже ногу от земли для следующего шага, и так застыл, замер не дыша, в мозгу пронеслось предостережение Эша, в ушах ясно прозвучал его голос, и нахлынул, остро ударил знакомый и древний страх, но не испуг, не трусость,— при взгляде на змею. Она не свилась еще кольцом, не застучала гремушкой, только, выбросив вбок для опоры толстую быструю петлю (тоже без испуга, с тихой пока лишь угрозой) на уровень колен, подняла чуть назад отведенную голову меньше чем в шаге от Айка — длинная, футов шесть с лишним, и старая: яркая когда-то расцветка молодости потускнела на ней, стерлась, не режет уже глаз на фоне леса, где ползает и таится она, тварь обособленная, издревле проклятая, гибельная; и запах даже слышен Айку — слабый, тошнотный запах гниющих огурцов и чего-то еще безыменного, чего-то от отверженности, смерти. Змея, наконец, шевельнулась. Все так же высоко и косо неся голову, заскользила прочь, и казалось, что голова вместе с поднятой третьей туловища составляет от-

дельное существо, движущееся вопреки законам тяжести и равновесия,— не верилось, что и вся эта тень, струящаяся по земле за уходящей головой, что все это одна змея, уползающая, уползшая. Бессознательно он кончил шаг и, стоя с поднятой рукой, повторил индейские слова, что вырвались у Сэма в день посвящения Айка в охотники шесть лет назад, когда Сэм вот так же стоял и смотрел вслед оленю: «Родоначальник. Праотец».

Трудно сказать, когда именно до Айка впервые донесся звук, не сразу им воспринятый,— лязгающие удары, словно где-то ружейным стволом били по железу, не слишком часто, но со злостью, как если бы стучавший — дядя крепкий и взявшийся за дело всерьез — был выведен чем-то из себя. Стучали шагах в трехстах, и, значит, не на линии, которая проходила по меньшей мере в двух милях отсюда, хотя и в той же стороне. И сейчас же он понял, где стучат: кто б ни был стучащий и что бы ни означал стук, но раздавался он на опушке, по соседству с деревом, где назначил Айку встречу Бун. До сих пор Аик шел неспешным и бесшумным шагом охотника, шаря взглядом по земле и деревьям. Теперь же, разрядив ружье и держа его прикладом вперед и вниз, он двинулся сквозь заросли навстречу непрерывному, злобному, странно истерическому лязгу металла о металл и вышел на поляну, прямо к тому дереву. С первого взгляда ему почудилось, что дерево ожило. Оно кишело беснующимися белками, штук сорок или пятьдесят их носилось и прыгало с ветки на ветку, обратив крону в сплошной зеленый вихрь обезумевших листьев. То и дело оттуда вырывались два-три зверька, но метнувшись вниз по стволу, на лету изворачивались и бросались обратно, словно втянутые яростным беличьим водоворотом. Затем Аик увидел Буна. Бун сидел, прислонясь к дереву спиной, и остервенело стучал. Колотушкой был ствол ружья, и колотил им Бун по казеннику, зажатому в коленях. Кругом валялись прочие части разобранного дробовика, а Бун, нагнув багровое, облитое потом корявое лицо, сидел и стучал исступленно, как помешанный. Он и не поднял голову взглянуть, кто идет. Колотя, задыхаясь, хрипло заорал:

— Катись отсюда! Не трожь ни единой! Они мои! Все мои!

*Перевел с английского О. СОРОКА*

## Масленица

Как у нас по улке, по слободке,  
Да при всем народе, у дворов  
Прыгают блины со сковородки,  
Раздаются крики: «Будь здоров!»

Чок да чок стакашками мужчины.  
Снег вспотел от солнечной плиты.  
Кучера —  
В суконных казакинах,  
А на тройках —  
Флаги да цветы.

Что за дух! Мальё от блинной гречки!  
Радиолы у дворов —  
На полный ход.  
Даже электрические печки  
У ворот заводят хоровод.

Скачет свадьба в лентах, позументах,  
Из-под сивок-бурок — снежный прах,  
И столы со всем ассортиментом  
И с оркестром — прямо на дровнях.

А соломенная баба Кострома  
Ходит плясом, держит снегу два кома,  
С ребятнею перебрасывается,  
С вешним солнцем передразнивается.

...Мы тебя проводим всем великим  
скопом,  
Ой ты, наша масленица, в сале караси!  
По тебе ль,  
По вольной, по широкой,  
Истомилось сердце на Руси?

Где найдешь ты лучшие утечи?  
За гумно тебя на тракторе свезем,  
С троп зимы пособранные вехи  
Свалим в кучу — и зажжем.

Ой, зима-калёда!  
Ой, весна-малёда!  
Снег вспотел от солнечной плиты.  
И с прощальным, наилучшим медом  
Дед Мороз  
Выходит на мосты.

А у нас  
По всей ли по слободке,  
Кланяясь и местным и гостям,  
Солнышко —  
В одной косоворотке —  
Песенки разносит по столам.

## У реки, у леска...

У реки, у леска, на крутом берегу,  
Утонула деревня в глубоком снегу.

Только дым из печей, да сугробные лбы,  
Водокачка у фермы, да с гудом столбы.

Да скрипучий мосток в снеговой пелене,  
Да уселась ворона рядком на сосне.

Перезвон проводов. Тишина. Забытье.  
Это сказка моя — или детство мое?

Закружится метель — да в лесок с бережка.  
А во рту у вороны — кусок пирожка.

То не притча ль живая из книжки родной?  
Пирожок, пирожок! Запашистый, мясной!..

Уж и где ты, кума, раздобылась таким?  
У мальчишки, наверно, с портфелем худым:

Утром в школу бежал да валялся в снегу,  
Да кусочек тебе подмахнул на бегу.





## Короткие рассказы

### О СЧАСТЬЕ

#### 1

Я шел из Азербайджана в Армению через горы. Дорога трудная, но день не жаркий и идти неустойчиво. Высота около четырех тысяч метров, сильно бьется сердце. Через три с половиной часа я достиг Капеджуха, горного перевала, разделяющего две республики. Вышло солнце, заголубело небо. Но когда я поднялся и глянул с перевала вниз, я ничего не увидел. По ту сторону все застилал густой, тяжелый туман. Спуск крутой. Он весь изрезан глубокими щелями, забитыми снегом. Когда снег начинает таять, становится рыхлым, путники, переходящие горы в это время, нередко проваливаются в пропасти.

Сажу на вершине, жду — может, разойдется туман. Жду час, полтора — туман гуще и гуще. Подумал я, махнул рукой — была не была! И стал спускаться.

Сначала палкой пробовал снег, потом осторожно переставлял ногу. Снег все мягче и мягче. Иногда он начинает поддаваться под ногой, и я поспешно делаю шаг в сторону. Я взмок, капли пота стекают в рот. Жую снег, чтобы освежить пересохшие губы. Иду так медленно, как будто только что научился ходить. Вдруг впереди показалось темное пятно. Оно начинает увеличиваться, и сердце сжимается от радости — земля! Уже видны темные глыбы. Остается шесть-семь шагов, но снег оседает, одна нога проваливается — я валюсь на бок, осторожно ее вытаскиваю, чтобы не потревожить пласт. Еще три шага — я делаю прыжок и впираюсь в землю.

Это была обычная горная земля, в обломках скал, с низенькой остролистой травкой. А потом я увидел такие родные цветы — незабудки, лютики, колокольчики.

Я стоял на земле, и она не проваливалась, не ползла, а была влажна и упруга. И мне показалось тогда, что счастье — это просто твердо стоять на земле.

#### 2

Дрезина, не спеша, покачиваясь, стучала по самодельной дороге. Девушка стояла, прислонясь к кабине, отмахиваясь от комаров густой

сосновой веткой, а они назойливо липли к ее голым ногам, и тогда она колко хлестала себя. Девушка была обаятельна в своей юной нетронутости, в крапинках комариных укусов, в белой кофточке с коротенькими рукавами, стягивающими полные руки. Она думала о чем-то своем, не замечая нас, смешно перебирала губами, словно считала убегающие вдаль березовые нетесаные шпалы. А мы полулежали у ее ног. Головы были тяжелыми после лихо встреченного местного престольного праздника. Накануне нас угощали брагой из широкогорлой кадки, в которой, заглянув, можно было увидеть свое лицо, темное и смутное, как раскольничий образ. А потом уже нельзя было увидеть лица, а только ворсистое и слизкое дубовое дно. Мне почему-то хотелось встать, посмотреть в глаза девушки и увидеть там себя, ставшего точкой, берестяные облака и зелень ольшаниковых зарослей.

Она, застенчивая и молчаливая, казалась каким-то редким деревцем, которое везут в дальние края, чтобы посадить там и радоваться его цветению и шелесту. Она казалась мне счастьем, которое долго ищут и взять которое может себе насовсем только гордый и чистый.

Потянулся лес, от пожара рыжий и заскорузлый. Уцелевшие кое-где у обочин подорожники были вялы и шероховаты, тонкие побуревшие листья свернулись в кулечки и потрескались от жары. Вороны около пней чернели головнями, и становилось не по себе, когда они вскидывались в воздух. Но лишь кончилось пожарище, как ветер погнал зеленые волны еще невыкошенной травы. Трогательные в своей доброте ромашки широко раскинули лепестки, встречая утро, а в сердцевине цветка, как медовая капля, желтело солнышко. Травы разноцветной гурьбой бежали к реке, но у самого обрыва словно опомнились: остановились, зашептались и потянулись худенькими стебельками, заглядывая вниз, где весело и причудливо сверкали прозрачные зернышки песка. В воздухе, пьяном от малины, гудели мудрые пчелы-сладкоежки.

Как нужно быть всегда достойным счастья!..

## МАТЬ

Эта история началась в двадцатых годах.

У красного морского командира умерла жена. Остался сын Володька, семимесячный. Жил мальчик с бабкой, матерью капитана, потому что часто бывал капитан в командировках, да и не мужское дело младенцем заниматься.

Приехал однажды капитан в Семипалатинск по делам службы. Застрял там на два месяца. А пока жил в городе, влюбился в молодую казашку, слушательницу педагогических курсов, и женился на ней. Звали ее Зульфия, по-русски получалось Зоя, и когда меняла она паспорт, ей так и вписали — Зоя.

Отец Зульфии был против женитьбы — специально из аула приехал.

«Сколько джигитов в горах, а твой и в седло не сядет с маху!»

Позже, когда узнал, что свадьбу сыграли, вышел из юрты, соседей кликнул, объявил: «Дочери у меня нет. Поняли? Всё!» И соседи сказали: «Поняли, аксакал». И молча разошлись. Они уважали его за властный нрав и за то, что был он знаменитым чабаном.

В муже Зоя души не чаяла. Она гладила его русые волосы и всегда удивлялась их цвету. И синие глаза капитана тоже казались ей необыкновенными и единственным в мире. Сына Володьку взяли от бабки, и молодая женщина заплакала, когда малыш подошел к ней и впервые сказал: «Мама».

Время шло. Мальчик рос. И как-то она с беспощадностью поняла, что

шестилетний белоголовый и курносый Володяка ничем не похож на нее — черноволосую, кареглазую, смугловатую.

Она испугалась, что может наступить день, когда Володя усомнится, глянув в ее нерусское лицо, — она ли его мать. Или поверит толкам досужих людей: «Лицо у тебя, Володя, русское, а у матери твоей ничего русского нет. Да мать ли она тебе?» И она боялась, что тогда Володя не простит ей обмана, что он отвернется от нее или попросту охладет. А для нее этот мальчик был всем — столько и бессонных ночей, и ласки, и заботы она отдала ему. И еще он напоминал ей мужа. Когда тот уезжал в командировку, она в минуты особенной грусти вынимала мужнину капитанскую фуражку, надевала на мальчика и улыбалась радостно — так он походил на отца.

Она долго думала и решила изменить — насколько возможно — свой казахский облик. Ей хотелось, чтобы люди находили в ней и в мальчике одни и те же черты.

Она отрезала у спящего мальчика прядь волос, пошла в лучшую парикмахерскую города и попросила покрасить ее именно в такой светлый цвет. А потом знаменитая косметичка научила ее так подводить глаза, что они теряли восточный прищур и продолговатость. Муж всплеснул руками: «Ну, теперь мне заново в тебя влюбляться надо!», а мальчик сначала не узнал ее. Когда они переехали в другой город, соседи считали ее русской и «весьма привлекательной». Самое большое удовольствие она получала, если ей говорили: «Какие волосы у вашего мальчика — ну точь-в-точь, как у мамы!»

Так они и жили.

Когда Володе исполнилось пятнадцать, произошло событие, которое повергло мать в волнение.

Не раз она писала отцу — ответа не было, а тут пришло из Казахстана письмо — отец собирается приехать в гости. Пишет, что стал стар, и тоска по дочери заставляет забыть обиду.

Зоя обрадовалась и растерялась, потому что из-за Володи опасалась пригласить его жить у них в доме.

Наконец решили с мужем поселить отца в гостинице. Сняли номерлюкс, но седобородый чабан остался недоволен.

— Куда поселили! Зачем пианино принесли, когда я только на домбре играю!

В ванной он путал краны с горячей и холодной водой: один раз ошпарился, другой раз окатился холодной водой и схватил насморк. На кровати ему тоже спать не нравилось. «Качает меня», — жаловался он и устроился спать на ковре в гостинице. Дочка расстроила его своей внешностью — ни на кого из родни не похожа. По скулам только и можно признать, что течет в ней кровь джигитов Тарбагатая.

Объяснения дочери выслушал молча. Долго сидел, раздумывая, потом сказал:

Объяснения дочери выслушал молча. Долго сидел, раздумывая, потом сказал:

\*  
Олег Николаевич Шестинский — автор поэтических сборников «Друзья навеки», «Ливнями омытая весна», «Войди в мою жизнь», «Поэзия».

За последние годы О. Шестинский много ездил по стране, писал очерки, стихи, переводил на русский язык книги болгарских поэтов.

В 1963 году в нашем журнале были опубликованы первые рассказы О. Шестинского «В дни блокадных тревог».



— Мать — великое дело. Ты ему мать. Как ты поступила, пусть все так есть. Твой сын — мой род. Мальчик должен приехать ко мне, увидеть настоящие горы. Всѣ.

И договорились на семейном совете, что на следующий год, во время летних каникул, отправится Володя с матерью в предгорья Тарбагатая якобы к ее знакомым.

Они приехали на кочевье в горы весной. Старик их встретил с важностью и гостеприимством аксакала. Вида не подал, что родную дочь встречает, — как уговорено было, сделал.

На утро к юрте привели лошадь. Володя неумело сел в седло, и дед учил его держаться в седле с выправкой, в такт лошади подпрыгивая при рыси, переходить на галоп и, всем телом поддавшись вперед, вглядываться в одну дальнюю точку. Он раскрывал ему красоту гор, вместе с ним на заре отправлялся в долины, где сверкали алыми лепестками «марьяны коренья» в крупных каплях росы.

К середине лета Володя пил кумыс, как казах, и мог весь день покачиваться в седле, объезжая с дедом отары; мог, как истый горец, пустить в опор коня, пригнуться к его гриве и свистеть пронзительно и бешено при скачке. Он приезжал к юрте вечером, возбужденный, пыльный, черный от солнца, и кричал матери, расседывая лошадь:

— Мама, мы завтра поедem на соколиную охоту!

И мать смотрела на него нежнейшим взглядом, к горлу ее подкатывался комок, она стремительно обнимала сына и говорила:

— Хорошо, мой мальчик.

Уезжали они в конце августа. Дед зарезал барана, приготовили бишбармак и ели, по старинному обычаю, руками, запивая темным чаем из высоких пиал.

Потом Володя с матерью сели в повозку, которая должна была их довести до райцентра. Дед, торжественный и печальный от предстоящей разлуки, протянул Володе домбру, древнюю, из морщинистого и сухого дерева: «Ударь по струне и сразу вспомнишь наши горы».

Дед долго стоял посреди дороги, пока не скрылась лошадь за уступом скалы, и Володя все время махал ему рукой. И мальчик ясно сознавал, что этот край с его орлами, лошадьми, седыми аксакалами и звонкими домбрами становится частью его судьбы.

Три года назад, случайно, узнал он, что маленькая худенькая женщина, которая сейчас едет с ним, не его родная мать, и теперь он испытывал счастье, полюбив горы ее юности, потому что она была для него дороже всех на земле.

## ВЕЧНОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Бабка Анна жила на отшибе от деревни, возле сосняка, в избе, срубленной еще тридцать лет назад. Но изба была крепкая, бревна добротные.

Доживала она теперь свой семьдесят пятый год.

Муж погиб давно, еще в коллективизацию, — чья-то шальная пуля задела в темноте. А сын... А сын, молоденький девятнадцатилетний лейтенант, пропал без вести в сорок первом во время ожесточенных боев под Псковом.

Когда мать получила о том извещение, она не заплакала, она сняла со стены его фотографию, где сын в белой рубашке и с растрепанными

волосами выглядел совсем мальчиком, и долго, целые сутки, не спускала с него глаз.

Когда соседка, узнав, пришла утешить ее на следующий день, Анна все еще сидела за столом с портретом в руках.

— Что утешаешь? — спокойно сказала она соседке. — Живой он! Пропал — так объявится. Смотри, совсем мальчонка! Как же его убить можно, если он не вырос еще!

Мать продолжала жить так, как будто Ванечка непременно должен вернуться.

Пол-огорода было у нее маком засеяно. Объясняла:

— А мой Ванечка так пироги с маком любит. На всю зиму запасу...

В подполье хранила она и поллитровку.

— Из дому ушел — вином не умел баловаться. А теперь уже большой стал.

Как-то собрала она штатскую одежду сына, отправилась за шесть километров в райцентр, пришла в швейное ателье, выложила на прилавок брюки, пиджак, пальтишко, попросила:

— Расставить бы надо... Сын из дома уходил — мальчонкой был... Не налезет теперь...

Мастер чуть натянул брюки — материал пополз.

— Рухлядь, мамаша. Новое справлять пора...

Мать заплакала, и тогда портной сказал:

— Ну вот разве что пальто.

Он расширил его в плечах и талии, и мать, повесив пальто дома на распялку, обрадовалась — она была уверена, что ее Ваня стал уже таким широкогрудым и кряжистым.

Прошло пять лет. И еще пять... И еще пять...

Ее слепая уверенность в том, что сын объявится, что он еще придет, не ослабела со временем, и может быть, она и жила потому, что ждала и верила во встречу.

Ночью приходили к ней тревожные мысли. Она считала, сколько лет ныне ее Ванечке, и насчитывала тридцать пять. И она боялась, что за пятнадцать лет он так изменился, что она может его не узнать: а вдруг полысел, усы отпустил или еще что...

Она никогда не спрашивала себя: «А где он?» Ей казалось, что нечто смутное, важное и цепкое держит его, но он обязательно вырвется и придет к ней.

В теплые дни она выходила на асфальтовое шоссе, садилась на скамейку у автобусной остановки и часами разглядывала людей. Она смотрела не на женщин, не на молодых парней, а лишь, на мужчин и думала: «Вот ведь что такое тридцать пять лет? Самый сок... И Ванечка мой теперь такой». Она гадала, с какой стороны придет к ней Ванечка. Ей чудилось, что придет он на автобусе и выйдет здесь на остановке вместе с другими мужчинами, здоровый, сильный, пропахший бензином, сосновой стружкой, махоркой... А иногда мать еще воображала, что придет он с женой, и они, свекровь и невестка, понравятся друг другу, и мать собиралась сразу подарить невестке синий гарусный платок, который лежал у нее в сундуке со дней молодости.

Дом ее стоял при дороге, и нередко заглядывали к ней прохожие — попить воды, от дождя укрыться, просто передохнуть. Она всегда принимала приветливо и всегда трепетно взглядывалась в лица: а вдруг сын!

Однажды в метельный январь раздался топот на крыльце, и чей-то мужской голос прокричал:

— Откройте, кто живой есть!

Мать вышла в сени, распахнула дверь и увидела на пороге мужчину в кепке, в рабочей куртке.

— Мамаша, пусти погреться. Отстал от своих, от машины...

Гость стянул кепку, волосы в беспорядке торчали на голове, лицо осунувшееся, резкие морщины в уголках рта. Он потянулся к печке и прижался ладонями к ней. Мать спросила медленно:

— Как звать-то?

— Иваном,— ответил мужчина, не оборачиваясь.

И все внутри у матери захолонуло.

Она так давно ждала встречи, у нее не хватало сил больше ждать, и мать в этот миг могла думать только о том, что встреча настает.

— Подожди,— сказала она пересохшими губами, спустилась в подполье и поставила на стол бутылку, заметенную пылью и паутиной.

— Да у тебя, мать, вино марочное,— засмеялся Иван. Он налил стакан и выпил не морщась.

— Пить научился,— жалостно сказала мать, но тут же спохватилась и добавила: — Да я так. Ведь с мороза ты.

— Точно, с мороза, мать.

— А что налегке? — спросила она, трогая куртку.

— Разве думал, что отстану. На машине — разом до стройки. Нефть, мать, открыли. Скважины бурить будем. Надолго теперь сюда.

Мать не поняла всего, что он сказал, но одно слово «надолго» встало и затмило все другие слова.

— Надолго. Значит, и похоронишь теперь меня,— почти весело сказала она.

— Куда умирать,— всплеснул руками Иван,— вышки поставим, такой город здесь отгрохаем!

Мать смотрела на него и старалась найти что-то в нем от ее далекого Ванюшки, но ей трудно было уловить связь.

Через час Иван отогрелся совсем и спохватился:

— Пора, мать, ищут меня, верно.

Мать засуетилась, бросилась к сундуку, открыла его скрипучую крышку и достала пальто.

— Надень, Ваня, стужа-то какова.

Иван поколебался:

— И то давай, мать, занесу на днях.

Он надел пальто, оно оказалось ему впору.

— Порядок! — сказал Иван.

Он уже взялся за скобу двери, когда мать, всполошившись, крикнула:

— Да я тебе пирогов с маком напеку, приходи скорей!

— С маком! Да ну! Страсть охота,— широко улыбнулся Иван.— У меня мамка тоже большая мастерица пироги печь.

Анне стало горько оттого, что какую-то другую женщину он назвал своей матерью, но она уже трезво осознала, что, конечно, случайный гость — не ее сын. А все равно ей было не по-обычному хорошо на душе — она вдруг ясно представила, что и ее Иван стал таким же большим, сильным, тридцатипятилетним и где-то он так же широко улыбается людям и сидит в гостях у чужих матерей. «Ведь не может человек без вести пропасть,— в бесчисленный раз наивно и упрямо подумала она,— люди обязательно находят».

— А я леденцов из райцентра привезу! Любишь, мать? — уже с крыльца отозвался Иван.

И мать вспомнила, что она действительно, когда была помоложе, очень любила леденцы, а потом со сладостями в районе стало плохо, а потом она по старости и вовсе позабыла о леденцах. И мать заплакала счастливо, безудержно, как не плакала уже много лет.

Она сняла со стены портрет Вани и долго-долго всматривалась в его лицо, простое и юное, и сердце ее было переполнено той материнской любовью, которая заставляет уверовать в самое несбыточное.

## ОЗАРЕНИЕ

По узкоколейке ходил древний паровозик и тащил скрипучие вагоны. Поезд останавливался у каждого переезда, и все они были знакомы пассажирам до подробностей, потому что пассажиры постоянные: рабочие с молокозавода, с лесоразработок. Лишь в летнее время появлялась новая разновидность пассажиров — «дачные мужья» из областного города, обремененные кошелками и свертками.

И природа тоже уже не поражала ничей взгляд, хотя из окон поезда открывались живописные виды: сосновые боры, шумные речонки в блестящих камнях.

Но в одном месте дороги, у разъезда Шестьдесят семь, глаза у пассажиров оживлялись, все льнули к окну и кивали путевому обходчику.

А все дело в том, что звали путевого обходчика на разъезде Настей, и считалась она самой красивой девушкой в селе Холмцы, что лежало за полотном километрах в двух.

Настя стояла у насыпи, когда проходил поезд, — в железнодорожной фуражке, из-под которой вырывались русые пряди. И вся она была красива той спокойной и плавной русской красотой, которая не так часто встречается ныне, а если и встречается, то в местах, далеких от больших городов. И свой желтый флажок она держала так доверчиво и добро, словно сама про себя радовалась, что путь открыт и она об этом сообщает людям. Она скользила глазами по окнам и улыбалась знакомым.

И было так изо дня в день.

И однажды наступил день, который привел в долгое волнение всех постоянных пассажиров этого поезда.

В конце сентября, в синий и солнечный полдень, подошел поезд к Шестьдесят седьмому километру, и вдруг ахнули все, потому что на деревянном настиле у сторожки стояла не Настя, а солдат. Он стоял, расставив ноги, в гимнастерке с распахнутым воротом и со споротыми погонами. У него было глупо-счастливое лицо, и пассажиры увидели его лицо до малейших подробностей — и ровные белые зубы, и синие глаза, в которых дробилось солнце, и волосы, упавшие на лоб и рассыпавшиеся по нему. Но больше всего поразило то, что держал солдат в руке флажок Настин, желтый, и он, солдат, открывал поезду дорогу. А держал флажок неумело, зачем-то руку согнув в локте и подняв флажок высоко над головой. Он держал флажок с каким-то наивным торжеством и бесшабашной лихостью, и машинист даже на секунду притормозил, несколько растерявшись от столь необычной картины.

А за спиной солдата на пороге сторожки, смущенная и взволнованная, стояла Настя, она была и в своей фуражке, и в тужурке с блестящими пуговицами, но весь вид ее казался таким девчачьим и необыкновенным, что пассажиры покрутили головами, посмотрели друг на друга: «Ну и ну!» За этими словами они словно скрывали свою растерянность и, может быть, ревность.

И тогда один выпалил: «Да ведь это Колька из Холмца!» Все разом засуетились, закричали: «Точно, он!» А кто-то высунулся и — звонко, срывающе: «Привет, Коляня, шуруй!» Была в этом забубенная удаль, которой часто на Руси прикрывают нежное и чистое, что поднимается со дна души.

Я знал всю эту историю.

Еще до армии встречались Настя и Николай на вечерках. Провожал он ее, целовал у изгороди. О любви ни слова не говорил. В армию призывали, гулял Николай два дня с ребятами, кричал во хмелю: «Меня надо в самую Польшу отправить! Я теперь только полячек любить желаю!»

А Настя его провожала и подарила ему кiset с махоркой, как всегда полагалось на военных проводах, и махала ему, заплаканная, когда он уезжал.

Писем от него не приходило.

Первым, месяца через три после отъезда Николая, посватался к ней телеграфист с вокзальной почты. Он говорил: «Вы увянете без мужской любви. А у меня есть и дом под городом, и у мамыши моей корова отелилась». Настя расплакалась и в слезах выпроводила его из дома. Он вышел на улицу, стряхнул соломку с пиджака, сказал рассудительно: «Вы все-таки поймите меня в виду».

Через год, осенью, приехали студенты на уборку. И один из них — Вася — с трогательной преданностью приходил к ней после работы на линию. Он носил очки, шурился близоруко, когда их снимал, из кармана куртки у него всегда торчал учебник математики. «Знаете,— говорил он,— с такой интересной теоремой познакомился сегодня!» Можно было подумать, что он встретил человека удивительной судьбы — Вася говорил о теоремах, как о живых людях. Настя плохо знала математику, но Васина горячность ее увлекала, и она слушала его слова о тангенсах и гипотенузах, как рассказ о неведомом, но красивом мире.

Перед отъездом Вася пришел молчаливый, долго стоял в дверях, потом сказал: «Настя, давайте каждый день писать друг другу письма». Настя ответила: «Вы очень хороший, Вася, но я не смогу писать». Вася протер очки, полистал зачем-то учебник и медленно пошел от створки вдоль полотна.

\* \* \*

\*

А Николай просто песню запел, когда к ее дому стал подходить: «Живет моя отрада...» И она плеснулась к окну и увидела его с деревянным чемоданом в руке. Споткнулась о порог, выбежала, замерла, как прутик ивовый. Колька в канаву бросил чемодан, пилотку зачем-то прямо в небо швырнул, схватил Настю на руки и не в дом понес, а на луг, что возле дома, и целовал ее под солнцем, среди мокрой болотной травы. Она лежала тихая у него в руках, потом встрепенулась, прошептала: «Поезд восьмичасовой... Надо желтый...» И Колька бросился в дом, схватил желтый флажок и встал у железнодорожной насыпи, такой богатый, словно всех пропускал в счастье.

Я тоже смотрел из окна. «Дождалась,— сказал я,— самого главного». «Чего самого главного?» — недоуменно спросил сосед. «Не знаю... У каждого оно свое, это главное».

И подумал, что главное — это, наверное, дожждаться чувства, которое бы озарило всю жизнь до ее конца. И потом еще подумал со щемящей грустью, что совсем не просто его дожждаться, ибо жизнь человеческая скоротечна, а человек так не любит ждать.

●

## ВСТРЕЧИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ

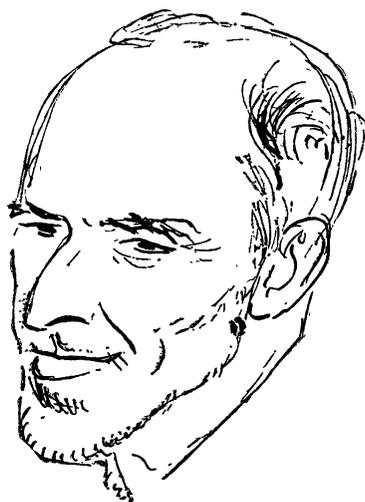


Рис. В. Милашевского

Осипа Эмильевича Мандельштама я очень любил, знаком был с ним в течение семнадцати лет, довольно часто встречал его, но никогда не был с ним близок — отчасти из-за разницы в возрасте, отчасти оттого, что он, со свойственной ему откровенностью, никогда не скрывал от меня пренебрежительного отношения ко всему, что я писал. Ему чужды были не только мои робкие литературные попытки, но и весь строй моих литературных пристрастий.

Из русских поэтов он больше всего любил Пушкина, Батюшкова и Баратынского.

Когда-то учился он, подобно мне, в Тенишевском училище в Петер-

бурге, но окончил его лет на пятнадцать раньше меня. В 1918 году он уехал из Петрограда в Крым.

Впервые я увидел его в конце 1920 года, когда он вернулся в Петроград из Крыма, только что освобожденного от Врангеля. Подобно Волошину, он предпочел остаться в Советской России. Перед приходом в Крым наших он жил в Феодосии и там написал:

Недалеко от Смирны и Багдада,  
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

В Петрограде его поселили в Доме искусств на Мойке, 59; дали ему комнатенку возле комнаты Михаила Слонимского. Мандельштам был невысокий человек, сухощавый, хорошо сложенный, с тонким лицом и добрыми глазами. Он уже заметно лысел, и это его, видимо, беспо-

койло, потому что одно его стихотворение начиналось так:

Холодок щечок темя,  
И нельзя признаться друг,  
И меня срезает время,  
Как скосило твой каблук.

Обликом он в те годы был отдаленно похож на Пушкина — и знал это. Вскоре после его приезда в Доме искусств был маскарад, и он явился на него загримированный Пушкиным — в сером цилиндре, с наклеенными бачками.

По просьбе моих товарищей тенишевцев я как-то раз привел его в Тенишевское училище почитать стихи, подобно тому, как приводил раньше Гумилева. Он пришел охотно, хотя, кажется, нисколько не был растроган посещением школы своего детства. Мы все в то время знали только одну его книгу стихов — «Камень», вышедшую перед первой мировой войной. Особенной известностью пользовались те стихи из «Камня», в которых умно и красноречиво описывались знаменитые памятники архитектуры: «Айя-София», «Notre Dame», «Адмиралтейство». За эти изысканные и умные стихи, написанные очень торжественным тоном, насмешники прозвали Мандельштама «мраморной мухой». Меня же эти великолепные стихи, отчетливо отразившие все основные каноны акмеизма, оставляли равнодушным. В «Камне» меня волновало другое — то, что находилось как бы на периферии этой книги. Меня удивляло точностью, простотой, ритмом и умом стихотворение Мандельштама, написанное им еще в ранней юности, в 1909 году:

Дано мне тело — что мне делать с ним,  
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить  
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,  
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло  
Мое дыхание, мое тепло...

Некоторые стихотворения «Камня» поражали меня еще одной чер-

той — правдивостью изображения, реалистичностью.

Вот, например, изображение оперного спектакля в восьмиистишии из «Камня»:

Летают Валькирии, поют смычки.  
Громоздкая опера к концу идет.  
С тяжелыми шубами гайдуки  
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;  
Еще рукоплещет в райке глупец,  
Извозчики пляшут вокруг костров.  
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

Но больше всего во всем «Камне» нравилось мне стихотворение «Петербургские строфы» — о дореволюционном Петербурге.

Начиналось оно так:

Над желтизной правительственных зданий  
Кружилась долго мутная метель,  
И правед опять садится в сани,  
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припекке  
Зажглось каюты толстое стекло.  
Чудовищна — как броненосец в доке,—  
Россия отдыхает тяжело,

А над Невой — посольства полумира,  
Адмиралтейство, солнце, тишина!  
И государства жесткая порфира,  
Как власяница грубая, бедна...

Это поразительное по образительной точности и ритмике стихотворение особенно трогало меня своим концом, где внезапно появлялся Евгений из «Медного всадника» — нищий интеллигент-разночинец, противопоставленный императорскому Петербургу:

Летит в туман моторов вереница;  
Самолюбивый, скромный пешеход —  
Чудак Евгений — бедности стыдится,  
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

Этот образ нищего разночинца, столь чуждый снобам-акмеистам, появился в «Камне» только один раз, и еще трудно было предугадать, какое большое место суждено ему было занять в дальнейшем творчестве Мандельштама.

Из более поздних его стихотворений я в то время знал только одно — то, в котором он отрекается от «Камня»:

Уничтожает пламень  
Сухую жизнь мою,  
И ныне я не камень,  
А дерево пою.

Оно легко и грубо,  
Из одного куска  
И сердцевина дуба  
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,  
Стучите, молотки,  
О деревянном рае,  
Где вещи так легки.

Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамейках в зале, где на переменах играли в пятнашки, а он, стоя, читал перед нами — торжественно, нараспев, задирая маленькую голову, как молодой петушок. Он объяснил нам, что русская поэзия по духу — эллинистическая, и что в возврате к эллинизму лежит единственный путь ее очищения. К этим взглядам пришел он под влиянием своих крымских впечатлений, потому что в Крыму ему все напоминало Элладу. Часа два читал он нам все новые и новые стихи, в которых поминались Персефона, Пиэрия, ахейские мужи, Троя, Елена. Смысл этих стихов дошел до меня гораздо позже, а тогда я был заморожен их звуком. Мандельштам читал, подчеркивая звуковую, а не смысловую сторону стиха, а я с наслаждением слушал, что он делает из сочетания звуков д, р и е:

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?  
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.  
И падают стрелы сухим деревянным дождем,  
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Или какого изящного разнообразия русских е добивался он в двух строчках:

Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,  
Уже босая Делия летит.

Помню два его стихотворения о Петербурге, написанных уже после революции. Первое из них написано было еще в 1918 году, перед отъездом в Крым, когда холодный, замерзающий Петроград перестал быть столицей и стремительно пустил. Оно начинается так:

На страшной высоте блуждающий огонь,  
Но разве так звезда мерцает?  
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,  
Твой брат, Петрополь, умирает,

Второе стихотворение о Петрограде он написал в Крыму, при

Брангеле. Оно полно тоски по родному городу:

В Петербурге мы сойдемся снова,  
Словно солнце мы похоронили в нем...

В Петрограде он прожил тогда до весны 1922 года, и я встречал его в Доме искусств и у Наппельбаумов. Из Дома искусств он переехал в Дом ученых, где Горький дал ему комнату, и я как-то зимой был там у него. Окно выходило на замерзшую Неву, мебель была роскошная, с позолотой, круглые зеркала в золоченых рамах, потолок высочайший, со сгустившейся под ним полутьмой, в углу старинные часы величиной с шкаф, которые отмечали не только секунду, минуту и час, но и месяц, и число месяца. Мандельштам лежал на кровати, лицом к окну, к Неве, и курил, и в комнате не было ничего, принадлежавшего ему, кроме папирос,— ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту — безытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада.

Я вспомнил эту комнату, Неву за окном и часы, отмечающие месяцы, прочитав впоследствии его стихотворение «Соломинка», казавшееся многим непонятным:

В часы бессонницы предметы тяжелее,  
Как будто меньше их — такая тишина —  
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,  
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,  
В огромной комнате над черною Невой,  
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,  
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,  
Как будто в комнате тяжелая Нева.  
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье —  
Я научился вам, блаженные слеза.

Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. С этого времени начались мои более близкие с ним отношения, потому что в Москве он оказал мне

большую услугу и выручил меня из беды.

Это была моя первая поездка в Москву и вообще первая сколько-нибудь дальняя поездка — до тех пор я никогда не ездил из Петрограда дальше Пскова.

Попал я в Москву следующим образом. Мне было восемнадцать лет, я писал стихи и страстно мечтал увидеть их напечатанными. Не то чтобы я считал свои стихи прекрасными, вовсе нет, я был о них скромного мнения. И все же я только о том и думал, как бы их напечатать. Необъяснимая непоследовательность. Но что поделаешь, так будет. К моему горю, никто не изъявлял желания их напечатать. И я решил напечатать их сам.

В зиму с 1921 на 1922 год в судьбе русской православной церкви произошло крупное событие — возникло новое религиозное течение, назвавшее себя Живой Церковью. Вот причина его возникновения. В 1921 году был неурожай в Поволжье, и Советское правительство, чтобы накормить голодающих, решило закупить хлеб за границей. Для этого нужно было золото, а золота не хватало. Для того чтобы достать золото, решено было изъять ценности, находившиеся в руках у церкви. Патриарх Тихон, глава церкви, человек, настроенный белогвардейски, воспротивился этому. По его указанию священники и монахи стали прятать церковные ценности от властей.

Но Тихон рассчитал плохо: большинство верующих не поддержало его. Помощь голодающим была задача, которой до такой степени все сочувствовали, что противодействие ей не могло стать популярным. В особенно трудное положение попали церковники в Петрограде.

Среди петроградских рабочих в те времена было еще очень много верующих. Однако политические их взгляды несколько не отличались от политических взглядов всех остальных рабочих, они вместе со всеми участвовали в Октябрьской революции, служили в Красной

гвардии, сражались с Юденичем, подавляли кронштадтский мятеж. И отказ церковников помочь голодающим возмутил их.

Всем этим воспользовался о. Александр Введенский, настоятель церкви Захария и Елисаветы на Захарьевской улице. Во время одной из служб он в присутствии всех прихожан снял с себя золотой священнический крест и пожертвовал его в фонд помощи голодающим. Он пожертвовал голодающим все золотые и серебряные предметы своего храма. Он организовал среди своих прихожан сбор средств для голодающих. За все это патриарх Тихон лишил его священства. Он не подчинился патриарху и организовал свою особую церковь, отдельную от православной, которую назвал Живой.

Это был рослый мужчина тридцати с небольшим лет, цыганского типа. В городе его хорошо знали, потому что он нередко выступал на антирелигиозных диспутах, очень распространенных в первые революционные годы. Не раз бывал он оппонентом и самого Луначарского. Луначарский доказывал, что бога нет, а священник Александр Введенский утверждал, что есть. При этом он говорил, что цели у христианства и большевизма одни и те же и что все истинно верующие должны поддерживать Советскую власть.

Живая Церковь ввела богослужение на русском языке вместо церковнославянского, отменила безбрачие монашества. Александр Введенский стал митрополитом и в своих проповедях поминал имена Шопенгауэра, Дарвина, Маркса и Александра Блока. Портрет Александра Блока (увеличенную фотографию работы М. С. Наппельбаума) он даже поместил среди икон на иконостасе церкви Захария и Елисаветы. Последователей у него было много.

Пылкой его последовательницей была преподавательница Тенишевского училища К., сухопарая, длинная старуха из петербургских немков, принявшая во время первой

мировой войны православие. У нее была дочь Таня, учившаяся со мной в одном классе. Таня тоже стала пламенной сторонницей Живой Церкви, а потом сделалась невестой Александра Введенского.

Эта Таня открыла мне дорогу в 9-ю государственную типографию, находившуюся на Моховой, неподалеку от улицы Белинского, — маленькое полукустарное предприятие, занимавшееся, главным образом, печатаньем афиш, бланков и этикеток. В ней работал метранпаж Васильев — плотный сорокалетний мужчина с примасленными светлыми волосами, горячий сторонник Живой Церкви и поклонник Введенского. Рекомендация невесты митрополита подействовала безотказно. Типография согласилась в кредит снабдить меня бумагой и в кредит отпечатать книгу стихов с тем, что я расплачусь, когда продам тираж — тысячу экземпляров.

Я был счастлив, но тут выяснилось, что у меня нет стихов даже на самую маленькую книжку. То есть, разумеется, стихотворений у меня было уже несколько десятков, но я считал стоящими два-три, написанные в самое последнее время. Но не терять же такую редкостную возможность — издать книгу. И я решил издать сборник стихов разных поэтов, включив в него и свои.

Несколько стихотворений я взял у своих приятельниц — Нины Берберовой и сестер Наппельбаум. В зиму я учился на первом курсе Ленинградского университета, и среди моих сокурсников было, конечно, множество поэтов. Я и у них взял стихи — то, что мне казалось лучшим. Одно стихотворение дал мне Николай Тихонов, — между прочим, нигде никогда с тех пор больше не печатавшееся. Своих стихотворений я включил в сборник только три.

Юные поэты, мечтавшие напечататься в моем сборнике, заискивали передо мной. Я внезапно стал влиятельным лицом и упивался этим. Мы сообща придумали сборнику воинственное название — «Ушкуйники», хотя стихи наши были робки,

бледны и ничего воинственного не содержали.

Типография, у которой не было заказов, изготовила книжку в несколько дней. И вот «Ушкуйники» готовы, одеты в белую обложку из меловой бумаги, и весь тираж свежен к нам на квартиру на Кирочной улице и сложен в углу моей комнаты.

Это была изрядная кipa — тысяча экземпляров! Я роздал по десять книжек каждому автору, я подарил по книжке всем моим знакомым, но кipa почти не уменьшилась. На мне висел долг в 381 миллион и угнетал мою душу. «Ушкуйники» нужно было продать — и как можно скорее.

По книжным магазинам Петрограда мы отправились вдвоем с моим братом Бобой, которому шел двенадцатый год. Он помогал мне нести книги.

Оказалось, что в Петрограде нет и двадцати книжных магазинов. Мы все их обошли за два часа. Нэп был в самом разгаре, и почти все книжные лавки принадлежали частным владельцам. В двух магазинах у нас купили по пять экземпляров. В одном купили три, — и то только потому, что Боба был очень хорошенький мальчик и понравился продавцу. В двух магазинах взяли у нас по десять экземпляров, но на комиссию, — с тем, что деньги нам будут уплачены только тогда, когда экземпляры разойдутся. В остальных не взяли ничего. Когда нам отказывали, Боба, выходя из магазина, плевал на порог.

Необходимо было рассчитаться с типографией, но как добыть деньги? Всю весну 1922 года прожил я в тоске и тревоге.

А между тем слава моя как издателя росла и росла. Первокурсник, мальчишка, а уже издал книгу! Университет кишел восемнадцатилетними поэтами, и все они заискивали передо мной, надеясь, что я издам и их. Напечататься, только бы напечататься! Меня умоляли издать второй сборник и включить всех, всех.

В эту несчастную для меня вес-

ну я сблизился со студентом Наумом Соломоновичем Левиным, называвшимся просто Ньюмой. Он был года на четыре старше меня и уже одним этим заслужил мое уважение.

Гуляя с Ньюмой Левиным по бесконечному университетскому коридору, я, чувствуя потребность поделиться своей тревогой, рассказал ему и о своем долге, и о том, что я отчаялся продать «Ушкуйники». К моему удивлению, Ньюма не нашел в моем положении ничего трагического.

— Вам просто нужно поехать в Москву,— сказал он.— Там больше книжных магазинов, чем в Петрограде, и там вы все продадите. Билет я вам достану бесплатный. Мой дядя работает в Управлении железной дороги и устроит билет. Я поеду вместе с вами,— добавил он.— У меня в Москве родственники. Мы оба остановимся у них.

Через несколько дней его проект принял следующий вид. Мы с ним оба едем в Москву и везем с собой весь тираж «Ушкуйников». Останавливаемся у его родственников. Продаем «Ушкуйников» московским книготорговцам. В результате продажи у меня, за вычетом долга, останется сумма в несколько сот миллионов рублей. Мы вернемся в Петроград, и Ньюма Левин к моим сотням миллионов прибавит свои сотни миллионов — ровно столько же. На эти деньги мы начнем издавать литературно-художественный журнал. Мы оба будем издателями и редакторами на равных началах. Для нашего журнала есть прекрасное название — «Корабль».

Я сразу согласился на все. Я понимал, что у меня нет никакой другой надежды расплатиться с типографией. Да и издательский зуд во мне еще не прошел. Стать редактором журнала и печатать в нем все, что захочешь,— разве можно вообразить себе большее счастье?

Я сдал только половину экзаменов, и то посредственно, и остался на второй год. Но зато весь первый курс узнал, что я редактор журнала «Корабль». Я уже деятельно за-

нимался собиранием материалов для первого номера. Я достал стихи и у Ходасевича и Анны Ахматовой — рукописи их потом долго хранились у меня.

Тем временем наступило лето. Студентов распустили на каникулы, и мы с Ньюмой Левиным решили ехать, не откладывая.

Я запаковал весь тираж «Ушкуйников» в рогожу, нанял человека с тачкой, злополучный сборник был отвезен на Московский вокзал, называвшийся тогда Октябрьским, и сдан в багаж. Я стал готовиться к отъезду. Достал заплечный мешок на ремнях, положил в него три банки сгущенного молока, чистую рубаху и полбуханки хлеба; мама дала мне немного денег на путевые расходы — миллионов двадцать. Снаряженный таким образом, я пошел на квартиру к Ньюме Левиной, чтобы отправиться с ним на поезд.

Однако в тот день уехать не удалось, потому что Ньюма сказал, что дядя его достал билеты не на сегодня, а на завтра. Он раскрыл бумажник и дал мне мой билет. Один день — не расчет, и задержка меня не огорчила. Провожая меня в прихожей, Ньюма спросил:

— У вас есть какие-нибудь деньги?

Я показал ему двадцать миллионов.

— Одолжите мне их до завтра,— сказал Ньюма.— Мы завтра поедем вместе, и в поезде я вам отдам.

Я дал ему все свои деньги и пошел домой.

На другой день в тот же час я опять был у Ньюмы Левиной. Он жил очень близко от вокзала, и мы вышли из его квартиры минут за двадцать до отхода поезда. На улице я заметил, что у него нет никакого багажа. Отправляясь в Москву, он даже кепки не надел.

— Я ничего не хочу с собой таскать,— ответил он на мой удивленный вопрос.— В Москве у моих родственников все найдется.

В вагон мы вошли за пять минут до третьего звонка. Ньюма, как человек более опытный, сразу нашел

мою полку и показал мне. Я снял заплечный мешок и сел.

— А где ваша полка? — спросил я.

— В том конце вагона, — ответил Ньюма.

Но он не пошел ее разыскивать, а продолжал стоять передо мной, чего-то ожидая.

Поезд вздрогнул и медленно двинулся. Ньюма вдруг кивнул мне и быстро пошел к выходу. Только тут я заподозрил что-то неладное. Я побежал за ним и догнал на площадке.

— Ньюма!..

Он обернулся, но не взглянул мне в глаза. Лоб у него был в поту.

— Я не еду, — сказал он.

И на ходу соскочил с поезда.

Я растерялся. Пока я размышлял, прыгать ли мне за ним, поезд пошел так быстро, что прыгнуть было уже невозможно. Я вернулся в вагон, сел на лавку и стал думать о своем положении.

Положение мое казалось мне ужасным. Во-первых, Ньюма не вернул мне моих денег, и у меня не было ни одной копейки. Во-вторых, в Москве я не знал ни одного человека, и мне негде было остановиться. С горя я съел банку сгущенного молока с хлебом и заснул.

В Москве было солнечно и очень жарко. Не зная, что предпринять, я спросил, где центр, и медленно побрел по Мясницкой. У меня не было даже несчастных двухсотпятидесяти тысяч на трамвайный билет. Да и куда ехать? Я прошел Мясницкую, Кузнецкий мост, Тверскую, заходя в книжные магазины. У меня с собой был один экземпляр «Ушкуйников», я показывал его магазинщикам и спрашивал, сколько экземпляров такой книжки они могли бы купить у меня. Очень скоро мне стало ясно, что все книжные магазины Москвы не взяли бы у меня и пятидесяти экземпляров. Так что все зря — расплатиться с типографией не было надежды, да и пятьюдесятью экземплярами я не мог располагать, потому что по своей багажной квитанции я должен был получить весь свой груз

целиком, а что мне с ним делать, когда у меня не было денег даже на то, чтобы сдать его в камеру хранения. У меня не было денег даже на телеграмму маме, даже на почтовую открытку.

Днем на бульварной скамейке я пообедал — сгущенным молоком с хлебом. Жара стояла изнурительная, от сладкого сгущенного молока меня тошнило, хотелось пить. Я уже не искал книжных магазинов, а бесцельно бродил по бульварному кольцу из конца в конец. Долгий жаркий день погас. Я присел на скамейку на Тверском бульваре и провел на ней всю ночь.

Я дремал, сидя. Бульвар постепенно пустел.

Перед рассветом стало холодно, и мне захотелось есть. Я опустошил третью банку сгущенного молока и швырнул ее в траву. Я доел свой хлеб. Потом положил под голову пустой мешок, растянулся на скамейке и заснул крепчайшим сном.

Проснулся я, когда солнце плыло уже высоко над крышами, почувствовав, что кто-то пристально смотрит мне в лицо. Я открыл глаза. Надо мной стоял Осип Эмильевич Мандельштам, тревожно и внимательно разглядывая меня.

Оказалось, я, сам того не зная, провел ночь как раз напротив Дома Герцена (Тверской бульвар, 25), тогдашнего литературного центра Москвы, где в левом флигеле занимал в то время комнату Мандельштам.

Несмотря на то, что Осип Эмильевич знал меня мало и отношения его с нашей семьей были довольно поверхностные, он, увидя меня спящим на бульварной скамейке, отнесся ко мне сердечно и участливо. На его расспросы я со сна отвечал сбивчиво и не очень вразумительно, и он повел меня в сад Дома Герцена, за палисадник, и усадил там рядом с собой на скамейку, в тени под липой.

Мы начали прямо со стихов — все остальное нам обоим казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал

его стихотворение, которое начиналось:

Я по лесенке приставной  
Лез на включенный сеновал,—  
Я дышал звезд млечных трухой,  
Колтуном пространства дышал.

Потом он попросил читать меня.

Я читал последние свои стихи, читал старательно, и именно так, как читал он сам и все акмеисты, то есть подчеркивая голосом звуковую и ритмическую сторону стиха, а не смысловую. Мандельштам слушал меня внимательно, и на лице его не отражалось ни одобрения, ни порицания. Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил:

— Еще.

И я читал еще.

Когда я прочитал все, что мог, он сказал:

— Каким гуттаперчивым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие.

Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи.

Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось. Все так же участливо повел он меня к себе в комнату, на второй этаж.

Комната, в которой он жил,— большая и светлая,— была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настежь окна — один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал табак. Он предложил мне свертывать и курить.

Осип Эмилевич отнесся к «Ушкуйникам» с полным презрением, но мой долг в 381 миллион заинтересовал и взволновал его.

— Ну, это мы сейчас уладим,— сказал он мне.— Пойдемте.

И он повел меня по раскаленным московским улицам и привел в какое-то частное контрагентство печати, помещавшееся в одной комнатке в полуподвале. Там сидели четыре нэпмана средних лет, которые, как объяснил мне Мандельштам, открыли множество книжно-газетных ларьков по станциям же-

лезных дорог, но почти не имели товара для продажи. И они тут же купили у меня мою накладную на «Ушкуйники» и сразу же заплатили мне за нее один миллиард рублей.

Крупных купюр тогда не существовало, и весь этот миллиард с трудом записался в моей пустой заплечный мешок. И все мои горести рухнули разом. Я мог сегодня же ехать домой и расплатиться с типографией.

О журнале «Корабль» я больше не помышлял. Можно ли издавать журнал с компаньоном, который поступил со мной так подло! А чтобы издавать его одному, было мало моего миллиарда, да и после мытарств с «Ушкуйниками» затея эта мне изрядно опротивела. Я попрощался с Мандельштамом и пошел на вокзал, таща свой миллиард за плечами.

Счастливым, шел я пешком, чтобы посмотреть Москву. На всех перекрестках стояли лотки с надписью «Моссельпром», и с этих лотков женщины в белых халатах продавали папиросы, конфеты, шоколад. Из всего, что было на этих лотках, меня больше всего прельщал шоколад. На каждом перекрестке я останавливался, закладывая руку себе за спину, наощупь вытаскивал из мешка несколько миллионов и покупал плитку шоколада с орехами. Я съедал ее до следующего перекрестка и там покупал себе новую.

Ночью я спокойно спал в вагоне, положив голову на свой миллиард. На другой день я получил в типографии квитанцию об уплате долга. Авторам «Ушкуйников» я, к величайшему их удивлению, выдал гонорар. Остальные деньги отдал матери.

...Потом я встречался с Мандельштамом на протяжении еще пятнадцати лет. Он то пропадал на многие месяцы и даже годы из моего поля зрения, то возникал опять. У него никогда не было ни только никакого имущества, но и постоянной оседлости — он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил

там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор, пока не надоедало, и ехал в какое-нибудь другое место. Так жила он в Тбилиси, в Ереване, в Ростове, в Перми.

Конечно, немало жил он и в Москве. Не раз приезжал он и в Ленинград. Я встречался с ним, главным образом, в Ленинграде.

Он всегда был крайне беден, и каждый день в обеденный час начинал думать о том, где бы достать несколько рублей, чтобы пообедать.

Он был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. Обижаясь, он по-петушиному задира маленькую свою голову с перышками редяющих волос, выставлял вперед острый кадык на тощей, плохо бритой шее и начинал говорить об оскорбленной чести совершенно в староофицерском духе.

Когда в 1913 году Мандельштам написал: «Самолюбивый, скромный пешеход — чудак Евгений — бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!», он изобразил самого себя. Это он и был всю жизнь самолюбивым пешеходом. Он вырос в императорском Петербурге среди военных парадов и карет с гербами, но отец его был мелким торговцем кожей, и ни к парадам, ни к гербам маленький Осип не имел никакого отношения. Он правдиво и точно написал об этом в стихотворении двадцатых годов «Лэди Годива»:

С миром державным я был лишь ребячески  
связан,  
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел  
исподлобья,  
И ни крупницей души я ему не обязан,  
Как я ни мучил себя по чужому подобию.  
С важностью глупой, насупившись, в митре  
бобровой  
Я не стоял под египетским портиком банка,  
И над лимонной Невою под хруст сторублевой  
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Литературную деятельность он начал вместе с акмеистами — поэтической школой, наиболее отчетливо выражавшей эстетические взгляды господствующих классов предреволюционной России. Но он

всегда болезненно и самолюбиво ощущал свою несопряженность с окружающим его миром. В отличие от многих своих друзей, он приветствовал Октябрьскую революцию. Революция казалась ему страшной, грозной, но великой и достойной прославления. И он прославил ее:

Прославим роковое бремя,  
Которое в слезах народный вождь берет.

Мы в легионы боевые  
Связали ласточек — и вот  
Не видно солнца; вся стихия  
Щебечет, движется, живет;  
Сквозь сети — сумерки густые,  
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,  
Скрипучий поворот руля.  
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.  
Как плугом, океан деля,  
Мы будем помнить и в летейской стуже,  
Что десяти небес нам стояла земля.

В одной из своих статей Мандельштам писал, что ему, как разночинцу, чужды сочинения, основанные на семейных преданиях вроде аксаковского «Детства Багрова-внука», потому что у разночинца нет семейных преданий, нет никакого прошлого, кроме книг, которые он прочел.

«Я — трамвайная вишенка страшной поры», — написал он о себе вскоре после окончания гражданской войны.

Стихи свои ему удавалось печатать редко. В 1928 году он выпустил сборник «Стихотворения». Тираж этой книжки — две тысячи экземпляров. В тридцатые годы он напечатал в журнале «Звезда» цикл стихотворений об Армении.

Стихи его усердно переписывались и заучивались наизусть любителями поэзии, но в печати откликов не получали.

В последнее десятилетие своей жизни он внешне уже несколько не походил на Пушкина. Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навел на него как-то летом, когда он жил в Детском Селе. Он поразил меня своей нервозностью, душевной угнетенностью. Он очень много говорил, то вскакивал, то садился;

иногда он вдруг опускал голову на стол, и когда поднимал ее, в глазах его стояли слезы. Куря, Осип Эмильевич обычно не пользовался пепельницей; пепел с папиросы он стряхивал себе за спину через левое плечо. И на левом плече его всегда собиралась горка пепла.

В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал «стрелой».

— А мы на час позже,— сказал он.— Мы пошли бы посидеть в ресторан, но...

В наступившие вскоре недобрые времена его выслали в Воронеж. Выслали без всякой вины, а просто так, потому что он был

Как незаконная комета  
Среди расчисленных светил.

Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора, гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбегал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз.

Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на канале Грибоедова, 9, в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал, кроме Стенича и его жены, Мандельштама с Надеждой Яковлевной и Анну Андреевну Ахматову. Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандельштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу

Мандельштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что вышедшей тогда «Второй книги стихов» Заболоцкого; он читал, восхищаясь, но Ахматова слушала сдержанно, а Мандельштам со свойственной ему прямоотой сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла «Мне от бабушки-татарки были редкостью подарки»,— стихотворение, которое мы все хорошо знали. Хозяева повели нас в соседнюю комнату к столу. Стол был не роскошен, но на нем стояло несколько бутылок вина.

Выпив вина, Мандельштам ожил. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую, угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие лапы,плыли в воздухе над столом.

На другой день он уехал. Через неделю Стенич был арестован. Потом был арестован и Мандельштам. Оба они погибли.

А я навсегда запомнил одно из самых последних его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича:

Жил Александр Герцович,  
Еврейский музыкант,  
Он Шуберта наверчивал  
Как чистый бриллиант,  
И влась с утра до вечера,  
Заученную вхруст,  
Одну сонату вечную  
Играл он наизусть...  
Что, Александр Герцович,  
На улице темно?  
Брось, Александр Сердцевич,  
Чего там! Все равно...  
Пускай там итальяночка,  
Покуда снег хрустит,  
На узеньких на саночках  
За Шубертом летит.  
Нам с музыкой-голубою  
Не страшно умереть,  
А там вороньей шубою  
На вешалке висеть.  
Все, Александр Герцович,  
Заверчено давно,  
Брось, Александр Скерцович,  
Чего там... Все равно.

## ВОСЕМЬ НЕИЗДАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

\* \* \*

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,  
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей  
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,  
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать —  
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок  
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.

\* \* \*

Мы с тобой на кухне посидим.  
Сладко пахнет белый керосин.  
Острый нож да хлеба каравай...  
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери  
Завязать корзину до зари,  
Чтобы нам уехать на вокзал,  
Где бы нас никто не отыскал.

\* \* \*

Эта область в темноводье —  
Хляби хлеба, гроз ведро —  
Не дворянское угодье —  
Океанское ядро.  
Я люблю ее рисунок —  
Он на Африку похож.  
Дайте свет — прозрачных лунок  
На фанере не сочтешь...



\* \* \*

Мой щегол, я голову закину —  
Поглядим на мир вдвоем:  
Зимний день, колючий как мякина,  
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,  
Ниже клюва в краску влит,

Сознаешь ли, до чего щегол ты,  
До чего ты щеголит?  
Что за воздух у него в надлобье —  
Черн и красен, желт и бел!  
В обе стороны он в оба смотрит —  
в обе! —  
Не посмотрит, улетел...

\* \* \*

Я нынче в паутине световой —  
Черноволосой, светлорусой.  
Народу нужен свет и воздух голубой,  
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,  
А сам найду его едва ли —

Таких прозрачных, плачущих камней  
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-  
родной,  
Чтоб от него он вечно просыпался,  
И льнянокудрюю, каштановой  
волной —

Его дыханьем умывался...

## Из восьмистиший

Люблю появление ткани,  
Когда после двух или трех,  
А то четырех задыханий  
Придет выпрямительный вздох.  
И так хорошо мне и тяжко,  
Когда приближается миг —  
И вдруг дуговая растяжка  
Звучит в бормотаньях моих.

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гамме,  
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,  
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, —  
Считали пульс толпы и верили толпе.  
Быть может, прежде губ уже родился шепот  
И в бездревесности кружились листья,  
И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты.

# ТАЙНА ПРИОКСКОЙ ПОЙМЫ

В придорожной чайной жарко и шумно. То и дело хлопает дверь. Люди с загорелыми, обветренными лицами усаживаются за столы, требуют чаю и еще чего-нибудь посушественней. С ними вместе врываются в помещение весенние запахи, будоражат, волнуют, зовут...

За мой столик садятся трое. Это — председатели колхозов, возвращающиеся с областного совещания.

Я невольно вслушиваюсь в их разговор.

— Вам сегодня ясно сказали, что под травы удобрения не дадут, — внушительно сказал осанистый пожилой колхозник, которого почтительно величали Алексеем Петровичем.

— А что же будем делать? — с беспокойством спросил сосед.

— Распахем пойму, — решительно заявил Алексей Петрович, наливая себе стакан крепкого чая.

Мне показалось, однако, что в голосе его прозвучала нотка сожаления. Видимо, ее уловил и собеседник слева.

— Не жалко? — сказал он.

Алексей Петрович неторопливо допил пахучий чаек, отодвинул стакан.

— Давно примерялись. Теперь уж распахем!

— Не прогадать бы!

— Не прогадаем! — Алексей Петрович вынул из бокового кармана исписанный листок и, положив его

перед собой, стал рассказывать о своих расчетах.

Голос его теперь был тверд. Он, не заглядывая в бумажку, подсчитывал выгоду, которую принесет распаханная пойма.

— Первое дело — не возить ил. На что возить его, класть силы, когда Ока сама несет его на пойму? А в иле азот и калий. Забота будет добавить фосфору. Полтонны на гектар.

— Пойма — она кислая, — вставляет собеседник справа. — Хвощ да щавель так и прут.

Алексей Петрович и это знал. Он сказал, что произвесткует пойму, и сколько извести на это пойдет, цену ее назвал, также и суперфосфата, расходы на вывозку удобрений, на то, чтобы внести их в почву. Конечно, сумма солидная, но пойма родит столько овощей, картофеля, кукурузы, что доходы все равно перекроют расходы.

У меня даже дыхание перехватило от журналистской удачи. Вот оно, химия входит в жизнь...

— А что же у вас и картограммы есть? — невольно вмешался я в разговор. — Нужны ведь агрохимические анализы.

Алексей Петрович глянул на меня пытливо:

— Анализы, говоришь? — Он усмехнулся озадаченно. — Спроси лучше, кто их сделает, эти анализы-то? Прикинули на глазок...

И в самом деле — кто?..

\* \* \*

Вошла секретарша и со значением объявила:

— Людмила Ивановна!

Директор Московского почвенного института поднял от бумаг голову и увидел в окне промытое весеннее небо. При такой погоде почвы быстро просыхают, и, конечно, Людмила Ивановна будет проситься в командировку.

Он следил, как она приближается к столу неслышными шагами. Откуда у этой маленькой женщины столько энергии и упорства?

— Что скажете? — осторожно осведомился директор.

— Приокскую пойму хочу посмотреть.

Директор нахмурился. В институте дел по горло. Лабораторию завалили образцами почв со всех концов страны. Надо сделать тысячи анализов. Ей бы присмотреть лучше за молодыми лаборантками! Надо и отчеты составлять, планы, доклады. А на пойму можно послать и лаборантку, та привезет пробы, изучай их сколько влезет. И зачем это ей надо обязательно самой? Может быть, не пускать? Запретить?

Он посмотрел на доброе лицо стоящей перед ним женщины. Она виновато сощурила голубые глаза. Усмехнулся: не пусти ее, так ведь все равно удерет...

Директор строго сказал:

— Ну, где там ваша заявка?

...Дома давно привыкли к бесконечным странствиям Людмилы Ивановны Кораблевой. Напутствуя ее в дорогу, мать, как обычно, ворчала:

— Пора бы уж уgomониться. Будто дома дел мало.

Первую половину пути она все думала об этих домашних делах. Мама стареет. Ей все труднее управляться по хозяйству. И за сыновьями самой присмотреть бы надо...

Потом припомнилось давнее: кунстинская школа под Костромой. Помогала взрослым в поле, на огороде. И все думала: «Чего не хватает земле для высокого урожая?»

Окончив школу, уехала в Москву, на агрохимический факультет Тимирязевки. Были увлекательнейшие лекции Дмитрия Николаевича Прянишникова. Была его школа. Была прянишниковская агрохимическая группа в Московском почвенном институте. И странствия. Бесконечные странствия по земле, поверявшей ей, как близкому другу, свои сокровенные тайны...

Как только остался позади Подольск, мыслями завладели совхоз «Большевик» и Приокская пойма.

Серпуховский автобус приближался к Оке. Стало свежее. Ощущалось дыхание большой реки.

За окнами вдруг развернулось голубое полотнище. Вода! Неужто Ока так разлилась?

Да, это Ока. Она затопила пойму до самых домов. Сарай, деревья стояли в воде. Вода подобралась и к дороге, затопила канавы, в которых самозабвенно плещутся утки.

Красив и величествен голубой разлив. Вода стоит неподвижно, спокойно, будто и не собирается никуда уходить. Но она уйдет, уйдет так же неожиданно, как и пришла. А уходя, напоит пойму, оставит свои дары приокской земле...

\* \* \*

Контора совхоза «Большевик» разместилась в бывшей церквушке, на пригорке, за старой кирпичной оградой. В кабинете директора было двое: сам Федор Андреевич Карпов — невысокий пожилой человек и чем-то неуловимо похожий на него Филипп Кузьмич Титов — главный бухгалтер.

— Что же, — произнес Карпов, выслушав гостя. — Анализируйте.

— Только не за наш счет, — вставил Титов. — Хозяйство на хозяйском расчете: каждая копейка на виду.

Людмила Ивановна начала подробно расспрашивать о хозяйстве. Пожалуйста. Федор Андреевич, давно здесь работавший, рассказывал обо всем, что интересовало агрохимика. Он не преминул заметить, что «Большевик» вот уже четверть века снабжает столицу овощами, картофелем и молоком. Здешние рацио-

нализаторы придумали остроумные машины и механизировали все работы на полях. Совхоз — пионер в этом деле. Овощеводы снимают высокие урожаи — в среднем по 250 центнеров с гектара.

— Вон какие урожаи берем без всяких анализов!

Людмила Ивановна записывала в блокнот: дерново-подзолистые на суходолах и пойменные — по Оке и ее левым притокам Протве и Наре.

А главный бухгалтер разговорился:

— Только на минеральных удобрениях и держимся. Навоза мало. Для набивки парников и то не хватает. Суперфосфат нарасхват. Люди знают: больше положишь — больше возьмешь! Так, Людмила Ивановна?

— Не всегда, — неопределенно ответила гостя.

Она попрощалась и вышла.

Ока нежилась под теплом солнца. Порой налетал ветерок, он гнал по воде легкую рябь. Вода искрилась, сверкала, и Людмила Ивановна задумалась: «Попробуй, разгадай ее тайну!»

Поодаль зеркально отражали солнечные лучи стекла в парниковых рамах. Женщины в аккуратных ватниках открывали их, и когда наклонялись к только проклюнувшимся растениям, зеленый отсвет озарял их лица.

Людмила Ивановна подошла к ним, спросила об удобрениях.

— Ока много перегноя дает. Но для бригады этого мало. Не тот размах! Приходится вносить суперфосфат. Мы не скупимся. Больше положишь — больше возьмешь! — повторила пожилая работница слова бухгалтера.

— А известь? — поинтересовалась Кораблева.

— Известь? — переспросила работница. — А как же? Вносим. И много. Почвы-то, они кислые.

Анализы на кислотность? Работница усмехнулась. Кто ж будет делать их? Да и зачем? Так видно: хвощ-то вон как прет. И щавель. Они только на кислых почвах и растут.

Кораблева пошла дальше. Поля, лежащие повыше, совсем просохли. Тут уж, пожалуй, можно и пробы брать.

Пробы, анализы... Сколько она их переделала за свою жизнь! И как странно, что такое большое хозяйство, как «Большевик», ведется без агрохимических анализов почв! «А урожаи снимают высокие, — раздумывала она. — Что ж, может, здешние мастера земледелия на зубок знают свои земли и правильно используют минеральные удобрения? Может быть, и анализы, которые она собирается делать, только подтвердят расчеты практиков? Тогда сама ее работа окажется бесполезной...»

Однако пора было приниматься за дело. Она выбрала поле посуше. Отбила гектар земли. Наметила диагонали в двух направлениях. Получился как бы конверт. Шла по диагоналям, выкапывая лопатой землю. Почва была податливой. Людмила Ивановна тщательно перемешала два десятка проб и только после этого наполнила мешочек. Она вложила в него этикетку, на которой были указаны отделение, бригада, номер поля, дата и пока что первый порядковый номер образца.

Так она делала всегда. Конечно, можно брать пробу из одного места. Копнул — вот тебе и проба! А вдруг именно сюда когда-то попало больше или, наоборот, меньше удобрений, именно здесь застоялась вода? Тогда в этом месте будут свои особые химические свойства и проба будет нетипичной для всего участка. Конвертный же способ исключает ошибки.

А почему Кораблева берет пробу с гектара? Ведь по инструкции полагается брать один анализ с десяти гектаров. И здесь у Людмилы Ивановны свои правила. Она исследует каждый гектар. Конечно, работы в десять раз больше. Зато надежнее, точнее.

...С каждым днем мешочков становилось все больше. Кораблева отвезла их в Москву, где в институтской агрохимической лаборато-

рии должны были делать анализы.

Землю высушили, размолоти и просеяли через сито с миллиметровыми отверстиями. Прежде всего нужно узнать, сколько в земле содержится фосфора, этого важного элемента, без которого не может жить ни человек, ни животное, ни растение. Хватит ли его для высокого урожая?

Лаборантка отвесила на точных весах пять граммов высушенной, превращенной в коричневую пыль почвы, высыпала ее в колбочку и залила раствором соляной кислоты.

Она подождала пятнадцать минут, пока раствор «вытянул» весь фосфор так, как это делают корни. Теперь нужно было определить, сколько в колбочке содержалось растворенного в кислоте питательного вещества.

Лаборантка осторожно подлила в пробирку раствор молибдена. Все это она перемешала оловянной палочкой. Раствор поголубел. Земля заговорила! На своеобразном цветном языке. Теперь по степени окраски, пользуясь специальной цветовой шкалой, было уже легко определить, сколько содержалось фосфора в почве.

Фосфора оказалось мало.

Анализ на кислотность дал кислую реакцию.

«Ну что ж, не ошибаются в «Большевик», — думала Кораблева, читая бумажки с результатами анализов. — Правильно делают, что вносят много извести и фосфора. Может быть, и закончить на этом исследование?»

Но ведь она брала образцы на суходолах. Пойма же была под водой. Что покажет она? И снова едет Кораблева в совхоз.

Она не узнала этих мест. Вот ограда и за ней контора в бывшей церквушке... А как все изменилось! А все Ока! Она уже ушла в свои берега, оставив после себя на сохнувших землях слой ила.

Река теперь не стояла. Ее мутные волны с торопливым шумом катились вниз. У границ поймы уже вырастали светло-желтые и голубо-

ватые горы извести и суперфосфата. Их вносят сюда вот уже двадцать пять лет.

С волнением копала Людмила Ивановна рыхлую землю, наполняя ею мешочки. Снова анализы в институтской лаборатории. Вот она держит в руках бумажки с результатами этих анализов и... не верит глазам! Сняла очки, тщательно протерла стекла. Еще раз посмотрела. На бумажке стояла цифра 20. Двадцать миллиграммов фосфора на сто граммов почвы!

— Не ошиблись? — спросила она лаборантку.

Та достала пробирку. Жидкость в ней была густо-синей. Ошибки нет. Почва в достатке обеспечена фосфором.

Кораблева повторила анализ сама. Результат тот же.

Она брала новые и новые образцы. Анализы говорили одно: в почве очень много фосфора, доступного растениям.

Анализы на кислотность показывали... нейтральную реакцию! В пойменных почвах не было кислоты!

«Нужно скорее ехать в совхоз! Предупредить, пока еще не поздно!» — думала Людмила Ивановна.

И правда, нужно было торопиться. Горы суперфосфата и извести на пойме все росли. Разгружались и разгружались машины. Все это разбросают по пойме и запашут. Сколько труда! А средств? Тонна извести обходится в четыре рубля, а суперфосфата — в тридцать девять! Хозяйство ежегодно расходует их сотни, тысячи тонн! И все напрасно. Без всякой пользы для урожая. Ведь почвы не нуждаются ни в извести, ни в фосфоре.

Однако сомнения одолевали Кораблеву. Разве ей поверят? Послушают? Сколько лет эти люди вносят сюда извести и суперфосфат и убеждены, что только благодаря этому и получают высокие урожаи. Урожай, от которых зависят их заработки, их жизнь, их судьба. И вдруг заявить, что все это зря.

А вдруг образцы почв, которые

она брала для анализов, случайны, не типичны для всей поймы?

Кораблева снова едет в «Большевик», берет новые образцы, снова исследует каждый гектар. Она проводит сотни анализов. Но результаты все тот же...

\* \* \*

Будто ничего и не изменилось: в кабинете у Карпова по-прежнему сидел Титов — главный бухгалтер. Людмила Ивановна показала результаты анализов.

— Видите,— волнуясь, говорила она,— пойма не нуждается ни в извести, ни в фосфоре. Совсем не нуждается. Надо немедленно запретить!

Запретить... Карпову представилось: к полям подъезжают машины, чтобы увезти суперфосфат и известь. Люди на пойме сразу же, конечно, бросают работу и бегут к машинам. Не дадут погрузить и грамма. Они знают, что с удобрениями урожай возьмут наверняка. А без фосфора? Без извести? Кто поручится, что возьмут?

— Почему же пойма вдруг оказалась не кислой? — недоверчиво спросил Карпов.

— Думаю, что не вдруг,— сказала Кораблева.— Ока и ее притоки сами известкуют почву. Ведь поля вода содержит много кальция. Вот анализ воды. Происходит естественное известкование.

— А щавель? А хвощ? — не сдавался Карпов.— Они же растут только на кислых почвах.

Верно. И щавель, и хвощ — показатель кислотности. Но Людмила Ивановна думает, что семена щавеля и споры хвоща приносит Ока и расселяет тут.

Не так-то легко изменить прочные убеждения.

— Откуда же в Оке известь? — поднимает плечами директор.

По берегам Оки и ее притоков много известковых пород, особенно между Калугой и Серпуховом. Кораблева еще раньше провела там исследования. Породы вымываются внешними водами, затем оседают на пойме.

В глазах у директора беспокойство.

— Люди не поверят,— сердито роняет он.

Кораблева почувствовала, что бессильна перешагнуть через какую-то черту. За ней, за этой чертой, находились люди из большого совхоза с их давним опытом, сложившимися традициями и высокими урожаями. А здесь она — одна-одинешенька. И все-то ее оружие — вот эти маленькие бумажки с цифрами анализов. Силы не равны.

Но она снова идет в наступление.

— Я поставлю опыты,— решительно объявила она.

Директор промолчал. Бухгалтер предупредил:

— Только не за наш счет!

\* \* \*

На другой день Кораблева приехала в совхоз с молодой лаборанткой Галей Ачкасовой. В одной из комнат конторы они расставили весы, колбы, пробирки, реактивы, внесли две раскладушки со спальными мешками. Здесь они будут жить и работать.

В хозяйстве шла посевная. Рабочие — на вес золота. Людмила Ивановна с Галей могут рассчитывать только на свои руки. Они вышли в поле. Отмерили двести квадратных метров для первого опыта. Посадили капусту без всяких удобрений. Рядом на таком же участке внесли фосфор и калий. Подальше — азот и калий. Потом — азот и фосфор. Следующий участок шел с полным минеральным удобрением. А там еще три делянки с одним фосфором, одним калием, одним азотом. Восемь делянок — 1 600 квадратных метров.

Залиты йодом ссадины на почерневших руках. Ломит спину. Гудят ноги. Ночью отлежаться бы. Выспаться. Но к утру обязательно надо закончить очередные почвенные анализы, чтобы сразу приняться за следующий опыт. Опять вносить и закапывать удобрения. Сажать рассаду капусты на таких же вось-

ми делянках, но уже в другом месте. И если бы это все! Такие же опыты с капустой надо заложить на третьем месте. А потом и на четвертом. Четырехкратное повторение! Чтобы исключить всякую случайность!

А ночью снова анализы, потому что надо заложить и такие же тридцать два участка со свеклой.

Все?

Как бы не так! А морковь? А картофель? А кукуруза? И Людмила Ивановна с Галей засаживают двадцать четыре двухсотметровых участка.

Вкруговую-то вышло ни много, ни мало — восемь тысяч квадратных метров.

\* \* \*

Деревенские новости скачут быстро.

— Слыхали? Ученые вон капусту посадили без извести. Да фосфора ни грамма!

— Что ж там взойдет? Лопух?

Норовистые бригадиры, опасаясь, как бы и взаправду не лишили их извести и фосфора, вывозили их тайно, по ночам. Да побольше!

На «худосочные лоскуты», как тут же окрестили опытные участки острые на язык работницы, иногда кое-кто наведывался. Чахнет, наверно, там рассада на кислой почве, без фосфора!

Видят — не чахнет.

Ну, ясно же! Пока рассада берет еще пищу из своего родного домика — питательного горшочка, в котором выросла. А вот дальше, когда домик станет тесен корням, вот тогда посмотрим!

Растения на делянках тянулись вверх, раздавались вширь. Корни, конечно, уже проникли за пределы торфоперегнойных домиков, отыскивая пищу в почве. Кораблева очень хорошо представляла себе, как молодые корешки пронизывают землю во всех направлениях, как «вытягивают» питательные растворы и, подобно насосам, гонят их наверх — к стеблю и листьям.

Что ж, ей можно быть спокойной за урожай? Растения ведь обеспе-

чены всем необходимым. Анализы точно установили запасы пищи в подземной кухне, и внесены недостающие блюда.

На первый взгляд так оно и есть. Но Кораблева-то хорошо знала, что никто не может поручиться, что корни вытягивают питательные вещества точно так же, как кислота в лаборатории. Кто может гарантировать, что в почве сейчас идеальные условия для усвоения питательных веществ? Достаточно ли структурна, рыхла почва, чтобы корни могли проникнуть во весь пахотный слой? Хватает ли там влаги, воздуха, тепла, чтобы азот, фосфор, калий стали доступны растению?

А сами растения? Разве все они одинаковы? Конечно же нет. У каждого свой характер, свой нрав, свой аппетит, который к тому же меняется на разных стадиях развития. Одни любят азот, другие предпочитают фосфор, третьим подавай сейчас калий. К тому же пропусти всего несколько дней — и растение не накопит необходимых питательных веществ для формирования урожая. Тогда все потеряно. Урожая не жди!

Кто же, кто расскажет о незримых, таинственных связях почвы и растения? Только само растение.

Однажды летом Кораблева пришла к опытным делянкам с маленьким чемоданчиком. Она поставила его на землю, открыла. Внутри на полочках стояли пузырьки с разноцветной жидкостью, лежали стекла, фильтровальная бумага, бритва. Здесь же находились таблички с разноцветными столбиками.

Когда Людмила Ивановна надрезала бритвой капустный лист, кто-то из проходивших мимо овощеводов высказал догадку:

— Никак прививку собираетесь делать?

— Нет, не прививку, а полевой анализ.

Людмила Ивановна вырезала десяток миллиметровых кусочков ткани, положила их рядышком на стекло. Потом на каждый срез капнула из пузырька с химическим раствором. Прежде чем надавить

стеклянной палочкой на срез, она пояснила:

— Если сейчас вытекут синие струйки, значит растению хватает азота. Если бледно-голубые — азота мало. И совсем его нет, когда ткань станет коричневой и даже черной.

Из среза вытекли бледно-голубые струйки.

— А фосфор? — попытался овощевод.

Людмила Ивановна положила на стекло кусочки фильтровальной бумаги, капнула на них из другого флакона. Сюда же пестиком выдавила из растений по капле сока. Жидкость тут же окрасилась в синий цвет.

Сравнивая бумажки с цветовой шкалой, сказала, что фосфора в растении вполне достаточно.

Проба на калий дала оранжевую окраску.

— Значит, и калий есть, — сказала Кораблева. — Но мало. Когда его много, то цвет бывает ярко-красным. Вообще, чем ярче окраска, тем лучше питается растение. Плохо, когда пятно желтое — тогда калия совсем нет.

Люди, собравшиеся вокруг Кораблевой, переглядывались. Они первый раз видели полевую лабораторию и, конечно, отнеслись к ней недоверчиво. Кораблева же хорошо знала цену этому фанерному ящику. Ведь такой химический анализ растения, названный экспресс-методом, и сам прибор предложила ее близкая подруга Вера Владимировна Церлинг — научный сотрудник того же Московского почвенного института.

Как важен он, такой полевой анализ, в летнюю жару, когда почва иссушается, и в холодные дни, когда подземная кухня готовит меньше пищи. А насколько? Каких именно блюд недостает? Ответ может дать только тот, кто пользуется этой пищей, — само растение!

Прислушиваясь к голосу полевых анализов, Людмила Ивановна вносила в почву те удобрения, в каких была нужда.

Маленький фанерный чемодан-

чик часто видели на опытных делянках. И каждый раз после него следовали подкормки.

Капуста, свекла, морковь, кукуруза, картофель поднимались прямо на глазах. Самый их вид — веселый, сочный, зеленый — красноречиво говорил, что теперь-то уж они ни в чем не нуждаются!

Кто-то из овощеводов однажды робко предложил:

— Может, и нам попробовать без фосфора?

— Скажешь тоже! — тут же возрадили ему. — Да положи сюда еще и фосфору — знаешь, какой бы урожаем вымахал!

Кораблева как бы ждала такого разговора. Она повела спорщиков на делянки, удобренные и суперфосфатом. Внесли сюда столько же, сколько и на основных полях.

— Видите? — показывала на капусту, на свеклу. — Урожай не прибавился.

Вообще-то Людмила Ивановна больше показывала, чем рассказывала. Вот сюда внесли столько-то азота — прибавка и на глаз видна. А вот как отозвалась капуста на калий!

И, казалось бы, все так очевидно, а вот поди ж ты, не верилось людям. Не сразу от старого, привычного отступишься.

Для Людмилы Ивановны и Гали настала самая горячая пора. Им самим пришлось и снимать урожай. Они его тут же взвешивали. И растения сами давали оценку блюдам подземной кухни.

Кораблева приводила на опытные участки людей. Вот смотрите. Сюда внесли суперфосфат, а капуста не только не прибавила урожая, но даже принесла на 17 центнеров меньше с гектара, чем без фосфора. А столовой свеклы не добрали еще больше — 24 центнера!

— А как же на будущий год? — интересовались овощеводы. — Раз растения использовали фосфор, значит, — надо его вносить.

Кораблева провела и такие исследования. Участок, возле которого они теперь стояли, принес 961 центнер капусты с гектара.

Оказалось, что при таком высоком урожае капуста усвоила 80 килограммов фосфора. В пахотном же слое поймы насчитывается от четырех до шести с половиной тонн фосфора. Так что даже такая требовательная культура обеспечена фосфором по крайней мере на пятьдесят лет.

Перешли к азоту. Кораблева напомнила, что август стоял сухой. Листья побледнели. Капуста и вообще покраснела. И вот почему: в сухой почве азот почти не усваивается. Тут-то и дали азотную подкормку. Капуста отблагодарила щедро — 261 центнер прибавки на гектар!

На одном участке внесли на гектар 150 килограммов азота. Урожай капусты — 980 центнеров.

Поинтересовались:

— А если больше внести?

Поистине Кораблева ставила опыты на все случаи жизни. Она пробовала увеличить дозу до 250 килограммов. Урожай не повысился.

— А сколько вы вносите азота? — спросила она в свою очередь.

— Килограммов пятьдесят, — ответил агроном отделения.

Опыт, проведенный Кораблевой, показал, что вносить такое количество азота — себестоимое. Большой прибавки урожая не получишь.

\* \* \*

Бухгалтерия подсчитала среднюю урожайность на полях и опытных участках. Разница чуть не вдвое. А кроме того на делянках и себестоимость ниже (без извести-то и суперфосфата!)

Не зря, выходит, Людмила Ивановна с Галей так трудились с весны и до самых заморозков. И что же? Может быть, отказались овощеводы от извести и фосфора?

— Случайность, — говорили они. — Слепая удача. Рекорды и у нас бывали.

И... снова запасались известью да фосфором.

Победа была, и победы не было.

На другой год Кораблева еще больше расширила сферу своих ис-

следований в «Большевики». На пойму наезжали почвенные отряды института. Опять вели опыты, повторяли их. И снова по осени сняли двойные урожаи.

А победы опять не было.

Надо ведь и то взять в расчет, что по-старому работали на пойме четверть века с лишним. По-новому же — только два года.

На третий год Кораблева со своими помощниками бросилась в атаку с новыми силами. И потребовался еще один год дерзаний на пойме — четвертый, чтобы пришла она, наконец с таким трудом добытая победа.

\* \* \*

Кораблева разговаривает с главным бухгалтером Титовым. Теперь ей убеждать его не пришлось. Сама жизнь стучалась в двери, требовала создать совхозную агрохимическую лабораторию.

Титов кладет на счета зарплату заведующего и лаборантки. Прибавляет расходы на оборудование, на реактивы. Две с половиной тысячи рублей в год.

— Оправдаются расходы? — спрашивает он.

А сам не раз ходил на опытные участки, своими глазами видел двойные урожаи. А потом, вернувшись в кабинет, прикидывал, какую выгоду дадут агрохимические карты. Выгода получалась большая. Иначе разве решился бы тратить на лабораторию?

А разрешит ли трест содержать лабораторию?

— Какую еще лабораторию? — выговаривали ему финансисты треста. — Нет таких штатных единиц!

Но доводы Кораблевой оказались сильнее.

Вскоре на одной из комнат конторы появилась вывеска: «Агрохимическая лаборатория». В совхозных мастерских поделали шкафы, столы, полки. Появились аналитические и технические весы, сушильные шкафы, муфельные печи, электрический перегонный куб для получения дистиллированной воды, колбочки, пробирки, разные реактивы. Отдельно стояли ручные чемадан-

чики — полевые лаборатории Церлинг.

И сразу сюда зачастили агрономы отделений, бригады, звеньевые. Они несли почвенные пробы. Заказывали также анализы минеральных удобрений. Мало ли что написано на этикетках! В пути удобрения могли выветриться. Бригадирам же надо точно знать, на какие питательные вещества рассчитывать.

Носили и торфоперегонную массу для питательных горшочков. Пусть анализы скажут, какие блюда в ней есть, каких надо добавить.

Ручные чемоданчики на лето и вовсе перекочевывали в бригады. Там всю пользу пользовались полевой лабораторией для анализов растений.

Осенью подсчитали. Сбереженные известь и суперфосфат дали совхозной кассе двадцать пять тысяч рублей. Расходы на содержание лаборатории сразу же окупались в десять раз.

Тысячи тонн извести и суперфосфата, высвобожденных на пойме, внесли на водоразделы — на поля, которые в них действительно нуждались. И отозвались они щедрыми урожаями! Аммиачной селитры, хлористого калия тоже вносили столько, сколько подсказывали почвенные анализы.

И совсем по-другому пошла жизнь в «Большевике». Обязательства брали не с потолка, не на «авось». Урожай строго программировались. Брались в расчет история поля, предшественники, ранее внесенные удобрения, особенности возделываемой культуры. Недостающие питательные вещества вносили рационально — по картограммам. Подкармливали растения тоже не вслепую — по анализам.

И брали их, запрограммированные урожай. И еще как брали!

Может случиться рекорд на опытной делянке или на каком-нибудь поле. Если же высокий урожай собран на всей площади в 4 200 гектаров, — тут уж не скажешь, что это слепая удача. А именно так и вышло в 1960 году,

когда в хозяйстве провели массовое обследование почв. С каждого гектара взяли по 449 центнеров овощей вместо 250, собиравшихся до создания совхозной агрохимической лаборатории. И в следующий раз собрали по 450 центнеров. И в 1962 году — столько же!

Про 1963 год никак не скажешь — удачливый. Такой засухи и старики не помнили. И все равно получили запрограммированный урожай. Каждый гектар принес по 434 центнера.

Урожай тянет за собой и другие показатели. В 1963 году центнер овощей обошелся в «Большевике» всего-навсего в 1 рубль 27 копеек. Такой дешевизны не знает ни одно хозяйство страны!

В том же засушливом году хозяйство получило свыше миллиона рублей прибыли.

Можно добавить: «Большевик» теперь обеспечивает овощами 400 тысяч москвичей в течение круглого года. Или другая цифра: один рабочий совхоза всего лишь за час двенадцать минут производит столько овощей, сколько требуется человеку на целый год.

\* \* \*

Пойма... Только ли под Серпуховом задает она такие загадки? В долине Оки на Орловщине, в Тульской, Калужской, Московской областях почвы, видимо, тоже не нуждаются в извести и фосфоре. А вот Рязанскую, Владимирскую, Горьковскую поймы Ока почему-то не балует. Тут, вероятно, надо вносить и известь и фосфор.

Кто разгадает эту тайну?

А приокский колхоз Алексея Петровича, того, о котором шел разговор в чайной? А тысячи других хозяйств, живущих на поймах? Кто исследует их почвы? И не послезавтра, не завтра, а сегодня, сейчас!

Существуют районные агрохимические лаборатории. И вот одна из них — Дмитровская. Заведует ею Лидия Даниловна Станкевич — агрохимик с высшим образованием.

Спрашиваю: много ли дел у лаборантов?

— Хватает. Сорок тысяч гектаров одной пашни,— отвечает Лидия Даниловна.

— Справляетесь?

Заведующая обводит беспомощным взглядом две крохотные камеры — все свое владение — и тяжело вздыхает. Сознаю нелепость своего вопроса. По существу, лаборатории нет. Нет водопровода, нет вытяжного шкафа. Как тут работают? Кальку для картограмм растапливают на полу — для нее нет подходящего стола. Да и саму кальку Лидия Даниловна выпрашивает у всех районных учреждений.

Дистиллятор установлен за восемь километров — в Дмитровской ветеринарной лечебнице. Оттуда во всякую погоду приходится возить (а чаще носить на себе) дистиллированную воду. Там же иногда удается пользоваться аналитическими весами.

Все здесь хромает, не ладится. У прибора для определения кислотности давно сели батареи, а запасных не продают. Новый прибор стоит 80 рублей, а годовой бюджет на оборудование... 50 рублей!

Сколько же все-таки анализов в состоянии сделать лаборатория?

— За год от силы полторы тысячи,— отвечает Станкевич.

Это вместо минимальных шестнадцати тысяч. Не густо!

На территории Дмитровского производственного совхозно-колхозного управления есть еще одна агрохимическая лаборатория — Талдомская. Я побывал и там. В ней положение не лучше.

Могут ли такие лаборатории обслужить колхозы и совхозы? Да они просто не оправдывают своего назначения!

— Конечно,— соглашается Лидия Даниловна, и я вижу, как тяжело ей это признать.— В таком виде не оправдывают. Пока не будет приспособленных помещений. Пока не будут в достатке снабжать нас оборудованием и реактивами.

— А тогда оправдают?

— И тогда не оправдают,— признается Лидия Даниловна.

Конечно, со временем наладится агрохимическая служба. Будут созданы высокопроизводительные лаборатории при областных опытных станциях, при институтах. Но ждать-то нельзя. Анализы почв нужны сегодня!

Надобно, как мне кажется, поступать, как в «Большевике». Приобрести инструменты и приборы для несложных анализов по силам любому хозяйству. Дело за тем, чтобы побольше изготовить его, этого немудреного оборудования.

Великую услугу хозяйствам могут оказать сельские школы, если создать в них агрохимические кружки. Легко представить себе, с каким увлечением ребята возьмутся за исследование почв, за лабораторные анализы, за практические занятия на своем учебно-опытном участке!

Кроме опытничества, столь необходимого в сельском хозяйстве, у школьников выработались бы и профессионально-трудовые навыки. И как оживился бы курс ботаники и химии! Разгадывать тайны земли, заставить говорить поле, растение — сколько в этом настоящего творчества!

Некоторые школы так и поступают. Вот в бурнакской средней школе на Тамбовщине ученики делают надежные анализы почв на азот, фосфор, калий, на кислотность.

И уж совсем прост полевой анализ растения. С прибором Церлинг может управиться любой человек. Без этой непревзойденной по простоте «скоростной» лаборатории никак не обойтись сегодня полеводческой бригаде.

Но что-то не видно у колхозников этих полевых лабораторий. Кстати, когда их изобрели? И снова я еду в почвенный институт, к Вере Владимировне Церлинг. Она берет объемистую папку, извлекает из бумаг заключение Научно-технического Совета Министерства сельского хозяйства СССР. Читаю: «Прибор Церлинг для экспресс-ме-

тогда одобрить и рекомендовать для широкого распространения». Дата: 1958 год!

Что же, новое всегда с трудом пробивало дорогу. Помните известную историю с картофелем, «чертовым яблоком», как называли его церковники? Врачи уверяли, что картофель приносит здоровью вред. Земледельцы доказывали, что он истощает почву. Но что сделал знаменитый французский агроном Антуан Парменье? Он добился того, что был выделен отряд королевских солдат для охраны его картофельного поля. Солдаты днем стояли на страже, а ночью охрана снималась. Тогда земледельцы появлялись на поле, потихоньку выкапывали запретный плод и высаживали его у себя на огородах. Так картофель получил право гражданства.

По-разному внедрялось новое. С полевой же лабораторией Церлинг дело обстояло, казалось бы, проще: делай их побольше да подешевле! Реактивы-то стоят копейки!

Григорий Григорьевич Калинин, ведающий в Министерстве распространением прибора Церлинг, уверил меня, что все обстоит благополучно.

— Сколько же, однако, выпущено этих приборов? — спросил я.

Григорий Григорьевич не смог назвать цифры и посоветовал мне поехать на завод: там точно скажут.

Заместитель директора завода «Медоборудование» Константин Александрович Григорьев попросил принести ему справку. И я узнал, что завод — единственный в стране поставщик прибора Церлинг — за все годы выпустил всего-навсего

около двух с половиной тысяч штук! Капля в море!

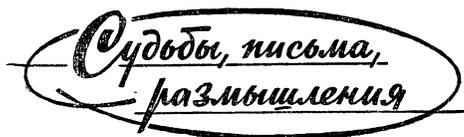
— Да и те залеживаются на складе,— с огорчением заметил Константин Александрович.— Не очень-то берут, дороговат прибор.

Я заглянул в калькуляцию. Химические реактивы, которые, собственно, и составляют прибор, стоят всего 63 копейки. Но их умудрились уложить в лакированный ящик с блестящей застежкой, и заводская цена его подскочила до 23 рублей 50 копеек. А потом Министерство накинуло от себя по 4 рубля 70 копеек за штуку. И пустышный прибор стал стоить уже 28 рублей 20 копеек!

Ну что прибор? Какая-то мелочь, пустяк, казалось бы, в ряду грандиозных открытий, строительства химических гигантов, создания новых, неведомых миру веществ, материалов и тканей.

Но разве любое большое дело, в том числе и победное воцарение Большой химии, может осуществиться без разрешения всех, в том числе и малых проблем?

Именно через мелочи, овладевая основами химической грамоты, люди, работающие в сельском хозяйстве, могут добиться обильных урожаев на всей необозримой ниве страны. Не подвигами отдельных энтузиастов, а широким наступлением по всему фронту можно решить серьезнейшую проблему современности. Решить ее не на глазок, не по примерным расчетам, как это делал мой знакомый из придорожной чайной. Надо прежде всего вооружить земледельца всем необходимым, чтобы он смело и уверенно мог раскрывать тайны земли и растений.



## ЧЕМУ РАВНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК?

### НА ПОДСТУПАХ

Оборона города решается на подступах — так гласит почти безошибочное военное правило. «На подступах», и притом иной раз на очень дальних, решается часто и судьба человека. Вот мы говорим: характер. А в чем истоки его, от чего он зависит и как складывается? Исследовано ли это в достаточной степени? Наследственность? Может быть. В какой-то мере даже несомненно. В какой? Ведь если только наследственность, тогда от одной яблоньки падает одно яблочко, от другой — другое, и вся жизнь попадает «на круги своя», приобретая безнадежный и безрадостный смысл.

Вот два маленьких наблюдения.

Вагон поезда. У окна — молодая мать с ребенком. Она вся светится счастьем. Ребенок начинает водить ручонкой по стеклу, ему весело, она таким же веселым и счастливым голосом говорит ему:

— Ну зачем? Ну зачем ты, голубенький мой? Смотри, какие ручки стали грязные. У, какие они бяжкие, какие нехорошие они стали, эти рученьки.

«Голубенький» мал, он еще не говорит и, конечно, не понимает слов матери, но он чувствует их. Тон ее голоса, ее безграничная, идущая из глубины души нежность несомненно понятны ему, и добрым, мягким светом освещается мир, в котором он начинает свою жизнь.

А вот другое. Московская булочная. В очереди в кассу стоит молодая женщина, около нее маленький, лет четырех, мальчик. Пока она платит деньги, мальчик отошел к окну и смотрит оттуда на улицу. Мать спохватилась, окрикнула его, а увидев, заругалась:

— Ну куда тебя унесло? Что за ребенок такой? Господи!

В голосе зло, раздражение. Так же зло и враждебно посмотрел на нее мальчик.

А не закладываются ли здесь, в этом

возрасте, в этих мелочах жизни, краеугольные камни будущего здания человеческой личности? Не начинаются ли здесь два будущих разных характера, с которыми потом встретится школа и тоже отнесется по-разному к ним, глядя по тому — в ком, в каком человеке, в какой педагогической душе будет олицетворена эта школа? Она может поддержать хорошее и выправить, смягчить плохое и, наоборот, может заморозить пробившиеся хорошие ростки и усугубить злые, и человек пойдет дальше по жизненному конвейеру, принимая одно, отталкиваясь от другого, и вот он уже — характер, самостоятельная и действующая единица жизни. Но как же все-таки сложилась эта единица? Все ли нам ясно, да и стараемся ли мы это выяснить и отдать себе отчет в совершившемся?

Вот почему для начала я хочу предложить очень искренний отчет, вернее, самоотчет и самоанализ. Это — письмо одного полярного летчика, коммуниста, человека безграничного мужества, много раз смотревшего в лицо смерти, человека честного, сурового к себе и к людям и негибаемого и потому порвавшего с собственным сыном, оказавшимся ниже его нравственных требований.

В Русском музее, в Ленинграде, есть интересная картина художника-демократа Ярошенко «Спор старого с молодым». Старик отец сидит, откинувшись в кресле. Он, видимо, что-то сказал, какой-то свой, решающий аргумент, но сын — горячий, убежденный, устремленный, говорит ему что-то неопровержимое и страстное. Рука отца нетерпеливым движением пытается остановить этот наступательный поток мысли, но не может, потому что новое сильнее, новое неудержимо и всецельно. А здесь...

Впрочем, давайте прочитаем самые письма.

«Здравствуй, Алеша.

15. XI. Я уже давно понял, мое молчание лишь углубляет отчуждение между нами. Оно недостаточно ощутимо для тебя

и даже, вероятно, укрепляет в заблуждениях относительно случившегося. Однако мне очень не легко заставить себя дать законченную форму тем мыслям, которые уже давно лишили меня покоя.

Дело, Алеша, не только в том конкретном факте, который послужил поводом для нашего разрыва. Дело гораздо серьезнее. Это не пустяковая размолвка, не прихоть, не каприз и не игра самолюбия. Я долго боялся сказать это самому себе, но теперь стало необходимостью сказать это и тебе. Ты обидчив и необъективен, в разговоре нетерпеливо сбиваешься на защиту или оправдание той или иной частности, и убедить тебя бывает невозможно. Я резок и горяч в своих оценках. Если мы начнем разговор с частных, это уведет нас от главного. Частность всегда спорна. Она может быть вызвана случайными причинами. Одним словом, индукция как метод в нашем споре непригодна. Значение частных может быть понято более правильно, если идти от общего.

Кроме того, мне хотелось бы отвлечься от тебя как личности, выяснить сущность явления. Тем самым избежать влияния личных эмоций при рассмотрении явления, имеющего общественный характер. Поэтому я исключаю все, что могло бы носить характер моей личной обиды и личных упреков. Исключаю, по возможности, и то, что может грубо обидеть тебя и отвлечь от объективного рассмотрения того основного, ради чего я взял на себя этот тяжелый труд.

Это письмо — результат долгих и нелегких для меня раздумий. И прежде всего кровной озабоченности судьбой близкого человека. В какой-то мере это и чувство ответственности моей перед партией: какого гражданина я дел Родине. Во всяком случае, в данный момент в моих суждениях нет ни озлобления против тебя, ни других низменных эмоций. Скорее наоборот, правильно понятая любовь к тебе движет моим пером. Ты можешь опровергать, возражать, доказывать, в чем я не прав. Но я хочу, чтобы возражения твои не были продиктованы язвленным самолюбием и успешными суждениями. Я не жду от тебя быстрого ответа, хочу, чтобы ты честно подумал над своей судьбой, над своими ошибками в восприятии жизни.

Так что же стало между нами?

По-видимому, ты и до сих пор думаешь, что все дело в конфликте, который получился из-за твоего необдуманного (правильнее сказать — хамского) поступка сначала в адрес Веры, а затем и матери?

Нет, Алеша, главное не в этом. Конфликт 26 июля был всего лишь тем узловым моментом, который характеризует переход количества в качество. И при другом качестве твоей сущности он не затянулся бы так надолго и не подвел бы нас с тобой к столь глубокой пропасти.

Самый корень вопроса, самая его суть, Алеша, заключается в твоем эгоистическом мировоззрении.

Я знаю, что ты обидишься и наверняка

не признаешь справедливым это определение. Но тот факт, что это заявляю тебе я, должен заставить тебя внимательно проанализировать все, что будет сказано в подтверждение. Если гордыня еще не совсем заглушила в тебе элементарную порядочность, если в тебе есть честное отношение к самому себе,— ты будешь только благодарен мне и, рано или поздно, согласишься, что отец вовремя указал тебе на опасную болезнь.

Но это дело твоей совести. Большого и более откровенного я тебе сказать уже не смогу. Твоей дальнейший жизненный путь в большой мере будет определяться тем, как ты отнесешься к этому заболеванию. Сможешь ли ты справиться с ним сам, или дождешься, что жизнь вынудит тебя это сделать. Возможно, что итоги ты подведешь на склоне своих лет, на последних страницах книги своей жизни, когда меня уже не будет.

Будучи малышом, ты проявлял характер, не терпящий опеки. Одним из первых твоих сознательных требований к нам, взрослым, было: «Я сам». Но у матери и няньки не хватало терпения и умной дальновидности, помогающей развиваться этому здоровому началу человеческого характера. Для малюсенького человека все сложно и трудно. Он за все берет, но у него мало что получается и, главное, не быстро получается. Мать и нянька стараются всюду подставить ему свои ласковые руки, сделать то, что малыш пытается сделать сам. Не доверяя твоей способности справиться с тарелкой и ложкой, тебя поят с ложечки. Ты долго пытишь одеваясь, тебе застегивают лифчики, шнуруют ботинки. И так далее, всю детскую жизнь, до отрочества.

Ты познавал мир. С каждым шагом, с каждым днем он становился шире и интереснее для тебя. Тот жгучий интерес, который представляла для тебя задача самому застегнуть пуговицы, справиться с непослушным платьем и обувью,— этот интерес был неразумно погашен. Тем временем ты увидел более интересное и привлекательное, чем многое необходимое, но скучное, сделали за тебя другие.

Когда ты пошел в школу, она не была в твоём сознании храмом, в который надо входить с трепетом, а службу в нем нести с усердием. Она была просто еще одной дверью, открытой в неведомый и любопытный мир. Уже до нее ты познал разницу между интересным и необходимым. Познавал ее с той стороны, что необходимо скучно и его сделают за тебя взрослые. Правда, взрослые на каждом шагу убеждали тебя, что уроки ты должен делать сам. Но они не создали обстановку, в которой нельзя было уклониться от этого долга. Ты скоро понял, что уроки — дело хотя и необходимое, как говорят взрослые, но такое же скучное, как и все необходимое.

У тебя была большая жадность к познанию, но не было терпения познавать основательно. Вот в этот момент твоей

жизни было необходимо суровое вмешательство родителей для внушения понятий долга и дисциплины. Он был упущен, этот момент. На этом, быть может решающем этапе твоей жизни мы недосмотрели необходимости менее снисходительно относиться к твоей любознательности вообще и более требовательно — к глубокому усвоению необходимого. А главное, к насаждению и укреплению дисциплины как основополагающему свойству характера. Таким образом, будучи предоставлен самому себе (добродетельные увещевания и призывы не в счет), естественно, следовал за своим интересом, кое-как отделяясь от докучливого необходимого.

С детства ты не был приучен помогать старшим, хотя бы в элементарном: собрать или убрать со стола, подмести комнату, сходить в магазин. Все это делала нянька. Делала с величайшей любовью, пресекая твои неумелые попытки что-либо сделать самому. Ни я, ни мать не проявили здесь ни ума, ни характера. Так были заложены основы для возникновения и роста эгоизма, сознания естественности такого твоего положения среди взрослых.

Будучи способным мальчишкой, ты легко, на лету ухватывал основное, что тебе преподавалось. Возможно, ты и тогда чувствовал, что этого мало. Но твоя неразвита воля к настойчивому преодолению трудностей, к систематичности и трудолюбию не была поставлена в необходимость воспитываться и укрепляться. Так ты и вошел во взрослую жизнь, плохо зная русский язык и не приобретя нормального почерка.

Вот из каких условий и источников возникло, выросло и окрепло в тебе иждивенчество как психология. Прежде всех в этом виновен я. И теперь я не вижу для себя скидки в том, что мне было некогда, что я был неопытным воспитателем и т. д. Но еще больше виновата перед тобой и обществом слепая материнская любовь. Мать знала только одну заботу, чтобы ты был сыт, ухожен и здоров. Я и тогда видел эту слепоту. Я ссорился с матерью из-за этого. Но она нетерпеливо отмахивалась от моих упреков: «Вырастет — научится. Пусть помнит золотое детство».

И часто я бывал сбит с толку этим неотразимым аргументом. Ведь действительно — ни у нее, ни у меня не было такого детства. В те годы, когда дети только учатся, мы уже знали нужду, недоедание и работу, с восьми до двенадцати лет я уже знал, как ехать с мешком и лопатой за город, чтобы, перекапывая крестьянские полоски, найти случайно оставшиеся после уборки клубни картофеля. Все было направлено на заботу о куске хлеба. И вот, вспоминая свое голодное и безрадостное детство, я поневоле оступал в своей требовательности. Думалось: «Еще рано, пусть подрастет. Ведь он — представитель первого поколения людей моего класса, которое имеет возможность ощущать, что такое «золотое детство»».

Помню, тебе было семь или восемь лет, кажется, — до войны. У тебя оказалось что-то в легких. Мать заохала и, не жалея сил и времени, прозела тебя через множество исследований. Она добилась твоего устройства в детский санаторий под Москвой. Она ездила туда с гостинцами для тебя чуть ли не через день. Мне это казалось материнской блажью. Но она налетала на меня, как курица, которая защищает своего цыпленка.

А я уже привык доверять бдительности материнской любви. С первых дней твоей жизни мать не пропустила ни одного посещения детской консультации, ни одного обследования, ни одной прививки, хотя она сначала училась, а потом работала. Врачи консультации знали ее в этом отношении как образцовую мать и любили тебя как прелестного здорового ребенка.

В общем, что касается физического здоровья, мать сделала все, что было в ее силах. Не забудем при этом, что государство предоставило все возможности таким матерям в заботе о подрастающем поколении. Сейчас ты силен и здоров. Для тебя это кажется таким же естественным, как сама жизнь. Трудов и забот матери ты не замечал, так же как не замечал биения своего сердца.

Время шло. Трудное военное время. Первые два года я был в Арктике, потом на фронте и виделся с тобой не часто. Мать с утра до позднего вечера на работе. Ты был предоставлен самому себе, некоторому влиянию школы и попечению няньки. А единственной заботой няньки было, чтобы ты был сыт, чтобы сделать для тебя и за тебя все. Ведь если бы она могла, то и уроки тоже бы делала за тебя.

Ты рос и воспитывался, по существу, на дворе. Ты увлекался всем. Все тебе было интересно, и ты с неутихающим любопытством расширял свои познания окружающего мира. В сферу твоей любознательности попадало все: и хорошее, и плохое. Но так как плохое, видимо, ближе к поверхности жизни, то оно преобладало в тех влияниях окружающей среды, которые тебя воспитывали.

Ты не мог остаться в стороне ни от одной мальчишеской шалости. Ты освоил выключение лифта на чердаке и радовался, видя, как дед Егор, кряхтя, поднимался на восьмой этаж, чтобы его включить. Ты проверил и свою смелость, когда, преодолевая замирание сердца, на руках спускался по тросу лифта с восьмого этажа в бездонный колодец. Чердак ты изучил куда лучше управдома.

Итоги полубеспорядочного воспитания нарастали с пугающей быстротой. Я вернулся из армии. Тебе было уже двенадцать лет. Я понял, что дальнейшее развитие событий в этом направлении добром не кончится. Оно было чревато всякими неожиданностями. Не имея своего времени, но убедившись, как ты запущен уже в своем необузданном своеволии, я серьезно задумался над твоей судьбой.

Я считал за счастье для тебя, когда увидел возможность устроить тебя в Суворовское училище. Я думал, что, удалив тебя в мир суровой требовательности из-под неразумной опеки няньки в мир обязательного самообслуживания, в мир, где вся атмосфера пропитана чувством долга перед обществом, я достигну коренного перелома в твоём воспитании.

Но, видимо, я опоздал или чего-то не учел. Быть может, не учел необходимости добиться, чтобы ты сам это понял, так же как и я, чтобы ты не воспринял это как наказание, как ссылку, как отлучение от ласк, которые ты щедро получал в отцовском доме. Быть может, моею виной было то, что я сам с ранних лет поощрял твою самостоятельность, рассчитывая вырастить в тебе характер волевой и отважный.

Быть может, в том моя вина, что, поощряя твою самостоятельность, я не заметил, как вместо этого в тебе выросло эгоистическое: «Мне все можно». Не заметил, как подорвал самые основы элементарной дисциплины и чувства долга, тогда еще перед близкими.

Во всяком случае, как теперь я отдаю себе в этом отчет, ты пришел в Суворовское училище с ярко выраженным характером балованного мальчишки. Ты уже тогда отрицал все сдерживающие тебя начала. Инициатива, предприимчивость били из тебя ключом, а чувство долга было угнетено им. Жесткую дисциплину училища ты вынужденно понимал как силу, которая выше тебя.

28. XI. Мои надежды, что Суворовское училище что-то доделает за меня, не осуществились. Ты был по-прежнему бесстрашен и любознателен. Меньше всего значения ты придавал теории. Ты был прирожденным экспериментатором. Едва услышав что-то новое, не добравшись до сущности явления силой разума, не выжидая хорошенько, что об этом говорит теория, ты должен был немедленно проверить это своими руками.

Аналитическое абстрактное мышление не было тебе трудным, но ты всем предыдущим своим воспитанием не был приучен к нему как методу исследования. Это пренебрежение к логическому мышлению, к терпеливости при исследовании выработало у тебя поспешность в действиях и поверхностное отношение к подготовке эксперимента. Видимо, этим следует объяснить тот прискорбный факт, когда самодельный реактивный снаряд оторвал тебе самые нужные пальцы правой руки.

В строгих рамках Суворовского училища это стоило немалых тревог твоим начальникам и еще больших слез твоей матери. Нужно отдать тебе должное: ты вел себя мужественно, как мужчина. Ты не плакал, не кричал от боли, когда тебе ампутировали в санчасти остатки пальцев. Ты сам пришел туда, а первой реакцией на случившееся была тревога, что ты подвел училище. Ты ни на кого не сваливал вину и все принял на себя. Ты боялся под-

вести товарищей, соучастников этой затеи. На ходу была придумана безобидная версия, будто бы снаряд перебросили из-за стены, и только ты за него взялся, как он взорвался. Версия эта была откровенно наивная, вряд ли она кого ввела в заблуждение, но ты и твои товарищи стояли на ней твердо, и она была принята как официальная. Она выручала и «начальство» перед высшими инстанциями.

Не скрою, что тогда я гордился твоим поведением при этом испытании мужества и товарищества. При всей нелепости случившегося я был горд, что честь училища оказалась для тебя дороже своей немалой боли, что ты не забыл в эти трудные минуты о чести коллектива и безопасности товарищей.

Значит, тогда ты еще не был настолько испорчен эгоизмом, чтобы он определял твои поступки. И теперь можно тебе сказать, что именно это внушило уважение твоим начальникам. Поэтому тебя не исключили из училища, а дали возможность его закончить, хотя было ясно, что выпустить тебя придется с белым билетом. Так, постояв за всех, ты сделал благо и для себя.

И все же этот урок не пошел тебе на пользу.

Вероятно, ты помнишь, сколько жалоб было на тебя от воспитателей, сколько злых каверз ты придумывал для них, словно они были врагами тебе? Ты изобретательно уклонялся от их требований, от занятий и работ. Нарушать дисциплину и распорядок для тебя стало спортивным развлечением, неким молодечеством, которое выделяло тебя из среды покорных простачков, как ты, вероятно, думал. Такое анархистское поведение делало тебя не юным суворовцем, а наследником традиций бурасчества.

Ты стал покуривать, познакомился со вкусом водки. Тебе льстило быть равным среди старшекурсников. У тебя появился напускной цинизм.

И вместе с тем развивалось твое дарование и прирожденная любовь к технике. Ты проявил немало остроумной настойчивости, пока все училище, от курсантов до генерала, не признало тебя чемпионом в области радиотехники.

И вот, думается мне, все это вскружило тебе голову: и признание товарищами геройского твоего поведения после взрыва, и превосходства в технической одаренности. Ты возомнил себя действительно выдающейся личностью в своей среде. Ты считал, что тебе должно быть позволено больше, чем другим. Ты поднялся на цыпочки и оказался несколько выше других. Но суровая обстановка училища не давала тебе этих льгот. Твое непомерно выросшее тщеславие и самолюбие болезненно напрягалось. Ты уже считал себя обязанным сохранить превосходство перед товарищами, и часто это желание шло косыми тропинками скорее сенсационных, чем разумных поступков.

Твои воспитатели недосмотрели или не могли понять того, что происходило в тебе. Я бы увидел и помог тебе. Но в этот момент переломного возраста ты оказался вне поля моего зрения. До меня доходил лишь шлак этого процесса кристаллизации из мальчика мужчины. О, если бы тогда я это понял так, как сейчас, я нашел бы ключ к твоему сердцу. Я положил бы свои руки на твои плечи и помог бы стать тебе на полную ступню. И ты понял бы меня. Мы всегда понимали друг друга... Правда, я и тогда писал тебе дружеские, убеждающие письма, но они неизменно заканчивались суровыми предупреждениями о карах, которые ждут тебя, если ты будешь исключен. Это в какой-то мере, видимо, лишало меня твоего доверия, а с другой стороны, быть может, это спасло тебя. Но, так или иначе, училище ты окончил и даже с некоторым отличием. Оно дало тебе необходимый минимум знаний, но прочных основ мировоззренческого порядка не заложило. Ты вышел из его стен переутомленным борьбой со своим тщеславием. Оно было мелким, но отняло у тебя много нравственных сил. Все время ходить на цыпочках не по силам даже более опытным в этом деле людям.

2/XII. Я забыл упомянуть об одном факторе, который недооценил в свое время. Когда ты приезжал домой на каникулы, нянька, и особенно бабка причитали над тобой, как над сиротой, которого бессердечная мать бросила чуть ли не на поругание чужим людям в «казенный дом».

И только факты последних лет пододвинули меня к пониманию истинной значимости для тебя этой неумной «жалости», жалости старушек, живущих представлениями прошлого столетия. Я не верил, что это может повлиять на тебя столь пагубным образом. Но, видимо, иждивенческие струны твоей натуры отзывались на эту «жалость». Эти зерна проросли позднее. Только через ряд лет получился «урожай» таких эмоций и настроений, которые и привели тебя к печальной памяти дню 26 июля. В этот день ты не только смертельно обидел мать, но и унизил самого себя. В моих глазах ты упал ниже того уровня, с каким я еще мог мириться.

Когда-нибудь ты с горечью вспомнишь этот постыдный факт своей жизни. Жаль, что мать вряд ли доживет до этого дня.

После Суворовского училища, до окончания института, в тебе происходит окончательное формирование основных черт твоего характера. Именно этот период определил переход иждивенческой психологии в мировоззрение.

Начать следует с истории твоего поступления в институт. У тебя были затруднения в приеме. И на этом, действительно решающем этапе твоей биографии мать превзошла не только меня, но и самое себя. Это было вершиной ее материнского подвига. Я не смог бы сделать того, что заставила ее сделать единственная, но могущая сила — материнская любовь.

Для того чтобы отвоевать тебе место

под солнцем высшей школы, ей пришлось дойти до министра.

Ты не знал этому цены. Ты не знал, как много юношей считали бы за счастье узнавать все то, что давал тебе институт. Не зная цены своему счастью, свой путь по ступеням высшей школы ты начал с вызывающей халтуры. Ты пропуская занятия, не готовил заданий, начал с троек, а бывало, хватал и двойки. И не потому, что тебе было трудно. Ты просто не хотел поступать иначе... Наконец я заметил в тебе интерес к общественной жизни. В этом новом качестве ты уже считал возможным «критиковать» всех и вся.

Я ужасался, слушая эти высокомерные рассуждения. Я бранил тебя за них. Ты умолкал, но оставался при своих мнениях. Тогда эти суждения в моих глазах имели характер изолированных вывихов, подслушанных тобою обывательских рассуждений, которые ты с апломбом выдавал за свои. Тебе эта позиция всемирного критика казалась даже революционной.

И только теперь, осмысливая весь твой путь, я в состоянии оценить эти факты в их связи и развитии. К сожалению, это не было проявлением только мальчишеской незрелости. Это были пока первые факты, выражающие качество твоего мировоззрения. Я старался воспитать в тебе гордость наследника правящего класса, учил тебя уважению к труду, ибо только он создает все ценности и блага, учил мужеству в преодолении трудностей учебы и привлекал на помощь авторитеты.

В письмах я приводил тебе много цитат. Они подтверждали мои слова, что для советских людей работа — это не должность, а место в борьбе, боевой участок. Я учил тебя презирать тунаядцев и иждивенчество как самое презренное, что может обесславить жизнь человека, и воспитывал стремление быть на переднем крае в труде и в бою.

Ты не можешь этого отрицать. Все это правда. И только ты можешь сказать, в чем я ошибся, почему это не привилось тебе в полном объеме. Почему ты, соглашаясь со мной, тем не менее в практической жизни руководствовался совсем другими заповедями.

Беспринципность начинается с пустяков.

Я помню твою наивную гордость, с какой ты хвалился тем, что участвовал в загородном пикнике со своими молодыми преподавателями. Тебе льстило, что тебя в эту компанию приглашали как равного для... пьянства. Для тебя это было какой-то победой.

Будучи внештатным комсомольским инспектором по проверке предприятий общественного питания, ты считал допустимым обратить это доверие комсомола во зло. Ты шантажировал продавцов питейных ларьков, и они откупались от тебя выпивкой и угощением. А ты ведь не корыстный человек по натуре. Ты убежденно доказывал мне справедливость своего «принципа», позволявшего тебе без любви

и угрызений совести отобразить невинность увлекшейся тобой девушки, и т. д. Ты убеждал себя, что надо быть только смелым, и, не понимая, что такая «смелость» именуется в общежитии наглостью, призывал к этому как форме взаимоотношений с внешним миром.

Это уже не просто факты. Это уже не ошибки юности беспечной. Ведь одна ошибка это ошибка. Две — совпадение. Три — уже линия. У тебя их уже не три, а тридцать три, и все одного знака.

Все это звенья одной цепи, имя которой иждивенчество. Ты слишком рано понял выгоду отношений всадника и лошади. При условии, что ты будешь всадником.

3/ХII. Вот у меня сейчас квартира, дача, первоклассная машина и другие жизненные блага, но нет главного: нет сына-друга, сына-единомышленника. И я понял, что не так-то уж эти удобства мне необходимы. Я обошелся бы без многого, лишь бы не утратить ощущения хорошо прожитой жизни. А, видимо, эти обывательские заботы об удобствах отняли у меня то время и внимание, которые я должен был отдать твоему воспитанию.

Быть может, наличие этих удобств с ранних лет свихнуло мозги и тебе? Ты, еще ничего не сделав, считаешь себя вправе претендовать на «чайку», на квартиру, на нейлоновую шубу.

И вот теперь я обречен жить с неспокойной совестью за то, что где-то недосмотрел, чем-то способствовал этим твоим вывихам, и думать: смогу ли теперь убедить тебя, что ты серьезно болен, болен вредной и презираемой в нашем обществе болезнью, что при этой болезни не будет тебе настоящей жизни, которой ты гордился бы на склоне лет?

У других молодых людей жизнь начинается осмысленно. Чувствуется, что человек этот тянется вперед и вверх, его пылкий ум бьется над лучшим решением задач своей жизни. Он не жалеет своих сил, не растрчивает их, боясь издержек в преодолениях. А есть и такие, которые живут, как трава растет. День за днем без горячности, без борьбы, без цели. Невесело живут. И вино, и ресторанная музыка не дадут радостного ощущения жизни такому, без стержня, человеку.

Как итог собственной жизни, могу подтвердить сказанное кем-то, что смысл жизни отнюдь не в ее удобствах. Это постигают не все. А когда постигают, бывает поздно что-либо исправить. И тогда с горечью вспоминают Лермонтова:

Таких две жизни за одну,  
Но только полную тревогу,  
Я променял бы, если б мог...

5/ХII. Я уже устал от того напряжения мыслей, таких мыслей, которые не дают покоя и удовлетворения. Но, увы, я должен этот жребий вынести до конца и до конца договорить то, что необходимо сказать.

Завершение формирования твоего такого мировоззрения я отношу к послед-

нему году учебы и первому году самостоятельной жизни.

Напомню твое намерение во время дипломных каникул совершить путешествие на Кавказское побережье. В самом этом желании нет решительно ничего предосудительного. Но ты не задал себе вопроса: за счет каких средств? Подразумевалось, что я тебе помогу. И я, быть может, помог бы тебе, если бы ты об этом просил. Но ты не просил, а объявил как свое решение. Я уже к тому времени почувствовал твое легкое отношение к тому, что делают для тебя другие, и такая форма расчета на мою помощь меня возмутила.

Второе. Ты целый год получал зарплату, семья от тебя ничего не требовала, и ты жил на всем готовом. Однако тебе была известна благородная традиция юношей из трудящихся семей — первую получку приносить матери. Первые, своим трудом заработанные деньги! Для каждой матери это радость, которая бывает только один раз в жизни. Ее сын уже на своих ногах! Он уже зарабатывает свои деньги! Ты лишил свою мать этой радости, хотя знал, что она ни на что не израсходует этих денег, кроме как на тебя. Я не помню, чтобы ты сделал подарок матери, няньке, сестре. Я не упрекаю. Я констатирую. И знаю, что это у тебя не от скудости, но не окзалось в тебе благодарного внимания к близким, которым ты столь много обязан.

Видимо, надо долго жить и немало потрудиться самому, чтобы оценить трудолюбие других и услуги, оказанные тебе. А счет услуг, оказанных тобою, слишком мал, чтобы ты узнал истинную цену услугам. Ты еще слишком мало жил, чтобы рассчитаться за все, что получил сам. А за добро, сделанное тебе, надо отплачивать с процентами. Пусть, как гласит поговорка, лучше твой рубль пропадет, нежели за тобой копейка.

5/ХII. Теперь я могу подойти к финалу этого однобокого развития твоей психологии. День твоего рождения 26 июля в нашей семье всегда отмечался особо торжественно. Мать никогда не забывала об этом дне и готовилась к нему задолго. С «Алешинной» вишни никому не разрешалось сорвать ягодки. В этом году день твоего рождения имел особое значение. Он ознаменовал твое фактическое совершеннолетие, женитьбу и вступление в самостоятельную жизнь. С этого дня ты отпочковывался от семьи, возраставшей тебя, и начинал жить своей семьей. У тебя была своя комната на даче, которую Вера, твоя молодая жена, заботливо превратила в свое гнездышко. С любовью и гордостью мы готовились к встрече этого дня. Вера несколько дней знала только одно: памятный подарок для тебя. Как мы ни уговаривали ее обойтись тем, что можно легко купить, — ей хотелось сделать что-то приятное тебе своими руками. Но ты не только не заметил всех этих хлопот, но и бездумно обесценил их своей ворчливой ссорой с Верой. Ты не поддержал торжественности атмосферы, которую мы все

любовно создавали вокруг этого дня. Ты не приласкал Веру, не обогрел своим вниманием мать, няньку, бабу, с раннего утра занятых приготовлениями к обеду. Какая-то снисходительная высокомерность ко всем нам сказывалась в той обыденности, с какой ты отнесся к этому торжеству. С утра ты, в грязном дачном костюме, занимался своим выпрямителем. Тебя с трудом уговорили побриться и переодеться. Твое поведение как бы говорило всем этим суевающимся вокруг твоей персоны людям: «Ладно, валяйте, валяйте, доставляйте себе это удовольствие, так и быть, я не возражаю, хотя мне очень некогда и это не имеет для меня значения». Ты милостиво подставлял щеку для наших поцелуев.

Но, наконец, наступает час торжества. Тебя окружили с поздравлениями и подарками. Ты принимал их с видом восточного владыки, разрешающего курить себе фи-  
миам.

Хотя размолвка ощутимо стояла между вами, Вера, повинувшись велению сердца, не смогла устоять в стороне от этого чествования ее любимого. Неловко, со слезами на глазах и, вероятно, с болью в сердце, она пыталась вложить в твои руки и свой, любовно готовившийся подарок. А ты высокомерно оттолкнул ее и произнес обидные слова. Девочка, не помня себя от горя и обиды, убежала из дома. Все мы, ошеломленные, растерялись и не успели ее удержать, а когда опомнились, стали ее искать, она бесследно куда-то исчезла.

Вероятно, ты и до сих пор не представляешь себе, какой ошеломляющей силы пощечину нанес ты всем нам этим поступком! Праздник превратился в поминки. Стали искать Веру. Пережитое в эти два часа трудно забыть. Это действительно был траур по той преждевременно погибшей радости, к которой мы долго готовились.

Вера, наконец, нашлась, внеся успокоение в наши сердца. Именно для того, чтобы дать тебе возможность в самой узкой среде примириться с Верой, успокоиться самому, я пригласил в свою спальню мать, тебя и Веру. Но оказалось, я совсем не знал, на что ты способен. Произошло прямо-таки ужасное. Ты перешел в наступление, как будто виноваты во всем были мы, а не ты.

Слово за слово, мать вспыхнула, перешла в упреках к резкостям, и тут тобой опять овладело слепое бешенство. Ты закусил удила и понесся, не глядя куда. Ты наговорил матери таких гадостей, что с ней сделалось плохо. Мне пришлось заняться матерью, и ты удалился, так и не поняв, что произошло. Через несколько томительно тяжелых часов я пришел в твою комнату, чтобы подвести итоги этому дню, а по сути дела — всему твоему двадцатипятилетью. Я еще надеялся, что ты осознаешь всю дикость своих поступков. Но ничего похожего, никаких проблесков сознания. И тогда я объявил тебе свое решение: покинуть отчий дом не позднее утра. Я понимал, что это конец. Конец моим надеждам на сына-друга, который не бросит

меня, поймет и утешит в горький час. Сердце мое обливалось кровью, и в него холодной змеей заползала тоска. Я знал себя. Знал, что даже голос крови не заставит меня примириться с тобой иначе, как на принципиальной основе. У меня оставалась еще только слабая надежда, что любовь окажется выше твоего самолюбия и приведет тебя ко мне самого. Только надежда! Но напрасны были эти надежды. Прошел ряд нелегких месяцев. Дом опустел. На даче стало тоскливо, как на необработанном поле поздней осенью. Много слез выплакала мать, снова и снова переживая эту недостойную сцену и обиду. Год за годом перебирала она дни твоей жизни, ища тот злосчастный миг, который начал твое отдаление от нее и привел к такому позорному финалу все ее усилия и всю ее любовь к тебе. Ты не приходил...

6/XII. Через всю эту грустную повесть красной нитью проходит мать. И не потому, Алеша, что я хочу преувеличить ее заслуги перед тобой или как-нибудь примирить тебя с ней. Нет. Просто это та правда жизни, от которой никуда не уйдешь и которую ты презрительно растоптал. Следует тебе знать, что уже вскоре, когда еще не все слезы были выплаканы, когда она еще не перестала хвататься за больное сердце, она подталкивала меня, чтобы я как-нибудь примирил вас. Она охала и горевала о вашем с Верой бытовом неустройстве. Она непрестанно искала возможность устроить вас более удобно. А когда Вера в часы своих горестей высказывала ей свои обиды на тебя, она учила ее терпению и снисходительности, терпению строить семью, как это ни трудно при твоем характере.

Мать! Великое это слово! Мать всегда остается матерью. При любых обстоятельствах ее даже бородатое дитя всегда остается для нее ребенком.

Но я смотрел дальше. Я видел твою жизнь в грядущие годы. Я понял, что смысл жизни матери в том, чтобы сын вырос, а для меня важнейшее значение имело — как вырос. Я не хотел и не мог примирить тебя с ней как-нибудь.

Прошло почти четыре месяца. Для меня эти месяцы были полны предельного напряжения. Я готовился к отъезду в новую экспедицию и много недель пробыл в командировках. Но я все время помнил о тебе. Я думал, что мое молчание наказывает тебя более жестоко, нежели все другое. Но эти месяцы показали, что мое молчание не развязывает тебе языка и не будит твою совесть. Однако мне все же думалось, что у тебя не хватает мужества в сознании своей вины сделать первый шаг к дому. Я пригласил тебя к себе для разговора по душам. Но не получилось такого разговора.

Здесь мне кажется необходимым снова отвлечься для объяснения того, что происходит в моем внутреннем мире при его столкновении с внешним миром. Как и при объяснении причин твоего «высокомерия», мне кажется, что ты в своем по-

ведении усвоил некую форму защиты от требований окружающей среды. Эта форма выражается в постоянной, я бы сказал, наступательности. Прав не прав, а держи себя всегда правым — вот, мне кажется, смысл твоего поведения. Это защитный рефлекс пещерного человека! Это защита слабых! Жизненные позиции у тебя сильные, характер волевой, среда, воспитывавшая тебя, казалась мне нравственно здоровой. Интеллект у тебя развитый. В чем дело? И опять выводы наталкивают на мысль о безудержном, безграничном эгоистическом себялюбии, переросшем в вывихнутое набекрень мировоззрение.

8/XII. Я должен довести до конца разговор о твоём отношении к матери.

Я говорил уже, какой примерной наседкой она была, выращивая своего птенца, и мне кажется, нет надобности составлять список заслуг матери перед тобой. Я хочу обратиться к твоей совести и показать твоё иждивенческое отношение к матери с другого конца. Скажи честно, самому себе скажи, в чем проявилась твоя забота о матери? В чем ты оказал ей внимание и сыновнюю любовь? Не припомнишь ты ничего. Не было ни любви, ни заботы, ни внимания! И даже теперь ты не хочешь замечать, что мать твоя серьезно больной человек. У нее большое сердце и совершенно растрепанная нервная система. Ты не даешь ей никакой скидки ни на возраст, ни на болезни, ни на то, что она мать. Совсем наоборот, ты усиленно изыскиваешь: что еще не было сделано ею для тебя. Ты упрекнул ее даже в том, что она якобы не водила тебя в кино. И ты забываешь спросить себя, что ты для нее сделал.

Я не говорю о материальном. Я говорю о простом, элементарном внимании к самому кровно близкому человеку. Я не припомню ни мальчишеской ласки, ни предложения своей силы, когда стал юношей, ни понимания своего долга, когда стал мужчиной. Ты не брался за ведра, чтобы принести из колодца воды, и даже не раз высказывал мнение, что я, главный добытчик, глава семьи, неправильно себя веду тем, что помогаю матери и старой няньке. Тебе казалось, что это унижительно для меня.

Но если тебя не убеждают эти мелкие факты, я могу привести пример совершенно неопровержимый: твоё отношение к няньке. Никому, и тебе в том числе, не надо доказывать, какую самоотверженную любовь она пронесла через все двадцать пять лет твоей жизни. Она всегда была готова сделать для тебя возможное и невозможное. Прожив большую трудовую жизнь, благодаря своей неприхотливости и исключительной бережливости, она накопила какую-то сумму, и эти сбережения она разделила и завещала вам с женой.

Скажи, Алеша, чем ты заплатил за это великое самопожертвование? Не ведая, что творишь, ты позволял себе насмехаться над ее произношением, но будучи учеником, не помог ей преодолеть малограмот-

ность. Ты ни разу не подарил ей и часа своего времени, чтобы почитать книжку. Позднее, когда стал понимать значение традиций, ты не дарил ей подарков в день рождения и даже не знаешь, когда этот день бывает (кстати, это относится ко всем твоим близким). Ты снисходительно принял к сведению факт завещания ею скромного достояния, но ни разу не задал вопроса: почему нянька твоя так плохо обута, одета, почему ее уголок в кухне завешен равной простыней? Что, она не заслужила лучшего или мы так бедны? Нет, все это проходило мимо тебя.

Сущность иждивенчества в мелкобуржуазной психологии: «взять побольше, дать поменьше», в эгоцентрическом, а проще говоря, шкурном культе собственной личности, в неблагодарности ко всем: и к тем, кто дал жизнь, и к тем, кто давал приют и сердечное тепло. Такие люди ведут себя так, как будто мир существует лишь для того, чтобы любоваться ими и обслуживать им. Их запросы к жизни никогда не балансируются с тем, что они сами хотят и способны дать. Я думаю, что ты просто не задумывался пока над этими вопросами и не отдавал себе отчета в том, что я теперь поднял на уровень твоего духовного облика. Поэтому мне до сих пор хочется думать, что все это наносное, неосознанное и что, осознав, ты не захочешь быть в таком качестве.

10/XII. Ты можешь сказать (или подумать), что я и сам заражен многими пережитками, что мои взгляды и поступки порой далеки от идеала, что у меня, например, слишком много вещей для одной семьи — не есть ли это порок стяжательства? Да, но будет в значительной мере правдой. Но эта правда не дает оснований тебе наследовать все мои недостатки. В сознании собственной неполноценности я имею не только право, но и обязан предостеречь тебя.

Говорят, что человек без мечты — как птица без крыльев. Но мечта мечте рознь. Я тоже мечтал, но достиг далеко не всего, что мог бы в свою эпоху. Сосредоточившись на практически нужной и увлекательной работе по освоению Арктики, я упустил возможность стать образованным человеком.

Когда ты стал подрастать, я утешал себя тем, что моя жизнь теперь не кончается на мне. Ее мечты, несвершившиеся желания, неосуществленные возможности найдут воплощение в тебе.

Дети не выбирают своих родителей. Отец мой дал мне в наследство пролетарское происхождение потомственного москвича, но он же оставил мне не очень благозвучную фамилию. Я переименовал ее. Я принял фамилию, обремененную праведно-кроволю комсомольца, который отдал жизнь за то, чтобы ваше поколение могло учиться и строить жизнь, не боясь кулацкого обреза, от которого погиб он сам.

Но приняв эту фамилию, я как бы принял знамя, которое нес ее обладатель на фронте классовой борьбы тридцатых годов

Всей своей жизнью я пронес это знамя, не запянав, не уронив его. Вначале это была борьба за Арктику. Я горжусь тем, что у меня хватило патриотической настойчивости вырваться из брони военного времени и стать в ряды активных защитников Отчизны против ее поработителей. Я воевал, не щадя жизни, для того, чтобы ты не стал рабом и принял это знамя как боец, когда придет твое время сражаться.

К этому, к воспитанию в тебе гордости рабочего человека, бойца, строителя, стремился я, когда писал тебе большие (серьезные, поучительные) письма. Но, видимо, я опоздал или они оказались слабее той брони эгоизма, которой ты оказался укрыт к тому времени.

Очевидно, письма эти ты воспринимал как оторванное от жизни морализирование. Вряд ли ты перечитывал их и вряд ли ты сохранил их как отцовское завещание.

Не скажу, что жизнь для меня оказалась мачехой. Трудностей и опасностей было много, но в основном моя жизнь прошла в завидных преодолениях. И достигнуто немало. Я первым прокладывал воздушные тропинки над местами, недоступными до тех пор человеку, я обеспечивал жизнь и безопасность коллектива дрейфующей станции, я был в Арктике и Антарктике, мне посчастливилось видеть четыре полюса мира и участвовать в их исследовании. Все страны света прошли перед моими глазами, и планету я видел со всех боков. И в то же время я оставался человеком своего времени, во многом еще зараженным родимыми пятнами капитализма. Выросши в нужде и в трудное время, я свои высокие заработки обращал на комфорт, каким не могли еще пользоваться люди моего поколения. Начиная жизнь без лишней пары белья, я имею сейчас дачу, первоклассную машину, квартиру, заставленную дорогой мебелью и набитую вещами. И теперь я начинаю думать: не много ли это для одного человека? И нужно ли все это мне для счастья? Быть может, именно из-за этих низменных забот я не дал заслуженного счастья своим близким и не сумел воспитать бойцом и строителем своего сына?

И я очень виню себя, что не удалось мне осуществить свою главную мечту: воспитать из тебя человека большой цели и щедрого для всех таланта. Пользуясь чужим образом, скажу, что мне хотелось бы сделать из тебя клинок для войны за счастье всех, а боюсь, что может получиться из тебя прозаический консервный нож для открывания своих банок.

Я заметил, что и у тебя есть мечта. Не невысокого роста эта мечта. Потребительская мечта о «чайке», о нейлоновой шубе, о возможностях «красивой» ресторанной жизни. Все для себя! Ничего для всех!

Я хотел бы, чтобы ты, вырастая, не только понимал, а каждой клеточкой своего существа ощущал, что есть в жизни человека ценности, за которые и на смерть он пойдет, как на праздник. А я все больше боюсь сейчас, что в тебе угрожающие раз-

меры принимает скептик и даже циник, для которого нет ничего святого.

Зная в тебе немало по-настоящему хороших качеств: доброту, отзывчивость, развитое чувство товарищества и другие, я с удивлением наблюдал, как это совмещалось с самодовольством и гордыней. Не вижу я признаков того благородного беспокойства, неудовлетворенности собой, какие свойственны людям поиска, а вижу много всяческой коросты: болезненного самолюбия, пустого тщеславия и мелких желаний. Много ошибок делает человек и много раз ушибется, пока отшлифуются его характер, пока зрелостью и обдуманностью окрасятся его поступки. Я хорошо это знаю по личному опыту. Но все же очень важно, чтобы человек смолоду знал цель и смысл своей жизни. И не ошибки страшны. Ошибки даже неизбежны. Но настоящий человек сам критикует себя больше всех, если ошибается дважды на одном и том же. Он учится на ошибках и поправляет себя.

Мне хочется для наглядности прибегнуть к запомнившемуся мне образу. Вот перед тобой в отличном переплете лежит книга с чистыми страницами. На тисненой обложке красивая надпись с твоим именем и фамилией. На этой книге заполнены лишь первые страницы. Что же будет написано на следующих? Что станет с гербом? Какой будет его конец?

И если меня не обманывает предчувствие, ты должен стать человеком труда! Творческого труда! Твое неровное отношение к труду я хочу объяснить тем, что ты в работе, как и во всем остальном, разбросан и недисциплинирован. Твое отношение к работе пока определяется степенью интереса к данному конкретному труду. Если работа увлекает, у тебя появляются и трудолюбие, и настойчивость, и страсть, и творческий поиск.

Но этого мало, чтобы быть человеком труда. Такой человек должен быть одухотворен идейным пониманием общественной значимости своего труда.

Подвиг может быть раз в жизни, а черная работа — каждый день. Но и черная работа, если она выполняется с сознанием долга, добросовестно, талантливо, день за днем много лет, тоже становится подвигом. У тебя на практике нет такого понимания труда и такого благородного к нему отношения. Я не хочу приводить известных мне фактов, чтобы не краснела бумага. Я выставляю к позорному столбу только одну твою иждивенческую фразу: «Через мои руки проходят ценности на сотни тысяч рублей. Тем, что я их не загубил, я уже оправдал свою зарплату». Отвечу на это мягко, хотя на язык просыпаются очень резкие слова. Дело в том, что ценность человека определяется не отсутствием недостатков, а наличием достоинств. Человек всего красивее в работе. Какова его работа, такова и красота. Один поэт сказал по этому поводу следующее: «И еще запомни, друг мой милый, нынче мало Родину любить, надо, чтоб она тебя любила, а таким не просто стать и быть».

Напомню тебе то, что сказал комсомолец от имени партии Н. С. Хрущев: «Родился ты не просто для того, чтобы прожить положенные тебе годы. Ты родился в социалистическом обществе и живешь не только для себя, но прежде всего для общества, идущего к великой цели. И поэтому все дела твои, помыслы и поступки должны быть подчинены этой благородной цели».

В заключение мне хочется сказать, что я еще не привык к этому твоему образу, который здесь нарисовал, и не совсем верю, что ты действительно являешься таким, каким рисуешь тебя свои поступки. Ты, мне кажется, еще не безнадежен. Но, как говорится, самый лучший способ поумнеть — обнаружить в себе дурака. И я советую тебе этим заняться.

Конечно, трудно что-либо исправить за один день, тем более свой характер, свое мировоззрение. Но этого никто не ожидает. Тому, кто знает жизнь, она известна как цепь преодолений. Только безнадежные кретины могут считать себя непогрешимыми. Только душевно добрые люди не раздражаются от каждого несогласия с их суждениями. Только сильные духом не останавливаются и перед каменными барьерами.

Ты можешь многое сделать, если пойдешь правильным путем. Для того чтобы далеко идти и не заблудиться среди ресторанно-потребительских интересов и соблазнов, надо знать свою цель и средства ее достижения. Согласись, Алеша, что «чайка» и нейлоновая шуба — это не та цель. Обидно прожить жизнь ради этого.

Я хочу, чтобы ты запомнил мой отцовский наказ: «Болезнь и смерть не самое страшное. Муки позора и бесчестия тяжелее смерти».

Мне очень хотелось бы надеяться, что ты будешь не только потребителем, что ты будешь рваться на передний край борьбы.

Только такая линия может примирить меня с тобой.

Желаю тебе мужества в преодолении того, что я так — с болью душевной, быть может резко, но справедливо — критикую в тебе».

...Поистине отцом легче стать, чем остаться!

## ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

На подступах... Мы только что проследили, как исподволь и незаметно в хорошей семье, с хорошими людьми и правильными как будто бы принципами жизни вдруг вырастает трагедия, и трудно в конце концов докопаться, где же и когда она началась. Все шло хорошо и как будто бы правильно, и обещало светлую жизнь, и радости и счастье, и вдруг — все рухнуло.

Так, может быть, мало одних принципов? Может быть, суровые законы Арктики

не во всем и не всегда подходят к жизни? Может быть, не хватало души, тепла, мягкости? Но ведь их больше чем достаточно было с другой стороны, со стороны матери? Так, может быть, их слишком было много? Может быть, не было согласованности? Может быть, не хватало вдумчивости, анализа, провидения того, что к чему идет и к чему приведет? Может быть, недоставало культуры или душевной тонкости? А может, сказались какие-то другие, не учтенные, приходящие влияния со стороны? А может быть...

А может быть, мало глубины и настоящей, большой честности и в анализах, и в самой вашей жизни — простите меня, дорогой мой и хороший друг! Нет, не ищите здесь намеков на что-нибудь плохое и предосудительное. Все было правильно и законно. Но вдумайтесь сами в ту диаграмму своей жизни, которую вы перед нами рисуете: «пролетарское происхождение потомственного москвича», «принял фамилию, обгавленную праведной кровью комсомольца, погибшего от кулацкого обреза», «начинал жизнь без лишней пары белья» и «я имею сейчас дачу, первоклассную машину, квартиру, заставленную дорогой мебелью и набитую вещами». Да, у вас много заслуг, но не слишком ли велики блага, которыми они оплачены? И целесообразны ли? И потому меня радует прямота последующего, хотя, может быть, и запоздалого признания: «Не много ли это для одного человека? И нужно ли все это для счастья?»

Здесь я узнаю вас, ваше мужество и гражданскую честность. Ну, а если разбираться в этом до самого конца, эта склонность, как вы сами выражаетесь, к «низменным заботам» не вступала ли в слишком явное противоречие с теми высокими принципами, которые вы внушали сыну, и не она ли помешала вам воспитать бойца и строителя? И не она ли породила в нем нелепый идеал о нейлоновой шубе, так справедливо возмущивший и испугавший вас?

Одним словом, не забывали ли вы за этими «низменными заботами» о тех высоких, нравственных ценностях, без которых нелегко воспитать человека? Вот вы упрекаете сына за то, что он не замечал, как плохо обуто и одета нянька, выросшая его, какой рваной простыней занавешен ее уголок в кухне. Простите, а вы сами это замечали? Почему же вы не повесили вместо этой рваной простыни хотя бы простую, но крепкую и красивую занавеску? Вы говорите, что она чистила ему ботинки, а почему вы допустили это? Даже в те короткие и заполненные делами наезды домой вы должны были это заметить и выправить.

Я не говорю вам ничего нового, все это ваши собственные слова и признания, делающие вам честь, но давайте вскроем их внутренний и педагогический смысл. А тогда окажется, что те большие и поучительные, а иногда, видимо, и поучающие письма с цитатами, о которых вы говорите,

Действительно могли выглядеть морализированием, и ваш сын имел основания так именно их и воспринимать. Так же, как он, может быть, имел основания для суждений о некоторых сторонах и явлениях нашей жизни.

Вы много говорите о честности сына. Но разве вся история со взрывом в Суворовском училище не вступала в вопиющее противоречие с этим? Ведь она была вся построена на лжи. И не она ли легла в основу того нравственного разлада, который вы стали наблюдать у сына? «Если могут лгать старшие, если могут лгать высшие, почему не лгать мне?»

А возьмите его отношение к институту. Вы осуждаете его за «вызывающую халтуру», за то, что он пропускал занятия, не готовил заданий. Но ведь он не поступал в институт, он попал в него ценой героических материнских усилий, за счет, как вы сами отмечаете, тех многих юношей, которые сочли бы за счастье войти в его аудиторию. Институт не был выстрадан им, он получил его как те ботинки, которые чистила ему нянька.

Так обыкновенные, даже обычные жизненные явления приобретают глубокий нравственный и мировоззренческий смысл, который вы не предвидели и даже не предполагали в ходе своей жизни и который обнаружился самым неожиданным образом.

Многое еще можно было бы сказать и подсказать и автору этих писем, пытающемуся разобраться в своих родительских ошибках, и его умной, культурной и тяжело страдающей супруге. Вот они сидят передо мною и в который раз взвешивают и перевешивают эти бесконечные «как» и «почему».

Но разговор пока беспредметный — сын как ушел в тот роковой день, так и не приходит и не дает о себе знать, живет у жены, которая его боготворит. Этого с него, очевидно, достаточно.

И я думаю: как мучаются люди! Мучаются одни, замкнутые в своем горе, а где-то рядом так же сидят и мучаются другие, может быть, над тем же самым: как и почему? И пишут писателям, в журнал «Юность», в «Семью и школу», в газеты, спрашивают: как быть? как жить?

Вот что пишет молодой человек в клетчатой ковбойке по имени Сергей, пришедший ко мне в писательский Дом творчества. Он пришел поговорить о жизни и дал мне объемистые записки, итог первого двадцатипятилетнего отрезка своего жизненного пути.

«Материнский метод воздействия отличался иезуитским ханжеством и провокационностью. Она раздувала величину нечаянного проступка до размеров злоумышленного озорства: «Ах, свинья, опять весь в грязи» (это у меня пятнышко на рубашке). «Что с ним делать? Целый день пропадает со шпаной (это я играл с ребятами в «колдунчики)». «Замучил, окаянный, совсем от рук отбился» (играл с мальчишкой из «враждебного» ей лагеря). Спекулируя таким образом на моем отвращении ко лжи,

она добивалась того, что я в порыве отчаяния забывался и пылко оспаривал несправедливые обвинения. Но пререкание только разжигало ее и подбавляло масла в огонь. Со словами: «Тварь, матери слова не дашь сказать!» — она с новой силой обрушивалась на «мучителя».

Но материнский гнев был лишь прелюдией. Главное наступало с приходом отца. Отец!.. Он всегда приходил с работы усталый, угрюмый. Сидя под столом, глотая слезы, я мучительно размышлял: донесет или нет? Отец прежде всего следовал на кухню, где хозяйничала супруга. Я замирал. Наконец раздавался мерный гулкий ритм шагов (наверное, как у Каменного гостя, когда тот шел убивать Дон Жуана), и сердце мое леденело: донесла! Дверь открывалась... секундная тишина... и — как обвал, сметающий тишину нечеловеческий выкрик: «Выла-а-азы!!!» Заискивающе дергаясь, борючая бессвязные слова оправдания, я выползал из своего убежища; с гвоздя снимался ремень, и разыгрывался второй акт трагедии.

Что переживал я в такие моменты?.. Овечий страх. Вязущей смолой растекался он по членам, отбитая окровавленная душа отрывалась от тела и падала в бездну, из глаз лились ручьями слезы. Скорее упасть к ногам громовержца и по-лакейски, порабски обнимая их, повторять одно и то же: «Папочка... миленький... Не на-а-адо!.. Прости-и-и...», и ползать возле ног, обезумев от ужаса. Вот это ежедневное, ежечасное ожидание неотвратимого акта рано заставило меня погрузиться в омут тоски и самоунижения.

Вот какие истории разгрывались иногда за обыкновенной крашеной дверью.

А игра... Представьте себе пятилетнего мальчишка, по милостивейшему снисхождению родителей отпущенного погулять. Мать снабжает его напутствиями: «Смотри, сынок, штаны не пачкай, плохо будет. От крыльца не отходи, замечу — ублюю! С Юркой не водись, с Витькой не играй, к Вовке не подходи, увижу — запорю! Не бегай, не ори, если кто-нибудь пожалуется, не приходи домой! Ну, ступай, милый». И вот он стоит, прижавшись к дверям подъезда, маленький, бесправный человек, по-стариковски жалкий и неподвижный. А во дворе — веселая игра. Мальчишки носятся как угорелые, спорят, заливаются беспричинным хохотом. Мозг фиксирует моменты игры: «Ах, не так, не так... Что ты делаешь, дурень? Куда бежишь? Эх, мне бы... Я бы показал, как надо играть!» Мысль непрерывно работает, принимая невидимое участие в игре, отмечает промахи и тут же находит удачные решения. Ему бы самому кинуться в вихрь озорного движения, бегать, перегонять, увлекать за собой (вот он, закон соревнования!). Но он не двигается. Над ним тяготеет проклятие — страшный образ кнута. Да избавит бог многих и многих потомков от созерцания этого кошмарного образа!

Вот почему одиночество сделалось родным для меня миром, родной моей стихией. Я уже не участвовал в жизни, я наблюдал

ее со стороны. Настоящий мир казался мне непонятным и страшным, я жил в собственном мире, мире фантазии и грез.

Играя, я не играл. Сейчас мне двадцать четыре года, а я еще не наигрался; сердце просит настоящей, освобожденной от нелепого страха игры...

...Выцари рубля и тюлевых занавесок, стцы и матери! Понимаете ли вы, что есть муки, кроме мук голода и холода, и что не хлебом единым сыт человек? Как часто, распираемые нравоучительным зудом, опьяненные дешевой властью над детьми, вбиваете вы словом и кнутом в их нежные головы клинья вынесенных вами из прошлой жизни и закоснелых со временем убеждений и взглядов на жизнь. Уверены ли вы в правильности вашего понимания жизни, отвечает ли оно современным требованиям? Верю, что во всех случаях вы руководствуетесь единственным желанием, чтобы ваш ребенок вырос счастливым. Но какое счастье вы ему готовите? Коммунисты понимают счастье так: жить для народа. Если у вас иное, отличное от этого понимание счастья, клянусь вам! — оно может обратиться в несчастье для предмета вашей любви. Не делайте же из семьи прокрустово ложе, не спешите учить детей, проверьте сначала себя. Ибо искалеченного вашей «учебой» ничто не излечит.

«А не сгустил ли он краски? — слышится мне скептический голос. — Что-то не верится, чтобы у нас в наше время возможны были такие самодуры-родители. Социализм! Так не бывает!»

О, великая сила заклинания! Если бы только она действовала! «Так не бывает» — если бы действительно после этого перестало быть то, что есть!

Вот пришлось мне быть в Вязьме и, кроме прочих интересных мест старого русского города, я, конечно, зашел в детский приемник. Туда собирают детей, оказавшихся по тем или иным причинам безнадзорными, совершивших какие-то тяжелые проступки, маленьких путешественников, задержанных на железных дорогах, и т. д. Оказался таким путешественником и Володя Н., ученик пятого класса, убежавший от своих родителей, живущих в Донецке.

Обратил он на себя внимание фразой, которую сказал воспитательнице: «Вы устройте меня в колонию, там из меня, может быть, человека сделают», и я решил с ним поговорить.

Передо мной сидел очень приятный, как говорится, «семейный» мальчуган, с круглой, гладко остриженной головой и ясными, чистыми глазами. Он был в ученической форме, спокойно держал себя, скромно и разумно говорил — одним словом, производил самое доброе впечатление. И вот он убежал из дома от отца и матери и ни за что не хотел возвращаться к ним. В чем дело?

Отец у Володи — рабочий, мать — домашняя хозяйка, сын учится в школе — семья как семья, жизнь как жизнь. Но вот Володя перешел в пятый класс, вместо

учительницы Марии Ивановны — разные учителя по разным предметам, и все пошло по-другому. Раньше Володя любил арифметику, а теперь с новой учительницей дело почему-то пошло хуже. «Непонятно как-то она объясняла, — говорит Володя. — И злая очень, правильно, неправильно, все равно кричит».

Одним словом, вместо четверок и пяттерок Володя стал получать тройки и двойки. Родителям это не понравилось, и они решили строгостью восстановить положение. Но строгость полезна тогда, когда она справедлива, строгость несправедливая дает совершенно обратные результаты. Если мальчик, и вообще человек, понимает, что его наказали за дело, он любое наказание примет как должное, а несправедливое наказание не воспитывает, а озлобляет — это нужно принять как закон.

— Главное, если б ремнем, а то он прямо по лицу, — говорит об отце Володя.

— Разве ремнем — лучше? — спрашиваю я.

— А как же? — убежденно отвечает мальчик.

Вы понимаете? Ремнем — это наказание, а по лицу — оскорбление. Значит, маленький человек все-таки человек, со своей душой, гордостью и достоинством. А с этим никто не хочет считаться, над этим даже никто не хочет задумываться. Родителям нужны пятерки, а почему сын съехал на тройки, почему любимая им когда-то математика стала ненавистной и он начал лениться — им до этого тоже нет дела. Им нужны пятерки. Мать, не желая ни в чем разбираться, жалуется отцу, а отец бьет.

Вот и получилось: сын не хочет жить дома. Один раз он после очередной двойки, боясь расправы, не пошел домой и ночевал у кого-то из товарищей, но его нашли и избили еще больше. Тогда он сел на поезд и уехал из дома, направился в Ленинград. В пути его, конечно, задержали, и вот мы с ним в Вязьме ведем разговор.

— Ну, ты очень-то не обижайся на папу, — желая внести некоторое успокоение в душу мальчика, сказал я. — Вот они за тобой приедут, и все будет хорошо.

— Они не приедут, — убежденно ответил Володя.

И мне сделалось очень горько, когда начальник приемника сказал, что это правда: он уже писал родителям, но те отказались приехать за сыном и просили прислать его обычным порядком, с провожатым.

Чем все это лучше того, что рассказал нам молодой человек в клетчатой ковбойке? Это, может быть, мельче масштабом и, кажется, незаметнее, но зло мелкое не перестает быть злом. Больше того: оно, пожалуй, даже опаснее явного — его труднее разглядеть и с ним труднее бороться. Особенно, если не хотеть видеть и избегать борьбы.

Разве может нормальное сознание допустить, например, чтобы в одной кровати лежали мать с маленьким, но далеко не грудным сынишкой и... — прошу прощения,

но это было, об этом составлены акты,— и любовник? А ко мне пришел с этим вопросом растерянный отец. С женой, совершенно опустившейся и потерявшей всякий стыд и совесть, он развелся, но детей она ради алиментов оставила у себя и совершенно калечит, а он не знает, что делать.

Может ли нормальное сознание допустить, чтобы сын, ученик восьмого класса,— еще раз прошу прощения! — стаскивал с кровати матери любовников? А это было. Об этом тоже были составлены акты. Но когда такую мать хотели лишить родительских прав, сын вступился за нее, потому что она «мать».

А говорят: «так не бывает», «не типично!» А то еще скажут — зачем об этом писать, о всякой гадости? Но что же с этой гадостью делать? Как ее выводить? Или пусть остается где-то там, в глуши, в тени, лишь бы мы не видели ее? Да мало ли что нам не хотелось бы видеть, а грязь и зло есть, и они не исчезнут, если мы будем прятать их или прятаться от них, если мы не поднимемся против этого и не вырвем зла из своей жизни! Да и не потому ли зло существует еще, а временами и благоденствует, что мы слишком долго вуалировали наши недостатки занавесом хороших слов и заклинаний?

Так с кого же все-таки нужно начинать, если всерьез говорить о воспитании детей? И с чего?

Не с того ли, чтобы нам, взрослым, оглянуться вокруг себя и на себя, на свою жизнь?

Не с того ли, чтобы признать и решить, что в огромном деле воспитания нет мелочей и все мелкое, как будто пустяковое, может перерасти в очень большое и важное?

Не с того ли, чтобы порвать с недооценкой ребенка, с пренебрежительным взглядом на него и видеть в нем с самого начала личность и строить отношения с ним как с личностью?

— Почему ты не сдал дневник? — спрашивает классный руководитель ученика, воспитанника интерната.

— Я сдал.

— Зачем врешь? Его нет.

Оказывается, дневник, исправно, даже примерно заполненный, был сдан дежурному, но его незаметно взял другой мальчик, чтобы по этому образцу заполнить и свой дневник, и на другой день вернуть. Но обида нанесена: «Зачем врешь?» Как будто бы полагается извиниться, но разве можно извиняться перед каким-то мальчишкой. Авторитет! Самолюбие! Самолюбие удовлетворено, а обида осталась. Один большой, другой маленький, но моральные позиции-то разные. Так рождается несправедливость, а несправедливость может быть по-разному, но одинаково губительна как для одной, так и для другой стороны.

Не с этого ли нужно начинать — со справедливости, чуткости и внимания, внимания прежде всего к личности ребенка? А на деле именно она-то, личность ребенка, часто стоит на втором, на самом последнем

месте. Недаром у нас много раз говорилось о «бездетной педагогике».

«Я учительница, пенсионерка. Проработала в школе тридцать семь лет и за это время была участником доброй сотни учительских конференций и, во всяком случае, нескольких сотен педагогических советов, методических совещаний, семинаров и т. д. и т. п. И обычно в центре внимания этих совещаний стоял или чей-то отчет, или какой-нибудь организационный или методический вопрос, или сугубо ученый доклад о каком-нибудь классике педагогики. Много говорилось о «педпроцессе», о процентах успеваемости, о политехнизации школы, о сахарной свекле и кукурузе, о пришкольных участках, о кроликах и цыплятах, выращенных ребятами, но я почти не помню случая, когда говорилось бы о самих ребятах, о детях, о живом маленьком человечке, именуемом учеником...»

Именно на этой почве игнорирования личности ученика таким пышным цветом разрослись в нашей школе горе-учителя, формалисты директора и бездушные чиновнички, прикрывающиеся высоким званием пионервожатых. Именно оно, это безразличие к человеку, привело к тому, что мы, свидетели и современники величайших исторических сдвигов и потрясающих технических открытий, все еще вынуждены согласиться с гневными словами А. С. Макаренки о педагогической науке:

„Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли... Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время — пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто — ничего нет“.

Бесконечное множество вопросов возникает, одним словом, в связи с огромным делом воспитания. И не с того ли нужно начинать, чтобы прежде всего не уходить от этих проблем, не уходить от трудностей, не закрывать глаза на сложности жизни, на извилистые, даже путанные, но реальные пути развития ребенка, формирования его личности и характера а, наоборот, всемерно вникать и вдумываться в них, даже если внешне все в порядке и никаких трагедий не происходит.

Посмотрим в этой связи еще на один пример того, как сложно и напряженно складываются отношения подрастающего человека с окружающим его миром, и с малым и с большим, с отцом, с матерью, с товарищами, с традициями и предрассудками и зовами нашей большой и кипучей народной жизни.

«Дом моих родителей был одинок и бобылем стоял в лесу, отгороженный от деревни километровой стеной елового леса. Там я и провел свое детство до девятилетнего возраста.

Я был единственным сыном, первым и последним ребенком, родившимся от второго брака отца, когда ему исполнился уже сорок один год. Меня любили, не чаяли во мне души, но баловали в меру и поэтому не испортили окончательно.

Отца я любил, уважал и побаивался. Но друзьями мы никогда не были: что-то лежало между нами такое, не имеющее названия, что мешало взаимной искренности и полному доверию, хотя внешне это никак не проявлялось. Большой, сильный и неглупый, отец пользовался уважением всех, кто его знал близко или был просто случайным знакомым. Работал он в совхозе старшим механиком и считался лучшим специалистом, известным далеко за пределами района. В прошлом шофер, он был любителем и энтузиастом машин, хотя никакого технического образования не имел и до всего доходил самоучкой. Он мог по слуху, внешнему виду, по каким-то одному ему известным приметам определить болезнь любого механизма, будь то ручные часы, оевольвер или швейная машина. Он всегда что-нибудь делал, и вне работы я его не видел.

Мать была прямой противоположностью отца и моложе его на пятнадцать лет. Ограниченная, с мещанскими понятиями о жизни, она была источником всех моих бед и огорчений, и не только детских. Вышедшая из крепкой крестьянской семьи, она до последних дней оставалась домашней хозяйкой, хотя далеко не образцовой.

Любила она меня ужасно, какой-то непонятной мне, странной, дикой, животной любовью, от которой я не находил себе места и которой очень стыдился, избегая бурных ее проявлений. Она считала, что, не ствечая ей тем же, я проявлял черную неблагодарность: на меня сыпались упреки, обвинения и нередко побои чем придется. Била она меня до икоты, до судорог и истерики, а затем плакала и ласкала до изнеможения. Это навсегда отдалило ее от меня, и если бы не отец, я, наверное, был бы постоянным обитателем детских домов и приютов.

Отец, наоборот, никогда не высказывал своей любви; был суров, справедлив и немногословен; но детским чутьем я подсознательно угадывал в этом большом и сильном человеке такую же сильную и большую любовь. Поэтому, даже внутренне с чем-нибудь не соглашаясь, я подавлял свое нежелание и поступал так, как хотел отец. Я был причиной семейных скандалов и ссор, иногда бурных, диких, с битьем посуды. Преклонный возраст и я удерживали отца от разрыва. Все это рано изломало мою психику, породило замкнутость и сделало чрезмерно чувствительным ко всякого рода несправедливости; я рос нервным, мечтательным ребенком и был очень одинок.

Одиночество усиливало мою дикость, застенчивость, и, по-видимому, из-за него я рано пристрастился к чтению.

В школу я пошел семи лет. Писать, читать и считать я уже умел и поэтому интересного в этом хождении ничего не видел.

Мой первый учитель, Николай Федорович, был груб, частенько приходил на уроки пьяным и даже дрался.

Мальчишки меня не любили не за мои недостатки, а скорее за то, что я жил дру-

гой, неизвестной им жизнью. Для деревни того времени я был сыном богатых родителей; приличная одежда и обувь, завтрак, который я приносил в школу, легкость, с которой я учился, усиливали неприязнь сверстников. Но меня неудержимо влекло к ним, и за каждый дружеский жест я не задумываясь отдавал все свои детские сокровища. Для того чтобы походить на всех, я по дороге в школу прятал под ель свои новые ботинки вместе с пустой бутылкой из-под отданного собаке Тузику молока, а возвращаясь, надевал, удивляя мать грязными ногами. И тем не менее, драться приходилось каждый день, за что в школе получал наставления от учителя, а дома нотации от матери и немногословные внушения от отца.

Во внешних событиях я уже разбирался: помню раскулачивание, организацию первого колхоза, непонятное слово «торгсин», карточки, боны и конскую колбасу.

В 1932 году мы переехали в совхоз. Вместо прежнего одиночества я оказался в шумной компании мальчишек, от которых ничем не хотел отличаться, и всем своим поведением как бы возмещал проведенные одиноко годы.

Взаимного понимания и взаимного доверия между мною и родителями по-прежнему не было. Я жил своей, обособленной жизнью, в которую никого из посторонних не допускал, а родители были посторонние.

Приятели, как правило, были из числа тех, с которыми мне не рекомендовали и даже запрещали водиться, а «хороших» я презирал только за то, что мне их навязывали; этим я как бы мстил матери, от которой все более и более отдалялся.

Школа была обязанностью, которую нужно принимать как лекарство. Но принимать не хотелось. Школа отнимала время от книг, которые я читал запоем.

Хотелось быть взрослым, сильным и обязательно смелым. Хорошим ростом и незаурядной физической силой я наделен был природой и поэтому всех сомневавшихся убеждал в кулачных драках; желание быть взрослым выразилось в том, что курить начал лет с двенадцати, это было источником многих неприятностей и в школе и дома. Со смелостью было хуже, хотя предствление о ней у меня было довольно своеобразное. Я боялся высоты, собак, в драках — ножа... но никогда, даже себе не сознавался в этом и всегда шел навстречу своему страху: лазил по карнизам и деревьям, прыгал с трамплинов, драл собак, в драках лез на нож, ходил ночью на кладбище. Все это создало мне не совсем лестную репутацию: меня боялись, детям из «порядочных» семей со мною запрещалось дружить, со мной беседовали учителя и т. д. Это злило, и я снова делал все вопреки советам взрослых, хотя делать так не хотелось.

В глубине души я сознавал, что все это не настоящее, многие мои младенческие поступки были противны мне, и втайне я

их стыдился, так как они не всегда соглашались с образом моих мыслей и желаний. Я постоянно был в конфликте с самим собой.

В школе считался способным учеником. Схватывал я все быстро, но, однажды запустив математику, так до конца и не смог одолеть эту науку, объясняя неуспехи своей нелюбовью к ней.

К шестнадцати годам мой характер несколько выровнялся, я стал больше задумываться над своими поступками, анализировать их и согласовывать с общепринятыми нормами поведения и морали. Я знал свои слабости и старался никогда не вступать в компромисс с ними.

На смену Жюлио Верну пришли А. Чехов, Л. Толстой, И. Гончаров, М. Горький, А. Фадеев, М. Шолохов... Любовью к литературе я многим обязан Ольге Александровне Делициной, ее преподаванию. До настоящего времени я сохранил к ней глубокое уважение и любовь тех детских лет, хотя она и не догадывается об этом.

Физического труда не чуждался и даже находил в нем удовольствие: я косил, пилил, умел пахать, в летние каникулы корчевал в совхозе лес, разгружал вагоны.

Нашу советскую идеологию и мораль принимал беспрекословно, на веру, как есть, не раздумывая. Мечтал о подвигах, о большой, настоящей любви и настоящей работе.

Учебу закончил за несколько дней до войны, а на восьмой день после ее начала ушел защищать Родину. В огонь войны вошел прямоком из детства, переступив пору юности, и неповторимые годы ее исчезли навсегда.

Мечтал о подвиге. Но подвигов не совершил. Война была повседневным, будничным, тяжелым трудом, и он, этот труд, стал моей внутренней потребностью, частью моего я.

Было трудно: лишения, голод, гибель товарищей. Но была здоровая, спаянная вековыми традициями русских моряков морская семья, была настоящая, суровая «мужская» дружба. Эта семья стала моей семьей, ее традиции — моими традициями. Отдых был вынужденным — в лазарете, куда попадал трижды. Несколько раз правдами и неправдами отказывался от учебы: боялся, что война закончится без меня. Перед нами был враг, и его нужно было уничтожить или погнать. Это была цель нашего народа, она стала и моей жизненной целью. Все было ясно и просто».

Все ясно и просто, и все как будто бы хорошо — на наших глазах сформировался характер, человек и боец. Но посмотрите, через какие внутренние пороги и перепады прошла у этого человека река его детства, как сложно и трудно протекало формирование и воспитание характера. И кто же, и что же его в конце концов воспитало? Отец? Его суровая справедливость и немногословная, как говорится, мужская любовь? Но почему к этой суровости, к этой заслуживающей всемерного уважения деловитости не прибавить душевной тонкости и уча-

стия? Мать?.. Но разве это не страшно, когда сын стыдится любви своей матери? Да та ли это любовь? Такая ли? И вообще, какое это сложное и противоречивое чувство — любовь. Как иногда вместо счастья и радости она несет страдания и даже гибель, как часто именем любви прикрываются совершенно постыдные вещи и даже совершаются преступления.

Так и здесь. Подлинная любовь неотделима от мудрости, иначе она вырождается или в примитивный инстинкт или в гнетущую тиранию чувства. Родители должны любить детей, а как часто эта любовь превращается в любовь к себе, к собственным настроениям и переживаниям. Ах, он недоел! Ах, он переел! Ах, он простудился! Ах, ей жалко! Ах, она беспокоится, и у нее надывается сердце! И на место реальной заботы о реальных, правильно понятых нуждах и интересах детей, вместо мудрого проникновения в их мир, в их логику, в их действительное настоящее и в их будущее возникают сентиментальные «ахи» и «охи» или грубый окрик и угроза — «я тебе покажу!» да «я тебе задам!» Но и в том и в другом случае любовь превращается в эгоизм, да, в своеобразный, бездумный, любовный эгоизм, не поднимающий, а подавляющий личность растущего человека. А воспитание-то как раз и должно формировать именно личность человека, его понятия и критерии, его понимание себя, своих сил и возможностей, своего места в жизни, в среде людей, в обществе.

Сначала общество для ребенка олицетворяют папа и мама, братишка и бабушка, семья, потом — детский сад, школа, двор, товарищи, комсомол и, наконец, народ, государство, одним словом, коллектив — большой или маленький, но составляющий среду, в которой живет и проявляет себя личность и отношения с которой определяют ее нравственный облик.

А смотрите, как сложно складываются для подрастающего человека эти отношения в реальной жизни: бутылка молока, отданная Тузику, и спрятанные ботинки, и драки — обыкновенные, как будто бы ребячьи драки, и шалости, и озорство, а какой глубокий внутренний смысл кроется за всем этим! Как легко тут можно пройти мимо и осудить, и наказать, и поставить двойку, и поставить в угол, и оскорбить незаслуженным упреком «хулиган», как много можно наделать ошибок, потому что не поняты внутренние пружины и мотивы поступка. А жизнь идет своим чередом, и растущий человек вбирает ее в себя и переваривает, преломляет, обдумывает и постепенно формирует как-то, какими-то внутренними путями себя, и вот уже выходит на большие просторы жизни. Вот уже мыслями овладели Чехов, Толстой, Шолохов, труд и «наша советская идеология», мечты о подвигах столкнулись с общенародным испытанием: война. «Цель нашего народа стала моей жизненной целью».

Знаем ли мы всю эту сложнейшую химию души? «Человек начинается рано» — как хорошо выразились в одной газетной

статье, видимо, очень тонкие педагоги — Е. Кабалкина и И. Короткова.

«Основы характера у человека закладываются в раннем детстве. Закладываются и многие привычки, которые потом остаются на всю жизнь. И думать об этом нужно сейчас, пока этим будущим людям по семь, восемь лет. Догадаться, что для ребенка легко и что трудно, разобраться, в чем он не прав, а в чем порою и прав, увидеть за плохим хорошее, а иногда за хорошим плохое. Нет, мы не вправе забывать, что очень многое зависит от того, сумеем ли мы понять своего ребенка, понять и помочь ему уже сегодня быть настоящим человеком».

Всегда ли мы учимываем это? Не подходим ли мы к его миру, к его логике, к понятиям и критериям со своих позиций, вооруженные лишь своим опытом, далеко к тому же не всегда правильным и безгрешным. И в этом своем не всегда правильном и безгрешном замечаем ли мы, что кругом нас дети, что каждый шаг наш и каждый поступок тоже воспринимается ими и ложится в их души?

Пришлось мне как-то плыть пароходом от Горького вверх по Оке. Перед заходом солнца прошли Касимов, и вечерняя заря застала нас среди широких приокских лугов, овянных запахами свежего сена. Она пылала вполне, постепенно меняя краски — с пышных, ярких и торжественных на мягкие, нежные, задумчивые. И прибрежные ивы так же задумчиво и грустно смотрели в спокойную гладь воды, расцвеченную нежными отсветами неба. Картина была так величественна и в то же время так лирична и чиста, что зачарованные пассажиры безмолвно стояли на палубе, точно присутствуя при некоем высоком таинстве. И даже шумливые обычно школьники, ехавшие на пароходе с экскурсией, тоже притихли, любуясь раскрывшейся им красотой ее величества Природы.

И вдруг в эту торжественную тишину ворвался шум мотора, а потом сзади, со стороны Касимова, показалась моторная лодка. Она неслась с бешеной скоростью, перегнала пароход, обогнула его, ушла назад, опять вернулась, опять обогнула и снова сделала вокруг нас лихой вираж. Спокойное зеркало всколыхнулось, раскололось, раздробилось и пошло гулять свинцовыми переливами, по которым запрыгали тревожные, мигающие сполохи.

В лодке сидели две пары, полураздетые и, видимо, пьяные. Обнявшись, они что-то кричали нам, махали руками, горланили песни, делали какие-то жесты, обнажая свою разгулявшуюся пошлость.

Мы смотрели на эту вакханалию со смешанным чувством гадливости и гнева, сжав кулаки, но с горьким ощущением своего бессилия, и вдруг кто-то из притихших тоже школьников сказал: «Во дают!»

Трудно было понять, что заключалось в этом ребячьем «дают!» — осуждение или восхищение? И я подумал: какой черный, грязный мазок лег на ту яркую, величест-

венную картину, которой они только что прониклись? Что вынесут эти детские души из того, что им пришлось видеть? Считаемся ли мы с детьми, когда затеваем семейную ссору? Считаемся ли мы с ними, когда устраиваем пьяную гулянку? Считаемся ли мы с этим, когда отравляем воздух грязной площадной бранью? Оцениваем ли, используем ли мы тот огромный запас добра, чистоты и нравственного здоровья, который несут в себе наши дети? Припомните просьбу Володи: «Отправьте меня в колонию, может, она сделает из меня человека». Значит, эта маленькая стриженная головка несет в себе идеал человека, которого нет у его родителей. Она несет в себе сознание своего достоинства, которого тоже нет у родителей этого мальчика.

Значит, не следует ли иногда и глупой курице поучиться у произведенных ею яиц? Ох, а какие же глупые бывают эти «курицы», несмотря иной раз на все их звания и ранги!..

«В связи с тем, что наши взаимоотношения окончательно зашли в тупик и я лишен возможности договориться с Вами до какого-либо приемлемого результата путем непосредственных переговоров, я вынужден изложить свою точку зрения на некоторые важнейшие положения, требующие неотлагательного урегулирования, в письменном виде.

Наша семейная драма, как и бесконечное количество им подобных, возникла на биологической почве. Вам, как биохимику, должны быть хорошо известны те мощные биохимические факторы, которые обязаны своим существованием продукции желез внутренней секреции. Продукты половых желез, качественно и количественно варьируясь в организациях того или иного пола, и создают, в конечном итоге, весь психологический фон того или иного мужчины, той или иной женщины. С этой точки зрения, нет «нормальных» мужчин и нет «нормальных» женщин, существует целая градация: мало, средне и сильно выраженных представителей того или иного пола. Счастливые браки определяются соответствием специфической валентности супругов, и неудача нашей семейной жизни явилась следствием разницы темпераментов, как вы сами констатировали еще три года назад, в памятные для нас обоих дни мая месяца».

Вы думаете, это цитата из «Крокодила»? Нет, скорее — для «Крокодила». Это начало письма, подлинного письма от мужа к жене. Они решили развестись, и вот муж — профессор химии, пишет своей жене — профессору биохимии — эту «диссертацию» объемом в сорок одну страницу машинописного текста.

«Мы познакомились с Вами в лаборатории Зоопарка. Наш роман развивался за лабораторными столами, среди пробирок, наполненных головастиками, претерпевшими ранний метаморфоз, и колбочек с мухами, освещаемыми всеми цветами видимого спектра. Нам есть что вспомнить с чувст-

вом печальной грусти. Это была первая любовь, всегда забываемая и чистая».

Я не имею возможности, да и большого желания приводить здесь этот шедевр наукообразной пошлости, подменяющей живые человеческие чувства «эволюцией умозаключений», «экскурсией в область биохимии и литературы», «констатациями де-факто» и «де-юре» и «фактическими справками из истории наших отношений». А отношения развивались так, что «чрезмерно занятая по научной линии» профессор-жена, судя по претензиям профессора-мужа, была холодноватого темперамента, не проявляла женской заботы ни о нем, ни о появившихся, несмотря на это, детях, и на мужа легли «все заботы и хлопоты по вегетационной части». В результате «совместное существование эволюционировало в ненужную сторону», и, наконец, «волевые импульсы иссякли» и «вакуум был заполнен», как полагают, «по всем законам природы». Одним словом, в доме появилась «вторая жена», как она открыто именовалась в объяснениях между учеными супругами.

Супруга сначала смотрела на все это сквозь пальцы, но в маленькой книжечке в кожаном с бисером переплете под заглавием «История нашего кризиса» тоже пыталась «анализировать состояние» и «формулировать выводы».

«Гениальность — вторично-половой признак мужчины, но я только теперь осознала, что для того чтобы реализовать полностью свою научную потенцию, силу своего мозга, ему надо реализовать и свою мужскую потенцию»...

«У меня обида не на М., а на себя, обида не на то, что ему нужны другие женщины, а на то, что я до сих пор этого не понимала, была наивной дурочкой, несмотря на ученую степень».

Но потом этот научный туман, видимо, рассеялся, появились «взгляды, эквивалентные ушатам холодной воды», и, наконец, «завершающая фаза отношений» и это письмо на сорок одной странице, как «взывание к Вашему просвещенному разуму и былой Вашей лояльности», предложение «во имя соображений высшего порядка пойти на уступки» и «сбалансировать отношения», — и наконец заявление в суд.

Прошу прощения, я все-таки увлекся и уделил этой истории больше внимания, чем предполагал. Но иначе трудно было бы воссоздать атмосферу этой, по всем видимым признакам, «интеллигентной», «культурной», даже ученой семьи, чтобы можно было сопоставить ее с той нравственной пошлостью, которая переполняла ее. Видимо, ни ученое звание, ни большие заслуги, ни высокий чин, ни партийный билет, никакие иные внешние признаки и категорий не предохраняют человека ни от глупости, ни от пошлости, ни от моральных уродств.

А ведь в этой атмосфере росли две девочки! Какими же миазмами наполнялись их души! Мы ничего не знаем об их судьбе, но произведем подстановку, и эта

судьба, с некоторой, может быть, поправкой на среду, историю и предысторию, встанет перед нами во всю силу своей трагедии.

«Хоть я прожила только шестнадцать лет на свете, я видела очень много плохого. У нас в семье царит разлад. Каждый день между бабушкой и матерью происходят скандалы. Однажды мама сказала мне такие слова: «Жалею, что не сдала тебя в детский дом, когда это было можно!» Я не могу простить ей этих слов. Отец бросил нашу семью, и мама часто повторяет, что я такая же подлая, как и отец.

Если бы Вы знали, как иногда я завидую тем, у которых есть мать, которой можно все рассказать, посоветоваться. Бабушка смотрит на меня как на причину неудачной маминой жизни: ведь она больше не вышла замуж.

Во время летних каникул мне пришлось ехать на пароходе, и там вместе со мною ехала семья: отец, мать, дочь и сын. И когда я наблюдала, как хорошо отец разговаривает с дочерью, мне так захотелось иметь отца! Что бы я ни отдала, чтобы иметь отца или человека, к которому можно пойти и все рассказать!

Н. П.»

Приписка: «Дорогой товарищ Медынский, сегодня мать выгнала меня из дома. За что я так страдаю? Я ненавижу ее, и меня ничто, никакие ее страдания не трогают. А если бы вы знали, как мне хочется иметь мать, только настоящую. К сожалению, у меня нет друзей. Я выплакала все слезы. Порой мне так хочется плакать, и я была бы счастлива, если бы смогла заплакать. Но слез нет!»

По-моему, это очень страшно, когда нет слез. Это — предел отчаяния.

Упоминание о хорошей, дружной семье, которую девочка встретила на пароходе, заставило меня найти письмо, которое прислал мне из Омска инженер Луговской уже давно, в ответ на первые, опубликованные в журнале «Москва» главы «Чести».

«У меня четыре сына и самая младшая из детей — дочь, ей уже 16 лет.

Самый старший — инженер, работает в научно-исследовательском институте, второй учится в МАИ, третий служит во флоте, четвертый после десятилетки работает на нефтезаводе, дочь перешла в десятый класс.

Вырастив пятерых ребят, я считаю себя вправе высказать свои соображения о воспитании детей.

Лично для себя я вывел тезис: «материнство — это подвиг». Пусть это порой и не осознано, но это так. Почему это так — видно из моей жизни.

Я — инженер-строитель, жена могла бы стать блестящим архитектором. Вспоминаю, в институте, где мы учились, старик Веснин восхищался ее проектами, но жизнь сложилась так, что я попал на отдаленные большие стройки, и жена семнадцать лет отдала в основном детям. И только в 1950 году стала работать в школе — преподавать черчение и рисование. Но зато дети чувствовали семью — мать. Меня они мало видели

дома: я уходил на стройку — дети спят, приходил — также спят. Дети знали — «папа работает», а в воскресенье отдыхает, читает. Значит, дома мать. Она — все, она — первейший авторитет. От матери дети ничего не скрывают: и успехи, и неудачи в школе, и дружбу, хорошую или плохую, и первые свидания с девушкой, — на все нужно обязательно мамино мнение, и в частности, о той или иной девушке. И даже сейчас уже двое женатых, а обо всем докладывают, пишут, советуются с матерью. Не скрою, не все бывало гладко. Вот Станислав, который сейчас на флоте, тяжелый был парень, самолюбивый, нетерпеливый, обидчивый, ленивый, увлекался только футболом и хоккеем, с трудом кончил десять классов, а сейчас на флоте — образец дисциплины и трудолюбия.

Я возвращаюсь к своей основной мысли: мать — это подвиг, это долг перед обществом. И, по-моему, эта мысль должна как-то найти свое отражение в вашей книге. Мне кажется, что и Вы так же думаете. Может быть, я ошибаюсь, может, это «не типично», но в жизни это так. Такова действительность, что мы, отцы, мало видим, бываем с детьми. Работаем, заседаем, а в свободное время нужно отдохнуть, почитать.

У нас в семье заведено правило, которое священо с ранних лет. Что бы ты ни сделал, приходи и расскажи. Мы с женой принимали зачастую и грубость в школе, и драки, журили и, прощая, объясняли. Но стоило кому-либо соврать, тут уж пощады нет, вплоть до хорошей лупки. Я вспоминаю, как мой Игорь десять лет назад, в Октябрьские дни, сказал, что идет в школу на вечер, а вместо этого пошел к ребятам, где его «угостили», и так, под хмельком, с товарищами пришел в школу. Я с женой тоже был в школе, обратил внимание на его состояние, потащил к директору и настоял, чтобы всей этой компании, и Игорю в том числе, вlepили четверки по поведению, а дома Игорю еще было добавлено.

Теперь — о дружбе в семье, обязанностях каждого. Стройки наши всегда были в местах «отдаленных», глухих и таежных. Я утром уезжал в восемь, а приезжал в девять-десять часов вечера. Семья большая, одной жене не управиться. Поэтому у каждого есть обязанности: один дрова рубит и печь топит, другой в магазине бегает, третий помогает стирать, полы мыть и т. д. К тому же я должен признать, что недостаточная обеспеченность — это подходящий фактор для привития детям чувства бережливости, ответственности, заботы о ближнем — родителях, братьях и т. д. А так как моей зарплате, как правило, не хватало, у нас в семье даже видели всегда трудовую, напряженную атмосферу — жена крутила на машинке туалеты «начальственным дамам», да и сейчас нет-нет да и пошьет что-либо, не говоря уже о том, что все от старшего перешивается младшему. Все на глазах, все поровну, нет лучших и худших. Принесешь, бывало, яблоки (а на Севере они редки), даешь младшей, а она

тут же предлагает поделить Стасе, Ваде, Игорю, папе, маме. И так до сих дней. Недавно вот Иринка на областных школьных соревнованиях заняла второе место по прыжкам, бегу, толканию ядра. Ну, принесла грамоту, а с нею коробку конфет и шоколаду; дома все сладости были поделены на всех. Вот так у нас и создавалась дружная семья, хотя процесс ее создания был длительный и трудный. Вам может показаться, что я пропагандирую своеобразный «нигилизм», заранее прошу прощения, но в жизни у меня было много примеров: как обеспеченные родители — так дети оболтусы. Должен оговориться, что это происходило оттого, что либо и отец и мать занимались «общественно-полезным» трудом, а воспитанием занимались няньки, либо любвеобильная мамаша, наделяя своих чад несуществующими талантами, держала их в пуху, ограждала от свежего ветра, — ну вот и получались эгоисты в лучшем случае».

А вот письмо молодого человека, сержанта Советской Армии тов. Галича, письмо большое и умное, посвященное многим вопросам воспитания. Но, пожалуй, как и в предыдущем, главное место занимает в нем образ матери, ее исключительной важности роль в воспитании детей.

«Я вырос без отца. Он погиб на фронте, когда я был совсем маленьким. Нас осталось возле матери пять человек. Каждому надо было дать образование, воспитать, а это в послевоенные годы было не так-то легко. И сейчас я с теплотой вспоминаю о своей матери, которая нам заменяла все: и отца, и друга, и старшего товарища. Что было не так, советовала, если появлялась необходимость, ругала. Я не могу не принести ей слова благодарности и любви, и забыть это все было бы бесчеловечно. Мать мне была наставником и самым близким другом, от которой я мог получить все и не мог скрывать ничего. Я с нею делился всем: радостью и горем, успехами и неудачами. Взамен я получал помощь и совет, в чем я иногда больше всего нуждался. Но главное — в воспитании. И я ей благодарен за то, что воспитан не пасынком, не белоручкой и не шарлатаном. Еще с детства мать привила нам любовь к учебе и к труду. Она не навязывала этого и не читала нравоучительной морали, что надо учиться, надо быть примерным учеником, надо работать, не выводила это из-под ремня. За все совершенное нами она только напоминала: «Сумел сделать, имей мужество и ответить. Совесть можно быстро и легко растерять, гораздо труднее ее приобрести и завоевать у людей доверие».

Все это получалось у нее веско, хотя и не в резкой форме, спокойно. Эти слова действовали иногда больше на сознание, чем любые нравоучения. Она часто говорила: «Я и ваш отец не знали школы, не могли учиться. Учитесь вы. Помните только одно, что вы не для меня учитесь: учитесь для себя, чтобы быть полезным людям, чтобы не пользоваться чужими благами».

Она никогда не неволила и не была насильственной, какой была мать у моего товарища, но умела так показать нам на дело, что оно казалось необходимым, и само собою появлялось чувство ответственности за себя, за то внимание, которое было у матери.

И видя ее усталой от работы, натруженные руки с мозолями, мы не могли говорить ей неправду, не могли обманывать самого близкого и родного человека. Беря в конце недели дневник, она смотрела на него и вместе с нами радовалась нашим успехам. Так, учась в школе, мы хоть этим, своей учебой, облегчали ее труд, ее заботу.

И позднее, учась в техникуме, да и сейчас, находясь в рядах Советской Армии, я не могу забыть той материнской заботы, которую постоянно чувствовал.

Мать! Как много в этом выражено тепла, ласки и безграничной любви к этому человеку. А с этим словом у меня связано все. Разве я могу забыть свою мать?» Вот вам и «безотцовщина!» Устой!

Счастье нашего юношества зависит от того, как и кем будут заложены основные, направляющие все его поведение, моральные качества.

Так по-разному, со множеством вариаций звучит эта огромная всеобъемлющая тема, которая именуется воспитанием человека.

В них, в этих вариациях, слышатся и радостные, торжественные хоралы, и раздражающие душу трагедии, и усилия, и поиски людей, и их большие достижения, и такие же большие и горькие ошибки.

## ЖЕЛТОРОТИКИ

...И большие и горькие ошибки.

Это, пожалуй, самая тяжелая вариация той темы, о которой только что шла речь. Конечно, каждая ошибка тяжела: ошибка врача, строителя, ошибка математика, военачальника, плановика — каждая имеет свои последствия и свою горечь. Но, пожалуй, самыми горькими бывают именно просчеты души, когда человек рос и, казалось, воплощал в себе большие надежды и устремления, вырос совсем не тем, каким его хотели видеть люди.

Так в чем же дело? Как и почему? Как начинается мутнеть светлая струя юности, всегда светлая, всегда чистая, даже если она и далеко не безоблачная?

Здесь мы опять приходим к тому, с чего начали, — к сложностям воспитания.

Среди читателей у меня есть хороший заочный друг, с которым, правда, мне еще не довелось увидеться, но с которым мы уже несколько лет ведем переписку. Нет, он не из числа обиженных или заблудившихся в жизни. Это — старый коммунист, участник гражданской войны, боец Красной гвардии И. В. Маликов. Теперь он на пенсии, но, как говорится, возраст определяется не по годам, а по делам, а Иван Викто-

рович, несмотря на свои годы, продолжает напряженную и неутомимую работу общественного пропагандиста, лектора, борца за правильное воспитание детей.

Во взглядах мы с ним обычно сходимся, а кое в чем и расходимся, и иногда спорим, в том числе и о сложностях воспитания.

«Зачем усложнять? — пишет он мне. — Вопросы воспитания ясны. На протяжении столетий им посвящали свои труды мыслители и ученые мира, и все они говорили о воспитании ребенка, а мы почему-то отмахиваемся от этого и все свое внимание направляем на юношество. У нас, образно выражаясь, организовано своеобразное порочное производство: сначала различными способами и приемами морально разлагают ребенка, а потом изобретают способы, чтобы исправить этот брак. Изобрели «счастлиное детство» и с пеленок прививают детишкам эгоизм, самовлюбленность и преждевременную зрелость, из которых потом вырастают паразитизм и тунеядство. Играют в «куколки», «лапушки», а когда «лапушка» начинает показывать коготки, тогда начинают либо закручивать гайки, либо пенять на «улицу», на школу, общественность и т. д. и т. п. Вот почему меня больше волнует корень вопроса, то есть воспитание ребенка в дошкольном возрасте».

Все это очень правильно, но где он и так ли он ясен, этот самый подлинный «корень вопроса»? Если бы можно было проводить дошкольное воспитание ребенка в лабораторно-стерильных условиях!

Основы характера закладываются еще в дошкольном возрасте, домашний быт — почва, на которой вырастают первые навыки неоформившегося человека, — все это так. Но что это за домашний быт и какие навыки он прививает? Каково идущее от него влияние? А мир, который его окружает, его противоречия и сложности? Разве это все не элементы и не факторы воспитания? Ошибка заключается в том, что взрослые, а порой и родители считают маленького человека неразумным: «Он еще глуп и ничего не смыслит».

А маленький человек своим пусть и не совсем разумным умишком по маленьким недомолвкам и всевозможным, казалось бы, незначачим приметам старается по-своему отличать и правду от неправды, и подлинную любовь от мнимой и фальшивой, и разумную строгость от унижающей злобы и раздражения, учение — от педантизма и поучительства, и высокую справедливость от обидной и тоже унижающей несправедливости. И все это — результат мышления, пусть самого архаичного, архаического но несомненно мышления начинающего формироваться человека.

Но растет человек — и развивается его мышление и становится уже не таким примитивным, обостряются противоречия, выпирают острые углы, проявляются задатки будущей личности со всеми ее плюсами и минусами: и юношеский максимализм —

«если правда, то вся и ни на каплю меньше»; и юношеский трагизм: получил двойку — разуверился в людях; и жажда подвига — «хочу проявить героизм, а негде»; и ложная взрослость, развязность или, наоборот, чрезмерная самолюбивая обидчивость, излишняя влюбчивость или, наоборот, показная гордость и ненависть к тем, кто может стать предметом любви; боязнь пропустить мимо жизнь, а в результате — досадные мелкие мелочи, и ничтожные никчемности, и реальная опасность пройти мимо жизни; настоящее и показное, реальное и мнимое, воображаемое и откровенно циничное, чувственное.

«Я — существо женского пола по имени Надька. Мне девятнадцать лет. До девятого класса я жила и училась нормально, а потом стало что-то твориться со мной. Наверное, от того, что стала мыслить. Учиться я стала жутко и, честно признаться, на учение смотрела как на бремя. На уроках я исследовала седьмое небо, да и дома то же самое. Но я любила книги, и всем хорошим во мне я обязана книгам. Когда я начала кое-что понимать, то увидела, что не все в порядке в мире сем, да нужно разобраться и в самой себе».

Смотрите, как все сложно и путанно. Все только еще растет и проявляется, бродит вино юности, и многое, очень многое может случиться, пока оно перебродит, пока все вызреет и сформируется. Пусть их не так много, таких путаников, но разве только прямые дороги ведут к цели? У каждой дорожки есть свои стезжки, и пренебрегать ими тоже никак нельзя. Иной раз из-за пустяка, из-за случайности или неразумия, из-за недосмотра рушатся молодые судьбы, неустойчивые человеческие жизни. И закрывать на это глаза, обходить и не исследовать эти вопросы значит отказывать молодым, вступающим в жизнь людям в помощи и руководстве.

«Был я честный молодой человек, скромный, тихий, в общем, простой парень, каких у нас много. Но у меня была другая жизнь, двойная жизнь, пусть и совсем короткая, несколько месяцев, и даже не жизнь, а темная ночь, которая загубила меня. А отчего? Что меня толкнуло на это? Я понимаю, было отсутствие воли, может, еще ряд причин. Но все же было ведь что-то главное, неуловимое! Ведь я не родился и не рос вором и жил, не помышляя ни о чем дурном, даже не ругался нецензурными словами, и вот, когда я должен был уже выбирать жизненный путь, в этот ответственный момент я споткнулся. А почему? Ведь было же что-то? Было?»

Так что же это — то, что было? Если юноши сами теперь, с опозданием, пытаются это понять и осмыслить, тем более это должны сделать мы. Ведь мы — общество! А всегда ли и так ли мы это делаем? И всегда ли все в должной степени учитываем?

Итак, человек входит в жизнь. Когда-то он постигал тайны цвета, звука, формы, искусство движения. Теперь все это далеко

позади: ему кажется — он все умеет и все как будто бы может. И он хочет поскорее утвердить себя: да, он все может! «Я сам!» Мы это слышим уже от трехлетнего карапуза, которого пытаемся посадить, когда он карабкается на стул, и тогда он отводит вашу руку: «Я сам!» Утверждение личности. А для 15—16-летнего подростка это становится даже главным, он чувствует себя уже взрослым, ему так хочется быть по-настоящему взрослым.

«В том переходном возрасте от мальчика к юноше, который бывает у всех детей, у меня появилась тенденция к независимости. Я хотел быть независимым от отца и матери, я хотел жить по-своему, жить и работать отдельно от них.

Наша семья жила небогато. Раздетым и разутым я, конечно, не ходил, но, видя, как ходят в хороших костюмах мои сверстники, я тоже хотел быть таким. Но в семье работал всего один человек — отец. И он, конечно, не мог разорваться на части, чтобы удовлетворять всем членам семьи излишние потребности. Но я не мог понять этого, понял я это гораздо позднее, когда очутился на скамье подсудимых. В городе, в котором я жил, меня на работу нигде не брали, так как мне было тогда всего четырнадцать лет. Но я хотел быть самостоятельным, независимым. Главное — независимость! Главное — самостоятельность!»

И я начал удирать из дома, ездил по разным городам и искал работы, искал свободы, независимости, самостоятельности — хотел быть взрослым!»

Но подросток еще не знает, он совсем не понимает, что значит быть взрослым! Он не представляет того бремени, которое лежит на плечах взрослого, — и труда, и жизненных тягот, и многообразной ответственности и перед собой, и перед семьей и перед обществом. Для него быть взрослым — это значит прежде всего быть свободным от той ежеминутной опеки, которую он чувствовал, будучи маленьким. Но как распорядиться собой — он не знает, он видит внешнюю и часто отнюдь не самую лучшую сторону того, что такое «взрослый».

«Тринадцатилетним подростком я совершил первое преступление. В то время я был ребенком и всегда старался подражать взрослым, и все их плохие поступки воспринимал как должное».

Это еще и еще раз говорит о той громадной ответственности, которая лежит на плечах взрослых.

Для подростка быть взрослым — значит проявить себя и утвердиться в жизни.

Желая познать как можно больше, он часто бросается от одного увлечения к другому — этим он как бы сам себя всесторонне развивает, накапливает опыт и в то же время проверяет, просеивает познание, выявляя то, что ему наиболее по душе, к чему он наиболее способен. Он ищет свое место в коллективе, он вырабатывает свою личность. Но ему опять-таки невдомек, что это значит — личность. И тут

его снова подстерегают опасности: перед парнем встают проблемы характера, трусости и храбрости, мужества и человеческого достоинства и отношений с людьми, и положения в коллективе — и опять новые сложности, а вместе с ними и новые ошибки.

«Что же привело меня в заключение? — спрашивает себя один из таких желторотых юнцов и отвечает: «Я проанализировал все и пришел к выводу: дурость! Отец мой — военный служащий, был тогда слушателем военной академии в Ленинграде; семья большая и хорошая. Я учился в школе, но, скажу прямо, не был в числе хороших учеников, хотя каждый год исправно переходил из класса в класс. Так я закончил семь классов, а с первых же дней занятий в восьмом перестал готовить уроки. Возмнив себя взрослым, я категорически заявил, что учиться дальше не буду. На семейном совете было решено, что мне лучше всего идти в ремесленное училище, что и было сделано, когда я с грехом пополам закончил восьмой класс. Потом я познакомился с одной девушкой, и мы полюбили друг друга. В этом же году, осенью, я ухожу в армию. Все было сделано, как положено призывнику, было масса наставлений, чтобы я был примерным воином, был и прощальный вечер, который мы провели вдвоем с Мариной. Слезы и обещание ждать».

И вот возникает конфликт между службой и любовью: «Я не могу перенести разлуку с Мариной, это казалось мне настоящим адом». Конфликт разрешается просто — при помощи друзей обманным путем организуется командировка в Ленинград, затем другая, третья.

«Какой гордостью светились глаза у отца, когда мы вместе шли по улице, два военных — отец и сын. Он явно гордился мною, и как я себя проклинаю, что обманул и опошил отцовское чувство. Марине я тоже похвастался, что получил отпуск за «бдительную службу». Она, конечно, поверила, не зная того, что обманываю ее, чтобы выглядеть героем. Дурак! Какой дурак!»

Дальнейшая история этого «дурака», пожалуй, не заслуживает большого внимания, она довольно обычна: суд, наказание, досрочное освобождение, поза обиженного и новые ошибки.

«Я продолжал корчить из себя «героя». Теперь мне казалось, что только водка может заглушить мое горе. Какое «горе»? Ну, была сделана ошибка, так не повторяй ее больше и живи, как следует. Но я был слеп!»

В результате — новые друзья-товарищи, пьянки, недостойное поведение и как естественный конец — новое преступление и новое наказание.

«Вот, пожалуй, я коротко и написал о своем дурацком прошлом. Ведь его иначе не назовешь. Никаких материальных недостатков, никаких других причин и условий не было у меня для такой жизни. Все члены семьи только старались помочь мне

найти свою точку в жизни. Коллектив Кировского завода, где я одно время работал, старался мне помочь вернуться к нормальной жизни, но... я смотрел на всех, как на угнетателей. И как я теперь жалею то время, которое я по своей близорукости и нежеланию не мог использовать, чтобы стать полноценным членом нашего общества.

Теперь мне придется намного труднее, но я не падаю духом, потому что я понял, как я бессмысленно тратил драгоценное время. Я уверен, что больше никогда не сверну с правильного жизненного пути, потому что самое страшное — это чувствовать себя отщепенцем, на которого смотреть с презрением все честные люди.

И я очень прошу Вас: как можно больше создавайте таких полезных произведений, чтобы еще та молодежь, которая думает пройти по жизненному пути легким шагом, если можно так выразиться, в домашних тапочках, вовремя опомнилась и взялась за ум-разум».

Вот уже вы является один из элементов, один из «корней», загрязняющих чистые истоки юности: стремление пройти по жизни легким шагом, в домашних тапочках. А вот, следом, другое: тот же легкий шаг, но уже не в своих, а в чужих тапочках.

Пишут две подруги из узбекского колхоза о своем товарище по школе:

«Он учится с нами в одном классе. Умный, отличная память... но... азартные игры — раньше карты, теперь — бильярд, выигранные деньги, поиски легкой тропки. В этом году мы ездили на хлопок всем классом. Жара, хлопковые ряды — длинные, длинные. До обеда можно пройти только два ряда. Наберешь полный фартук хлопка, ссыплешь его тут же, на грядке, с тем, чтобы к концу работы сдать на приемном пункте. Кто собирает, а он (мы говорим все о том же нашем соученике) лежит в тени, в холодке. А потом идешь сдавать хлопок, и он тоже несет полный мешок. «Дядя (мы его зовем так за высокий рост), ты же лежал...» А он улыбается:

— Кто умеет работать головой, тому не обязательно работать руками.

А он просто, ползая на животике между рядами, крал хлопок у своих товарищей. И мы невольно задумываемся: а что будет дальше?»

А дальше получается вот что:

«Я себе все время задаю вопрос: почему люди выходят и опять попадают назад? — пишет вдумчивый человек из заключения. — Что их заставляет? Я сижу вот уже четыре года. За это время встречал людей, которые по два раза освобождались — и опять здесь! Я интересовался: почему назад пришли? А они и сами не знают. Да, это верно: большинство и сами не знают, почему так получается?»

Вот Герман, мой товарищ. Молодой, развитой, умный. Отец главный архитектор в большом городе; семья имеет все средства к жизни. Почему он такой? И сидит уже второй раз. «Меня, — говорит, —

привлекала блатная жизнь». Все, мол, ново, доступно, а то ему что-то мешало в семье. Ведь жил же хорошо? — «Во мне, говорит, очень много энергии, и я не знаю, куда ее девать». — «Неужели ты, Гера,— спрашиваю,— не найдешь свое призвание?» — «Везде один обман».

Такой умный человек, а так настроен. Ведь стихи пишет, и неплохие. Мы вместе с ним в литературный кружок ходим. Голос есть. Выступает на сцене. А в разговоре слышатся нотки высокомерия и развязная манера держать себя: «А пахать я не буду». Значит, опять хочет чего-то легкого. Но здесь-то ведь ходит на работу. Или все это делается под страхом?»

Значит, опять «чужие тапочки». Значит, «хочет чего-то легкого» — правильный вывод делает его товарищ, автор письма. И именно к таким германам обращается и другой их одноклассник — оттуда же, из заключения:

«Среди современной молодежи есть какая-то часть, которая извихлялась вся, исковеркалась, ищет чего-то, а сама не знает, что ей надо.

И я хочу сказать этой молодежи, настоящей или будущей: не нужно вымогать из себя то, чего в вас нету. Вы все считаете себя сверхчеловеками, а фактически вы так пошлы перед обществом. Вы скажете, что родители вас испортили и т. п. Но ведь в семнадцать лет мы должны в какой-то мере думать о себе, а именно — что нас дальше ждет?»

И вот в этом главная беда: многие ребята не ставят перед собой вопрос — а дальше? Что дальше? Близорукость мысли, близорукость и безотчетность в жизни.

«Я долгое время собирался написать вам письмо, но все откладывал. И вот сегодня вечером стоял около окна, за которым шел дождь, стоял и смотрел, а на память приходила вся моя жизнь, перед мысленным взором проносилось мое небольшое прошлое. Мне казалось, что я слился с призрачным шевелением листвы, с каплями, стекающими по влажным стволам, будто я ловлю темный неслышимый зов за деревьями, за целым миром, будто вот сейчас я встану и пойду сквозь туман, бесцельно и уверенно, туда, где мне слышится таинственный призыв земли и жизни. Я стоял около окна, туман льнул к стеклам, густел около них, и я почувствовал: там, за туманом, притаилась моя жизнь, молчаливая и невидимая... В такой момент я особенно остро понял, что самое страшное — это время. Время, мгновенья, которые мы переживаем и которым все-таки не владеем никогда.

Мне хочется рассказать Вам всю свою крохотную жизнь, без прикрас. Я опишу ее вам как родному отцу и самому близкому человеку, не скрою ничего и не совру.

Когда началась война, отец мой, рабочий, имел бронь, но пошел добровольцем и погиб при обороне родного города Ростова. Мать, работавшая медсестрой, была призвана в военный госпиталь, я остал-

ся на руках бабушки. Кончилась война, вернулась мать, а дедушка и отец погибли от рук захватчиков. Остались мы трое. Тяжесть послевоенных лет легла на плечи матери. Многого не хватало, но мы стойко боролись с невзгодами. Мать верила в будущее и часто говорила, что все это временно. Только сейчас я понял, как ей и бабушке было тяжело. Ко всему этому у меня обнаружили затемнение в легких; мать старалась ухаживать за эти годы она сильно постарела; гибель отца тоже оставила свой отпечаток. Но единственное, что поддерживало ее и вселяло силы, это — сын, то есть я. Она хотела видеть меня человеком, прививала только хорошее. Она верила в мое будущее.

Шли годы, вот мне уже стукнуло шестнадцать лет, я получил паспорт. К этому времени я кончил семь классов, горел желанием работать, мне очень хотелось помочь матери. Сначала я поступил учеником токаря, но эта специальность не влекла меня. Я пошел в ученики к сварщику и тут понял, что именно здесь мое место. Я начал самостоятельную жизнь. Все было интересно, но накладывало на меня ответственность. Я старался изо всех сил работать, гордился званием рабочего человека. Особенно мне памятен тот момент, когда пускали в эксплуатацию завод. Как замечательно, сколько радости, когда видишь, что труд вложен в строительство, и тогда я особенно остро ощутил смысл горьковских слов: «Превосходная должность — быть на земле человеком».

Я стал шире понимать жизнь, для меня открылись широкие горизонты, большие перспективы. В то же время я почувствовал, что мне не хватает знаний, и решил идти в школу рабочей молодежи.

И вот случилось ужасное. Как-то я был приглашен на товарищескую вечеринку, а когда кончился вечер и мы с компанией вышли на улицу, один из ребят предложил принять участие в хищении промтоваров с кожзавода. Я отказался. Он назвал меня трусом. Тут еще стояло трое. Раздался ехидный смешок. И меня взорвало. Во мне заговорило самолюбие. Я поддался ложному чувству. «Ну, ладно! Я вам докажу!» — произнес я сквозь зубы. «Ну вот, это деловой разговор», — подхватил «друг».

Я пошел не ради денег, уверяю вас, они не представляли для меня никакой ценности, а пошел доказать, что я не трус, — и результат — десять лет тюрьмы. И как глупо, как противно, когда я смотрю сейчас назад и вспоминаю тот роковой день!

Свою вину я понял. Меня осудила моя совесть. Словно туман, словно туча повисла надо мной. Куда девалась та полнота чувств, все то трепещущее, светлое, сверкающее, все то, что было и чего не выразить никакими словами?

Невыносимо, мучительно и больно сознавать, что лучшие годы проходят вдали. Мучительно больно находится в стороне от дел, которые совершают все наши лю-

ди: строительство электростанций, железных дорог, газопроводов, и там нужны руки. Сколько дел, трудовой романтики, — и быть оторванным от всего этого! Что может быть страшнее и ужаснее этого!? В наш век, когда человек проникает в неизведанные пространства космоса, повышается сознательность, когда принята новая Программа партии — исторический документ нашей эпохи! И в такое время быть изолированным от общества?! Это ужасно!..»

Утверждение своего достоинства недостойными средствами, путаница в голове, несообразность понятий, критериев и оценок — больших и малых, высоких и низменных. Элементарный вопрос: что хорошо, что плохо, что можно, чего нельзя — все еще не решен. В кармане паспорт, а в голове дурь.

И вот еще один, необычайно интересный пример такой путаницы понятий и вытекающих отсюда ошибок, пример редкий по остроте и глубине анализа, и потому я приведу его, несмотря на значительные размеры текста, почти полностью:

«Вам, конечно, пишут: «Исправился я, отпустили бы меня». И ругают, плюют на себя с высоты своего исправившегося «Я». А мне кажется, что не презирать себя нужно, а любить и уважать за то, что из негодяя стал человеком. Как можно жить, не уважая себя? Должно быть, это очень горькая участь — сознавать свое место в жизни, находящееся где-то на задворках общества, возврат к которому раз и навсегда отрезан. Нужно быть гордым! Это не выработавшаяся защитная реакция закоренелого подлеца, который плюет на мнение окружающих; это «допинг» всего моего существования, отсутствие которого равно моральной смерти. От меня ничего не останется, если я попаду под влияние сентиментальных книжек, где все преступники обливается слезами...»

Я никогда не был испорченным мальчишкой. С ранних лет увлекался книгами, зачитывался ими. Мать, неграмотная женщина, сама того не подозревая, дала мне правильное воспитание. В моем незавидном настоящем виноват только я, а ни в коем случае не мать.

Можно даже сказать, что я вырос на улице, но только не на такой, с которой связывают понятие «шпана». Это была гурьба простых ребят, детей рабочих; у них были хорошие наклонности, и среди них своим самым примерным поведением выделялся я. Но никто из них не попал в тюрьму, кроме меня. Как же случилось, что именно я — дважды преступник?

Как мне кажется, я представляю собой пусть не очень яркий, но все-таки типичный образ современного преступника. Вы спросите: почему современного? Сейчас отмирает один вид преступников и зарождается другой. Время лишений, вызванных войной, прошло; уходит в прошлое и вся так долго цеплявшаяся за жизнь воровская среда. Меняются обстоятельства, а с ними и люди. Бесшабашные рассказы о былой шикарной жизни, взвинчивающие

людей до экстаза, вызывают сейчас не интерес у слушателей, а зубную боль.

На смену приходит новое, более «культурное» поколение преступников. Они вполне пригодны для перевоспитания. Что их толкает на преступление — скажу по себе.

Часть нашей молодежи страдает одной болезнью — в ней живет, если можно так сказать, какой-то дух сопротивления, неудовлетворенность тем, что открывается перед взором в этот ранний возраст (?). Возрастное непостоянство и легкомыслие ведут к чрезмерному увлечению романтикой, но так как молодым людям кажется, что она выражена в наше время в слабой форме, то юноша начинает искать более увлекательные ее вариации и, конечно, находит.

Когда мне было лет шестнадцать, я, выходя из кинотеатра под впечатлением подвигов героев, обнаруживал в себе потребность быть хоть чуть-чуть на них похожим. Не беда, что я не могу проткнуть шпагой какого-нибудь негодяя, зато я могу дать ему по морде. Но негодяи на дороге не валяются, их еще надо найти, а пока идешь, улетучится весь наваянный воинственный пыл. А не лучше ли сделать негодяем вон того парня, что стоит с девушкой около витрины? Будь он тысячу раз порядочным человеком, но на одну минуту он будет негодяем, по крайней мере для меня. После нескольких слов он вынужден ответить мне грубо, а моя «обостренная» совесть требует удовлетворения. Так делается хулиган. Компоненты хулиганства — ухарство, легкомыслие, моральная пустота. Они преходящи».

Я, конечно, не мог не написать этому пареньку. Я просил подробнее рассказать о себе, о своей неудовлетворенности (чем?), о том, как, какими психологическими путями из этой неудовлетворенности вырастает преступление, и вообще обо всем, что с ним случилось, как из «неиспорченного мальчишки», «человеколюба» он сделался дважды преступником?

И вот ответ:

«Стоит ли говорить об украденных из буфета конфетах?

Все началось, пожалуй, лет с пятнадцати. Незаметно я отошел от развлечений своих старых товарищей и стал уходить из пригородного поселка в город. Старые друзья стали шокировать меня, а новые вызвали зависть. Я завидовал, как они свободно ведут себя, как легко пренебрегают условностями поведения, но именно их я только и замечал в толпе танцующих. Я стал им подражать. Перед танцами нужно обязательно выпить водки, без этого нельзя. Потом слово «танцы» стало объединять такие понятия, как водка, драка, грязное отношение к девушкам. Чтобы в первый раз публично подражать, нужно быть пьяным, иначе ничего не получится. Чтобы заслужить авторитет у «друзей», нужно дать им понять, что вон та девушка, которую я провожал вчера, я с ней и т. д... Помню, после первой драки у меня тряслись от страха руки и ноги, но уже на

следующий день я в красках расписывал это приключение.

Но я не был тем, кого с малолетства считают испорченным мальчишкой. Меня замечали в толпе не как хулигана, а как парня, с которым приятно познакомиться. И я гордился среди друзей своей порядочной внешностью, которая вводила в заблуждение даже милицию.

И понимаете, после этих «подвигов» я становился каким-то раздвоенным: первый «Я» брезговал собой в одиночестве, второй «Я» хотел остаться тем, каким узнали его дружки. Сейчас я знаю, что в таком же положении, если не хуже, были и они: грубость — напоказ, а любовь ко всему (а ею полны мальчишеские сердца) — внутри. Я и сам сейчас не разбираю, какой герой сидел во мне в то время. Дома я увлекался литературой, причем античной с примесью философии, в школе учился хорошо, а за художественное сочинение получил одну из двух выпавших на нашу школу премий по Северной железной дороге. Кажется, налицо все задатки прилежного ученика и подающего надежды молодого человека. Но от этого человека не оставалось ничего «подающего», как только он оказывался в компании завсегдаев танцплощадок.

Одним словом, получилось так, что от одних — детских, наивных, но простых и честных друзей я ушел, но так и не добрался до других — веселых, пьяных, бесшабашных. Я был с ними, но полной их жизнью не прожил ни одного дня. В конце концов я понял, что в интеллектуальном развитии они ниже меня. Под этим понятием я, для удобства, объединяю все человеческое: честь, любовь, ум, культуру поведения. Только тогда, когда все это собрание спит или бывает неполное, можно пьянствовать, бить по морде, снимать часы, хватать девушку, носить в кармане нож. А у меня все члены этого собрания были в наличии, причем каждый был судьей моих поступков. Честь — судья, любовь к людям — судья, желание быть культурным — судья. А поступки — грязные. Что делать? Вернуться обратно — не хватает силы воли. Остаться в этом болоте — нужно быстрее переделывать себя в худшую сторону, выгнать из себя к черту этих нудных судей, которые не дают покоя ни днем, ни ночью.

После школы я сразу же подал заявление в Молодой институт. Экзамены сдавал «на авось» и, разумеется, не прошел. И только тогда я понял, что со мной что-то случилось. Вернее, случилось давно, может быть, года два назад, но вот в один миг дало почувствовать себя. Произошла первая в жизни неувязка, легкий, но ощутимый удар. Из этого я вынес подавленное настроение; на фоне замечательной студенческой жизни моя будущая рабочая спецовка казалась неприличной, оскорбляющей деталью. Но работать пришлось. Поступил на завод учеником строгальщика, успокаивал себя тем, что это временно и что будут у меня, наконец, свои деньги.

На заводе была самая сухая проза,

которая сначала показалась мне романтичной: традиционная всеобщая пьянка после полочки. Иначе, казалось, и быть не могло. Как это рабочий, с чугунной пылью под ногтями, не имеет права выпить на свои заработанные деньги?!

Еще в десятом классе я познакомился с одноклассником Л. Б. Он был парень моего типа, также заражен болезнью, которой страдал и я. И вот 16 марта 1954 года у меня дома мы пили водку; он показал мне кастет, а я взял с собой нож. Я ни о чем не думал. Я только знал, что хулиган — это что-то неполное, есть тип повыше рангом. Что мне было в то время терять, когда я уже был человеком, который только случайно не сидит в тюрьме?

На первых порах у таких, как я, цель преступления всегда одна — сам процесс его. Парню не нужны деньги, он рад бросить их в канаву. Это похоже на игрока, для которого не столь важен выигрыш, как притягателен захватывающий интерес самой игры. А после двух-трех ограблений или краж приходит корысть, жажда денег. Мне приходилось слышать, как ребята снимали часы и тут же бросали их: «Гуляй, голова! Все нипочем!»

Можете ли вы поставить под сомнение мои слова, если я скажу, что плохо помню само преступление? Помню какие-то обрывки, встречу с парнем на ночной улице, он бежит от нас. Мы его догоняем. Л. Б. ударяет кастетом, а я ножом. Очнулся в отделении милиции. Потом следствие и обвинение в попытке ограбления. Приговор — пять лет.

Освободился с характером, еще больше окрашенным оттенком цинизма в отношении к людям. Тюрьма не исправила меня ничуть. И, что самое главное, тот образ жизни, его обычаи, нравы, отношения, тип людей обобщились в моем понятии как целостное представление о людях вообще. Не прошла мимо меня и обывательская идея, что «все люди — мошенники, все крадут, как только могут».

Первый месяц на свободе я был спокоен; весь мир казался мне чудесным, я всех готов был расцеловать. Но потом чувства притупились, обтерлись о ежедневную прозу. Опять старое: шумные компании, водка. Но меня никогда не покидало тревожное предчувствие чего-то близкого, неотвратимого. Это вызывало раздражение, злость к себе, ко всему на свете.

Я знал, что мне не избежать второй судимости, и высказывал эту мысль вслух. Ругал себя как последнюю тварь, потерявшую любовь к свободе, но не хотелось ничему сопротивляться. Какое-то тупое, бессмысленное равнодушие. Может, это и есть та неудовлетворенность, о которой я говорил раньше. Но чего мне не хватало? Мне хотелось, чтобы все мои желания сбывались сами собой, но они почему-то не сбывались, а вместо них приходила неудовлетворенность. Честлюбовная, мальчишеская, проходящая с годами. Сейчас я понял ее природу: отсутствие силы воли и

здорового взгляда на жизнь — все дается с трудом.

«Но как неудовлетворенность перерастает в сопротивление?» — спрашиваете вы.

Если подросток видит все в неверном свете, коллективу трудно наставить его на путь истинный. Он ненавидит сюсюканье учителей о правилах поведения, никому не верит. И, предубежденный против всего коллектива, во всех его действиях видит попытки покушения на свою самостоятельность. Не убежденный, он сопротивляется, и довольно активно. В конце концов ему приходится вступить в конфликт с коллективом.

Мне кажется, что именно в этот момент, накануне конфликта, когда испробованы все варианты предупредить его, так необходим человек, который вместил бы в себе все лучшее от коллектива и, как порождение и олицетворение его, увлек бы за собой свихнувшегося юношу.

На свободе, как и предчувствовал, я был недолго. Снова осужден на пять лет как «организатор хулиганских действий». Этого достаточно, чтобы не надеяться на досрочное освобождение.

По приговору я должен был отбыть два года тюремного заключения. В первый же день я понял, что попал в самое пекло. Недоверие друг к другу, грязня, драки, ссоры. Камера была большая, так называемая рабочая. Я сразу понял, что надо быть осторожным, жить потихоньку, не вмешиваясь ни в чьи дела. Стал замечать, что камера разделена на две враждующих группы. Первая ругала Советскую власть, а вторая ее защищала. Впрочем, слово «группа» для второй не подходит, так как это был всего лишь один человек; маленький, тощий, больной, с большим животом и длинным носом. Только глаза смягчали неприятное впечатление от всего его облика. Он был энергичный, умел говорить. Сначала прислушивался, не поддерживал ничью сторону. Их было много, а Гольдов — один, и, несмотря на это, победа всегда оставалась за ним. Они рычали от злости, называя его обидными словами, так как аргументов у них не было. Помню такой случай. Он стучит в дверь. Подходит надзиратель. «В чем дело?» — «Вот этот, этот и тот играли сейчас в карты». В камере тишина. Я ждал, что сейчас что-то случится, но никто не сказал ни слова. Удивительный человек. Даже враги уважали его за мужскую честность: он не мог тихой сапой передать надзирателям какие-нибудь сведения из жизни камеры, а делал это при всех, не страшась тюремных обычаев. Он много читал, выписывал газеты, неплохо разбирался в политике. Оказалось, что в прошлом он имел какое-то отношение к «ворам», пользовался авторитетом. Это он открыл мне глаза на все, что я до сих пор не замечал: на «дружбу», нечестность и грязь.

Я стал поддерживать его в ежедневных спорах. Вдвоем нам было легче.

Одним словом, здесь, в камере «закрытой» тюрьмы, я нашел себя. Стал пи-

сать заметки в газету, меня избрали в Совет коллектива, затем досрочно был отправлен на общий режим в колонию.

Я хотел сказать еще о гордости. Гордость необходима, без нее нельзя жить, без нее люди теряют почву под ногами, такого человека легко сбить с толку. Гордиться нужно тем, что смог, нашел в себе силы переступить, как вы говорите, «ступень к подлинной и обоснованной гордости». Я отрицаю только жалость к себе как признак слабодушия. А слабодушие — это материал, из которого делаются преступники. Это я почувствовал на себе. Если у меня не будет ее, этой гордости за нового себя, я сразу же скачусь обратно в грязь. Она не даст мне этого сделать. А некоторые заменяют эту гордость жалостью к себе, слезами, слабодушием, ругают себя, но выше подняться не могут. Понимаете? Сначала самоанализ, потом критика, потом отращивание к себе, потом эта гордость: вот путь, идя по которому, люди переделывают себя.

Кого я хочу сохранить и утвердить в себе?

Я хочу сохранить в себе пятнадцатилетнего мальчишку, которого знала моя мать, и утвердить молодого человека, с которым познакомил меня Гольдов в тюремной камере. Оба они, как вы знаете, мои однофамильцы: Александровы Николаи Григорьевичи.

И еще мне чертовски нестерпимо хочется быть образованным и культурным человеком».

Что к этому нужно добавить? Пусть у этого Александра Николая Григорьевича кое-где чувствуется легкое фанфаронство — но это фанфаронство горечи и мысли, мысли точной и мужественной, позволяющей нам понять ту сложную внутреннюю механику формирования «современного преступника», которую не раскроет нам ни протокол милиции, ни судебный приговор.

Мало, значит, смотреть кинокартины о подвигах, их нужно правильно понимать и применять к своей жизни, мало увлекаться художественной литературой, даже «античной с примесью философии», мало писать хорошие сочинения и получать за них премии. Нужно учиться жить. Этого, к сожалению, не проходят в школах. А нужно бы. Больше того, оторванность от жизни, а то и некая идеализация ее и абстрактно-романтический настрой, с которым иногда выходят ребята из ее стен, делают их беззащитными перед прозой действительности, перед недостатками и злом, с которыми они могут встретиться.

«До восемнадцати лет я знал жизнь лишь по книгам, а когда столкнулся, возненавидел многое и, когда был приглашен на преступление, в которое до последнего момента не верил, пошел на него, подхлестнутый оскорбительным словом «трус». Неверные представления о жизни, человеческом достоинстве, благородстве и подлости сделали меня преступником», — анализирует один.

«Я был комсоргом цеха и стал участником разбойного нападения на людей в ночное время. Ведь это не лезет ни в какие ворота,— кается другой.— Иметь среднее образование и додуматься до такой подлости и предательства. Страшно!»

Но еще страшнее оказалась история Алевтины Дмитриевой, вскрытая на процессе убийцы Ионесяна. Она — дочь хорошей, рабочей семьи. Хорошо, хотя и не отлично, окончила школу и получила самую хорошую характеристику. Такую же характеристику представили в суд и домоуправление, и коллектив жильцов дома, где она жила. Хотя и не у станка, но она добросовестно работала на заводе, была там комсоргом, состояла в редколлегии стенной газеты, ездила на целину и с увлечением участвовала в художественной самодеятельности. Больше десятка Почетных грамот положил на судейский стол ее адвокат — от райкома, райисполкома, от воинских частей и рабочих коллективов, где она выступала. На смотре художественной самодеятельности она получила диплом лауреата и потому, по рекомендации и приглашению опытного артиста, знавшего ее по этой работе, она была принята в театр.

Одним словом, это была девушка как девушка, скромная, воспитанная, хотя звезд с неба не хватало, и в ее стремлении на сцену не было ничего ни злонамеренного, ни предосудительного. Кто в ее годы не мечтает быть артисткой, если есть хоть какие-нибудь малюсенькие данные.

Для работы в профессиональном театре этих данных оказалось недостаточно, и она через месяц была уволена. Просто уволена, обыкновенным директорским приказом, не предполагающим никакой мысли о дальнейшей судьбе человека. И в этот-то момент около нее оказалась зловащая фигура Ионесяна, человека с двумя, если не с тремя личинами. Добываясь ее взаимности, он окружил Алевтину облаком лицемерных забот и внимания и этим покорил ее, «влюбил меня в себя», как она сказала в своих показаниях на суде. Но она не заметила или слишком поздно заметила другое — тенец лжи, фальши и помрачительно наглого, дикого обмана, которым он опутал ее.

Так оказалось, что ни семья, ни школа, ни комсомол, ни заводская среда не подготовили ее к встрече со злом, не выработали в ней ни умственной зоркости, ни житейского опыта, ни моральной сопротивляемости, и ее инфантильная, по заключению экспертизы, детская наивность оказалась бессильной перед дьявольским коварством зла.

Знать зло. Это не значит смиряться с ним. Это не значит — подчиняться ему. Наоборот, знать зло, чтобы ненавидеть его, чтобы сопротивляться ему, чтобы бороться с ним, чтобы ниспровергнуть его. Сопротивление злу — вот что мы недостаточно воспитываем в нашей молодежи. А это — другая, обязательная сторона ут-

верждения добра, утверждения настоящей личности.

В связи с этим мне особенно хочется сказать о девушках. Мне кажется, они себя не всегда ценят, а порой даже сами себя унижают. Нет, конечно, не все! Очень, очень многие в письмах своих протестуют против грубого, временами просто хамского отношения к ним со стороны молодых людей. «Ну, пойдем, что ли!» — это значит подвыпивший кавалер приглашает тебя танцевать», — жалуется одна. «Обращается как к дереву», — говорит другая. Третья недовольна завезенной откуда-то манерой гулять, обнять за плечи, или, как она выражается, «взвзяв за шкирку». Но есть и такие, которые с этим мирятся — и с грубым тоном, и с развязными манерами, с папиросой во рту во время танца. Все это мелочи, но с них и начинает крошиться и рушиться высокая и озаренная лучами большой, мировой поэзии скала женского достоинства.

Вот мимолетное наблюдение. Перрон московского вокзала. Среди деловых, спешащих куда-то людей два пьяных оболтуса; они ругаются и о чем-то спорят друг с другом. Проходит девушка, почти девочка, в простеньком, апельсинового цвета платьишке, с портфеликом под мышкой. Видимо, учащаяся техникума. Один из оболтусов на ходу обнимает ее и прижимает ее голову к своему плечу. Я ждал, что она сейчас же даст ему пощечину, а она остановилась, она о чем-то разговаривает с ним, даже улыбается. И мне стало больно за нее.

Милая девушка! Разрешите вам сказать, что таких, как вы, доступных и податливых, они сами же называют «дешевкой», и правильно называют. Они сами же смеются над ними и рассказывают о них всякие гадости, что было и чего не было, для лихости. И тогда нечего жаловаться и называть их подлецами и мерзавцами, как это случается читать в ваших запоздалых письмах. «Вить хочется!» — кричит одна. «Какой мерзавец! — восклицает другая. — Он запер дверь на ключ, заставил меня выпить вина, и меня охватило веселье. Я схватила его пиджак и побежала от него. Он за мной. Я, визжа, забралась на кровать и стала от него отбиваться. Но...» Да, они подлецы, они несомненные подлецы, патентованные. А вы?.. Посмотрите теперь со стороны на ваше поведение и скажите — чего стоите вы? Дешевка есть дешевка! Нужно меньше визжать и больше думать, и подальше держаться от кровати — подумай, крепость какую нашла! Простите меня, но я говорю это по-отечески, говорю потому, что знаю, чем все может кончиться.

Вот письмо одной совсем юной девушки, которая прошла через подобного рода большие ошибки и тяжкие испытания — через «теплые компании», вечера, а затем и ночи в мире бесшабашной веселости и цинизма распоясавших шалопаев типа: «Не надо предрассудков, крошечка!» и «Не будь ходячей передовицей!» Затем она

прошла через неприятности в школе, через скандалы с родителями и слово «потаскуха», брошенное вслед. И вот он — моральный крик и вопль пробудившейся совести: «Действительно ли я могу снова стать человеком? Есть ли на свете люди, которые не обратят внимания на мое грязенькое, оплеванное прошлое? Есть ли хоть один такой человек на свете? Есть ли вообще на свете дружба?»

Есть! Конечно, есть. Да разве можно было бы жить, если бы этого не было?

Вот случай, о котором пишет мне воин Советской Армии Ларичкин:

«Был у нас паренек, звали его Игорь Д. Много пришлось коллективу работать с ним, но мало это помогало. Все ему сходило с рук, и с каждым днем он все дальше скатывался вниз. Потом судьба разлучила нас, так как я перешел в другую школу. И только недавно мы, будучи оба в армии, случайно встретились. Вот что он мне рассказал:

„Не знаю, как бы в дальнейшем сложилась моя жизнь, если бы не Нина. Мое прошлое ты знаешь. Плохо учился, никого не признавал, ходил по вечерам с «друзьями», выпивал, бывал в милиции. Могло все очень плохо кончиться. Но однажды я встретил Нину. Встретил ее в парке Горького, на танцах. Подошел к ней, взял за руку и хотел танцевать, но она не пошла. Тогда я сказал ей что-то гадкое и вдруг получил пощечину. С этого и началось. Мне почему-то стало впервые стыдно. Или оттого, что до этого ни одна девчонка не поступала со мной так, или просто оттого, что она мне понравилась, а я ее обидел.

Целый вечер я ходил за ней, но она не обращала на меня внимания. Затем все же я извинился и попросил выслушать меня. Мы много и долго говорили обо всем. Она сумела доказать мне все то, чего я до того времени не понимал.

Мы стали часто встречаться. Дела мои пошли лучше. Окончил семилетку, поступил в техникум. Потом — армия, вот и сейчас я переписываюсь с ней. И вообще стал другим человеком».

А вот еще одна исповедь:

«Мне не легко писать о себе и о том, что со мной случилось. Это было совсем недавно. Я не могу сказать, будто я уже все пережила и полностью спокойна. Нет! Мне сейчас очень тяжело. Обидно и стыдно вспоминать о прошлом. Писать о себе я всего не буду, гадко. Я вращалась в кругу всяких воришек, развратников, циников. Это были, как они себя величали, «чуваки» и «чувихи». Все они жили по принципу: «Брать от жизни все и не давать ничего!» И они брали. И все, что брали, делали поганым, низкопробным.

У меня они отняли, выкрали все самое дорогое в жизни: и честь, и гордость, и человеческое достоинство.

Но всему есть конец — люди увидели, что мы тонем, и протянули руку. Теперь все позади. Я твердо могу сказать — никому не позволю вырвать у меня жизнь. Я не утверждаю, что я поняла жизнь и мне все

ясно. Вовсе нет! Этого быть не может, ведь мне сейчас нет шестнадцати лет. Но я вовсе не желаю считать себя отжившей и уж совсем не хочу думать о смерти. Это все глупости! Боль потревоженного, растерявшегося сердца. Я хочу жить! Жить как все люди, а не ходить по улицам с поднятым воротником.

Сперва я тоже растерялась: что делать? Трудно, ох как трудно слышать брань и свист в свой адрес! Пережила, вытерпела. Обидно, до слез обидно. Ну, а чем должны отвечать люди на наше поведение? Ведь девушку принято считать гордостью, чистой, кристаллом, а у меня и у моих подруг вышло иначе. Сейчас я стала в колею нормальной жизни. И вовсе не хочу умирать. Мне советуют уехать из родного города. Никуда я не уеду! Докажу здесь людям, что я человек. От себя не уйдешь, люди же везде одинаковы. Вот и все обо мне».

Какие, оказывается, неистощимые родники силы таятся в душе человека. Нет, совесть неистребима! Ее только нужно слушаться и растить. И вот из грязи, из вонючей болотной лужи встает человек. Ведь то, что девушка решила никуда не уезжать (а чего бы проще — уехать с глаз долой!), а, оставшись в родном городе, глядя в глаза людям, знавшим и освидетельствовавшим ее, загладить свою вину перед ними, работать и, вопреки всему, утвердить свое человеческое достоинство — «никуда я не уеду!» — все это очень трагично, но мужественно. И мне хочется еще раз, уже публично, в дополнение к моему личному письму, пожелать ей полного успеха и необходимой для этого силы и бодрости, а окружающим ее хочется пожелать больше внимания и человечности.

Но в то же время хочется сказать ей: а где же ты была? Где была твоя девичья честь и гордость? Где было твое достоинство как человека и как девушки? Как могла ты пойти по пути тех немногих и очень немногих, порхающих по цветкам жизни? Как в поисках легкого, но пустого счастья забыла о том, что составляет подлинный драгоценный кристалл человеческой души? И хочется кинуть упрек и матери, и школе: где были вы? Почему не предостерегли вы ее, вступающую в жизнь, от пошлости и скотства, встречающегося в жизни, не выработали в ней идеала девичьей добродетели, чистоты и святости чувства, не выработали обыкновенного чувства стыда, не выработали твердости и силы сопротивления! Помните великолепные, кристальной чистоты строки поэта И. Сельвинского:

Да будет славен тот, кто выдумал любовь  
И приподнял ее над страстью.

Я знаю случай. Двое молодых людей, он и она, оба хорошие, честные, чистые, полюбили друг друга, полюбили по-настоящему и решили пожениться. И едва ли не накануне свадьбы он поздно вечером провозжал ее до дома, до самой двери и хотел

войти к ней. Она его не впустила. В квартире никого не было, но она его не впустила. Он долго стучался к ней, он просидел на лестнице до самого утра — она его не впустила. И он ей сказал, что за это еще больше полюбил ее, до конца полюбил. Теперь они давно уже муж и жена, у них растет чудная дочка, и они, несмотря на большие жизненные трудности, по-прежнему так же честно и высоко любят друг друга.

И потому так обидно, до боли обидно, когда юность, пора любви, пора поисков и ожидания счастья, убивает в зародыше это счастье, не приподнимая, а, наоборот, опуская, снижая любовь, чувство высоко-человеческое, до уровня животной страсти и даже до разврата.

Это я почувствовал, когда по письму той девушки приехал в ее город и посидел на суде и послушал обо всех омерзительных безобразиях глупого «общества», как именвала себя эта группа... А ведь ребята, за исключением одного, были далеко не бездельники. Это были слесари, электрики, водопроводчики, фрезеровщики. И в то же время это были парни (а в значительной мере и девчата) распущенные, развинченные, с низменными целями и такими же понятиями о жизни. У них была своя «программа» и своя «философия»: скоро будет война со всеми ее последствиями, следовательно, жизни, пока живетесь, и бери то, что легко дается.

На этом примере как нельзя лучше, на мой взгляд, видна антисоциальная и безнравственная сущность всякого преступления и всяких попыток оправдать его (что не равнозначно — «объяснить») ссылкой на условия и обстоятельства. Настоящий человек будет бороться за изменение, за улучшение этих обстоятельств для всех. А другой, ничего не ломая и не улучшая, будет именно в этих обстоятельствах искать выход для себя, преследовать свои, иногда жизненные, в большинстве случаев — низменные цели.

Здесь я воочию увидел и роль западных влияний. (Хотя, по существу, этот вопрос, конечно, значительно сложнее). Вот парень: парень как парень, водопроводчик как водопроводчик, курносый, бледный, но, составив себе идеал какого-то Альфонса, западного «денди», он выучил несколько английских фраз и вечерами, надев брюки небесно-голубого цвета, выходил на местный «бродвей» и небрежно бросал эти заученные с грехом пополам фразы.

Вот девица с наклеенными ресницами и прической, которую у нас прозвали «вшивой горкой». Передо мной фотографии ее «произведений». «Боб-тромбонист»: какой-то хлюст с сигарой во рту, в необычайно широком пиджаке и необычайно узких брюках. «Джекки и Бекки»: такой же хлюст в черных очках ведет «за шкирку» ее, по-видимому «Бекки», с томно опущенными ресницами. Вот «Джаз под пальмами»: он в расписной рубаше и туфлях с длиннейшими носками, она — в платье с какими-то не то надписями, не то лозунга-

ми, в кругом — пальмы и кактусы. А вот неопределенного пола физиономия с раскрашенными губами и надписи «О кей!», «Голливуд!!!» и что-то еще, непонятное.

А вот ее «стихи»:

Рок-н-ролл не утихает,  
Саксофон еще рыдает.  
Вдруг ворвался в окна свист.  
Устарел «рок» — в моде «твист».

И на трусах у нее, как выяснилось на суде, были вышиты череп с костями, атомная бомба, названия танцев и другие еще более неподходящие вещи. Это — сенсация. «Сенсация» — ее любимое слово. На суде же о ней сказали: «Ее раздень и пусти по улице, и она пойдет». Но при всем этом на суде она фигурировала в качестве «потерпевшей».

Естественно задуматься здесь: что это такое? Какова природа этой нравственной беспардонности? Некоторые склонны видеть в этом своего рода романтику. Но если тут и романтика, то только романтика пошлости: никто не снимет часов у прохожего, а я сниму! Никто не раздеется догола при всем честном народе, а я разденусь. На самом деле это полное отсутствие романтики, пустота, измененность, возведенная в принцип.

Да, но как же могла в эту компанию попасть та, другая, которая написала мне такое горькое и в то же время гордое письмо? Она — дочь бывшего, теперь умершего, политработника, прилежная, способная ученица. Как это могло случиться?

Вот я сижу напротив — смотрю на ее лицо, такое еще молодое и свежее, но в нем чего-то уже нет — детскости, ясности того, что успела унести надломленная у самого основания жизнь. Я смотрю в ее открытые, искренившие глаза, на просто, порусски, на пробор расчесанные волосы, и мне больно: что же все-таки произошло?

В детстве была нелюдимка, жила сама в себе. На ребят не обращала внимания и вовсе не думала о них. После смерти отца в семье что-то пошатнулось, стала стесненнее жизнь, брат пил. Ссоры, скандалы.

— Зло брало, что у нас плохо. На кого зло? Сама не знаю. Больше — на брата. Если бы я знала, что и у других бывают трудности, может быть, легче перенесла бы свою беду... А тут перед подругами стыдно становилось: у всех хорошо, одна я такая, у нас хуже всех. Девчонки в школе говорят о модах, о мальчиках, а я одна...

Девушка умолкла, точно не зная — продолжать или нет? Видимо, дальше следовало что-то особенно болезненное и тяжелое.

Так оно и было: поправился девушке парень, первый парень, тронувший сердце, с простым русским именем и фамилией и заграничной модной кличкой «Билл».

— Говорил он как-то необыкновенно, с французским акцентом: а-ля-ля, а-ля-ля...

И, поддавшись на это дурацкое «а-ля-ля», девчонка полюбила. А когда любишь человека, приписываешь ему все лучшее, чего, может быть, и нет у него, и веришь ему. Так поверила она и Биллу. Он зама-

нил ее и в «общество». Понравилось самое слово — «общество». Интересно! А общество оказалось гнилое — пить, курить, и притом только сигары, и заниматься грязным групповым развратом. Потом пришло отрезвление: 8 марта, в Женский день, Билл назначил ей свидание, а пришел вместе с группой своих дружков, и они ее коллективно изнасиловали. Пришла и всю ночь проплакала и написала первое стихотворение: «Холод марта».

— Никого у меня не было, кто бы мог силу в душу влить. А вы знаете, как плохо, когда самой себе не веришь. Не веришь в себя, что я хорошая, что я что-то могу. Думала — мне так и суждено погибнуть. А потом боялась — зарежут.

С подругой решили уйти из дома, уехали в другой город, попали в детский приемник, и там она все рассказала. Потом — суд со всей выплывшей на нем грязью, ее прямые и честные показания, и вот — наш разговор и ее последнее стихотворение:

Иду по городу я в поздний час.  
Ветер свищет, крутятся снежинки.  
На глаза, в который раз,  
Набегают искрами слезинки.

Не могу простить себе, что было.  
Горечь жжет, переполняет душу —  
До чего мне прошлое постыло.  
Неужели перед ним я струшу?

Ах, что я сделала с собою!  
Неужели все опять вернется?  
И, как колокол в пустом соборе,  
Расстроуженное сердце бьется.

Расстроуженное сердце бьется и у нас. И как оно может не биться, если на наших глазах люди, вернее, будущие люди, «желторотики», птенцы и глупцы, глупые птенцы, возомнившие себя птицами, пытавшиеся взлететь и не рассчитавшие силы своих крыльев и разума, запутались в вопросах, которые они не сумели решить. И все, к чему они рвались, все оказалось ложным — ложное мужество, ложная храбрость, ложная честь, ложная любовь, ложные друзья и товарищи, ложная жизнь.

Дурость! Непонимание себя, своей личности, ее места в жизни, неумение решать жизненные вопросы, вопросы любви, отношений с людьми, с обществом. И вот — расплата. Раньше за неумение ходить, бегать, взлезать на стул они расплачивались синяками и разбитым носом, в худшем случае получали шлепок от матери, а теперь за неумение жить они расплачиваются тюрьмой.

А мы? Мы расплачиваемся подорванной верой в какую-то часть молодежи, в которую ведь нельзя не верить, потому что она — молодежь, и ей жить, ей создавать будущее.

Вот почему дело чести молодежи, ее здоровой, несомненно, преобладающей части, восстать и обрушиться против тех, кто топчет в грязь ее доброе имя. А нам, взрослым, нужно меньше ворчать и больше задумываться — а все ли мы делаем, чтобы привить этим глупым, желторотым

птенцам правильное понимание жизни? А не делаем ли мы подчас чего-то совершенно обратного? Партия сделала правильный шаг, повернув школу лицом к труду, к жизни, в расчете на то, что производство, рабочий коллектив окажется дополнительным воспитательным фактором. А ребята приходят иной раз туда и встречают и мат, и грубость, и явную нечестность, и обязательный «кагорчик» в день получки.

Герцен, анализируя процессы, происходящие среди молодежи своего времени, предлагал «не сравнивать» Базарова с Рудинным, а разработать красивые нитки, их связующие: в чем причина их возникновения и их превращений? Почему именно эти формы вылезали нашей жизнью?

Не мешало бы и нам, хоть немного, разобраться в этих «ниточках».

Вот в одном из колхозов Тамбовской области случилось преступление. Два молодых хулигана, вконец распустившихся и разложившихся, терроризировали весь коллектив, а когда против них поднялся честный и мужественный человек, бригадир, они среди бела дня, на глазах у людей, убили его. Преступление вопиющее.

Ну, хорошо, убийцы наказаны, но причины-то остались. И печать как выразитель общественной мысли должна была прежде всего исследовать эти причины: как, каким образом у отца-матери, в большом советском коллективе, на глазах у людей выросли два выродка.

А, с другой стороны, как же так случилось, что среди нас выросли люди, на глазах у которых совершалось убийство активиста, передовика, уважаемого всеми бригадира, а они и пальцем не шевельнули? Ведь именно этим нужно было заняться газете, это нужно было осмыслить и этим самым предотвратить что-то подобное, может быть, назревающее где-то еще.

Припомним поэтическую легенду Горького о Ларре, сыне женщины и орла, тоже считавшем себя первым на земле и ничего не видевшем кроме себя. И когда он, по собственному праву силы, убил девушку, которая его оттолкнула, люди схватили его, связали, и старейшины племени, прежде чем судить, старались узнать, почему он это сделал.

— Зачем я буду объяснять вам свои поступки? — спросил гордый Ларра.

— Чтобы быть понятым нами, — ответили старейшины. — Все равно, ты умрешь ведь. Дай же нам понять, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем.

Вот и нам нужно знать больше того, что мы знаем, и делать больше того, что мы делаем. А для этого прежде всего нам нужно побороть самое главное зло — равнодушие.

Однажды мне пришлось быть на суде. На скамье подсудимых сидели тринадцать человек — учащиеся школ, ремесленного училища. Суд продолжался двенадцать дней, но на нем никого не было ни от школ, ни от комсомола, кроме тех, кто обязан

был присутствовать в качестве свидетелей. Я потом прошелся по организациям, из которых пришли эти тринадцать человек: был в райкоме комсомола, в райисполкоме, спрашивал: поинтересовался ли кто судьбой ребят? Никто и нигде. Просто списали тринадцать человек как выбывших, и все. А ведь это не тара, не бочка из-под капусты. Да и бочку-то тоже сразу не спишут, потребуют объяснений, возмещений, актов. Материальная ценность! А здесь — человек, списали, и все.

А ведь с кого-то нужно было обязательно спросить: как же это у вас, товарищи, получилось? Как же вы упустили человека? А почему бы, кстати, нам не учредить специальный педагогический суд, который бы не только осуждал и присуждал, но и глубоко разбирал, и выяснял, и устанавливал обстоятельства, при которых глупый птенец стал преступником? И не только, может быть, обстоятельства, но и носителей зла, людей, которые породили это вторичное зло. И почему не спросить с них? Почему у нас спрашивают, и крепко спрашивают, за членские взносы, за металл, за макулатуру, за посадку или поломку деревьев, за потерю паспорта, а за поломку человеческого судьба, за потерю людей редко кто отвечает. А почему бы рядом с тем, кто совершил преступление, не призвать к ответу и того, кто его на это толкнул? Почему?

В связи с этим я хочу вкратце напомнить здесь одно дело, о котором мне более подробно когда-то пришлось писать в журнале «Юность».

В декабре 1962 года в Москве была задержана группа подростков, совершавших дерзкие нападения на прохожих, главным образом женщин. Преступникам предстоял суд. Но комсомольская организация большого района столицы на этот раз не прошла мимо, а наоборот, вскрыла это явление и занялась им, исследовала, продумала и собрала около тысячи людей комсомольского актива и «пассива», и родителей, и представителей общественности, и учителей для того, чтобы вместе разобраться в этом деле и сделать какие-то выводы, — и тут большая заслуга комсомола и, я бы сказал, знамение времени. И мне кажется, этот почин мог бы явиться поворотным пунктом в решении такой громадной важности общественной проблемы, как борьба с преступностью. Суд над равнодушием!

Так общественный суд на глазах тысячи людей рассмотрел и исследовал все звенья этой цепи: и плохую работу школы, и безобразные дела, творившиеся при попустительстве общественных, в том числе и комсомольских, организаций в троллейбусном парке, где работал один из преступников, и т. д. и т. п.

Нашу светлую, чистую юность нужно воспитывать, нужно направлять, закалять, но ее нужно и охранять, а порою и просто защищать от злых ветров, откуда бы они ни дули. И нужно запомнить раз и

навсегда: никакими чисто административными мерами мы этого не сделаем. Не сделаем этого мы и тогда, когда будем валить ответственность друг на друга: школа на семью, семья на школу, обе вместе — на милицию, а милиция, в свою очередь, и на одних и на других.

Мы все за это отвечаем, и каждый на своем месте выполняет дело воспитания молодежи. И от того, как он его выполняет, зависит и то, что из этого получается.

«В жизни юношей и девушек, — пишет матрос Сергеев, — наступает такая пора, когда все находится на переломе, когда жизнь перед подростком раскрывается во всей полноте, а у него очень много неясного. Ему самому во всем нужно разобраться, все понять, а жизненного опыта еще очень мало. И вдобавок ко всему — еще юное сердце и самонадеянная юность. Этот переходный возраст наступает у пятнадцатилетних и шестнадцатилетних молодых людей. И в этот период очень легко может подломиться и искривиться характер, и человек может пойти по плохому пути. И если не окружить его тогда особым вниманием, то могут быть плохие последствия. Главное, правильно направить юношу или девушку на жизненный путь, чтобы они знали, во имя чего они живут и трудятся, чтобы жизнь для них была не наслаждением, а борьбой. Только в борьбе крепнет и мужает характер человека».

Все это очень верно. И к молодому человеку, в первую очередь, нужно подходить не с «вилами», а с «колышком», чтобы вовремя «подвязать» и укрепить его в жизни. Но и молодежи самой нужно думать и учиться из многих дорог выбирать одну, правильную, и никогда не забывать о главном — о достоинстве человека.

На читательской конференции по книге «Честь» одна старушка читательница привела историю, запомнившуюся ей с детства. У одного, кажется французского, крестьянина был сын, который стал себя плохо вести. Испытав все способы влияния, отец придумал, наконец, следующее: он вкопал против дома столб и после каждого проступка сына вбивал в этот столб гвоздь. Прошло некоторое время, и на столбе не осталось живого места — он весь был утыкан гвоздями. Открывшаяся картина поразила воображение мальчика, и он начал исправляться. Тогда за каждый его хороший поступок отец стал вытаскивать по одному гвоздю. И вот наступил торжественный момент: последний гвоздь вытасчен из столба. Но на сына это произвело совсем неожиданное впечатление: он горько заплакал. «Чего же ты плачешь? — спросил его отец. — Ведь гвоздей-то больше нет». — «Гвоздей нет, а дырки остались», — ответил сын.

Вот в чем они, настоящие ценности, для человека: в цельности души, в ее чистоте и незапятнанности, в праве жить, не опуская глаз. Как часто юнцы, полные романтизма и самых лучших устремлений, но не подготовленные к сопротивлению злу и борьбе с обстоятельствами, ломают или

складывают свои неокрепшие крылышки и камнем падают вниз, чуть только сгрудилась вокруг тучи зла и осложнились обстоятельства. Чтобы этого не было, нужна общая закалка, не только физическая, но и моральная.

«С чего начинается полет птицы?» — спросил однажды К. С. Станиславский у своих товарищей артистов. «С того, что она отталкивается и, взмахнув крыльями, поднимается», — ответили ему. «Нет, — поправил Станиславский, — сначала птица набирает полную грудь воздуха, гордо выпрямляется, а уже потом отталкивается и взмахивает крыльями».

Так и человек. Ему нужно небо, ему нужен воздух эпохи, воздух, которого нужно набрать полную грудь. И все это есть — и небо, и воздух, нужна только сила, чтобы выпрямиться и, оттолкнувшись от всего, что мешает и держит, взять высоту для полета.

Очень важные принципы жизни — сила воли и уважение к самому себе. Не любовь к себе, не любованье собой, не подчинение себе всего, что можно подчинить (это путь к измельчанию, к снижению и человека и его целей), а именно уважение к себе, к своему человеческому достоинству ведут к возвышению, к внутреннему росту человека. И тогда у него вырастают крылья, тогда он поднимается над тем, что других гнет и прижимает к земле и заставляет их дышать придорожной пылью и за этой пылью не позволяет им видеть настоящее небо. Но вот у человека выросли крылья и он с высоты увидел и землю, и жизнь во всей ее красоте и богатстве.

«Не знаю, что заставило меня написать вам это письмо, но, по-моему, наверно любовь к жизни».

Мне шестнадцать лет. Учусь в девятом классе города Уфы. Я живу с матерью. Отца нет. Он умер в 1953 году, сказались ранения на войне. Сейчас у нас одна мать и еще четверо детей. Старший брат в армии. Мама не работает, надо ведь воспитывать братишек. Получаем пенсию за отца, и старшая сестра иногда посылает деньги. Вот так я и рос.

Когда я рос, воспитывался так, как хотел. Учился кое-как. До четвертого класса я плелся из класса в класс. Но вот я постепенно начал понимать, что я неправильно живу. Пусть даже, может, в такие годы у человека не бывает жизни и нельзя назвать ее жизнью. Но я смело называю ее жизнью, так как в тринадцать — четырнадцать лет я знал, что такое кусок хлеба. И я, по-моему, правильно понял. Часто у нас дома не было даже хлеба. Мама очень старалась, чтобы он был, но нигде было взять. И тогда я задумывался над тем, чтобы не было больше такого. Мои мысли равномерно развивались.

После окончания седьмого класса я хотел поступить в строительное училище, но мама сказала: учись дальше в школе, как-нибудь проживем. Тогда я понял, что

такое мать и как она многого желает для своих детей и лично для меня. И тогда почему же я не взамен? Отношение к учебе я переменял и думаю, что окончу школу без троек. Это будет большой радостью для мамы и для меня. По-моему, главное — верить в свои силы и поставить перед собою цель.

Мои любимые предметы — это литература, история. В эти предметы я вкладываю все свои знания. Я очень люблю читать. Главным образом меня интересуют книги о жизни, пусть очень трудной, но прекрасной жизни, проведенной в борьбе за все лучшее.

Я интересуюсь внешней и внутренней политикой, дипломатией, философией. Особенно эстетикой. По-моему, без прекрасного нельзя жить, если можно, то это не жизнь, а просто — существование.

По-моему, когда у человека всего в достатке, жизнь не очень интересной становится. Вы скажете, разве жизнь определяется только куском хлеба? Я знаю своего одноклассника, у которого всего в достатке. Он одевается по последней моде, ходит с девчонками, ведет легкий образ жизни, имеет папину «Волгу», жить не может без джаза и прочего. Я, конечно, не против модной одежды, дружбы с девушками и люблю послушать легкую музыку. Но я не только не завидую такой жизни, у меня к такой жизни отвращение. Я не хочу быть жертвой жизни, я хочу дерзать, стараться преодолевать трудности; брать от жизни все, что мог выработать человек; а после все то, что ты взял от жизни, отдать людям, то есть обратно в жизнь.

Мой принцип жизни таков: «Пусть оттого, что ты живешь, — другим людям будет легче жить». Как приятно видеть прекрасных людей! Когда я их вижу, у меня переворачивается все. И так светло и радостно становится! Как будто побывал в другом мире, в мире человеколюбия. Вот я хочу эту земную жизнь преобразить, сделать ее лучше. Ведь много еще нехорошего.

Как вы думаете, правильно я поставил себе вопрос о жизни или нет?

Правильно ли я думаю и представляю будущую жизнь?»

«Правильно, конечно, правильно, дорогой Ришат!», — так я ответил ему. — Потому что будущая жизнь — это не только победа мира труда над индивидуалистическим «Я», — это победа над всем, что порождено эгоцентризмом и веками его процветания, над частнособственными интересами, над злом, подлостью и грабежом, — победа над всем мелким, низким и низменным, что отравляет человеческую жизнь. Это — обновление того мира человеколюбия, о котором ты говоришь и мечтаешь. И пусть мечта эта не будет только мечтой. Будем работать над ее воплощением! Будем жить по этому очень хорошему принципу: «Пусть от того, что ты живешь, другим людям будет легче жить!» А это и составляет подлинный воздух нашей эпохи.

*(Продолжение следует)*

## ИСКАТЬ И УДИВЛЯТЬСЯ!

(К вклейке этого номера)

На улице Воровского, против ресторана «Прага», стоял длинный, унылый трехэтажный дом. Не стоило, быть может, о нем и говорить (дом снесен при прокладке Калининского проспекта), если бы не любопытная деталь. Каждую весну на одном из окон третьего этажа появлялась клетка с канарейкой. Кипел вокруг огромный город, переполненный людским гомоном, рычанием моторов, свистящим шорохом автомобильных шин, а маленькая обительница клетки пела. Пела громко, перебивая городской скрежет и шум. И, пожалуй, не было человека, который не остановился бы хоть на минуту под окном, не улыбнулся пернатой певичке, без усталости выводящей звонкие трели.

Клетка с канарейкой на улице Воровского не была в числе достопримечательностей, о которых упоминали деловитые гиды в пронесившихся мимо экскурсионных автобусах. Ее не включали в свой перечень строгие авторы путеводителей. Это был просто трогательный штришок московской жизни.

Почему мы вспомнили о нем? Какое, казалось бы, отношение имеет канарейка к той тысяче произведений фотографического искусства, которые были собраны на очередной, пятой по счету, Всесоюзной художественной фотовыставке «Семилетка в действии»? Выставка отразила жизнь страны во всех ее аспектах. Репортерские камеры запечатлели и волнующие минуты покорения Ангары, и героические будни антарктических экспедиций, и полеты в космос, и уборку хлеба на целине, и счастливую улыбку матери, обнимающей сына, и среднерусские пейзажи, и урок физики в маленькой деревенской школе... Но выставка, конечно, не просто хроника событий, галерея имен, конгломерат фактов. С ее стендов пахнуло самой высокой поэзией — поэзией жизни.

Естественно, что фотомастеров притягивала и тема Москвы. Но, к сожалению, московская тема — не самая сильная часть экспозиции. Рядом с подлинными произведениями фотоискусства соседствовали «сувенирные», криливо раскрашенные городские пейзажи, «надежные» объекты в примелькавших ракурсах. Вероятно поэтому, в противовес банальностям, и всплыл в памяти дом с канарейкой, вспомнились десятки живых примет нашего города.

Вот шагает расклещик афиш с сумкой, полной сенсаций... На бульварной ска-

мейке под фонарем пенсионеры сосредоточенно играют в шахматы... Танцы под радиолу во дворах. Грузовики с деталями новых домов на Садовом кольце. Букетик цветов, положенный на постамент памятника Пушкину, влюбленные на набережных, пузатые машины с лотками горячего хлеба, последний ночной трамвай... Подумалось обо всем этом по закону обратных ассоциаций. Потому, что хотелось увидеть не только внешний облик города, но и его сокровенную жизнь, ощутить его нерв, темп, увидеть его истинный цвет, услышать его мелодии, уловить бытовые и романтические подробности жизни.

Свыше трех десятилетий назад вышла необычная книга Ильи Эренбурга «Мой Париж»: ее составляли сделанные писателем фотографии и комментарии к ним. Необычны были и названия глав: «Консьержки», «Афиши», «Скамейки», «Старухи»... Эренбург показал нам город с неожиданной стороны. Его интересовали не красоты, восплаемые проспектами туристских фирм, не всемирно прославленные увеселительные заведения, не тысячи раз описанные Монпарнас и Латинский квартал, а то, что немного позже показал Рене Клер в фильме «Под крышами Парижа» и к чему он же вернулся сравнительно недавно в «Сиреневых воротах»: жизнь простого Парижа, рабочих, мелких ремесленников, был маленьких «бистро» и окраинных улочек. Каждый снимок в этой книге — будь то портрет хозяина кафе или сценка на барахолке — сделан с необычайной достоверностью и точным социальным прицелом. А все вместе, сцементированные язвительными парадоксами, любовью, болью и гневом, — они создали потрясающую по своей зримости и эмоциональному воздействию картину.

Есть немало городов, которым искусство дало «вторую жизнь». Париж Бальзака, Мопассана, Писарро и Марке. Петербург-Ленинград — Пушкина, Достоевского, Добужинского, Пудовкина. Москва — Л. Толстого, Маяковского, Поленова, Юона. Только на протяжении последнего столетия сотни художников любовно запечатлевали наш город. Они умели искать и умели удивляться — свойства, неотъемлемые от таланта. Маковский, Перов, Саврасов, В. Васнецов, И. Левитан оставили полотна о Москве, иногда грустные, иногда улыбаемые, но непременно волнующие своей глубокой человечностью и высокой правдой. Мы знаем и интересные «московские» работы Ю. Пи-

менова. Много нового открыла посетителям состоявшаяся несколько лет назад выставка «Москва социалистическая в работах московских художников».

А вот искусство фотографии в большом долгу перед Москвой и москвичами. Ровно тридцать лет назад Е. Лангман устроил экспозицию своих снимков — «Старое в Москве» и «Новая Москва». Последняя выставка, целиком посвященная столице, тоже относится к давней поре. Число фотожурналистов, их мастерство растут год от года, но выставки о Москве больше не организуются.

Между тем какой простор для творчества дает наша Москва! Художественный фоторепортаж открывает интересное и неповторимое в будничном. Фотография — единственное из искусств! — умеет «остановить мгновение», подсмотреть у жизни тот чудесный момент, когда через единичное, частное выражается общее, типическое. С какой силой можно рассказать о Москве на образном языке фотоискусства!

В этом еще раз убеждают лучшие работы фотовыставки «Семилетка в действии». Ярчайший пример — триптих Д. Бальтерманца «Была Москва — сорок сороков...», ранее опубликованный в «Москве». Первая из фотографий называется «Наука и религия». Почти весь кадр занимает громада университета. А на первом плане — маленькая церквушка. Университетский шпиль пронзает небо, кресты на куполах — даже не царапают его. Создан образ огромной взрывчатой силы, образ философский. И все это — на материале, многократно использованном. Не один Бальтерманц видел церквушку невдалеке от университета. Но только он один нашел ту точку зрения (и в буквальном, и в переносном смысле), которая позволила осветить тему новым светом — светом таланта. Столь же выразительны и два других снимка.

Но все же на выставке больше работ, повторяющих пройденное. Сколько еще репортеров, снимающих новое по-старому в тщетной надежде, что вывезет сам материал! Конечно, нельзя представить современную Москву без размахастроек, изящных эстакад и немного таинственных при ночном освещении транспортных тоннелей, без панорам многоэтажных, тянущихся на километры проспектов, без Лужников, университета, ВДНХ, кинотеатра «Россия», гостиницы «Юность». Да, Москва немислима без Красной площади, собора Василия Блаженного, Библиотеки имени Ленина, Консерватории. Фотография обязана показывать все это миру, стране, нашим гостям, самим москвичам. Но — как показывать! Если фотограф в обычном видит и показывает только привычное, примелькавшееся, он способен разве только обесценить материал, вызвать у зрителя скуку. Снимок утрачивает эстетическую силу: вместо общения — получается информация, вместо публицистики — холодная фиксация факта, вместо художнического подхода к событию или явлению — историческая справка или

протокол. Может быть, поэтому без малейшего душевного отклика скользишь взглядом по работам, подобным, например, «Огням автострады» Л. Поликашина, «Москве вечерней» Г. Рейнгольда или «Площади Пушкина» Н. Минева. Не выручают ни профессионализм, ни высокая техническая грамотность авторов. Все это видно не единожды: и цветные линии, прочерченные автомобильными фарами и задними фонариками, и ярко освещенные окна новых домов, и мягкий «поэтический» снежок, падающий на прохожих...

На выставке есть хорошие — и «классические» и «репортажные» — портреты наших знаменитых земляков, удачные кадры из исследовательских институтов и лабораторий (XX век, повышенный интерес к науке!), несколько приятных жанровых работ — «В кафе до открытия» Л. Нисневича, «Любопытный» Д. Донского, «Обеденный перерыв» Г. Корабельникова, «Осень в Москве» М. Кулешова, фоторепортаж Портера «Дело о разводе». Но с жанром дело обстоит как раз хуже, чем хотелось бы.

Для нас, коренных ее обитателей, Москва не только столица государства, «промышленный, научный и культурный центр страны», как совершенно справедливо обозначено во всевозможных справочниках, но и просто родной город, дом, в котором мы живем. Мы любим его памятники, переулки, театры, бульвары, многое другое, чего не улавливает поверхностный взгляд приезжего. Любим московские традиции, житейские обычаи, густую толпу на улицах и пустынность этих же улиц на рассвете, суету, хотя часто ворчим по поводу «проклятой беготни». Словом, мы любим все московское. И, естественно, хотим, чтобы оно стало достоянием фотоискусства. Хотим как можно чаще смотреть на привычное его пронзительными глазами-линзами. Этот непредвзятый и острый взгляд всегда нов, свеж и умеет вскрыть необычное в обычном, прекрасное — в примелькавшемся и будничном, обнаружить удивительное — рядом.

Не потому ли многие дважды ходили на фильм «Я шагаю по Москве» и с истинным удовольствием смотрели документальную ленту «Перед началом спектакля», что в них, помимо всего остального, с талантом показаны Москва и москвичи?!

А разве нельзя создать серию фото-книг о Москве, где рядом с новыми домами, эффектными электронными машинами и памятниками старины будут показаны и сами москвичи — во всем многообразии их связей с городом, их профессий, интересов, занятий, развлечений! Книжки, в которых вместо «подарочных открыток» и снимков, похожих на крышки шоколадных коробок, мы увидим повседневную Москву — многоголубую, знакомую, «свою»...

Выставка «Семилетка в действии» доказывает, что у нас много первоклассных фотомастеров. И они безусловно в силах рассказать о нашей замечательной столице талантливо и каждый по-своему.

## «МОЛОДОСТЬ В СПЕЦОВКЕ»

### Поэт-рабочий

Механик башенных кранов Владимир Кулагин опубликовал не так давно второй свой поэтический сборник («Опоры», Калинин, 1963). В нем — биография человека, который

...прожил молодость не зря,  
Великим стройкам отдал душу —  
В глухих степях творил моря,  
В морях, где надо, делал сушу.  
Свет добывал из горных рек...

Замечательно, что именно так, и словом и делом участвуя в строительстве коммунистического общества, живут сегодня очень многие молодые поэты, авторы одной, а то и двух-трех книжек стихов.

Контролер разливки стали с Челябинского металлургического Николай Валяев. Бывший липчанин Валентин Кочетов — капитан дальнего плавания из Архангельска. Комсомольский работник из Магадана, волжанин Альберт Адамов, успевший к своим двадцати пяти годам пройти «университеты» строителя, лесоруба и портового грузчика. Зоотехник Виталий Мамаев из вятского села. Машинист Кемеровского паровозного депо Виктор Баянов. Геолог Валерий Мартынов из Воронежа. Ставрополец Виктор Бугаев, работающий плотником в Красноярске. Архитектор Лев Кузьмин из Перми... Перечень этот далеко не полон и в известной мере случаен. Тем не менее даже он красноречиво свидетельствует о том, что не в литературной теплице, а на ветрах жизни, на плодотворной почве народного труда развивается российская поэзия. Нет надобности воскрешать старый лозунг о призыве ударников в литературу, чтобы приблизить поэзию к жизни и жизнь к поэзии. Их единство становится все более полным и органичным по мере того, как вызревает и укрепляется коммунистическое отношение к порученному делу, а труд физический становится все более интеллектуальным. Поэт, работающий в сфере материального производства, имеющий среднее, а зачастую и высшее специальное образование, обладающий самым передовым марксистско-ленин-

ским мировоззрением, широко и свободно владеющий богатствами духовной культуры, — разве уже само по себе это не доказательство радостных перемен в качественной структуре нашего общества!

Если в сравнительно недалеком прошлом, напечатав с десяток стихотворений в районной газете, начинающий поэт зачастую немедленно оставлял свою прежнюю профессию и отправлялся «за славой» в Москву или в Ленинград, то сегодня исключение из этого «правила» никому не кажется сенсационным. Скорее даже наоборот. Ведь интерес к поэзии настолько велик, что талантливого, нужного людям поэта читатели быстро «открывают» и по заслугам оценивают, в какой бы отдаленности от столицы он ни находился. С другой стороны, возможность работать бок о бок со своими героями, драться плечо к плечу вместе с ними за осуществление высокого человеческого предназначения, — не об этом ли мечтает всякий настоящий художник!

Когда читаешь стихи рабочих поэтов, не спешащих «профессионализироваться», испытываешь ощущение, что беседуешь не с очевидцем народной жизни, пусть умным, зорким, наблюдательным, а, говоря современным языком, получаешь информацию о жизни из первых рук. Нужно самому побывать хотя бы на стреле башенного крана, чтобы написать о верхолазах, как В. Кулагин:

Глядеть с земли —  
куда как просто,  
А подымись  
попробуй сам!  
Там два шага —  
один к погосту,  
Другой — к бездонным небесам.

Как часто поверхностное знание действительности выражается у поэтов в том, что лирический герой их — либо не знающий человеческих слабостей и страстей «идейный» робот, либо — воплощение этих «слабостей». В стихах В. Кулагина есть ощущение власти «маленького» и «слабого» человека над могучими стихиями природы и почти столь же могучей техникой, ощущение непобедимости человека, внешне подчас беззащитного. В основе стихотворения «Подвиг водо-

лаза» — реальный факт: Герой Социалистического Труда Сергей Мелеант обнаружил подводную течь, размывавшую перемычку Волгоградской ГЭС. Водолаз спустился «туда, в невидимую кипень, в мятувшийся водоворот, где при твоём последнем вскрипе тебя не выручит народ». Мне думается, поэт неспроста подчеркивает последнее обстоятельство. Что может быть ужаснее одиночества, когда твердо знаешь: помощи в беде ждать неоткуда! Но человек не только преодолевает неминуемый страх. Совершив подвиг, он держится так, «будто ничего не сделал и ничего не совершил». Так подвиг становится нормой поведения, не переставая в то же время быть подвигом. В этом стихотворении герой-современник, волнующая и вдохновляющая его жизнь не просто изображены. Они поняты и осмыслены в их сущности и, значит, выражены.

Ведь речь идет не о простом чувстве гражданского долга. Оттого и мужество и сила, что «чувство народа», «чувство страны» становится у советских людей все более крепким и всеобщим. Оттого и жизненное дело герой сегодняшней поэзии — наш молодой современник — выбирает не по корысти и не по велению извне, а исключительно по внутреннему сознанию своей необходимости на том или ином участке действительности.

На небе туч заплатки,  
дожди по суткам льют...  
Палатка ты, палатка,  
обманчивый уют!  
И под намокшим ватником  
пылает голова...  
«Героика», «романтика» —  
хорошие слова! —

пишет уралец Анатолий Пудваль. Не «хорошими словами», вычитанными из книг, не мальчишеской жадной экзотики и приключений определяют сегодня пути юных преобразователей. «Без нас обходятся в Москве, а здесь без нас нельзя», — в этом главное.

Именно отсюда, из этого ощущения слитности с людьми, а не из абстрактной ненависти к «мещанству», вытекает категорическое неприятие героем «рабочей поэзии», любой, даже самонаименованной разорванности связей между человеком и народом, человеком и обществом, человеком и людьми. Не вещи сами по себе, не стремление к материальному благополучию и не само это благополучие, — эгоистическая замкнутость, ограниченность самоуспокоенности — вот главный враг.

Пусть он не из досок, а из бревен,  
Не с дубовой крышкой, а с крыльцом.  
Если для довольства дом построен,  
Будь любезен — числится мертвецом.

Это слова Владилена Кожемякина («Полюс тепла». Киров. 1963). Это мысли нашего современника, того, кто по выражению поэта, «вышел в молодость в спешке». Так, выражая себя, поэт-рабочий выражает свое поколение и свое время.

Перед каждой книжкой незнакомого еще поэта испытываешь, вероятно, нечто подобное тому, что чувствует старатель, набравший в лоток золотиносного песка. Как часто, ожидая обнаружить в песке блеск самородков, с горечью убеждаешься, однако, что перебиваешь пустую породу!

Есть немало общего между поэтической техникой и техникой шахматной игры. С каждым годом играть в шахматы и писать стихи легче и труднее.

Легче дилетантам. Потому что накоплен богатейший опыт, теория разработана в мельчайших деталях, приемы и «ходы» всесторонне изучены, опробованы и проверены, примеров для подражания («сыгранных партий») — бесчисленное множество. Все это сравнительно не трудно усвоить даже при средних способностях. Вот отчего у нас еще так много поэтов-дилетантов.

Труднее мастерам. Ибо талант, лишь повторяющий пройденное, бесплоден. Ибо малейший шаг вперед немислим без поисков и открытий нового. Но «обо всем» уже написано. И написано превосходно. Вот отчего нам все труднее дожидаться «нового Пушкина» и «нового Маяковского».

Где выход?

Одни видят его в поисках новых форм. Но этот путь ведет часто ко все большему усложнению стиха. Получается стих-ребус. К сожалению, под слишком многими из таких стихотворений можно написать: разгадайте — и вы прочтете широко известное изречение знаменитого философа глубокой древности. Подчас мы действительно долго ломаем голову, чтобы «перевести» те или иные стихи на язык обыкновенной человеческой логики и обыкновенных понятий и в итоге расшифровки получить либо примитивную констатацию малоинтересных фактов, либо бородатый трюизм. Такая поэзия — обман читателя. Она, может быть, и дает кому-то повод восхититься проницательностью собственного интеллекта («никто этого поэта не понимает, а я понял!»). Но у человека, который ищет в поэзии не гимнастики для мозговых извилин, а отклика своим мыслям и чувствованиям, ответа на волнующие проблемы жизни, она попросту отнимает драгоценное время.

Думается, в этом обстоятельстве и кроется одна из причин, почему среди рабочих поэтов мы не встретим людей, всерьез увлекающихся формалистическими и даже просто формальными новациями. Человеку, создающему своими руками вещественно-реальные ценности, стыдно тратить энергию мозга на материализацию дырки от бублика. Это явление имеет и отрицательную сторону — некоторую недооценку формы, поэтического мастерства. Но об этом позже. Бывает ведь и другое: человек прямо и просто, без обиняков и без обмана, сообщает читателю то, что тот давным-давно и сам знает. О таких поэтах хорошо сказал Александр Авдоян («Время и сердце». Калуга. 1963):

Тиснет стихок в газете —  
Обкатанно все и обструганно,  
Все гладко и очень правильно  
И звонко,  
а звук пустой.

Кстати, и у самого А. Авдонины, поэта по-журналистски внимательного и думающего, в трех его вышедших сборниках подобных стихов наберется немало. «Пустой звук» — да ведь это самое ужасное для поэта!

Ну, а если поэта захлеб читают, если ему аплодируют огромные аудитории? Пожалуй, мы совершенно зря отмахиваемся от анализа причин популярности тех из поэтов, кого в последнее время некоторые критики и собраты по перу снисходительно именуют «эстрадными». Разговоры об угрождении обывательским вкусам мало убеждают. Дело, очевидно, не только в этом. А в том, что слова поэта уже не воспринимаются аудиторией как «звук пустой!» Аудитория, которая конечно же не может состоять сплошь из обывателей (а чаще всего — это молодая аудитория), улавливает в стихах самое ей необходимое: новую правду и правду нового.

Да, конечно, «обо всем» написано. И о любви. И о дружбе. И о ненависти. И о предательстве. И все-таки жизнь неповторима. Она неповторима в своей конкретности, в своем движении. У Пришвина есть замечательная запись о Маяковском: «Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришил к бумаге... И это пришлое есть правда, которой... служил Маяковский».

Спору нет, есть поэты, которые подчас спекулируют на таком «пришпиливание», отчего правда предстает в иных стихах в опущенном и искаженном виде. Но разве из этого следует, что надо без конца повторять лишь беспорные истины, обходя всю сложнейшую конкретность современности? Кому же как не «рабочим поэтам» показать действенный пример в овладении новым и непрерывно меняющимся содержанием!

Почему же столь часто попытка «при-

шпилить» день оборачивается «пустым звуком»?

Молодость — это устремленность. Не знающая покоя и даже несколько бравирующая своей способностью не поддаваться усталости, она ежедневно отправляется в новый поиск. «Вновь в тайгу тропа меня уводит, ночь готовит у костра ночлег», — пишет В. Кожемякин. «Отряд наутро в глухомань уйдет. Большой костер погаснет на рассвете», — вторит ему А. Адамов. «Наша жизнь — костры и дороги», — резюмирует В. Мартынов. «И зовет и волнует бесконечность дорог», — откликается Н. Валаев. Не может остаться вне этой переключки и А. Пудволь: «Нет, простите, друзья-домоседы, не вините меня в оплошке — с этим поездом я уеду даже «зайцем», хотя б на подножке!»

Альберт Адамов свою первую книжку «Дорогами ветров», вышедшую в Магадане около трех лет назад, начинал стихотворением, в котором как заклинание повторялось:

Я уехал навстречу ливням.  
Я ушел потягаться с метелью...

Я работать буду на Севере...  
Я поеду до самого полюса...  
Я сегодня на Ледовитом...  
Я доволен своим побегом!

Герои не только уезжали сами, они настойчиво звали за собой любимых. «Догоняй меня, догони!» — подзадоривал герой А. Адамова. «Слышишь, сердце мое телеграмму бьет: приезжай, приезжай, приезжай!» — умолял герой В. Кожемякина. Сейчас мне кажется, что любимые не откликнулись на эти призывы просто потому, что плохо знали героев. В самом деле, много ли можно сказать о человеке, вся характеристика которого сводится к тому, что он не ищет покоя и все куда-то едет?

Немного больше сведений дает нам о жизни своих героев В. Мартынов («Старт». Воронеж. 1963). Напоминающие не то джек-лондонских, не то хемингуэевских «настоя-

П. Куделин. *Вокруг Москвы*. «Московский рабочий». 1963. 239 стр. Цена 30 коп.



«...Мы интересуемся бледными описаниями роскошной тропической природы, а не обращаем внимания на красоту какого-нибудь лесного уголка на расстоянии часа езды от Кремля». Этими словами, принадлежащими великому русскому ученому Клименту Аркадьевичу Тимирязеву, начинается краткий справочник П. Куделина «Вокруг Москвы». Автор, как бы отталкиваясь от этих слов, стремится сжато, насколько позволяет ему ограниченный

размер книги, рассказать туристам, рыболовам, охотникам, грибникам о «чудесных лесных уголках на расстоянии часа езды от Кремля», об очаровательной, изобилующей лесами и реками природе Подмосковья, о богатой подмосковной фауне. Есть здесь где попутешествовать, поохотиться, заняться рыбной ловлей, собирать грибы, где отдохнуть, подышать полной грудью!

Но Подмосковье замечательно не только своей

природой. Немало здесь памятников древней культуры России. В справочнике даются краткие сведения о прошлом и настоящем древних городов — Коломны, Дмитрова, Звенигорода, Можайска, Серпухова, Волоколамска, Загорска, Зарайска и других, расположенных в радиусе до ста километров вокруг Москвы.

Большое внимание автор уделяет местам, связанным с жизнью и деятельностью В. И. Ленина, с рево-

ших мужчин», бородаты и немногословны, они ищут «проклятый титан»:

Мы выпили,  
молча кивнув ему.  
Огоньки папирос зажглись.  
Собака тоже смотрела во тьму.  
Кто-то сказал:  
— Жизнь...

Не берусь гадать, какое объяснение предложит этому явлению критик Л. Аннинский, написавший в статье «Новые рифмы и старые истины» («Молодая гвардия» № 2. 1964), что подобный «стиль» был «модным» лет семь назад. Впрочем, следуя логике статьи Л. Аннинского, можно было бы ограничиться беглым замечанием, что в сибирской и дальневосточной поэзии на семь лет отстали от «моды». Однако вряд ли это что-нибудь объясняет. Ведь поэты, о которых идет речь, пишут не о выдуманной, а о своей собственной жизни. Все сказанное действительно случилось с ними самими, и у нас нет никаких причин не доверять справедливости слов В. Кожемякина, А. Адамова, В. Мартынова, Н. Валяева, А. Пудволя и др. Беда в ином. То, о чем мы прочитали, одинаково бывает у геологов и строителей, у целинников и туристов, у рыбаков-любителей и археологов. И, как это ни парадоксально, точно такие же слова может сказать о себе настоящий труженик-патриот, идущий к высокой цели романтик и... летун, бродяга, охотник за длинным рублем. Стихи построены на использовании внешних постоянных атрибутов: «тайга», «костер», «борода», «собака», на дежурном в таких случаях словечке «проклятый», с подведением подо все это «философской» базы: глубокомысленно протянутого слова «жизнь».

Но именно жизни-то, в ее неповторимости, безусловности, социальной и временной определенности читатель и не видит. Ее как бы нет вовсе. Она растворилась в давно знакомых всем представлениях. Попросите закройщика из ателье дамского платья написать стихи о геологах, и он напишет то же самое. Так детали, взятые, казалось бы, с природы, приобретают значение муляжа.

Безусловное становится в высшей степени условным, жизненность оборачивается литературщиной.

Отвлечение от жизненной «конкретики» опасно прежде всего тем, что невольно ведет к абсолютизации эмоционального восприятия действительности. И добро и зло теряют свои определенные очертания. Конечная цель как бы размывается. Только непокой. Только неуют. Только движение.

Движение ради движения? Похоже, что так. Герою, кажется, и самому осточертело это бесцельное беличье верченье в колесе самодавлеющей романтики, но какой-то злой рок не дает ему возможности хотя бы на короткое время задержать неостановимый бег.

И пресытись тобой,  
я тебя осуждаю, движение,  
как баянь темноты,  
как сердечную боль на бегу,  
я тобой утомлен,  
этим злым карусельным круженьем,  
но прожить без тебя даже месяца я не могу!—

признается А. Пудволь. Герой А. Адамова еще более беспокойный. Мы помним, что первый сборник поэта был о том, как герой этот ехал на Север «потягаться с метелью». Можно было предполагать, что за время, прошедшее между двумя сборниками, герой оглядится, обживется на новом месте и расскажет о том, как он и его друзья делают там жизнь. Однако злой дух беспокойства явно помешал этому. «Мой бродяга-фрегат застоялся в гостях у причала», — жалуется герой. Разумеется, такое положение вовсе нетерпимо. «Я ухожу в траве по пояс» — это еще куда ни шло. «Эх, сесть бы на весла...» — тоже неплохо. Но куда умчишь с Дальнего Востока, если он действительно дальний, и дальше, как говорится, ехать некуда? И тут неугомонный бесенок беспокойства делает последний отчаянный рывок. Земное притяжение преодолено. «Шире взмахи крыльев, миссис Мысль!» — летим в Зурбаган! Прощай, Земля! Прощай, действительность! Прощай, реализм!

люционным движением, с борьбой рабочих и крестьян Подмосковья за власть Советов, с защитой социалистической Родины в годы Великой Отечественной войны.

С интересом читаются страницы справочника, рассказывающие о замечательных памятниках русской культуры — подмосковных усадьбах Коломенское, Царицыно, Кусково, Архангельское, Кузьминки и других, созданных выдающимися русскими архитекторами и талантливыми крепостными мастерами.

Перед читателями про-

ходят имена знаменитых русских писателей, художников, композиторов, ученых, живших под Москвой и создавших здесь свои замечательные произведения.

Заслуженное место в справочнике отводится сегодняшнему Подмосковью. Вместе со всей страной оно добилось огромных успехов в своем экономическом и культурном развитии. Автор рассказывает о новых благоустроенных городах, возникших в наше время на территории Московской области, о том, что здесь — более 1200 промышленных предприятий и десятки

крупных научно-исследовательских институтов, что в Подмосковье свыше 1450 дворцов культуры и клубов, 1350 библиотек, 1300 книжных магазинов, 6 областных и 11 народных театров, и о многом другом.

Краткий справочник «Вокруг Москвы» — не только полезное пособие для тех, кто хочет облюбовать для себя маршрут для путешествий и походов по Подмосковью. И читатели-нетуристы найдут в сборнике много интересных для себя данных и фактов, которые обогатят их представление о Подмосковье.

Давно в тумане скрылся тихий порт.  
Летит скорлупка... Поминай, как звали!..  
Я — сын земли, но с некоторых пор  
Я в плавании...

Красноречивое признание! Его убийственной иронии не снимает и намек поэта, что речь идет в подтексте о «море житейском». Ведь всякие ориентиры для успешного движения по этому морю поэтом потеряны. Какие-либо размышления над действительной реальностью полностью заглушил кликушеский призыв грома-молнии и тысячи чертей на свою голову:

Да будет шторм! Лети, кораблик мой!..  
Девятый вал взревет и тарарахнет  
И срежет волны в ярости хмельной.

Довольно своеобразное, я бы сказал, понимание романтики: лишь бы штормяга! Лишь бы девятый вал! И пусть он «срежет мачты» и вообще все разнесет в щепки. Обращаясь к сегодняшним мальчикам, поэт не находит ничего лучше, как пообещать им в грядущей самостоятельной жизни «Бури и тайфуны. Кораблекрушения. Табаку полфунта. Острова лишения». Он говорит как об идеале человеческой судьбы: «Плакать — так уж задохнуться плачем».

Мы вовсе не за обрастание ракушками в тихой заводи. И хочется присоединиться к поэту, когда он мечтает «прощать — так от души, любить — взахлеб». И в первой книжке Адамова и во второй есть стихи отличные: непретенциозные, по-человечески выношенные, глубокие, как мне представляется, выстраданные. Но именно потому, что есть в жизни хорошие стихи и еще много другого — доброго и прекрасного, вовсе не хочется задышаться плачем и, пускаясь на трудное осуществление дерзких мечтаний человечества, желать себе в пути «кораблекрушения». Напротив, хочется твердо верить в успех.

Впрочем, я думаю, что и сам А. Адамов в жизни не такой «отчаянный», каким предстает перед читателем герой многих его стихотворений. Здесь просто влияние инерции. За первичной романтикой беспокойства, за первичным «подвигом» отречения от уюта молодой поэт проглядел подлинную романтику конкретных дел сверстников, действительный подвиг труда и борьбы. Скольжение в легкой скорлупке эмпиризма по поверхности фактов логически привело к смешению фактов, к принятию второстепенного за главное и, в конечном счете, к отрыву от фактов вообще, к книжному вымыслу. Может быть, у А. Адамова эта тенденция прослеживается особенно ярко. Но она ощущается и в творчестве многих других молодых поэтов. Пример Адамова для них поучителен.

«В ярости хмельной» девятый вал литературщины срезает не только вымысленные мачты, — в щепки разлетается нечто гораздо более осязаемое и ценное: правда жизни.

## «Постигая ремесла...»

Когда думаешь о причинах парадоксального явления: человек живет, что называется, в гуще жизни и высказывает о ней весьма поверхностные суждения, — то, естественно, ищешь ответа прежде всего в лирических признаниях самого этого человека. Подобным признанием, выраженным в форме своеобразного «кредо», открывается сборник А. Адамова «Ладони» (Магадан. 1963). Здесь поэт в который раз подтверждает, что не ищет «счастливой доли, чем идти по родной стране». Но главное не в этом слышном уж скромном желании. Главное — раньше:

Я пришел из тайги, от рубанка,  
не был флюгером и юлой.  
Вся пропахла моя рубашка  
стружкой, женщиной и землей.

Нет, это не рабочая гордость — чувство светлое и красивое. В этих словах, в их интонации да, пожалуй, и в прямом значении слышится мне иное. Я, мол, из тайги, я вам скажу по-простому, по-таежному, без этих «поэтических интеллигентских тонкостей». В результате и появляются такие перлы, как рубашка, пропахшая... женщиной, или признание: «Долго буйствовал, но стихал». Конечно же я понимаю: поэт не хотел говорить пошлости, и «буйствовал» он не по пьянке и «стихал» не в штабе комсомольского патруля. Просто ему хотелось сделать своего героя этаким посконным, сермяжным, диковатым, природным, этаким земляным и духовитым. Чтоб Русью пахло.

Но Русью не пахнет, если иметь в виду современную, сегодняшнюю Русь. Мне думается, ошибка А. Адамова и сходные ошибки некоторых других из названных в начале статьи поэтов — результат одного довольно распространенного и устойчивого заблуждения. Поэт убежден, что если он сам рабочий, колхозник, инженер, то уже в силу одной этой принадлежности к трудящемуся классу он знает жизнь «до косточки». Наблюдать ее не надо, изучать не надо, осмысливать тоже не надо. Все само собой образуется.

Но это не так. Рабочее звание поэта — не индульгенция от грехов верхоглядства. Оно — преимущество, которое еще сумеет реализовать. Поэту надо еще овладеть большой духовной культурой, постигать скрытый от поверхностного и случайного взгляда смысл фактов, хотя бы он сам и являлся их творцом. Без этого поэт, как бы талантлив он ни был, обречен либо на бесплодный формалистический поиск, либо на повторение всем известного, очевидного и потому никому не нужного.

## «Смотрел я на сосны...»

Поэзия — нескончаемое путешествие в красоту. Даже когда лирический герой стихотворения заявляет о сбедающем его духе



жильность русская в плечах», — такими рисуются липчанину Александру Васильеву, участнику сборника «Рукопожатье», наши космонавты, эти, по выражению поэта, «космические пахари». Поэта не смущает, что если сравнивать успехи наших и американских космонавтов по количеству пролитого в герметической кабине пота, пальму первенства придется уступить американцам. Стоит ли смущаться такой «мелочью», когда А. Адамов обо всей эпохе нашей может сказать: «На ней не первой свежести рубашка, ведь под рубашкой — первоклассный пот»!

На прошедшем в конце прошлого года семинаре молодых поэтов Тульской области один из участников читал стихи, посвященные запаху пота, и другие — воспевающие навозный дух. Сторонники подобных стихов говорили, что навоз — ценное удобрение, помощник химии, а химия... и т. д. Возразить будто бы и нечего. Но тогда надо воспевать и фекалии, и запах сероводорода: тоже — химия. И еще я подумал: если запах трудового пота столь сладок, если рубашка «не первой свежести» может быть предметом особой гордости для целой эпохи, зачем мы вот уже пятый десяток лет упорно выбираемся из этой грязи, оставленной нам в наследство Романовыми и Рябушинскими? Зачем, например, строим на заводах душевые? Зачем в кино, в клуб и на демонстрацию люди не идут в загрязненных и замасленных спецовках, а если и находятся такие оригиналы, товарищи строго осуждают их?

Конечно же, всякий труд в нашей стране почетен. И стыдиться рабочей грязи, трудового пота нечего. Но одно дело — принимать их как пока еще неизбежное, пусть маленькое, однако все более успешно устраняемое зло. Другое — делать их объектом эстетического любования и наслаждения. В самом процессе труда, в его результате, в человеческом отношении к делу — вот где искать поэтам подлинную красоту!

В стихотворении свердловчанина Владимира Сибирева «Колхозные кузнецы» нет

упоминаний ни о поте, ни о мозолях. Но простые люди, ладающие обыкновенные лемеха к обыкновенным плугам, вырастают в глазах поэта в могучих титанов, которые, словно доктора, могут простучать «шар земной». С их ладоней в пору «взлетать... спутникам», Лев Кузьмин («Апрель» Пермь. 1963) поднимает своих героев, деревенских плотников, еще выше:

Стройны, как древнегреческие боги,  
И веселы, как шустрые юнцы,  
В настлы прочно упирая ноги,  
Мы бревна катим и кладем венцы.

А бригадир — усатый громовержец —  
Басит: «Давай! Не сахарные мы!»  
Грохочет гром. И семицветье режет  
Громаду туч с заречной стороны.

Стихам этим нельзя отказать ни в щедрой и веселой размашистости красок, ни в задорной экспрессии, помогающим передать ощущение работы как праздника, труда — как главного дела жизни. Но почему кузнецы? Почему плотники? Почему не профессии «помоложе»? А может, дело вовсе и не в «молодости» профессий?

Все, вероятно, видели, если не в натуре, то в кино обязательно, работу прокатного стана. Из жерла калильной печи вываливается добела раскаленная многотонная чушка: сляб. А его уже ждут, захватывают длинными крюками и подают в прокатные вальцы вальцовщики. В прожженных брезентовых робах и шлемах. В защитных очках. Сильные и веселые боги огня с червонно светящимися лицами!.. Казалось бы, вот она — подлинная красота человеческого труда, раскованного и праздничного. В грохоте стали. В огненных брызгах расплавленного солнца. В азарте радостного рабочего вдохновения...

А между тем вальцовщик — вчерашний день нашей металлургии. В современном, построенном по последнему слову техники цехе горячего проката рабочих не сразу и заметишь. К работе же стана они и вовсе как будто непричастны. Всем ходом прокатки управляет, в сущности, один чело-

*Лео Таксиль. Забавная библия. Государственное издательство политической литературы. М. 1964. 471 стр. Цена 79 коп.*



Свою «Забавную библию» Л. Таксиль издал в 1897 году. Но еще задолго до этого он получил известность как яростный и смелый борец против религиозного мракобесия. В течение ряда лет он выпустил несколько десятков произведений, в которых описывал некоторые темные и очень неприятные для церковников факты из истории религии и церкви. Бывший воспитанник иезуитов, Таксиль лично знал, какую зло-

бу церковных кругов вызовут его выступления. Таксилью помогло присутствующее ему дарование остроумного писателя-полемиста. Его оружием стал смех, в этом отношении он был продолжателем дела французских писателей-энциклопедистов XVIII века.

Так продолжалось до 1884 года, когда произошло нечто неслыханное. Л. Таксиль... раскаялся. Говорили, что на него якобы подействовала энциклика тогдаш-

него римского папы Льва XIII, который в своем послании ко всем верующим объявлял беспощадную войну атеизму, всем, кто не признавал руководящей роли римскокатолической церкви и боролся против классового гнета. Велика была радость церковников, широко рекламировавших это событие в своей печати, но все закончилось грандиозным скандалом. Оказалось, что мнимое «раскаяние» Л. Таксила бы-

век — оператор. Он не похож ни на богатыря, ни тем более на «древнегреческого бога». Сидя в мягком высоком кресле в некотором отдалении от стана, он даже не столько управляет им, сколько контролирует работу автоматически управляющих приборов. А гигантская машина между тем сама подхватывает слябы, легко гоняет их между вальцами, как хозяйка раскатывает тесто для лапши, и точно так же сворачивает еще прозрачную от жара стальную ленту в тугой рулон. Вот и думаешь: какой поэт, вдохновившись трудом вальцовщиков — наглядным, красочным, — возьмется воспеть труд оператора? Или он вовсе лишен красоты?

Практическая целесообразность вещей — это заметил еще Плеханов — обнаруживается нами прежде, чем раскрывается их внутренняя красота. Мы сразу усваиваем целесообразность технических новшеств, а вот красоту, подлинную и высшую красоту интеллектуального по форме и физического по происхождению труда, мы видеть еще не научились.

Знаменитые кольцовские строки о косаре написаны более столетия назад — тогда не было даже конной косилки. Сегодня его земляк О. Шевченко видит славу молодежи 60-х годов XX века в том, что «она, до работы охочая, загорелое тело в поту, просмоленные шпалы ворочает и тюки разгружает в порту...» Первая книжка М. Румянцевой называется «Грузчица». Название отразило действительный штрих из биографии поэтессы. Но вот и геолог В. Мартынов пишет:

А грузчики опять таскают бревна  
и напрягают от усилий брови,  
и жилы надуваются от крови,  
и я прошу:  
— Позвольте с вами мне.

И жаль, что рядом с правдивыми и волнующими стихами о плотниках, столярах и грузчиках мы не можем поставить столь же яркие стихотворения о людях нового, в значительной степени интеллектуального труда. Кому же как не поэтам — этим раз-

ведчикам в области прекрасного — раскрыть эстетический смысл того нового, что рождают воля и разум человека? Поиски в этом направлении ведутся. Но пока они робки и не всегда успешны. И верно: это очень трудная, хотя и не неразрешимая задача — выразить трудовой порыв нашего современника в современных его формах и даже показать машинный труд как труд человека.

Во всяком случае, для этого не надо призывать В. Баянова писать исключительно о проблемах железнодорожного транспорта, Н. Валяева — о сталевазах, В. Мартынова — о геологах и т. д. Опыт показывает, что определение поэту темы «по специальности» вообще не всегда может быть плодотворным. Лучшие стихи Н. Валяева, например, не те, где он, как великое множество своих собратьев по перу, поминает «гулкий и могучий» свой металлургический завод и «цеховую дружную семью», а стихотворения «О счастье», «Катя», «В клубе», «В магазине», «Невозвратное». В этих лирических «задумках» о маленьких и как бы случайных фактах гораздо больше, чем в других стихотворениях сборника «Искры огня» (Челябинск. 1963), собственно «валяевского», по-своему им увиденного, по-своему переданного. Точно так же и лучшие стихотворения В. Баянова не о паровозе и машинистах, а о родине («Моя земля»), о трудном военном детстве («Мы в детстве смотрели немое кино...», «Мальчишки плачут редко»).

Давно замечено: гораздо сильнее действуют на читателя и слушателя те стихи, в которых поэт выражает свои чувства и мысли, а не сообщает о них. Для самого же поэта выразить какой-либо материал тем легче, чем ближе он к душе, чем полнее он прошел через сердце: Вот почему до сих пор остается перед рабочими поэтами задача: о собственной своей работе, о сверстниках своих, об их делах, трудах, думах написать так же хорошо, как о своей любви и о самых ярких, незабываемых впечатлениях детства. Написать не общими

ло не чем иным, как сплошной мистификацией. На протяжении двенадцати лет Л. Таксиль выполнял задания церковников, выдумывал «чудеса», обличал неверующих, «спасал» заблудших, обращая их в лоно христианства, но в это же время он писал свою «Забавную библию». А когда не было больше смысла продолжать мистификацию, он выпустил ее в свет.

Л. Таксиль считал себя учеником Вольтера и Гольбаха. Недаром первого из них он широко цитирует, разбирая бессмыслицы и противоречия библейских сказаний. Его книга — не просто облегченный пере-

сказ Священного писания, при анализе церковных легенд Л. Таксиль в какой-то мере использует свидетельства истории, достижения научной критики и религии. Но это только в небольшой степени, потому что он ставил перед собой другую, более ограниченную задачу — на материале самой «священной» библии показать аморальность и жестокость взглядов, проповедуемых церковными писателями. Л. Таксиль подробно излагает главнейшие из церковных мифов, показывая их научную и историческую несообразность. Он доказывает, что в них отражены наиболее отсталые

представления людей далекого прошлого.

Изданию 1897 года автор предпослал сатирическое вступление, обращенное к папе Льву XIII, в котором говорил: «Я не смею утверждать, что моя «Забавная библия» будет содействовать укреплению религии. Наоборот, она разяяснит читателям, во что и почему не надо верить». Именно это и делает «Забавная библия». Она дает богатый материал не только пропагандисту, ведущему атеистическую работу, но будет интересна и для самых широких масс читателей.

словами, не декларативно, не информационно.

«Зажечь в молодых сердцах стремление к подвигу, воспитывать чувство активной и действенной любви к своей великой Родине, увлекать вдохновляющим примером старших поколений,— говорил Л. Ф. Ильичев на июньском Пленуме Центрального Комитета партии в 1963 году,— могут только произведения, ярко раскрывающие высокую и благородную правду нашей жизни, героизм и романтику революционной борьбы советского народа за новое общество». Именно раскрывающие, а не просто повторяющие, что время наше героично и романтично и что молодые люди тоже героические и романтические. И еще не раз подчеркивала партия: ярко раскрывающие.

Алексей Толстой сказал однажды, что искусство — это праздник идей, мыслей, образов. Но какой может получиться праздник, если у иных поэтов мысли и образы являются на него как бы пьяными и увечными. Сейчас вроде бы уже и неудобно говорить о литературной грамотности и тем более просто о грамотности: люди, пишущие стихи, окончили десятилетки, техникумы, институты. Предполагается, что они умеют хотя бы читать, и, следовательно, пути литературного самообразования для них не закрыты. А между тем сколько примеров этой самой неграмотности! Сколько корявых стилистически, темных по смыслу, а то и просто бессмысленных строк рассыпано по страницам стихотворных сборников молодых!

А. Адамов обращается к паровозу: «Хоть железный, а все же должен мыслить и ты». У него же «Эх, романы хороши пишет пилорама!», поезд «мчится на всем... скаку», а любимой девушке можно сказать: «Лепесток мой, тычинка, людям — добрым и злым, всю себя выдаешь на-гора...» Попробуйте понять сие. Еще больше бессмыслицы, пародийной чепухи выдает «на-гора» В. Бугаев. В «Поэме о любви» он пишет:

Ведь нужно сделать  
очень много,  
чтоб воскресить любви росток.  
Ведь это существо живое  
без света мучится в ночах.  
И покажу тебе его я:  
— Гляди-ка,  
он совсем зачах.  
Что натворила, ты, девчонка?..  
...Но, удесятерив беду,  
ты скажешь мне:  
— Иди ты к черту  
с ростком своим!..  
И я пойду.

Подобные «ростки» автор демонстрирует чуть ли не на каждой странице своего сборника, но без основания названного «Улыбка». Но как-то улыбнется поэт, если читатель заявит ему насчет этих «ростков» то же самое, что и любимая девушка.

Не скрою, я пытался найти хоть один похожий «росток» в сборнике В. Баянова — и не нашел. Подыскивая объяснение этому крайне обрадовавшему меня факту, я снова перечитал стихотворение, названное поэтом «Добрая зависть».

Я счастлив: я среди людей,  
Больших затей, больших идей...  
Мне чувствуется в их кругу,  
Что, как они, я все могу...  
И это чувство, может быть,  
Мне помогает верно жить.  
И, не таясь, я на виду  
За ними, сильными, иду.  
За их судьбой, за их мечтой  
Исполнен зависти святой.

Эти стихи, конечно, не образец совершенства. Но если поэт делает подобное признание, значит, он на верном пути к совершенству. Не об этой ли «святой зависти» думал Владимир Ильич Ленин, когда, обращаясь к делегатам III комсомольского съезда, раскрывал перед ними свое понимание Коммуниста, человека коммунистического общества! «Когда обогатишь свою память знанием всех богатств...» Это «когда» наступает все решительнее. И скоро, очень скоро некультурный поэт будет в нашем обществе таким же анахронизмом, как знахарь или баптистский «чудотворец».

Пока еще ни об одном из поэтов, о которых шла речь в этой статье, нельзя сказать в отдельности как о заметном и выдающемся явлении русской поэзии. Поэты только начинают свой путь. Но поэзии в целом, ее стремительному, беспокойному, многоструйному потоку, по-своему отражающему время, имеющему свои тенденции и закономерности движения, они уже принадлежат безраздельно.

Чью лодочку вынесет поток в океан классической вечности,— прогнозирование этого вряд ли является главной заботой текущей критики. Печальная судьба многих таких прогнозов общеизвестна. Но, спокойно приглядываясь к каждому, исследуя общие успехи и общие неудачи молодых, критика вполне может уберечь или хотя бы предостеречь поэзию от увлечения в русло ложных поисков, может помочь убрать мели и нагромождения камней и коряг. Так прямее и вернее станет путь к океану, и чья-нибудь лодочка обязательно в него приплывет.

## СЕЛЬСКАЯ ХРОНИКА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА

М. Алексеев. *Хлеб — имя существительное. Повесть в новеллах.* «Звезда» № 1. 1964.

Всегда на поверхность литературной жизни время от времени всплывала так называемая «модная литература» и, как правило, не задерживаясь надолго, быстро исчезала из памяти читателя. К примеру, не так давно умы некоторой части молодежи взбудоражили произведения «о мальчиках и девочках», «о сердитых молодых людях», но по прошествии сравнительно короткого времени интерес к ним померк. И это понятно: подмечая какие-то проявления современной жизни, они в то же время не давали реального ее ощущения, ее глубинных процессов, ее каждодневных изменений. При всей занимательности произведения эти, за редким исключением, отличались поверхностностью, а авторы их довольствовались ролью резвых регулировщиков, четко рассредоточивающих движение: «направо!» — «налево!»

Но, к счастью, существует и другая — не сенсационная литература. Литература глубокого дыхания, без искусственных «поддуваний», литература, обогащающая читателей знанием жизни, раздумьями о ее явлениях, значительных событиях, литература анализирующая. В ней работает пылкий и глубокий писатель Михаил Алексеев.

Уже первый его роман «Солдаты» привлек внимание читателя. Затем появилась «Дивизионка» — серия новелл об армейских журналистах. Совсем недавно многие с удовольствием прочли многоплановый и вместе с тем очень поэтичный, богатый самобытными характерами роман «Вишневый омут». И вот теперь мы имеем возможность познакомиться с новой повестью Михаила Алексеева «Хлеб — имя существительное».

Произведение с несколько неожиданным названием и построено своеобразно. В своем вступлении писатель сообщает о том, что ему захотелось рассказать «о людях одного села»; он как бы предупреждает нас, что «никакой повести в обычном ее смысле не будет, ибо настоящая повесть предполагает непрерывный сюжет, сквозное действие».

И действительно, «Хлеб — имя существительное» — повесть в новеллах, однако их взаимосвязанность создает органическое художественное целое. По насыщенности действия, глубине и точности характеристик героев эти десять печатных листов, пожалуй, стоят иных тридцати.

Один за другим проходят перед нами жители села Выселки. И мы начинаем ощущать историю, ее развитие в этих различнейших судьбах очень разных людей. Их объединяет, точнее, связывает друг с другом не столько одно местожительство, сколько общность забот и дел, которые им решать и вершить вместе, сколько та история страны, в которой довелось каждому сыграть свою роль.

Не перечислить, а главное, бессмысленно стремиться передать в короткой статье все своеобразие самобытнейших характеров, созданных в этой повести Михаилом Алексеевым. Однако необходимо отметить, что все его многочисленные герои естественно распадаются на два лагеря: тех, кто истинно озабочен судьбами народа, кто не только способен понять, что хлеб и действительно — имя существительное, но еще и знает ему подлинную цену, умеет добывать его для всех; и тех, кто знает его лишь на вкус, кто паразитирует на труде первых.

С большой проникновенностью и любовью пишет Алексеев образы истинных тружеников села, таких, как Кузьма Никифорович Удальцов, по прозвищу Капля, Зуля, уважаемый и любимый своими односельчанами кузнец Аким Акимов, наконец, не утратившая ни своей красоты, ни своей сердечности русская женщина Журавушка, солдатская вдова, на плечи которой, казалось, непосильную ношу возложила война, да и послевоенное время.

Там же, где писатель начинает вести речь о разного рода и различного масштаба стяжателях, приспособленцах, он находит слова, полные гнева и сарказма. Сильно написан Алексеевым образ первого председателя — фронтовика Маркелова, воспользовавшегося доверием односельчан, использовавшего свое положение в личных интересах, в которых не было места интересам колхозников, и понесшего за все свои деяния достойное наказание.

Саркастически относится писатель к современному священнику отцу Леониду с его примитивной философией, но подмечает в нем практическую сметливость, которая позволяет ему и ему подобным в полной мере использовать в своих целях недостатки и просчеты в нашей жизни.

«— Ваша молодежь стала грамотной, — говорил отец Леонид. — Теперь она хочет по уровню своих знаний получить и духовную пищу, и когда вы не даете ее на селе, она, молодежь, ищет такую пищу в городе, потому-то продолжается уход юношей и девиц в город. Процесс этот может быть обратимым лишь при одном условии: молодые люди и на селе должны иметь те же духовные блага, что и в городе».

Многие понимают церковные отцы. Не-

давно в Киеве мне рассказывали о том, как встревожились священнослужители, наблюдая сокращение количества свадеб, справляемых в церкви, как пришли они во дворец бракосочетаний, просидели там целый день, видимо, перенимая опыт по привлечению молодежи...

Интересна особенность этой повести Алексеева: казалось бы, в каждой новелле речь идет об одном или нескольких героях, и действие происходит именно в настоящий момент. Но перелистываем страницу за страницей, и перед нами встает вся нелегкая история современной деревни со всеми ее сложностями и стремлением их преодолеть, с уходом молодежи в город и возвращением ее обратно, с почти полным разором деревни и восстановлением ее в последние годы.

Алексеев хорошо знает деревню, он видит ее в развитии, понимает возникающие трудности, вместе со своими героями ищет пути к их преодолению. Алексеев любит своих героев, верит в них, знает сильные стороны характеров людей, понимающих, что значит хлеб, что такое труд, что такое преданность большому общему делу.

Нет, он создал не только новеллы. Может быть, как раз новеллистическая форма и дала возможность Алексееву сделать повесть очень емкой, с удивительным чувством времени.

Думается, этой книге суждено заслуженно доброе отношение многих и многих читателей, ибо она — настоящая, большая удача писателя.

**Анатолий Софронов**

## «...ОДИНОКИЙ ПУТЬ ПОДОБЕН СМЕРТИ»

*Виль Липатов. Чужой. Повесть. «Новый мир» № 3. 1964.*

Всего несколько месяцев живет в нашей литературе «Чужой» Виля Липатова, а над ним уже скрестились критические шпаги. Яростно бросил перчатку Липатову Владимир Дудинцев — он полон желания защитить технолога Черепнина от его создателя. А. Бочаров, неопределенно пожмая плечами, готов принять точку зрения писателя на его героя, но решительно отказывает в любви Озолиным тем, кого любит автор. И оба критика согласны в одном: в творчестве талантливого автора «Стрежня» и «Глухой мяты» наметился поворот. Правда, А. Бочаров дает совершенно точное измерение повороту — сто восемьдесят градусов, В. Дудинцев более дипломатичен. Он считает, что «В. Липатов где-то проглядел стрелку и, «вписавшись» в обманчивую кривую, движется куда-то в сторону».

Итак, В. Липатов объявил войну мечтательству, обывательщине и в этом нашел единодушную поддержку своих критиков. Однако сам «чужой» — Иван Николаевич Черепнин, по мнению Вл. Дудинцева, «не кажется таким уж отпетым». Более того, «есть много в повести точек — светлых,

достоверных, отправляясь от которых мое воображение вправе строить естественный, гармонический образ Черепнина... В. Липатов, как мне кажется, стихией большого таланта создал одного человека, а затем как бы решил поправить его организованной силой ума, сделать другим. Все отрицательное в Черепнине недостоверно, похоже на ярлыки...» Обвиняя автора в неверном представлении о сущности современной обывательщины («Кресло-качалка. Окрошка»), критик призывает нас блюсти по отношению к липатовскому герою «замечательный демократический принцип — презумпцию невиновности», не развивать в себе инстинкт необдуманного преследования... Виль Липатов — не начинающий писатель. Талантливый, чуткий к «злобе дня», он прекрасно понимает сложность характера современного человека. Поэтому, не стесняясь признаться в своем доверии к Липатову, мы попробуем на материале самой повести разобраться, кто же такой технолог Черепнин, чем он вызвал авторскую неприязнь, попробуем противопоставить «принципу презумпции невиновности» общеизвестное, но так часто забываемое добролюбивское: «Реальная критика относится к произведениям художника точно так же, как к явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их существенную норму, собрать их существенные, характерные черты, но вовсе не суетясь из-за того, что овес — не рожь, и уголь — не алмаз...»

Ивану Николаевичу Черепнину уже за сорок, он работает в отделе главного технолога на заводе, работает там давно и занимается ту часть комнаты, которая считается в отделе самой удобной. Черепнин — опытный инженер, умный, способный. Когда ему слишком настойчиво говорят о способностях молодого рабочего, он не ленится познакомиться с талантливым человеком — так было с Сашей. Ему ничего не стоит, только взглянув на чертеж, над которым мучается незадачливый Вася, стремглав найти решение.

Иногда его посещают неприятные мысли, что жизнь прожита, а он как был рядовым технологом, так и остался им, в то время как его сверстники по институту далеко продвинулись. Объясняет себе это Иван Николаевич тем, что он слабый, неустойчивый человек, у него мало упорства, настойчивости в достижении цели. Черепнин способен оценить талант своего коллеги: увидев работу главного технолога (а было время, когда все ждали, что главным технологом завода назначат его, Черепнина!), Иван Николаевич понимает, что Скрябин — человек большого масштаба, блестящий инженер и удивительно работоспособный человек. Понимает — и почему-то сворачивает в сторону, чтобы не встретиться с этим человеком, ни словом не обмолвиться с ним. А оценив работу Скрябина, Иван Николаевич, полный сил инженер, стремится поскорее увести свою мысль к удобному выводу: «Надо жить средним, обыкновенным человеком. В жизни есть еще небольшие островки радости, и хоть мало

надежды, что небо перед тобой предстанет усыпанным алмазами, на земле есть еще радости, за которые можно цепляться...» Автор постоянно заставляет нас помнить, что у способного, знающего инженера Черепнина и мысли не возникает о творчестве, он просто не позволяет себе слишком увлечься работой. И неслучайно В. Липатов все время противопоставляет своему герою старика Скрябина, у которого из жизни выброшены полные сил семнадцать лет (Скрябин был репрессирован).

Но не только одержимого творчеством Скрябина видит читатель рядом с Иваном Николаевичем. В отделе главного технолога бок о бок с Черепниным трудится Вася, по определению нашего героя, «потешный и странный парень», постоянно нуждающийся в помощи товарищей. И Черепнин, когда у него хорошее настроение, походя помогает Васе — почему не помочь человеку, когда тебе это ничего не стоит, почему не выслушать слова благодарности? Но вот у Черепнина дурное расположение духа, и писатель показывает нам другого Черепнина — не уважаемого, ироничного, в общем-то доброжелательного, а вдруг раздраженного предположением, что даже Вася со своим упорством и фанатичной работоспособностью — упрек ему, преуспевающему и уравновешенному Черепнину: «А может, этот Вася не такой уж глупый, смешной и нелепый человек?..» И Иван Николаевич отказывает в помощи Васе.

Вл. Дудинцев находит «мужественной» «твердую правоту» Черепнина, когда тот заявляет «несчастному Васе», что ему не место в отделе. Очень эффектно, но нам-то далеко не безразлично, из каких побуждений делает Черепнин свое заявление и так ли уж незадачлив Вася, который все-таки «прилично работает» и несказанно счастлив своей надеждой стать настоящим технологом. А Черепнину нет дела ни до Васи, ни до его надежд. Он, спокойный и крепкий, пользуется правом сильного, а сам все поглядывает на главного технолога — ведь это удар и по главному, по его вере в человеческий труд и упорство.

Виль Липатов вовсе не упрощенно понимает современное мещанство. Напротив, его герой вынужден действовать внешне так же, как все нормальные люди, — на то и середина XX века. Вот только умоляет он слезно: требуйте с меня поменьше, я — средний человек, доволен этим, но и требования ко мне предъявляйте средние... И вовсе не качалка с окрошкой, как на этом настаивает в своей статье Вл. Дудинцев, — самое главное для Ивана Николаевича. Самое главное для него — личная независимость, такая жалкая идея индивидуализма, непринужденность, постоянно требующая напоминания о себе свобода, о которой приходится столько думать и так доказывать ее необходимость.

Но вот интересно, от кого и от чего оберегает свою личную свободу Иван Николаевич? Разве начальство — деликатнейший Скрябин — покушается на самостоятельность своего технолога? Нисколько,

А Иван Николаевич ждет упреков и знает — почему: просто работает он вполсилы, вот и приходится частенько закрывать свою чертежную доску от Скрябина. И от своей любимой, ради которой он решил расстаться с веселой холостяцкой жизнью, Иван Николаевич хотел было защищать свою свободу: он заранее обдумал способы этой защиты и даже приготовил своеобразную программу испытаний (нарочно пришел домой в час ночи, не отдал зарплату жене в день полочки, притащил домой ненужную чертежную доску и проработал до ночи, а потом забросил ее в чулан). И все напрасно: оберегать свою свободу оказалось не от кого.

А что же все-таки так защищает Черепнин? Эгоистическое стремление подчиняться только самым непреложным законам общества, в котором живет, желание ограничить свой вклад в общее дело этого общества лишь формальным выполнением своих перед ним обязанностей, право на легкую, не обремененную обязанностями и чувствами жизнь, умение всегда пойти на компромисс, лишь бы об этом никто не узнал. И не случайно Степан Шведов, который в чем, в чем, а в человеческой низости понимает толк, отказывает Черепнину в праве презирать людей. И в разговоре со Степаном сам Черепнин, испуганный, но сумевший соблюсти приличие, удивительно напоминает подленького труса Михаила Шведова, над испугом которого недавно так заразительно сам смеялся.

И небезынтересно еще вспомнить духовного учителя Степана Шведова — Венедикта Венедиктовича Березина, в характере которого нашли свое крайнее выражение жизненные принципы, исповедуемые Черепниным...

Сложный и логически развивающийся характер мещанина и обывателя наших дней создал в своей повести Виль Липатов. Черепнин не случайно назван чужим — его безразличие к окружающим, умение приспособиться к ним, его бесстрастность, боязнь любви и ненависти, холодное изучение того, что нужно ненавидеть, постоянная возможность пойти с собой на компромисс и где-то спрятанная способность подспудного предательства — это и есть доказательства обвинения, которые ищет и не находит в повести Вл. Дудинцев. И думается, что Виль Липатов вовсе не впился в какую-то кривую» и не движется в сторону, когда разоблачает таких Черепниных, как никуда не сворачивала Вера Панова, рисуя характер Супругова — попутчика среди спутников...

Виль Липатов показал нам обывателя, задумавшегося над тем, как жалок и одинок человек, не знающий, во что он верит, что защищает. И вполне закономерно, что повесть «Чужой» написана автором «Стрежня» и «Глухой мяты»: кому же видеть всю пошлость обывательщины, как не Липатову, герои которого самой сутью своей противостоят Черепниным...

Мы сознательно проследили характер Черепнина, нигде не обращаясь к оценке



книжную яркость, этот рисованный солнечный свет, от которого не бывает ожогов и ударов. Здесь стихи Н. Матвеевой теряют свою конкретность и появляются бравые «братья капитаны», «веселый боцман» и «суровый юнга», «широко расставленные звезды ночи южной», колибри, жемчуга и прочие атрибуты традиционной экзотики.

Но вообще в «Кораблике» есть немало отличных стихотворений настроения, ибо Н. Матвеева чутко схватывает связи, которые устанавливаются созерцанием. А вот отношения, которые нельзя ощутить, но нужно найти логически, она улавливает труднее, и в таких случаях, как правило, сбивается на прямолинейность, лобовые сопоставления.

Возьмем, к примеру, характерное для нее стихотворение «Сон». Близится конец света, мещане, сбросив сковывавшие их условности, торопятся жить.

**«Жить! — он кричал. — Скорей, скорей,  
скорей!  
Жить! Доживать! Дохрустывать селедку!»  
А в желтых лужах высохших морей  
Приятели дохлестывали водку...**

Но продолжают свои обычные работы люди-творцы, и один из них в «предсмертную минуту» нашел: «Не будет взрыва! Атомы за нас! Да будет жизнь!»

Мы вчитываемся в стихотворение внимательней и с удивлением обнаруживаем, что в эти последние часы творцы ведут себя очень буднично, так, будто конца не предвидится, будто они ничего не знают о нем.

**Художник  
На последний свой мазок  
Поглядывал с критическим прищуром  
И шел поэт, спокойный, как ковчег,  
Над всплесками библейского потока.**

С другой стороны, у мещан в «Сне» совсем не видно следов тех масок, которые они носили до сих пор, кажется, раньше мещане и не были другими.

Картина, как люди по-разному «менялись перед смертью», — не получилась. Вышло просто — «разные люди». Почему они уживаются в мире? Почему подлецы прикрывались масками? Почему творцы не видят безобразия вокруг? Поэтесса, по-видимому, и не задавалась такими естественными здесь вопросами. Стихотворение «Сон» как бы рвется надвое, а в разрыв уходит из него мысль...

Прочтите стихи о попугае в клетке, «шкафами задвинутой».

**Чудак с потускневшими перьями  
Чудит, а под веками грусть...**

От южного неба, от леса, от свободы птицу увезли, заперев в клетку. Позабавились, стало скучно — задвинули пыльную птичью тюрьму шкафами. А попугай чудит по инерции, от таких чудачеств болью сжимается сердце. И мысль невольно обращается к истребленному племени, прекрасный язык которого попугай «знает почти наизусть», как не совсем удачно выражается автор. О чем говорили на своем загадочном языке эти люди? Почему племя погибло?

В стихотворении начинают звучать трагические ноты, но поэтесса незаметно сводит их на нет, подменяя тему. Ее больше увлекает антитеза: попугай знает язык, а никто другой не знает, ученые тщетно ищут умершее слово, а на птицу не догадались обратить внимание. Из такого интригующего сопоставления не выжмешь значительной мысли...

В старину критики имели обычай характеризовать поэзию, описывая музу автора. Это старомодный, конечно, но, право, не такой уж плохой прием. Муза Н. Матвеевой мне представляется нежной, мечтательной, искренней и простой девушкой. Она любит бродить по полям и лугам, чутко вбирая в себя краски и звуки, она любит читать книжки о дальних странах, о море. Но она еще неохотно размышляет...

**А. Обертынский**

## КНИГА О СЕНТ-ЭКСЕ

*Марсель Мижо Сент-Экзюпери. «Молодая гвардия». М. 1963 463 стр. Цена 87 коп.*

На первой странице эпиграф: «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». И имя писателя, сказавшего эти слова, — Антуан де Сент-Экзюпери.

Приставка «де» говорит о родовитости. Сент-Экзюпери был графом. Но еще он был летчиком. И еще — человеком, который не уступал ни писателю, ни летчику. Ибо если бы он не был им, он никогда бы не написал своих книг, и не поднялся бы в воздух, и не стал тем, о ком люди во всех странах нежно говорят: Сент-Экс.

До сих пор мы знали книги самого Экзюпери. Один за одним появлялись романы «Земля людей», «Ночной полет», сказка «Маленький принц», повесть «Южный почтовый». Мы читали и «Военного летчика», и «Письмо к заложнику» — и все это был сам Экзюпери, зашифрованный, преображенный в лица других людей, застенчиво заслонивший себя ими.

Теперь вышла книга, где с героя снят псевдоним. Он выступает здесь под своим собственным именем. Это книга — об Экзюпери. Книга написана другом. Марсель Мижо цитирует письма, отрывки из дневников, неопубликованные страницы Сент-Экса говорит здесь сам. Его жизнь — и действие и комментарий.

Человек начинает с попыток осознать свое место в мире. Он ищет духовные ответы на духовные вопросы. Но ни книги, ни философия, ни общежитейская мораль не могут подсказать их. Тогда он обращается к практике.

Антуан де Сент-Экзюпери становится лейтенантом 34-го авиационного полка в Бурже. Гуманитарной карьере и Парижу он предпочитает треск моторов и грубые шутки летчиков.

Париж отталкивает его. Он отталкивает его, как и девушка, которой он отдал свое первое чувство. Она аристократка и не хочет расстаться с тем, к чему привыкла с детства. Карьера летчика — не карьера ее мужа: Она выбирает уют обставленных комнат.

Этого уюта никогда не будет в жизни Экзюпери. В письме другу он объяснит свой уход от людей, гордящихся приставкой «де»: «Первое качество, необходимое для понимания, — это бескорыстие, забвение себя. Светская же публика «получает удовольствие» от науки, искусства и философии... Люди света говорят: «Мы перекинулись идеями», — мне они противны.

Я же люблю людей, крепко связанных с жизнью, с необходимостью есть, кормить своих детей и дотянуть до следующей зарплаты...»

С ними и братается бывший граф Сент-Экзюпери.

Он становится пилотом «Линии», связывающей континенты. Самолеты летят из Европы в Африку. Они несут на борту почту — самый мирный и желанный груз. Письма связывают людей, самолет за несколько часов переносится из одной страны в другую. Он тклет нить дружбы, протягивающуюся через границы.

— А как же литература? — спрашивает его друг, зная о писательских мечтах Экзюпери.

— Прежде чем писать, нужно жить, — отвечает он.

Практический ответ найден — он держит в руках штурвал самолета. Сверху ему открывается вся земля. Он поднимается над ней и чувствует, как она притягивает его. С высоты она кажется абстрактно-обобщенной. Но это его земля. Он знает каждую ее складку, каждый изгиб материка, он слышит дыхание людей, живущих на ней. Он работает ради нее, его полеты — служба земле, а не небу.

Летчик, налаживающий человеческие связи, он с болью вспоминает о разрушении их на земле. Всю неустроенность земных отношений он берет с собой в небо. Он размышляет над тем, как можно поправить их. И рождаются духовные ответы Сент-Экзюпери. Рождаются его книги.

Они насыщены действием. Добро, не отданное другому, — говорит в них Сент-Экс, — не есть добро. Не может быть добра в самом себе. Есть только добро для людей. Иначе оно бесчеловечно.

На земле он подтверждает слова своих книг.

Его назначают начальником аэродрома в Кап-Джуби. Это крошечный порт на краю пустыни. Он живет там один, окруженный невысоким забором и племенами арабов, блуждающих по пескам.

К их сердцу находит дорогу Экзюпери.

Он спасает товарищей, потерпевших аварию в пустыне, сидит в юртах кочевников, «приручая» их разговорами. Матери он пишет: «За последнее время мы тут проделали замечательные вещи: разыскивали потерявшихся товарищей, выручали само-

леты... Я никогда так часто не приземлялся и не проводил ночи в Сахаре и никогда так часто не слышал, как свистят пули.

Я все же надеюсь вернуться, но один товарищ мой в плену, а мой долг остаться, пока он в опасности. Быть может, я еще на что-то пригожусь».

Письма к матери проделывают путь из пустыни во Францию. В одном он сообщает, что ему с товарищами удалось выкупить раба. В другом он весело пишет о перестрелке, в которую ему пришлось попасть. В третьей намекает о книге, начатой им.

Эта книга — «Южный почтовый». Она расскажет о летчике, который, преодолевая пространство, преодолевает себя. Она расскажет об опасности и риске, и любви, ради которой можно все выдерживать. О сигнальных огнях любви. По этим огням он находит место посадки.

Самыми преданными его друзьями до конца дней станвятся летчики. С ними он живет, с ними летает, им посвящает свои книги. Он будет волноваться и переживать, когда писательство вдруг оторвет его от них. И он снова почувствует себя сильным, когда вернется к ним.

Вся жизнь Экзюпери делится между действием и запечатлением действия. И стоит ему выпасть из этого ритма превращения, как он ощущает пустоту.

Механизированное общество, которое предлагает ему свои услуги, отталкивает его. Он видит, как исчезает духовность. «Ужас материального порядка» подавляет все остальные. Людям некогда думать, как прожить. Они заняты тем, на что прожить.

Экзюпери ищет исчезающую духовность по всему свету — в небе и на земле, в схватках со стихиями и в схватках с фашизмом. Он чувствует этого врага еще на расстоянии: «В нацизме я ненавижу тоталитаризм, который является самой его сущностью. Рабочих Рура заставляют маршировать перед картинами Ван-Гога, Сезанна и хромолитографией. Естественно, они высказываются за хромолитографию. Тогда накрепко запирают в концлагеря всех кандидатов в Сезанна и Ван-Гоги, всех великих антиконформистов — и кормят покорное быдло хромолитографиями».

Перед событиями в Испании Экзюпери приезжает в СССР. Он честно хочет понять опыт этой страны, на которую надеется. «По собственным ошибкам» признается он, — я сужу, как настойчиво у нас пытаются исказить русский опыт. Нет, эту страну надо искать в другом. Лишь через другое можно понять, как глубоко ее почва взрыта революцией».

Он оценит этот опыт потом, когда начнется война и когда русские летчики и он будут драться на одной стороне.

Война снова призовет его к действию.

Но ему не дадут действовать. Он будет проситься летать, а ему скажут, оставайтесь на земле.

Руководители французских частей в Африке выразят недоверие писателю. Люди, у которых честолюбие преобладает над пат-

риотизмом, испугаются его славы и его честности.

В минуты этой тяжелой для него паузы он осмысливает войну. Он понимает связь между тем, что возмущало его несколько лет назад, и тем, что случилось. То, против чего он восставал, и привело к фашизму. Фашизм вырос на стандартизации, на духовном подчинении, на несложности морального комплекса. Мало победить его пушками, танками и самолетами. Надо убить всякую возможность его восстановления.

Сент-Экзюпери пишет сказку «Маленький принц». Это сказка о человеке, пришедшем на землю с другой планеты. Он мал, он еще дитя, но то, что он видит и понимает, не могут понять взрослые. Потому что принц — это мечта, это сошедшая в сегодняшний мир надежда Экзюпери.

Принц — дитя, и как дитя он верит, что люди рождены для добра. Он видит вещи такими, какими их не могут видеть взрослые. И он переживает этот разрыв между тем, что видит он и видят они. Он уходит, растворяется, исчезает, почувствовав свое одиночество.

Сказка печальна. Она написана в тяжелый момент. Человек, которому Сент-Экс посвятил ее, был в то время в оккупированной Франции. Войне не видно было конца.

Мог ли Маленький принц выращивать розы на земле, где стоял Освенцим? Он должен был сесть за штурвал самолета. Он должен был стать солдатом.

Но он не знал, что такое война. Он не понимал смысл слов «враг», «мщение», «смерть». Он пришел в этот мир слишком рано и должен был уйти.

Его автор за него сделал то, что не смог сделать он.

На столы военных ведомств ложатся бумаги с предложениями летчика Сент-Экзюпери. Это чертежи и проекты усовершенствования боевых самолетов. Сочинитель сказок становится изобретателем.

Экзюпери снова летает. Он — разведчик, он снимает на пленку берег родной Франции, где стоят теперь зенитки Гитлера. И ему мало летать. Он хочет драться.

Проходит слух, что одну из частей должны послать в подкрепление полку «Нормандия — Неман», воюющему в СССР. Экзюпери просится туда. Его обещают взять.

Но посылка группы отложена. Он — снова разведчик.

В перерывах между полетами его видят среди летчиков. Он такой же, как они. С ними ему легче.

Когда Антуан надевает комбинезон, товарищи ему помогают: один он не может справиться, болят старые раны. Он мог бы не летать. Врачи и друзья его отговаривали: ты должен писать, твое место за письменным столом. Но он отвечал им, как и прежде: если я не участвую, я не существую.

У него никогда не было постоянного писательского стола, облюбованного рабочего места. Он писал на столике аэропорта в Кап-Джуби, в гостиницах Нью-Йорка и

Буэнос-Айреса, на походной койке в казарме, подложив под бумагу блокнот. Ему присуждали литературные премии, по его книгам снимались фильмы, именитые классики жаждали с ним знакомства, а он оставался все тем же странником, путешественником, человеком действия, а потом — слова.

Под походной кроватью в комнате, где он живет, стоит маленький чемоданчик. В нем лежат рукописи Экзюпери. Одна из них начата им давно. Это главная его книга — «Цитадель», о которой он говорит друзьям: все, что я написал, по сравнению с этим — проба пера.

О чем эта книга?

Экзюпери хочет рассказать в ней, что он выстрадал, что мучает его, когда он думает о настоящем и будущем. Это попытка создать мир таким, каким он его понимает. «Есть лишь одна проблема, — пишет он, — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы... Прошрое не переделать, но настоящее лежит в беспорядке, как материал у ног строителя, и вам надлежит выковать будущее».

«Вы» — это те, кто придет после него. Кто сделает все, чтоб мир больше не враждовал, чтоб война, которую он сейчас ведет, стала последней.

Он пишет свою книгу ночами, слыша, как вылетают на задание самолеты. Это последние их полеты. Сент-Экзюпери ничего не знает. Через несколько дней предполагается высадка во Франции. Идет 1944 год.

31 июля «Лайтнинг» майора Сент-Экзюпери отрывается от дорожки аэродрома. В книге Марселя Мижо есть фотография: Сент-Экс в кабине самолета. Самолет уже движется. Видны мерцающие круги работающих винтов. Сент-Экс еще не надвинул на глаза летных очков. Товарищи машут ему с поля: счастливого пути — и никто не знает, что он не вернется.

Сент-Экс не вернулся.

До сих пор неизвестны подробности его гибели. Принял ли он бой или вражеские зенитки подследили самолет и сбили его. Море и небо хранят последнюю тайну Сент-Экса.

Он ушел из жизни, как Маленький принц, — ушел, как живой, никого не сделав свидетелем своего ухода. Никто не видел мертвого Сент-Экзюпери, как никто не видел мертвым героя его сказки. И можно поверить ощущению тех людей, которые не верили и сейчас не верят в его гибель. «Нет, он не мог выкинуть такую штуку», — сказал Леон Верт, его лучший друг, которому посвящен «Маленький принц».

Сказать, что Сент-Экзюпери жив в том, что он написал, — значит не сказать ничего. Он жив как личность, как человек, как наше собственное желание быть лучшим.

Вы почувствуете это, прочитав книгу Мижо.

*Игорь Золотусский*

## ВОЗМОЖНОСТИ РОМАНА

*Н. Маслин. Роман Шолохова. М. Изд. Академии наук СССР. 1963. 255 стр. Цена 86 коп*

Споры о романе... Пессимистические прогнозы относительно его перспектив. Вера в безграничные возможности жанра... В сущности, все это — не от теоретико-литературных парадоксов. Взаимоисключающие суждения идут от художественного опыта современных романистов, понятого верно, односторонне или совсем неправильно.

Европейский симпозиум по роману, состоявшийся в прошлом году в Ленинграде, выявил правоту оптимистических концепций. Это, конечно, не случайно. Не только достижения и традиции классики, но прежде всего успехи реалистической прозы последних десятилетий служили поддержкой защитникам романа. А в этой прозе бесспорна гегемония социалистического романа. Устами Шолохова, Леонова и других советских писателей, выступавших на симпозиуме, говорило социалистическое искусство.

Нет пределов познанию человеческой личности, поскольку бесконечно ее развитие. И разве уже исчерпаны возможности той формы художественного познания человека, которая до сих пор лучше всего выполняла эту великую задачу? Шолоховский роман свидетельствует: не исчерпаны.

Каждая новая серьезная работа о творчестве Шолохова (к их числу относится и рецензируемая книга) раскрывает перед нами такие глубины романа, которые свидетельствуют отнюдь не о вырождении этого жанра, как думают некоторые западноевропейские писатели и ученые, а о его интенсивном совершенствовании.

Тот тип романа, создателем которого явился Шолохов, оказался исторически закономерным и необходимым: человек двадцатого века нуждался в скрупулезном художественном исследовании.

Смысл и достоинство книги Н. Маслина, мне кажется, и состоят в том, что она выявляет эту историческую целесообразность и значимость художественной практики Шолохова-романиста.

Тезисы книги и полемичны и одновременно конструктивны. И в том и в другом случае многолетний опыт изучения творчества Шолохова помог автору быть основательным.

Самое интересное в книге — о «Тихом Доне», о Григории Мелехове. Сложным было единство героического и трагического, порожденное войной и революцией в России. Решив воссоздать его, Шолохов должен был найти такую романическую форму, в которой бы органично сочетались эти начала. Н. Маслину удается вскрыть у Шолохова связь исторического материала и избранной для его воплощения жанровой формы.

Особенно глубоко рассмотрено исследователем трагическое в «Тихом Доне». Критика давно спорит о природе трагической

судьбы Григория Мелехова: то ли это «историческое заблуждение», то ли «отщепенство». Н. Маслин отказывается от подобных представлений. Он понимает: трагическая судьба героя находится в зависимости от борьбы масс, он понимает, что, став отщепенцем, Григорий Мелехов не перестает быть заблуждающимся человеком. Человеческую трагедию, полагает автор, надо рассматривать всесторонне.

Этот принцип рассмотрения героя «со всех сторон» и во внутренних связях его истории с судьбой народа помогает Н. Маслину верно осмыслить и многие особенности композиции образа, без чего было бы трудно понять своеобразие шолоховского романа. В одной из частей романа Шолохов, как известно, надолго «выключил» своего главного героя из сюжетного действия. Необычность такого композиционного приема может при поверхностном взгляде вызвать недоумение и даже, как пишет автор, упреки писателю в неумении сюжетно организовать материал. На самом же деле такое «выключение» художественно оправдано. В этой части Шолохов детально воссоздает революционную ломку сознания народных масс. А не уяснив всех сложных процессов в сознании народа, нельзя, утверждает исследователь, понять мучительные и противоречивые поиски Григория ответа на вопрос: «куда прислониться?», поиски «большой человеческой правды».

Так же точен анализ «Поднятой целины», которую Н. Маслин справедливо рассматривает как своего рода эпилог «Тихого Дона». Как и в «Тихом Доне», здесь нет ни одного серьезного конфликта, ни крупного события в жизни отдельного человека, которые бы не находились в связи с народной жизнью, с историей. Этим и объясняет исследователь саму композицию произведения, в частности, большую роль массовых сцен в романе.

Наибольший интерес вызывает анализ финального эпизода «Поднятой целины». Автор монографии очень убедительно показывает, что в финальных эпизодах нет нарушения художественной логики романа, логики характеров. Наблюдения и аргументация исследователя убеждают. В сущности, все дело в рассмотрении героя «со всех сторон».

Есть ли в книге Н. Маслина упущения и неточности? Есть. Если возможно условное деление книги на два плана: — полемический и конструктивный, — то надо заметить, что просчеты имеются в этих обоих планах. В первом — иной раз наблюдается отступление от строгого анализа и обстоятельной аргументации, во второй — нечеткость теоретико-литературных понятий.

В целом же исследование Н. Маслина углубляет наши представления о Шолохове-романисте и лишней раз убеждает в справедливости оптимистических суждений о возможностях романа, о силе реалистического искусства.

*П. Николаев*

В прошлом году журнал «Москва» посвятил целый номер коллективу трижды орденоносного автозавода имени И. А. Лихачева. Это был рассказ о больших буднях передового предприятия столицы, рассказ о гвардейцах труда.

Что же изменилось за год? Рассказать обо всех новшествах невозможно. Ведь придется перечислять десятки автоматических линий, сотни совершенных станков, вести рассказ о тысячах рабочих, инженерах и техниках, которым присвоено звание ударников коммунистического труда.

Нынешний год — год юбилейный.

В феврале был собран миллионный холодильник. Сейчас заводские конструкторы разрабатывают новые образцы. С. М. Камишкирцев, главный конструктор по домашним холодильникам, рассказал, что в конце года начнется выпуск модернизированного холодильника «КХ-2-240», более экономичного и изящного.

В марте праздновали юбилей сборки первого

и второго главных конвейеров: выпуск трехосных автомобилей и «ЗИЛов» достиг круглой, весьма внушительной цифры.

Среди лауреатов Ленинской премии этого года названо имя воспитанника заводского коллектива, талантливый инженер, главного технолога завода Семена Митрофановича Степашкина. Это признание заслуг не только С. М. Степашкина, но и всего многотысячного коллектива.

В мае лучшие люди завода собрались на большое торжество во Дворце спорта в Лужниках. Автозаводу имени Лихачева присуждено по итогам первого квартала переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Преодолены трудности реконструкции, завершена подготовка производства нового грузовика, а текущая программа не отстала. Победа была завоевана упорным трудом.

1964 год знаменателен для всех работников советского автомобилестроения. Сорок лет назад — 7 ноября 1924 года — по Красной площади прошли первые

десять полуторатонных грузовиков «АМО-Ф-15». Это был день рождения новой отрасли социалистической индустрии. Большой путь прошел столичный автозавод за это время. Сменилось много моделей автомобилей, и каждая новая была ступенькой технической зрелости и мастерства.

К 40-летию советского автостроения московские автозаводцы готовят замечательный подарок. Скоро вступит в строй третий по счету главный конвейер. С него в октябре пойдет массовым потоком пойдут новые грузовики «ЗИЛ-130». Славная, большая победа всего коллектива тружеников!

На очереди новый трехосный автомобиль высокой проходимости «ЗИЛ-133». Это будет мощный восьмитонный самосвал, которому не страшны бездорожье, снег, болота, пески.

Широко шагает столичный автогигант. Тысячи новых автомобилей в год — вот размах этих саженых шагов завода.

**В. Апатов  
Н. Ушатиков**

## В ДАР НАРОДУ

Музей-квартира Евдокии Федоровны Никитиной не так давно стала филиалом Государственного литературного музея. Е. Ф. Никитина передала все свои литературные сокровища в фонд государства, и ее назначили пожизненно на должность директора-хранителя музея.

Когдаходишь в эту небольшую квартиру в Вспольном переулке Москвы и попадаешь в зал, где хранятся уникальные произведения литературы и искусства, тебя охватывает чувство благодарности этой скромной пожилой женщине, сумевшей собрать и сохранить для поколений неоценимые сокровища.

Здесь и подлинный акварельный рисунок Лермон-

това, и часы Пушкина из имения его жены Наталии Гончаровой, и первые посмертные гипсовые маски Маяковского и Есенина, автографы и фотографии знаменитых русских писателей, художников и композиторов.

Особенно интересны в музее уникальные книги, и среди них произведения, «казненные царем», — книги, которые по указанию царской цензуры были сожжены. Случайно оставшиеся экземпляры попали в руки Никитиной и сохранены ею.

В собрании Никитиной есть вышедший в 1900 году том «Мертвых душ» Гоголя. Его иллюстрировали тридцать лучших художников России. Был отпечатан лишь один экземпляр, предназначенный в подарок Нико-

лаю II. Эта книга впоследствии сослужила большую службу Московскому Художественному театру. И. М. Москвин попросил Е. Ф. Никитину дать ему на два месяца редкостный том. По рисункам, помещенным в книге, были созданы типы главных героев бессмертной комедии Гоголя.

Томик стихов с названием «Мы» подарил Никитиной известный поэт-футурист Василий Каменский. Страницы этой книги сделаны из тонкого железа. На них наклеены портреты автора, его автобиография, первая глава которой называется «Вася в солнцерадостном детстве».

10 декабря 1920 года А. В. Луначарский подарил Никитиной изящное издание

драматической сказки «Василиса Премудрая» в переплете из серого шелка и парчи. «Дорогой Евдокии Федоровне Никитиной от автора с чувством глубокого удовлетворения по поводу того, что вещь эта ей понравилась», — написал Анатолий Васильевич на книжечке.

Трудно перечислить все уникальные книги, хранящиеся в этом музее.

Евдокия Федоровна встречалась с известнейшими писателями, художниками, композиторами, артистами и другими выдающимися деятелями культуры. Сейчас она готовит к печати сборник воспоминаний об этих своих встречах.

На одной из стен квартиры висит большая картина К. Ф. Юона. Художник изобразил один из «никитинских субботников». На картине мы видим Луначарского, писателя Леонида Леонова и Всеволода Иванова, поэтессу Веру Инбер, литературоведа Гроссмана, художников Кукрыниксов — Куприянова, Крылова и Соколова — и многих других. В центре — Е. Ф. Никитина, открывающая этот «субботник».

Евдокия Федоровна рассказала, как возникли литературные субботы. В 1914 году она окончила Московский университет и была оставлена на кафедре литературы, как тогда говорили, «для подготовки профессорского звания». Ее научные руководители — профессора М. Н. Розанов, П. Н. Сакулин и А. Н. Веселовский — объединили во-

круг себя юношей и девушек, жадно любящих литературу и решивших посвятить ей всю свою жизнь. В одну из суббот учителя и ученики собрались у Никитиной. Вечер прошел очень интересно, было решено регулярно проводить у Евдокии Федоровны литературные собрания. Она же первая предложила приглашать на доклады «живых» писателей, чье творчество обсуждалось молодежью.

Слава о «субботниках» разошлась по Москве. Сюда стали приходиться не только писатели. Однажды Никитиной позвонил ее земляк-ростовчанин композитор М. Ф. Гнесин. Он пришел на вечер с писателем Чириковым и исполнил «Еврейские мелодии». Бывал у Никитиной и многие другие.

Василий Иванович Качалов читал здесь свои стихи. Выдающиеся тещи и актеры — Всеволод Аксенов, Гоголева, Блюменталь-Тамарина, Яблочкина, Москвин — не только читали на «никитинских субботниках» произведения писателей и поэтов, но и создавали инсценировки. Знаменитая балерина Гельцер вместе с Москвиным однажды исполнила шуточную русскую плясовую, причем Гельцер плясала в изящных лаковых сапожках, изображая мужчину, а Москвин, повязав голову платочком и лукаво улыбаясь, плясал за девушку. Художники К. Юон, П. Радимов, Е. Лансере, Кукрыниксы делали зарисовки — портреты участников встреч. Больше двухсот не-

опубликованных рисунков художников Кукрыниксов хранится в музее.

Было решено, что все оригиналы рукописей, читавшихся на «субботниках», остаются в хранилищах Е. Ф. Никитиной, а автору выдаются два экземпляра, отпечатанные на машинке. Так создавались «досье» многих писателей и поэтов. В «досье» и по сей день вкладываются вырезки из газет, письма, рисунки, даже почтовые марки с изображением автора.

Сейчас в музее около 160 тысяч папок с хранящимися в них литературно-художественными материалами и множество произведений искусства скульптуры и живописи.

В 1921 году при литературном объединении было организовано кооперативное издательство «Никитинские субботники», выпускавшее произведения писателей — участников объединения. Издавались отдельные книги и собрания сочинений.

К 1933 году общее число участвовавших в «субботниках» составляло внушительную цифру — 178 человек.

Литературные «субботники», в которых принимает участие писательская молодежь, проводятся и в наши дни, и по-прежнему приходящих в дом в Вспольном переулке встречает приветливая Евдокия Федоровна, создательница бесценного культурного богатства, которое она отдала в дар народу.

**Надежда Вентова**

## ТРИ КОЛОСА ВМЕСТО ОДНОГО

Если бы нам с вами удалось на хрупких аналитических весах взвесить железнодорожный эшелон с суперфосфатом — скажем, сто вагонов, — мы легко убедились бы, что целых восемьдесят два вагона — это пустой груз, балласт — то, что бесполезно для растений.

К тому же в суперфосфате имеется лишь один питательный элемент — фосфор, а питание сельскохо-

зяйственных культур держится на трех «китах»: азоте, фосфоре и калии.

Поэтому, как известно, земледельцам в напряженный период посевных работ часто приходится простые удобрения перед внесением в почву смешивать. Все это хлопотно и трудоемко. Например, в 1970 году пришлось бы «перелопачивать» многие десятки миллионов тонн! На это потребовалось

бы 300 миллионов человеко-часов!

Вот почему ученые давно уже стремились получить концентрированные и комплексные минеральные удобрения, то есть удобрения, содержащие нужные элементы в минимум балласта.

И вот мы в лаборатории фосфорных удобрений Московского института по удобрениям. Перед нами — небольшая прозрачная ба-

ночка с крышкой. На дне ее сероватый мелкокристаллический порошок. Начальник лаборатории С. К. Воскресенский скромно называет его одной из новинок сельскохозяйственной химии. На самом деле это принципиально новый вид минерального питания растений, высокоценный эликсир плодородия.

Трудно назвать главное преимущество нового удобрения. Преимуществ много, и все они кажутся главными. Ну, во-первых, теперь уже питательных веществ 70—80 процентов! Во-вторых — комплексное удобрение выпускается в гранулах,

что придает ему хорошие физические свойства и позволяет полностью механизировать их внесение в почву вместе с семенами.

Как показали опыты, на основе этого вещества можно создавать препараты комбинированного действия.

В-третьих — универсальное концентрированное удобрение по своей эффективности не только не уступает смеси простых удобрений, но и превосходит их: оно дает прибавку урожая, повышает содержание витаминов и ценных аминокислот в томатах и моркови, крахмала — в клубнях картофеля,

сахара — в корнях свеклы, улучшает вкусовые качества многих культур, повышает их устойчивость к засухе и другим неблагоприятным условиям погоды.

По подсчетам академика С. И. Вольфовича только экономия от перевозки концентрированных удобрений к 1965 году выразится в нескольких миллиардах тоннокилометров для железнодорожного транспорта. Годовая экономия от применения их в сельском хозяйстве составит многие миллионы рублей.

**Герман Малиничев**

## КОЖАНАЯ КУРТКА

«Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, ставшая классическим произведением советского театра, поначалу была принята более чем сдержанно. Ее называли несценичной, антиреалистической и даже формалистической.

Но основатель Камерного театра Александр Яковлевич Таиров услышал в этой пьесе эхо великих лет, ощутил неумирающую романтику гражданской войны, воспринял трагический пафос пьесы как торжество мужества и стойкости человеческого духа.

А. Я. Таиров писал: «Для меня как руководителя Камерного театра, театра прежде всего героико-романтического, встреча с драматургом Вишневским явилась одним из самых счастливых и плодотворных событий сценической жизни. Оптимистическая трагедия торжествующе утверждает жизнь, побеждающую все, даже саму смерть!»

Камерный театр приступил к репетициям пьесы в 1933 году — драматург написал ее специально для этого театра.

Шла напряженная работа, но желанной легкости исполнения, монументальности всех частей спектакля

не удавалось достигнуть. Таиров подолгу беседовал с Вишневским, они на ходу меняли целые куски в пьесе, так что получилось несколько вариантов «Оптимистической трагедии».

Народная артистка РСФСР Алиса Коонен, первая исполнительница роли Комиссара в трагедии Вишневского, рассказывает:

«Постепенно Таиров и Вишневский пришли к общему пониманию пьесы. Помню, они допоздна сидели в кабинете Александра Яковлевича, а однажды провели бессонную ночь — вместе работали над третьим актом пьесы. Я только успевала приносить им черный кофе».

Александр Таиров и Алиса Коонен стремились создать спектакль, достойный той эпохи, о которой он повествовал. Каждая мелочь, каждая деталь были учтены, все было взвешено и продумано.

На репетициях постоянно присутствовали моряки Балтийского флота. Они знакомили актеров с походкой и морской выправкой, и вообще их присутствие создавало полную иллюзию самой жизни, а не театрального представления. Эти ребята в тельняшках с боевых кораблей

Балтфлота были первыми консультантами и зрителями «Оптимистической трагедии».

«Помню, — вспоминает Коонен, — моряки остались довольны нашей работой, и только один из них все покачивал головой. Однажды он исчез и потом появился так же неожиданно, держа в руках какой-то сверток. Подбежал радостный, говорит: «Берите, это куртка настоящей комиссарши, я сам ее знал, всю гражданскую в ней протопала...»

Я надела куртку, посмотрела в зеркало и поняла: именно ее не хватало мне для завершения образа. Столько курток я перемерила, но лучше этой, настоящей, прошедшей сквозь шквал гражданской войны, быть не могло.

В роли Комиссара я всегда выходила на сцену в этой куртке. Она стала как бы моим «талисманом», символом той великой эпохи, которую мы стремились показать.

С тех пор прошло немало лет, но я по-прежнему храню как самую дорогую реликвию, напоминающую мне об «Оптимистической трагедии», настоящую куртку женщины комиссара».

**Евгений Лидин  
Сергей Разгонов**

## КОСМИЧЕСКИЕ УЛЫБКИ

*Человеку, идущему на большое трудное дело, заранее знающему, что при этом ему придется преодолеть много испытаний, как никому другому свойственно чувство юмора. Наши летчики-космонавты, прокладывающие звездные трассы, любят острое меткое слово, веселую шутку.*

*Писателю Геннадию Семенихину, автору публиковавшихся в нашем журнале романа «Над Москвою небо чистое» и повести «Пани Ирена», довелось побывать с нашими космонавтами в некоторых зарубежных поездках, видеть их в часы занятий, тренировок и на досуге.*

*УС попросил писателя раскрыть свою записную книжку. Вот некоторые из его записей.*

### САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР



Юрий Алексеевич Гагарин в большой дружественной стране беседует с иностранными журналистами. Представитель одной из заокеанских газет спрашивает:

— Мы согласны, что по своим удобствам и надежности ваши космические корабли лучше американских капсул. Может, вы назовете мне имена некоторых конструкторов, принимавших участие в создании этих кораблей.

— Так их же очень много, конструкторов,— уклоняется от прямого ответа советский космонавт,— все фамилии не упомнишь.

Журналист не унимался.

— Может, вы назовете хотя бы одного?

Все ждут ответа. Юрий Алексеевич от души улыбается:

— Хорошо,— говорит он с хитровой покорностью,— я вам назову имя, отчество и фамилию самого главного нашего конструктора.

Авторучка замирает в цепких пальцах журналиста:

— Да, да, я слушаю.

— Это Никита Сергеевич Хрущев,— громко произносит Гагарин под горячие аплодисменты и одобрительный смех.

### ЦВЕТЫ ЖИВЫЕ

«Царица» молодежного бала подарила Юрию Гагарину огромный букет. Стоит на сцене «Космонавт-один» и держит его в руках. Все ждут, что скажет космонавт, какие слова найдет, чтобы поблагодарить за подарок.

— Чудесный букет! — негромко начал Гагарин. — В нем много очаровательных цветов. Но они имеют еще одно качество. Если отделить от букета несколько цветков, можно убедиться, что они прекрасны и не похожи один на другой. Совсем как девушки, присутствующие на этом балу...



## КОЛЮЧКИ

В южных морях водится морской еж. Свернется он в маленький комочек в расщелине какого-нибудь обточенного водой камня, наступишь на него ногой — в кожу впиваются колючки. Их надо немедленно вытаскивать.

Не избежал этого и Герман Степанович Титов. Искушавшись как-то в теплом ласковом море, он стал с помощью иглы извлекать из пятки ежьиные колючки. По берегу шли в это время журналисты из одной западноевропейской газеты. Остановились. Обвешанный фотоаппаратами и кинокамерами блондин безошибочно определил:

— Вы — Герман Степанович Титов.

Космонавт так же безошибочно уловил акцент. Порывисто вскинул голову и,



прищурившись, посмотрел на журналиста. Хотел что-то сказать, но помедлил. Увидел, что в эту минуту с перекинутым через плечо махровым полотенцем по каменным ступенькам спускается один из сопровождавших его наших товарищей — грузный лысоватый человек. В прищуренных глазах космонавта запрыгали чертики:

— Нет, я не Титов. Вон Титов спускается, — сказал Герман.

— Но позвольте, — обиженно развел руками журналист, — ведь этот же человек лысый, а Титов — не лысый.

— Так вы же пишете в своих газетах, что Титов после полета плохо себя чувствовал, что ему делали переливание крови, — отпарировал Герман Степанович. — Так напишите заодно, что он еще и облысел...

## ГОВОРИТЕ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ



...Далекая южная страна. Космических братьев Андрияна Николаева и Павла Поповича повсюду восторженно встречает народ. Но далеко не все хозяева богатых вилл разделяют этот восторг.

Космонавтов принимает один из губернаторов. Он выходит к ним с дымящейся сигарой. Пытливо и несколько надменно рассматривает он из-под стекол пенсне наших героев. Затем произносит:

— На каком языке мы будем говорить? Я владею основными международными языками.

— Тогда будем говорить по-русски, — отвечает Попович, — ведь именно этот язык впервые прозвучал в космосе.

— Но губернатор русским языком не владеет, — быстро говорит переводчик.

— Тогда будем балакать на украинском, — предлагает Попович.

Хозяин озадаченно снял пенсне и продолжал разглядывать гостей уже невооруженным глазом.

— Чавашла колар... Говорите по-чувашски? — произнес в эту минуту хладнокровно Николаев.

Совсем растерялся губернатор, даже сигару изо рта вынул. А ну как гости, не дай бог, заставят говорить по-грузински, по-армянски, по-узбекски... — на десятках языков советской страны...

— Хорошо, — сказал он, явно капитулируя, — будем изъясняться при помощи переводчика.

## ЗУБЫ

Во время продолжительной беседы с журналистом у космонавта разболелись зубы. Слегка поглаживая щеку, он отвечал на многочисленные вопросы. Журналист, закончив беседу, уже прятал блокнот.

— Я задержу вас еще на минутку, — попросил он с извиняющейся улыбкой. — Вы вот сказали, что для космонавта главное это смелость, мужество, физическая подготовленность, глубокие знания. Ну, а что, по-вашему, самое главное для журналиста?

Продолжая держать ладонь на больной щеке, космонавт ответил:

— Зубы. Здоровые крепкие зубы. И острые к тому же.

## ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ...

Один из отряда космонавтов вспоминает о том, как его, молодого летчика, впервые уговаривали посвятить себя новой, в ту пору еще никому неизвестной профессии.

В часть приехали два старших офицера, вызвали его на беседу. Спрашивают:

— Ты истребитель?

— Да.

— Хочешь в испытатели?

— Хочу.

— А в космос?

Растерялся молодой офицер. О том, что чело-

век полетит в космические выси, тогда и думать-то никто не мог. Полковник угадал состояние юноши. Улыбнулся.

— Хорошо, я не настаиваю на немедленном ответе. Пойди часок подумай.

Вышел парень в коридор — и вдруг не, об аэродроме, не о самолетах, не о космосе подумал, а о большеглазой девушке, которой только что объяснился в любви. И понеслись тревожные мысли. Космос — дело особенное, там и люди особенные нужны, с особым

режимом жизни. А что как придется позабыть о большеглазой девушке, лучше которой не найдешь на Земле?!

Ровно через час он вошел в кабинет.

— Ну что, надумал? — спрашивает полковник.

— А как у вас, жениться можно? А то ведь космонавты — дело такое...

— Можно, можно, — засмеялся полковник.

— Тогда пишите, — решительно заявил молодой летчик.



### ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ПОЭТ

О матери он написал тома,  
А матери — ни одного  
письма...

М. Хижко

### НА КОНЧИКЕ ПЕРА

В противовес известной поговорке баснописец неплохо кормился своими баснями. По горло были ими сыты и его читатели.

\* \* \*

Директор птицефермы скромно именовал себя рабботником пера.

\* \* \*

Если, взявшись за повесть, вы с удивлением замечаете, что получается роман, — не беспокойтесь: после редактирования останется рассказ.

С. Цыпин

### В БИБЛИОТЕКЕ

Пишут, пишут кандидаты,  
Скрип пера... Молчание!..  
А прочтешь — одни цитаты  
Или примечания.

В. Ельников

### ЗАВИДНАЯ УЧАСТЬ

«Он своего достиг», —  
Сказали о баране.  
Чудесно превращен в  
шашлык  
В столичном ресторане!

Ф. Федоренко

## БАЛКАРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

И, покидая, не ругай  
Страну отцов.  
Ты возвратишься в этот край  
В конце концов.

\* \* \*

Тот снисходителен, кто разумом богат.  
Ведь снисходительность и ум — сестра и  
брат.

\* \* \*

Узнав, не разноси дурную весть,  
Другому уступи такую честь.

\* \* \*

Сам слушай все, но будь скупым,  
Произнося слова.

Недаром рот у нас — один,  
А уха два.

\* \* \*

Шутнику должны мы кланяться:  
Шутка — истины посланница!

\* \* \*

Из врагов лисы опасней всех  
Собственный ее пушистый мех.

\* \* \*

Не избличай в себе невежду,  
Не ругай несшитую одежду.

Перевел Н. Гребнев

Николай Журавлев

## ПАРОДИИ

Сам, устремившись пеш, проходил он ряды ратоборцев,  
Где поспешавших на бой находил аргивян быстrokesнных...  
Битву скорее начнем; разорвали священные клятвы  
Трой сыны! И постигнут их первых беды и погибель!..  
Гневным узрев Одиссея, осклабился царь Агамемнон...

(Гомер, «Илиада», гл. IV)

А вот как бы эта сцена прозвучала в произведениях следующих писателей:

**Лев Толстой**

### ВО ВРЕМЯ СМОТРА

Подобно тому, как все полководцы во все времена устраивали смотры своих войск, едва дух армии начинал падать, так и сейчас, на девятом году всем надоевшей и никому не нужной Троянской войны, генерал-фельдмаршал Агамемнон устроил смотр своих войск, хотя прекрасно понимал, что это абсолютно бесполезно, ни к чему не приведет и совершенно ничего не изменит в ходе войны.

1864 г.

**Леонид Леонов**

### DOROGA ZA OCEAN АГАМЕМНОН ОСМАТРИВАЕТ

Смотр не возвращает бодрости войску. Напряжение во время маршировки взволнует немного, выпрямит и уйдет, не заменив воодушевления. Затяжная война хуже короткой драки.

Агамемнон шел вдоль фронта ахейян. Жалкая картина вставала перед его взором: то тут, то там догорали костры от печального лагеря. Войско после девятилетнего крушения надежд и погони за стареющей добычей стремилось домой.

### В ПОВЕСТВОВАНИЕ ВТЯГИВАЕТСЯ ОДИССЕЙ

Полковник Одиссей был родом с Итаки, захолустного уезда Зап. Греции. Там он (гл. с V по X) ...вынужден был принять участие в Троянской войне.

1936—1959 гг.

**Бертольд Брехт**

### ДЕЛА ГОСПОДИНА АГАМЕМНОНА

Переговоры с троянскими банкирами не привели ни к чему. Аттический трест прислал специального нарочного из Афин с недвусмысленным намеком, что если в этом же году Агамемнон не возьмет Трои, то неожиданно может всплыть на поверхность спекуляция с земельными участками в Коринфе. К тому же демократическая партия давно уже требует расследования темной истории с Ифигенией в Авлиде. Противники войны взывали к гуманности и весьма ясно давали понять, что религиозная жертва служила лишь прикрытием наследственных сделок. Поговаривали также о недостойном поведении его супруги Клитемнестры. Одним словом, Перикл-стрипт требовал немедленного взятия Трои и расправы с малоазиатским конкурентом.

Уровень самочувствия микенского царя был прямо пропорционален курсу бумаг на афинской бирже. Весь день Агамемнон ходил как в воду опущенный.

К вечеру пришел полковник Одиссей, человек, как говорили, близкий к кругам спартанского разведывательного управления, и, как всегда делая вид, будто ему ничего неизвестно, предложил провести завтра утром смотр.

— Если не ошибаюсь, — сказал он, — мы должны идти на решительный штурм. Беда только с этими аристократическими сыновьями. Ахиллес из-за этой глупой бабы ударился в амбицию и отказался дальше воевать.

— Пустое, — сказал Агамемнон. — Обойдемся и без него. Его дивизия остается в строю, а ему надо бы, кстати, напомнить о некоторых обязательствах перед фессалийским банком, долги — его слабое место, и он живо присмирееет. Итак, завтра смотр.

1954 г.

Генрих Белль

### ГДЕ ТЫ БЫЛ, МЕНЕЛАЙ!

Их построили по-когортно и объявили, что будет смотр. Они стояли и ждали, чем все это кончится.

Наконец появился полководец. Его физиономию они прекрасно успели изучить за девять лет этой глупой бойни, и всматривались они в нее без особого интереса. Все равно он ничего не мог им больше сказать. Но глаза их невольно подмечали перемены в облике их вождя. В них чувствовалось и прощание с Клитемнестрой, и малопопятная религиозная авантюра с Ифигенией в Авлидском порту; и тяжелое плавание, и каждый год осады так или иначе давали о себе знать в морщинах лица, в седых волосах и в печальных глазах человека, не способного взять крепость. За всем этим крылись неудачные штурмы, бурные заседания военного совета и хитроумные двусмысленности полковника Одиссея.

Они подмечали все, но им было все равно. Давно было ясно, что войне скоро конец.

1948 г.

Илья Ильф и Евгений Петров

### ЗОЛОТЫЕ ТЕЛЯТА

Греков надо любить.

Это они построили Парфенон, написали трагедии Эсхила и комедии Аристофана, разводили коз и проникали в далекие страны, породили Александра Македонского и изобрели диалектику, догадались о существовании атома, написали «Илиаду» и «Одиссею» и основали город Одессу.

1931 г.

*До конца этого и в начале будущего года  
в нашем журнале будут напечатаны:*

**Владимир Тендряков. СВИДАНИЕ С НЕФЕРТИТИ. Роман**

**Евгений Пермяк. ГОРБАТЫЙ МЕДВЕДЬ. Роман**

**Лев Никулин. МЕРТВАЯ ЗЫБЬ. Роман**

**Владимир Солоухин. МАТЬ-И-МАЧЕХА. Роман**

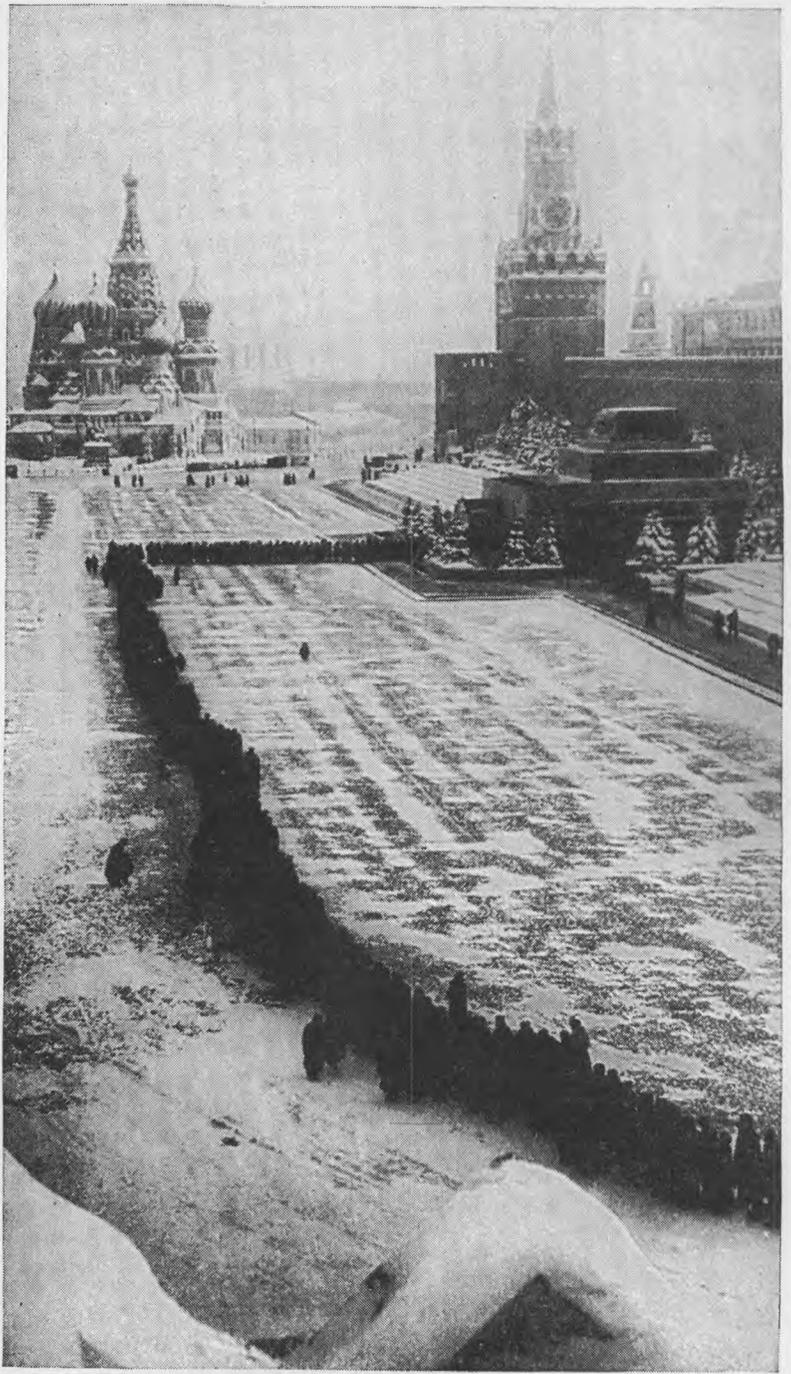
**Александр Котов, гроссмейстер. БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ. Роман**

---

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН Корректоры Н. А. АКимова, М. В. Аксенова

Подписано к печати 31/VII 1964 г. А 02100. Тираж 160 000 экз. Формат бумаги 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печ. л. 14 = 19,18, усл. печ. л. 19,8 = 22,499 + 4 вкл. = 23 199 уч.-изд. л. Заказ № 2285 Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16.



Н. Грановский

К Ленину

С ВЫСТАВКИ  
«СЕМИЛЕТКА В ДЕЙСТВИИ»



Е. Тиханов

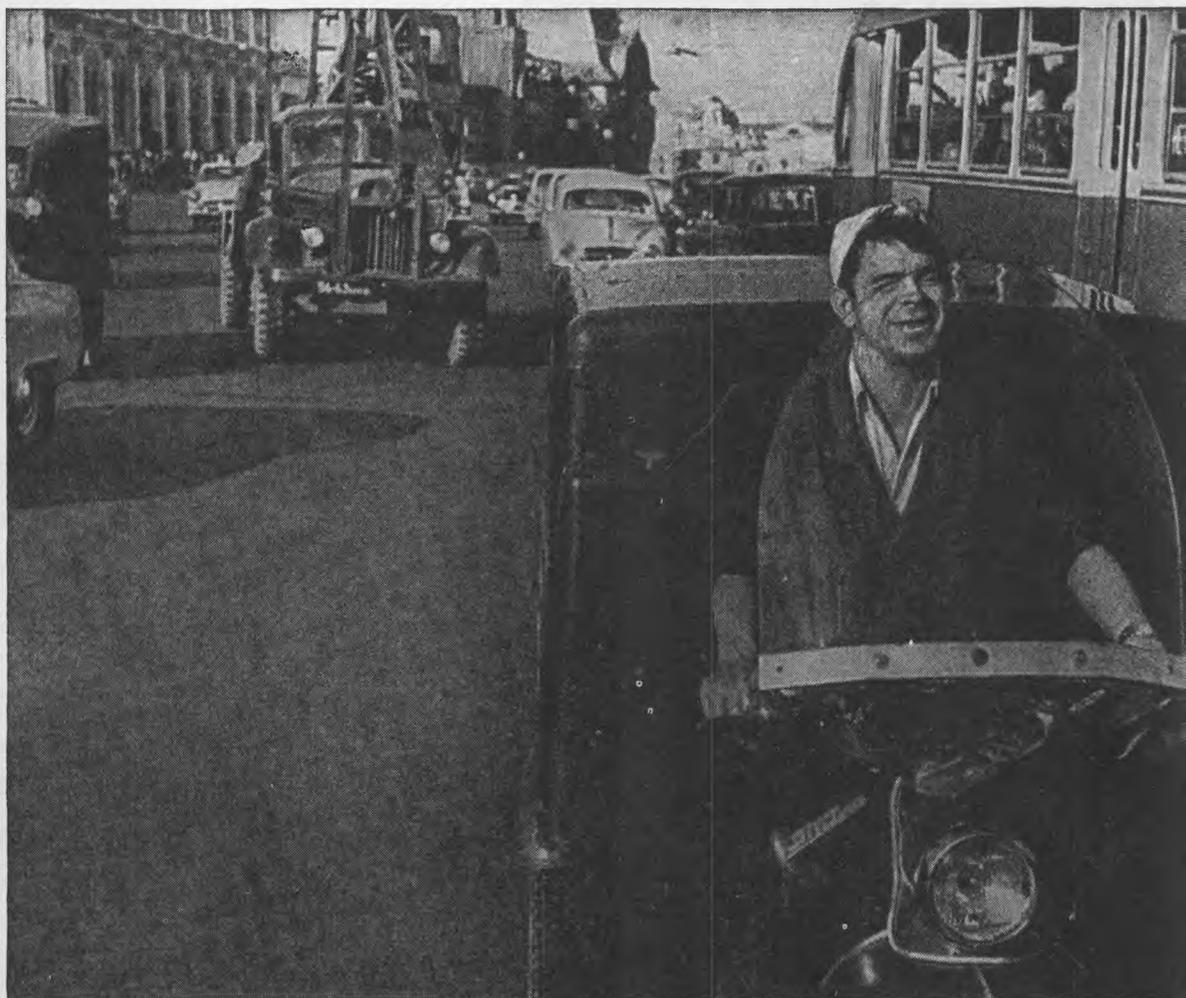
...Поставив двойку, мне нужно найти  
силы побороть в себе жалость...

*(Из фотоочерка об учительнице)*



Г. Корабельников

Обеденный перерыв



Г. Дубинский

Весна



С. Мишин

Знакомые силуэты



Л. Нисневич

В кафе до открытия



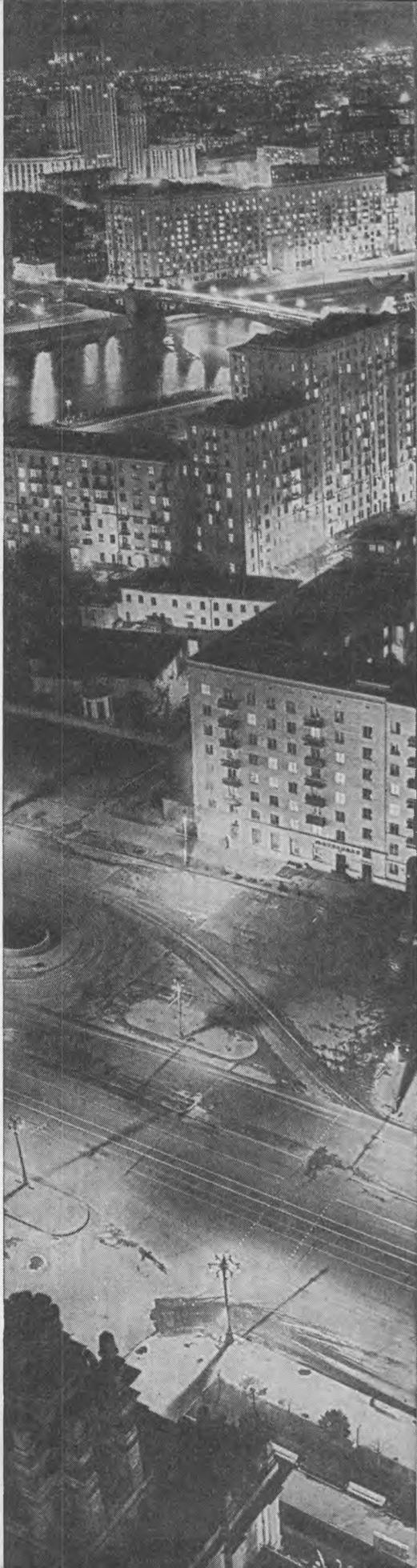
В. Иванов

На пенсии

Н. Рахманов

Каждый вечер  
в Москве загорается  
20 345 541 лампа!

*(Из фотоочерка «Лампы XX века»)*



Н. Прозоровский

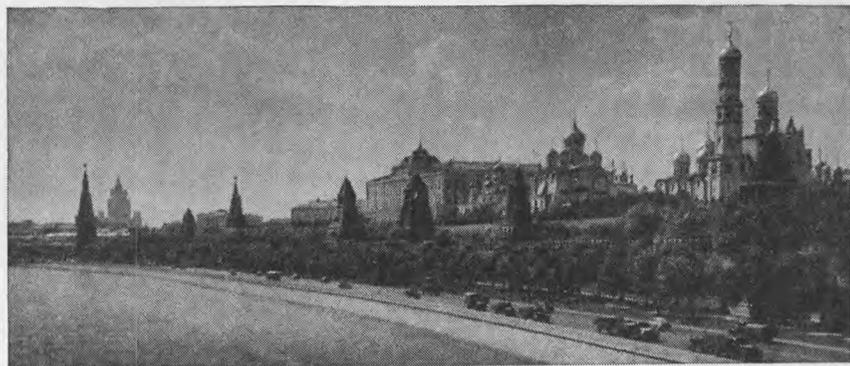
## ИЗ ОДНОГО ОКНА



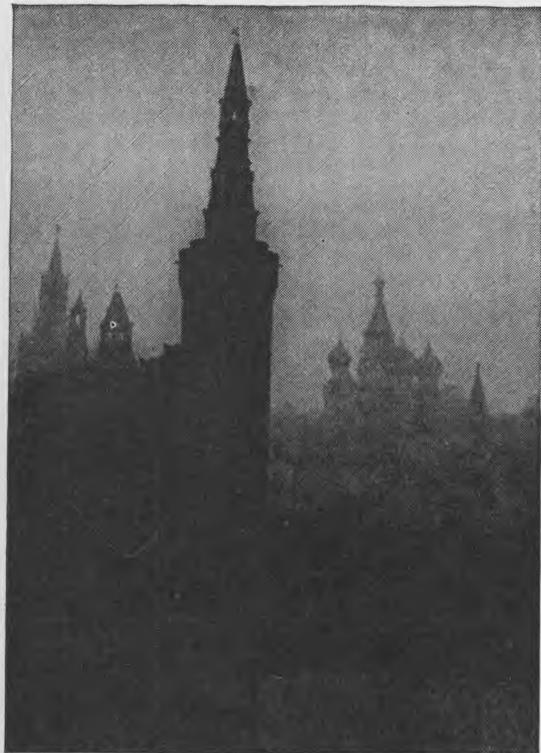
Я смотрю из окна своей комнаты. Прямо передо мной — Красная площадь. Древняя. Вечная. И всегда разная, всегда новая. Утром и днем. Вечером и ночью. Зимой. Летом. Весной. Осенью. Каждый час... Каждую минуту... И нет конца ее сказочным превращениям...

Вот она, эта площадь. Такой я вижу ее из своего окна.

А если выглянуть из окна подалее, то увидишь весь Кремль, до самой дальней Водовзводной башни. Сколько раз мы смотрели на него, но разве оторвешься от этой величественной картины!..



Словно откликаясь на настроения людей, Кремль меняет свой облик. Вот он суровый и грозный. Стройные башни непреклонно вздымаются к небу, темнеют неприступные стены...



А теперь, укрытый пеленой  
дождя, Кремль как будто светло  
грустит. Отступают в тумане витые  
купола Василия Блаженного. Краски и  
звуки вязнут в тумане...



Зимний день. Сквана морозом  
Москва-река. Я вижу, как хлопотливо  
бежит мимо Кремля москворецкий  
малютка-ледокол с грозным именем  
«Вьюга». Конечно, это далеко не  
атомоход, но благодаря ему никогда  
не замирает теперь «великий реч-  
ной путь» от Южного речного вок-  
зала до МОГЭСА.

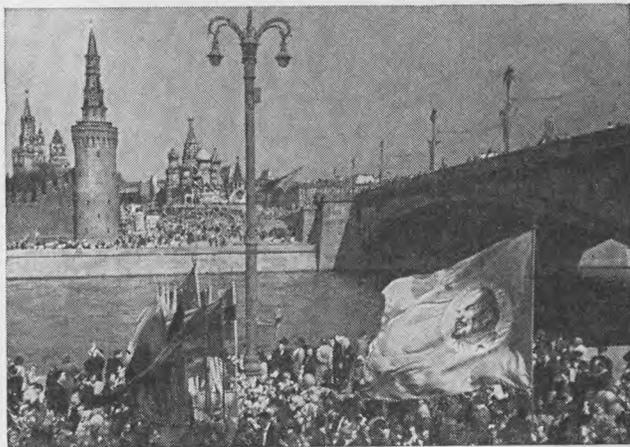


Ледоход на Москве-реке нынче  
никому не страшен. Лед дробят где-  
то выше по течению, и он робко  
проскальзывает мимо моего окна,  
как бы извиняясь за беспокойство.  
А столица в эти дни наводит весен-  
ний предпраздничный блеск на свои  
улицы и дома...

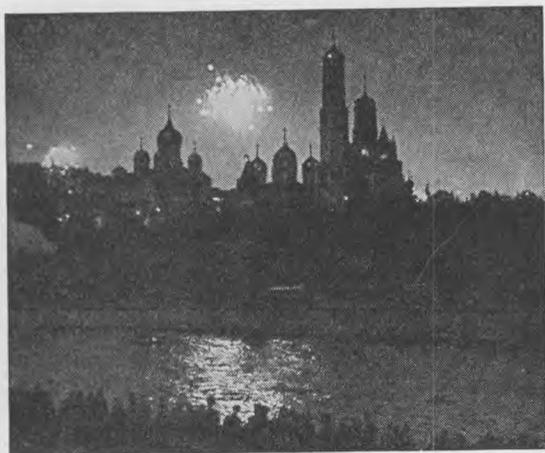


Все реки таят для художников какое-то особое очарование. Москва-река — не исключение. Сегодня Василий Блаженный не похож на яркий расписной пряник, а выглядит пастельно-нежно, отражаясь в спокойной воде. Все это навсегда останется на полотне старого мастера, который стоит сейчас у своего мольберта на набережной...

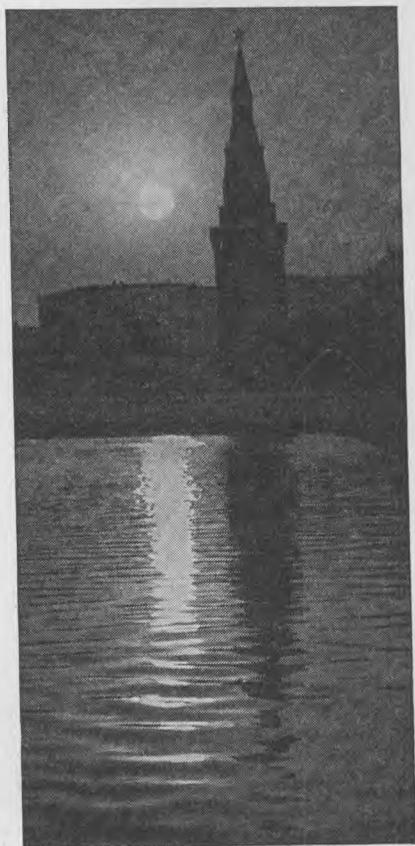
Первомай... Красная площадь еще пуста, сосредоточенна и торжественна. А прилегающие к ней улицы гремят оркестрами и рокочут тысячами голосов...



И вот — праздничный салют! Таким он был и 5 августа 1943 года, когда впервые, в честь победы на фронте, взметнулся над Москвой огнями ракет и громом пушек...



...Кончается день. И всегда перед сном я подхожу к окну, чтобы сказать любимой Москве: «Спокойной ночи». Я вижу четкий, строгий силуэт Кремлевской башни. Еще один кадр в бесконечной ленте превращений Кремля. Бесконечной и разнообразной, как сама наша жизнь, даже если ты смотришь в нее из одного, распахнутого настезь окна...



И н д е к с

73 253.

50 коп.